НОВЫЙ Журнал



НЬЮЙОРК

New Review НовыйЖурнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942 С 1946 по 1959 редактор М. Карпович С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор) Г. Андреев, Л. Ржевский 1976 — 1981 редактор Роман Гуль 1981 — 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Е. Магеровский 1984 — 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Ю. Кашкаров, Е. Магеровский 1986 — 1990 Редакционная коллегия 1990 — 1994 редактор Юрий Кашкаров 1994 — 2005 редактор Вадим Крейд

Восьмидесятый год издания

Кн. 307 НЬЮ-ЙОРК 2022

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс

Ответственный секретарь — Наталья Бернадская Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; L.Vulfina, Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW № 307, июнь 2022 © 2022 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review, 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Владыки Илариона (Капрала), Первоиерарха Русской Православной Церкви за границей (1948–2022) 5
Православной церкви за границей (1940–2022)
НЕТ ВОЙНЕ NO WAR
Сергей Жадан – Стихи
Василий Махно – Вірші про війну
Геннадий Кацов – Стихи
Андрей Грицман – Стихи
Анна Гальберштадт – Стихи
Бахыт Кенжеев – Стихи
Марина Темкина – Стихи
Марина Эскина – Стихи
Светлана Алексиевич – «Я поняла, что я – пацифист.»
Выступление 10 июня 2017, Гоголь-Центр 50
ПРОЗА. ПОЭЗИЯ
Андрей Иванов – Бульвар Рошешуар. Рассказ
Александр Немировский – Стихи
Леонид Латынин – Двуглавая лира. Стихи
Ольга Исаева – Быть частью речи. Памяти Иосифа Бродского 96
Анатолий Николин – Юная дева Клуэ. Повесть
Каринэ Арутюнова – Где твой ковчег. Стихи
Евгений Вольперт – Карантинные стихи
Александр Беляев – Стихи
ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ
Елена Дубровина — «Я странником пришел на краткий час» 166 Владимир Диксон — Письмо жене. Письма Ремизовых.
Из неопубликованных стихов (Публ. – Е. Дубровина) 204
Владимир Хазан – «Шикарный европейский солдат»
Владимир Сосинский в годы войны
Владимир Сосинский – Письма (Публ. – В. Хазан)
ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА
Елена Кулен – Миссия честного историка. С. П. Мельгунов 281

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Алексея Цветкова (1947–2022)
БИБЛИОГРАФИЯ
Геннадий Кацов — Борис Клетинич. Мое частное бессмертие; Юлия Баландина — Евгений Брейдо. Театр Аустерлица; Людмила Гозун — Давид Гай. Зрачки зверя; Валентина Брио — Иерусалимская городская русская библиотека: Страницы истории; Виктор Леонидов — Солженицынские тетради: Материалы и исследования. Вып. 8, Никита Струве. Встреча с Россией. Статьи, доклады, воспоминания, беседы, письма
ОБ АВТОРАХ

ПАМЯТИ ПЕРВОИЕРАРХА РПЦЗ ВЛАДЫКИ ИЛАРИОНА (КАПРАЛА). 1948–2022

16 мая в два часа дня в Нью-Йорке после продолжительной болезни скончался Высокопреосвященнейший Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх Русской Православной Церкви за границей (ROCOR).

Митрополит Иларион (в миру Игорь Алексеевич Капрал) родился 6 января 1948 года в Спирит-Ривер (Канада). Родители были родом из деревни Обенижи Волынской губернии. Как рассказывал сам Владыка в интервью НЖ: «...мать научила меня читать по-украински. А я русский учил практически с нуля уже в семинарии, в Джорданвилле». В 1929 году его родители эмигрировали в Канаду. Мальчиком Игорь посещал Свято-Троицкий русский храм, расположенный неподалеку от дома; он с детства мечтал стать священником. В 1966-м Игорь окончил гимназию. Перейдя в РПЦЗ, стал духовным сыном епископа Эдмонтонского Саввы (Сарачевича), под влиянием которого решил принять монашество. В 1967-м, девятнадцати лет, поступил в Свято-Троицкую Духовную семинарию в Джорданвилле, штат Нью-Йорк. По окончании семинарии поступил в Свято-Троицкий монастырь послушником. В 1974-м был пострижен в рясофор с именем Иларион в честь преподобного Илариона, схимника Печерского. С 1975 года преподавал в семинарии. В 1975-м архиепископом Аверкием (Таушевым) был рукоположен во иеродиакона. До смерти арх. Аверкия служил ему как келейник. В 1976-м был рукоположен во иеромонаха. В 1976 году он окончил Сиракузский университет со степенью магистра славяноведения и русской литературы. В 1973–1988 гг. был редактором английской версии журнала «Православная жизнь», работая одновременно наборщиком в монастырской типографии. В 1984-м хиротонисан во епископа Манхэттенского, викария Восточно-Американской епархии; окормлял приходы в шт. Пенсильвания. Собором епископов был утвержден в должности заместителя Секретаря Архиерейского Синода. В 1996-м назначен на Сиднейскую и Австралийско-Новозеландскую кафедру с саном архиепископа; с того же года был главным редактором журнала «Церковное слово». В 1999 году во время бомбардировок Югославии войсками НАТО направил письмо премьер-министру Австралии, в котором выразил несогласие с агрессией против Сербии и просил остановить все военные действия. В 2008 году Архиерейским Собором избран Первоиерархом РПЦЗ.

Митрополит Иларион был светлым и мудрым человеком. Он нес в душе мир и покой. Для своей паствы он служил надежной опорой в испытаниях, всегда открытый чужой боли и страданию, всегда доступный для простых прихожан. Он был смиренным послушником Богу, мудрым и чутким духовным наставником людям. Таким он и останется в душах наших и памяти. Владыка Иларион погребен 22 мая на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.

«Новый Журнал»

HET BOЙНЕ NO WAR

27 марта 2022 года в Нью-Йорке в известном русском клубе «Самовар» прошла благотворительная акция в поддержку поэтов Украины. Организаторами вечера выступили Publishing House KRIK Геннадия и Рики Кацовых, журнал «Интерпоэзия», гл. редактор Андрей Грицман, и «Новый Журнал», гл. редактор Марина Адамович. Благотворительная акция прошла в рамках поэтического проекта «No War. Поэты против войны», проводимого под эгидой издательства KRIK. Выступали поэты Нью-Йорка и Бостона (в алфавитном порядке): Евгений Вольпер, Анна Галберштадт, Владимир Гандельсман, Ольга Исаева, Геннадий Кацов, Бахыт Кенжеев, Василь Махно, Марина Темкина, Марина Эскина. Стихи звучали на русском, украинском, белорусском и английском языках. Все собранные средства были направлены в Киев для передачи украинским писателям.

Сергей Жадан

в переводах с украинского Аркадия Шпильского

* * *

Я знал священника, вернувшегося из неволи. Шрам на виске. Ладони в черных мозолях. Телефонные разговоры с донецкими операми. Трофейный опель с польскими номерами.

И вот он мне говорил: Церковь в своей работе объединяет нас всех наподобие терракоты, обжигает нас в огне, скрепляет нас для грунтовки, хотя всё теряет смысл уже в момент артподготовки.

Еще он мне говорил: спросишь про Воскресение, я отвечу — чтобы воскреснуть, нужно везение. Праведникам как раз не везет с этим явлением. Я люблю говорить о врагах в прошедшем времени.

Спроси меня о прощении, открою одну из истин: прощение предполагает, что часть мирян — атеисты. Я принесу своим врагам цветы на могилы. Кара Господня настигнет всех — как бы вас, атеистов, ни удивило.

Война меня научила не говорить о потерях. С живыми лучше. Их можно спасти, по крайней мере. В живых есть то, что не дает им в траншеях тлеться. Кажется, вы, атеисты, называете это сердцем. Я думаю иногда, поймут ли нас наши дети. Легко для них сердце мое, и раскрыты объятия эти. Моей любви хватит на всех, даже на тех, кто думал меня замучить. Пойду, кстати, напомню им, какая их ждет после смерти участь.

* * *

И столько света. Неизменно. Навеки. Вторая линия обороны. Солнце, словно пальцы, согревает реки. Весна приходит в серую зону.

Дождь в стриженых волосах светел. Кусок страны отогрет, не потерян. Когда из зоны выходят взрослые и дети, там всё же остаются растения и звери.

Там остается небо, пустое, как вата, и земля, словно камнями, наполненная мертвецами, и мертвецы кормят до самой жатвы молодую кукурузу своими сердцами,

отпаивают кровью сухие корни, греют землю в ее сердцевине, они были по жизни настолько упорны, что это теперь прорастает в равнине.

Они первыми пришли сюда и первыми умерли. Кровь на одежде страшит лишь знаками. Даже после смерти из могильных сумерек можно присматривать за травами и злаками.

Может быть, смерть – скорбь для кого-то. Но в смерти всегда будут резоны. Мертвые делают свою работу. Расцветают деревья серой зоны.

* * *

Киевская прописка, одиннадцатилетка. Погиб под Попасной в октябре. Соболезнуют. Подсолнуховые поля, не убранные с лета. Над ними раскрывается золотая бездна.

Будут стоять теперь всю зиму. Буквами будут чернеть в газете, ловя тишину, едва уловимую, будто лису — в капканы и сети.

Птицы замирают на воздушных трассах — чуткие, будто слуховые аппараты. Быть подсолнухом в полях Донбасса — это знать, как жить и за что умирать там.

Своим хребтом, стальным, неразъёмным, соединять почвы и воды, держась за осенние черноземы с горькой преданностью природы.

Родина, вечно ты ноешь и просишь, лезешь в душу посторонним предметом, оставь мне на будущее эту роскошь — быть подсолнухом в поле где-то.

Оставь мне сладость смертельного мига — стать на ураганном кордоне — буквой в незавершённую книгу, дыханием в ледяные ладони.

* * *

В память о всех, кого лишили права, в память о всех, кого вычеркнули из списков, в память о всех, кого выжгло августовской лавой, кому ни один режим не возведет обелисков,

в память о тех, кого выбросили за кордоны, в память о тех, кто говорил с зашитыми ртами, в память о тех, кто остался на линии обороны, плывут небеса этой рани, плывут над городами.

Плывут над околицами и над правительственным кварталом, плывут над парламентом, над alma mater родимой. Отражается солнце в реке красным кораллом. Последние дни лета. Пахнет медом и дымом.

Пахнет выжженным пшеничным полем. Выживи в этом огне, юный подранок. Географией твоей и окоёмом небо плывет над страной, где всегда спозаранок

в память о тех, кто ушел, разряжаются телефоны, в память о тех, кто исчез, работают в доках заводы, в память о тех, кого нет, перегоняют вагоны, и женщины, говоря о детях, выдыхают тепло свободы.

В память о тех, кто пал, плывут грузовые паромы, в память о тех, кого не назвали, начинаются ливни, работают невидимые мелиораторы и агрономы, работают днем и ночью, только бы неизбывно

реки и озера пополнялись каждым летом, только бы зимой не замирали пекарни, только бы можно было купить молоко и таблетки, только бы не закрывались порты и читальни,

чтобы всем в радость было трудиться, чтобы всем хватило истовости и силы, чтобы кто-то вставал в память о тех, кто боится, чтобы в память о тех, кто молчит, всегда говорили.

* * *

Они бы должны были звать тебя сестрою. Но родню не помнят мертвые, как их не ориентируй. Оказалась скупою правда о том, как мир устроен, чтобы в нее вместилось всё, что ты хочешь от мира.

И когда на себе ты выносишь их, госпитальерка*, и жизни их отбиваешь у их же смерти, смерть говорит – у меня на всё свои мерки, мои пациенты обычно молчат, поверьте.

И те, кто и впрямь не знают, как тебя звать и по чину, знают лишь твой позывной, и по нему тебя кличут. Перекрикивают боль, будто ломают плотины, будто хотят кровь остановить криком.

И покидают сей мир с обязанностями и правами, говорят о мире, как о наибольшей утрате. Но правду о мире писали такими словами, что мы должны оправдываться за нашу правду.

Правда про мир такова, что даже рифмы, размеры кому-то покажутся пропагандою или игрою. Пропаганда – это не отказываться от тех, кому веришь. Пропаганда – это вообще называть тебя сестрою.

Политика – это не умение подбрасывать монетку и не умение договариваться с ворами. Политика – это школьник, заслуживший отметку, это госпитальерка, накладывающая бинты на раны.

Политика – это дальше жить в своей отчизне. Любить ее, как есть, единственной и данной. Политика – это поиск слов, трудных и чистых, и вечный ремонт небес, когда они неисправны.

Политика – это любить тогда, когда даже пугает само слово «любовь», и в плен не берут несчастных. Религия – это узнать наощупь, своими руками, как снимаются швы у тех, кому не давали шансов.

Религия – это телефоны «Made in China», это священники с простреленными паспортами. Война, как сука, выкармливает подкидышей, не отличая, включая их в сестры и братья с голодными ртами.

Это твои братья с грозными позывными. Это твои поэты с недописанными стихами. Земля с горячими камнями лежит под ними. Апостолы за ними стоят с книгами и ножами.

^{* «}Госпитальеры» – добровольная организация парамедиков, была основана в начале боевых действий в Украине в 2014 году.

Василь Махно

Вірші про війну

війна

Господи, як там в Тичини: «І Бєлий, і Блок, і Єсєнін» як вони нас оточили з усіх чотирьох обсіли

дай же нам сили і міці тривожну валізку і хліб брешуть же їхні лисиці що в нас ні щитів ні століть

кудись же веде нас Ігор за Дон зі своїм полком сьогодні з лютневим снігом і завтра — з черленим щитом

а тьма їхня з Тьмуторокані а їхні – мокша і чудь стріляють по нашому стані по наших позиціях б'ють

то що там у «Слові о полку»? і що там «шт» та «жд» ви – скачучи босим вовком гублячи слину вражди

дійшли до річок та кордонів до серця мого в кулаці зчорніли ваші ікони не відбілите і в молоці

Господи як там в Тичини про Київ — Месію — про край чому ми ці вірші не вчили? стікай — моє серце — стікай

ВОЙНА

как там у Тычины, Боже: «И Белый, и Блок, и Есенин» ими весь свет загорожен со всех четырех обсели

дай же нам воли и силы хлеб и походный рюкзак брешут их рыжие лисы на наш стародавний стяг

ведет же нас Игорь гневен за Дон со своим полком сегодня с февральским снегом и завтра – с червленым щитом

они же всей тьмутараканью всей мокшей всей чудью идут стреляют по нашему стану по нашим позициям бьют

и что там в «Слове об Игоревом»? какие там «ять» или «ер» враждой заслюнившись прыгает ваш волк на старый барьер

дошли вы до рек и кордонов и сердце мое в кулаке черны стали ваши иконы не отбелить в молоке

Боже, как там у Тычины: про Киев – Мессию – и высь что ж мы тех стихов не учили? теки – мое сердце – сочись

Перевод с украинского Аркадия Штыпеля

до вітчизни

вітчизно — чому ти така солодка? стрекотить весняна сорока зозуля літа мої лічить — горлиця туркотить дими з-за будинків — з-за лісу... Антонич — зі своїм лисом Шевченко — на кручі стоїть

вітчизно — чому ти така вдова-вдовинна? і в чому твоя провина? в кореневищі роду — в суцвіті літ ні — мамо — берці твої не тиснуть... Антонич — зі своїм лисом Шевченко — на кручі стоїть

вітчизно – чому ми так довго з тобою у цій обороні і в цьому бою за що нам вдови і сироти – кров і піт? покреслена на бісектриси Антонич – зі своїм лисом Шевченко – на кручі стоїть

вітчизно — солдатко й вдовице Ярославно в Путивлі — зигзице тривожному серцю накажу сьогодні: цить весняний туман над плесом... Антонич — зі своїм лисом Шевченко — на кручі стоїть

вітчизно воєнних літописів й хронік рано тебе ворог хоронить кажу їм — писки свої стуліть ти будеш нам нині і прісно бо Антонич — зі своїм лисом і Шевченко — грізно мовчить

ІСХОД

на сході дими і руїна біженці із дітьми: ракета ось просвистіла сирена виє з пітьми

люди штурмують вокзали потяги – скрип валіз великий ісход на захід повний дитячих сліз

стримить золота Софія до самих Золотих Воріт не полишай нас надіє дай втримати цвіт і рід

усім хто сюди повернеться рідні пороги встели і нашу запеклу ненависть як шаблю у землю встроми

якщо вони будуть ридати якщо їх стрясатиме лють музику нашої втрати най в сурми і дух переллють

бо позирки ці діточі з вагонного із вікна забути не зможем й не схочим так позирає війна

на площі Софіївській – близько до Бучі і до Броварів й здається мені що Хмельницький від обстрілів сам прозрів

бо як же Богдане-Зиновію втриматись вам на коні коли стугонять наші колії і наші міста в огні?

ШЕВЧЕНКО

не зостанеться камінь на камені від колон зизооких орди оглядає із кручі у Каневі наше військо і наші фронти

в березневому дні від народження нам звучить його вірш як сурма

він звертається до ненароджених і живих – інших в нас вже нема

нам потрібно триматись за Київ за Дніпро й оборонні вали за ґрунтів поцяткований килим за поеми його і псалми

розуміє – в цю прикру годину править баль доокола смерть і розправивши груди і спину полишає свій постамент

я дивлюсь як він твердо і щемко ставить підпис за свій автомат «ваше прізвище?» – каже: «Шевченко» «а посада?» – він каже: «солдат»

він в чоті молодий – як «Зі свічкою» не пізнати – усі залягли за якимись кущами над річкою за горбами й бинтами імли

рукави всіх обмотано смужками і жовтіють колоссям пшениць він лежить з цими хлопцями мужніми і чекає на гул гусениць

3 МАРІУПОЛЯ

пережити ніч в Маріуполі під потрісканим неба куполом під будинком розбитим в тім житті – на іншому березі хто міг знати що буде у березні і кому його не пережити?

із полями оцими пологими реченець у кого з пологами хто тримався з останніх сил пахне кров'ю і пахне сиками породіллю кладуть на носилки санітаре — кудись же неси

ну неси її – круглу як землю кутай в коц чи свою камізелю всюди обстріл – де ступиш крок вона чує як плід затихає і вона вже також відпливає і земля відпливає і кров

то чого ж ти мовчиш санітаре ти оглушений цими ударами де ж ця мати і де ж цей син? ти також тремтиш бо під шоломом: «вони справді не мають сорому» ну а ти уже вибився з сил

не імуть наші мертві сорому прокричу я у будь-яку сторону ворогам не про сором кажи вони вбили і сина і матір розстріляли медичні палати ну а ти вздовж будинків біжи

ти біжи санітаре по вулиці бачу жили на шиї здулися ти неси – може вдасться спасти породіллю оцю з Маріуполя її сина – для першої купелі й те що я підганяю – прости

ПСАЛОМ СКОРБОТИ

дівчинка вбита — прострелений хлопчик тепер вона — ластівка; він — горобчик тепер вони птаство птахів невдовзі проб'ється трава — пролізе крізь їхню кров й іржаве залізо крізь літери читаних нами псалмів

у тому дворі де були їх будинки війна справляла свої обжинки півкварталу — вночі під обстріл дівчинка з мамою спали в квартирі хлопчик з батьками зупинився при дверях коли ракети летіли у гості

їх будинки струснуло — і їх накрило і тоді вони взяли пташині крила бо тривожні валізки тримали батьки пристиснувши дітей як стискають еспандер півгодини шипіли вогненні «Гради» потім тиша гуділа як тіло ріки

потім тиша дзвеніла у вухах псалмами: знерухомлений хлопчик нерухомої мами мертва дівчинка — й тиша тиш цей горобчик на гілці і це ластів'ятко нам пташиною мовою будуть співати а ми відспіваєм псалми по них

а ми коли будемо жити весною з горобчиком й ластівкою над борозною з псалмами скорботи й жалю пишу — що та ластівка й жвавий горобчик то ті убієнні — дівчинка й хлопчик по них ці слова тереблю

ПСАЛЬМА БУЧІ

ми тепер їх уже не покличемо ні питальним знаком — ні кличною формою — яка у нас ϵ в кого руки заламано й скручено хто лежить по вулицях Бучі по дворах під дощем гни ϵ

припильнує їх чорний ворон чорним оком чорний як ворог чи пригорне їх херувим най мій вірш буде їм псальмою за Андрієм Петром Оксаною солоспівом і хоровим

най пропущені мною сполучники вам полегшать побачити Бучу і почути тривожний дзвін херувим в камуфляжній формі: най покаже стовпи і опори і пробиті зазубрини стін

най згадає усіх поіменно у цій псальмі кожен іменник як присипаний глиною світ хто ще дихав учора під соснами хто дивився ув очі псові при серпневім падінні звізд

я не знаю якою ж печальною мусить бути печаль моя з псальмою і яких ще потрібно слів? Буча скручена скотчем й розстріляна звірина із якою зустрілись ми в десять рогів та сім голів

перед тими страстями і Страсною седимицею ми із Тарасом... над Андрієм Петром Оксаною що пливуть по небу ридванами і гучними – як дзвін – риданнями поклонімося Бучі псальмою

РАНІШНЄ ТУРКОТІННЯ ГОРЛИЦЬ

туркотіли горлиці нині — вже річка буде звиватись вужем будуть жовтіти родини кульбаб над ранок почувся горличий спів не було уночі для мене снів: тільки дощ віді вчора кульгав

може для того щоб я почув як трикутний дах — гонтовий чуб бився об дощ як пара крил а може тому аби горличий світ розповів мені про бузковий цвіт і що все в них і нас із крихт

це вони сповістили мені про клейке тріскання цвіту – таке стійке повторення в космосі – й на вербі волохатий пушок яким вона б'є коли смерть із життям одночасно стає містом з пагорбом на горбі

я подумав про річку яка горілиць годуватиме пару моїх горилиць Благовіщення — потім Страстний тиждень — потім тіло повстане із світла слова із мільярдів звізд яких вигнав господар напастись

я подумав що курячій сліпоті що підважила грунт по своїй простоті що чекала на спів та дозвіл перейде у спадок весняний дощ її корінь проріс в чорноземний товщ її цвіт румигатимуть кози

я подумав про грицики й про кульбаб і про «Страсті» які допише Бах починаючи їх від Матфея як цю музику влиту ув жили рослин ми почуємо вухом разом із ним зрівноважаться тенор і флейта

я подумав що горлиці — але ж Бах розпустив свій хор — і та юрба туркотіння туркоту туркотінь розлетілася звуками зеленців і над ранок почувся горличий спів і кульгавий крок в дощовій воді

я почув що горлиці принесли сім зернят винограду – як ті посли нотний стан «Страстей» – весняну повінь і оновлення те що чекає нас їде їде панна весна а над нею горлиці як над полем

Февраль-март 2022

Генналий Капов

ДЕПЕШИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

* * *

в пять утра все мы стали другими, встали в строй, не заправив кровать, — час спустя в ритме радиогимна рок послал часть из нас умирать в жесткий диск от три-ди катастрофы: храм не спасся, усоп на крови, и летят низко совы да дрофы под обстрелом ракетами «вихрь»

мы не те, кем мы были намедни, мы не будем уже никогда веселы на просмотрах комедий и трудны на уроках труда! — что-то с миром военным творится, — краток их новостник в новостях, — ведь хватает на всех чечевицы и всё выше и выше наш стяг

вас попрятали под париками, надевали чужие очки, пристреляли с земли светлячками по подбитому небу в ночи... был не прав, нам не брат и не сват он, из таких свита делает труп, бой кровавый, и правый, и святый, не в квадрат возведя — тут же в куб

так что, мертвыми стали живые, дети – выросшими в тот же час: «тополя» пролетали и выли, затонул в чернозёме камаз! плоть за плоть, за отца сын и духа, ключ от дома, где жертвы лежат, где суров сериал: в нем два друга, даже брата, – и каждого жаль

я другим стал и прежним не буду: папиросы курю «невермор», в мариуполе выжил я чудом, не попал в николаеве в морг, и жена фронтовая, смуглянка, рым пройдя и родной кривой рог, мне имейл отправляет, из танка состоящий, - скупые пять строк 03 26 2022

* * *

белый мрамор гласных, согласных сухой гранит, обожженную глину причастий, пыль деепричастий под органом гортани словарный запас хранит мой язык: от боли охрипший и до хрипа кричащий

мой родной букварь – друг из детства, чьи берега берегут следы здесь бродивших фраз, как кошек, стал по образу, да и подобию вроде врага, «в той зловонной камере», как писал нам юз алешковский*

сам не свой, язык нынче и телится, и мычит, подчиняясь в «спецоперации» воле свыше: по приказу, в сортире глаголом готов мочить и, блюя эвфемизмами, ехать на танке крышей

не хухры, зол зело и злопамятен, ибо велик, слогом леп, могуч, не картавя и не заикаясь, он здоровье русское – айболит, чудной доктор-фрик, вслед за африкой, всюду несёт, на любовь намекая

уж допит, похоже, пустой наполовину стакан и весной распускается дуля в дырявом кармане: больше ста миллионов ракетоносителей языка, кои в целом мире сегодня за гранью понимания

речь расхаркалась матом, будто мотает срок, ржет и лжет, пав ниже плинтуса, став калекой, одинока, унижена, тварь! – и в ней я одинок, как последний глас у идущего к немым человека 03.24.2022

^{*«}Матюкаюсь же я потому, что мат, русский мат, спасителен для меня лично в той зловонной камере, в которую попал наш могучий, свободный, великий и прочая, и прочая, язык...» (Юз Алешковский, роман «Рука»)

* * *

ужасный век: повсюду зона риска, где каждый мертвый стих лежит, как камень; похоже, время авелю записку послать, чтоб он узнал, чем страшен каин

пора, похоже, собирать всем камни: безухову в нелепой шляпе белой, трем сестрам, не продавшим сад покамест, онегину, не занятому делом

лет через двадцать, если будем живы, какой-то хлопчик скажет, между прочим: «я помню дом, мы в нем когда-то жили, бил русский танк в него, прицельно точный»

не жуткий хоррор, не кошмарный сон на хэллоуин – реальность, факт, не больше: «ИЗ ОККУПИРОВАННОГО ХЕРСОНА СЕМЬЯ ЭВАКУИРОВАЛАСЬ В ПОЛЬШУ»

пока веду слова к концу строки я гляжу, как набухают кровью карты: сегодня русские прорвались в киев! сегодня русские бомбили харьков!

и не представить, как идут с повинной на свете том, где свет сегодня резкий, встречать детей погибших с украины толстой и пушкин, чехов с достоевским

03.19.2022

* * *

морозный вражий март! когда б не бойня в украйне, проклинали бы погоду, — нет больше веры и любви к айпаду, глядишь в айфон — душе и глазу больно: в пурим осечка и, кропя колоду, новозаветная бессильна тройня

скрипишь зубами, «мягкой силы» жертва и раб гипертонического криза

в нью-йорке... не оставит телевизор надежды никому – раскроет жерла в живых картинках: край горит карниза жилого дома, арматуры жерди

розе ветров досталась часть квартиры: без глаза выбитого тьма глазницы, как в пустоту раскрытая страница, она стоит, что задник в зале тира — на гвоздике семь дырок от цевницы, потушенной пожарными... для мира

теперь чернеет остов фортепьяно в чехле из лопнувших от боли струн, в сыром углу обуглившийся труп, быть может, пианиста... дальним планом... и цедишь чай (сейчас там все умрут), и хафнера читаешь себастьяна

03.17.2022

* * *

не убей, господи, раньше срока, не укради остаток дней, разума не лиши, поиграй, но не мучай – я не лазил в твой сад за яблоками, выколол на груди in god we trust! – верил тебе, как мог, вряд ли мог лучше

не воровал лошадей, хотя не доводилось овсом их кормить, боже мой, зато любил свою собаку: я ведь дышу твоим воздухом, называю тебя отцом, не слушаю первый телеканал, а тома вейтса и баха

в моем теле под восемьдесят процентов твоей воды, я в твой космос уйду, надеюсь, не дальше кассиопеи, — намекни, сколько в этой судьбе сам накликал беды на себя, ибо глуп, но иначе давно не умею

ведь стрелял только в тире, так как же за выстрелы все отвечать я могу: вон их сколько, убитых сегодня! проросло из погибших домов столько раненых стен, столько в оспинах бывших дорог, для проезда не годных

смерть, как вид наказания и приговора залог с обвинением в том, что виной круговая порука... ты и я (как наскучил один на двоих монолог)! хоть бы «хм» или кашель ремаркой в ответ — ни звука 03.12.2022

* * *

разрыв снаряда взгляд со стороны сейчас сравнит с разверстым стогом сена, отметив: те, кто не придет с войны, повсюду, словно вскрытые консервы

тушёнки жир под крышкой живота под черепной открытой раной шпроты — здесь, будто после долгого поста, смерть разложила на холме пехоту

натурализм чрезмерный! видно, вкус ей изменил, поэтке второсортной: лежит прямой уликою для мус* солдат без ног, как будто школьник в шортах

куда ни глянь – кто краше, кто юней (могли б пойти на памятник победы!)... четыре всадника сойдут с коней и сядут в круг: давно пора обедать

03.10.2022

* * *

не бери на мушку детей, стариков и баб, – говорил мне дело бывалый седой бурят, – если пуля в их теле пропала, тем паче снаряд, то до смерти за это в ответе твоя судьба

а во двор к саврасовым днем прилетели грачи, а у суриковых утро казни стрелецкой вовсю! там вдали художник от бога рисует сюр, без границ поскольку в ночи в лазаретах врачи

^{*} Международный уголовный суд в Гааге

дай же боже перед расстрелом тебя обнять: мы не брали пленных, не ведали, что творим, мы ведь твари божии, господи, без ветрил, без руля и былого в раскосых глазах огня

по пятьсот куинджи на брата и к днепру понтон – долетит и «скад» до его середины, и даже «град»: нас куда дорога ведет? как известно, в храм, а убитых на ней в темноте закопаем потом

03.09.2022

* * *

мальчишки, забыли вы что-нибудь здесь? вишь, как по обочинам вас разбросало: вон в корчах один, как объелся гвоздей, другой, как набрался хохляцкого сала

что спать не дало в многодневном пути? язык на допросе раскрыл: шел на киев, довел всех и сдал, как ненужный утиль, как скарб прохудившийся души людские

был дан вам приказ, и маршрут, и паек — стал вашим убийцей, вас к братьям-славянам пославший: вас ранняя смерть отпоет, подгонят по росту бушлат деревянный

ребята, ведь вас привели умирать и всем вы враги, никакие не братья: здесь выйдет навстречу вам чья-нибудь мать, чтоб плюнуть в лицо со словами проклятья

вы вторглись туда, где никто вам не рад, пошли на одессу, а вышли к херсону, но дальше дорога спускается в ад, где встретит антихрист с болезнью кессонной

03.02.2022

* * *

- я всех приглашаю к обеду, - она предложила спокойно, приветливо, с легкой усмешкой, - ну, как говорится, по коням!

был свет, бил откуда-то сверху; был стол, сервированный пышно, и в комнате круглой без окон стоял неземной аромат, и дивный «пинк флойд», но, возможно, и «ногу свело», еле слышно звучал отдаленно, оттуда, и это сводило с ума

гостей усадила в каком-то порядке, одном ей известном – набилось порядком, в застолье по-родственному и не тесно:

мой дядя с семьей из херсона, пропавшие без вести в марте; племянник, убитый под бучей; из харькова шурин с детьми (жену его из-под завала спасли вместе с пуделем мартой); сгоревшие в комнатах заживо в ворзеле я и мои

одета, как хиппи, в тунику с привычной к прикиду косою, горилкой она привечала, ржаным караваем и солью!

на лбах пеплом z выводила – земли всем досталось навечно, вносила, шутя, похоронки в заоблачный вордовский док: мы пили до дна, до зеленых (как здесь, так и там) человечков, и тост поднимали за тостом за тех, кто уже к нам идет

на закусь подали нам печень, сердца, требуху, студень мозга всех наших врагов незабвенных, земных палачей – здесь все можно

здесь можно, как плов, есть руками, в живую их плоть проникая, и видеть, как корчатся в муках они наяву и во сне — от гостеприимной хозяйки ее поцелуи, не кары, им передавали, надеясь, что скоро им встретиться с ней

она шутовски нацепила себе длинный нос буратино, «чтоб жизнь удалась, – пошутила, – а то ведь без носа противно!»

и впрямь, это мертвое место пугало, пока было пусто... но главный вопрос оставался среди бытовых пустяков о том, что когда душегубов введут, за наш стол их не пустят? она обещала: в сортире им жрать из цветочных горшков

04.04.2022

Андрей Грицман

ЛИТПРОЦЕСС

Строфы и строки
Премии грамоты
Русская грамота
Анжамбеманы
Прения, чаяния
Силлаботоника
Резко, как выстрелом, – всё позабыто
Только просодия протоотчаяния

Только подсчеты заметки и списки Стингеры, Танки и БТРы Сводки, сирены, черные скверы И перебежки в радиус риска

Всё, что накатано, Всё, что написано, Стало бессмысленно В зоне безумия Харьков Херсон Мариуполь и Сумы В жженном мозгу Бешеным зуммером

Вот и хватило на век наш Беспамятный Крови текучей Горючего черного Жовто-блакитного от возгорания Рваное жовто-блакитное знамя Реет над нашим обугленным зданием.

* * *

После римских чудовищных игрищ Азазель судьбоносный вздремнул. Сьел на завтрак питательный овощ, На экран полнокровный взглянул

Просчитав в перерыве медали он холеные рыла собрал. Приказал нажимать на педали, закрутился смертельный аврал

Море, небо, земля — всё покрылось мокрым, слизистым слоем речей. И кивают холеные рыла обладателю страшных ключей.

Смертно смотрят из нашего века кто коснулся последнего дна. Пахнет серой, и кровью, и мраком, И идет не война, а резня.

АВГУСТ. 1968-2008

Преображенье. Осень не настала. Пьянящий дух от яблок, крови, водки. Я помню паровоз «Иосиф Сталин» и у Джанкоя ржавую подлодку.

Свободный мир за пару километров: Комфорт Москвы с ее теплом утробным, с загробной вьюгой, поземельным ветром. Родной брусчатки хруст на месте Лобном.

За сорок лет уж все давно забыли цветы на танках, как навис Смрковский над площадью, где Кафка в черной пыли писал письмо Милене, ставшей дымом.

Броня крепка и танки наши быстры по Приднестровью, по пустыне Гори. Мы – по долинам и по дальним взгорьям, от тихой Истры до бурлящей Мктвари.

За сорок лет ракеты заржавели, сотрудники попали в президенты. Всё так же Мавзолея сизы ели, хотя и потускнели позументы.

Но черная река всё льет на запад, и шоферюга ищет монтировку. Над Третьим Римом хмарь и гари запах и ВВС на рекогносцировке.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Мы ведь всё уже проходили. Газеты – плохо выученный урок. Словно свет небес погасили, стал не виден обитый нами порог.

Где не раз спотыкались, ломали кости, надежды, и судьбы тех, кто лежит в гробу, как в школьном пенале, взяв на память свой первородный грех.

А ему не до нас. Ждать потопа, Гоморры? Кто знает плату за идиотизм? Молчит, задремав, Средиземное море, закатным оком блеснув на миг.

Что делать? Ответ сгноили. Но всё же: детей не есть, барана разбить, кровь не хлебать, и тогда забрезжит на той стороне, где земля родная, охранная линия береговая, до которой нам никогда не доплыть.

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ

Побывал я недавно в стране ГРУ, где алеет восток на пустом Москворецком. Там хожу по проезжей, искушая судьбу. Что ж в Москве не бывал я в мертвецких?

Были лучшие годы — серебряный спирт, Жигули, то есть пиво с прицепом. Где в больничном листва прошлогодняя спит, Via Vitae — пустынным лицеем.

Ну а мне-то что нужно? То девушкам знать. Украшают пленер тот унылый. Если честно – им нечего больше и ждать. На перроне судьба их застыла. А они все же верят в живую судьбу. Понимаю и тоже я верю. Помню светлых, им тесно в осинном гробу. Запах почвы, пропитанной серой.

Как и раньше, шеренги на запад идут. Край наш скошен полковничьей бритвой. Каждый третий ступает по тонкому льду, и на свору шипит Лжедимитрий.

Поучают детей в ожиданьи татар. И грозят нам светящейся палкой. По сосудам плывет маслянистый товар. Хорошо всё. Людей только жалко.

* * *

«Слово и дело! Слово и дело!» Клочьями крик по замерзшей равнине. Снова ворота помечены мелом. Леший с корягой ждет и поныне.

Всё еще звон от монгольского гона. Всё еще свет от костров поминальных. Теплится кровь от тихого Дона. Гуд поездов товарных и дальних.

Выдох и вдох на широких равнинах. Слышится колокол по перелескам. Щерится чаща в дзотах и в минах. Но по прилавкам колбасных обрезков,

пива навалом, воблы и сала, наглых девиц и бездонного газа. А на Днепре им все еще мало! Мало им было с прошлого раза!

Еле заметен на небе едином облик звезды первоначальной. Дышим ползущим удушливым дымом, вместо бесцельно погибших печальных.

Анна Гальберштадт

* * *

Как называется это тяжкое время, беременное мраком и взрывами? Русские в Клайпеде протестуют, на животе надпись: «Я говорю по-русски, но я против войны с Украиной!» Литовец пишет в историческом блоге, что улица Русу (Русская), на самом деле была названа в честь русинов, которые жили в средневековой Литве, когда русские прозябали в Московии. Снова мы разбираем кровь по ниточке и гены по ленточке, веки по отсутствию или наличию эпикантуса, правда, Балтика, кажется, уже впитала меньшинства в свою ткань, в свой сырой лен, свою соленую влагу. Им не привыкать, в пограничье не такая флюидная гендерность, как флюидная нацпринадлежность. Молодые уже не подписываются ни на коммунизм, ни на традиционноантисемитский и нетерпимый национализм. Аллона Ивановайте и Акива Шимонис флюидны, как водяные, они пионеры озер и полей, дятлов и белок, яблок с румяным бочком под водой на тяжелой ветви, погруженной в Игналинское озеро.

ТАКАЯ ИСТОРИЯ

Обычное необычное историческое время корабль кренится или вовсе идет ко дну. Такое уже было. В доме моего прадеда в Вильно в Первую мировую стояли немецкие офицеры.

На старой фотографии, присланной одноклассницей, на пятиэтажном здании на Кальварийской вывеска: Офицерский клуб Halberstadt. По словам бабушки, которой я не знала, немецкие офицеры тогда вели себя очень цивилизованно. Брат деда, инженер, жил в Германии и был женат на немке. Они нередко гостили у литовских родственников. А потом немецкие офицеры и некоторые местные жители перестали себя вести цивилизованно. И в 41-ом бабушку, ее мать и старшего сына убили в Каунасе. Во время Второй мировой войны, которую отец провел на фронте, ему повезло. Он был ранен дважды, но выжил. Когда в шестьдесят семь у него стало останавливаться сердце и он лежал в ожидании операции в госпитале Астория Дженерал с пульсом в двадцать ударов в минуту, что не очень совместимо с жизнью, а машина с пейсмейкером застряла в снежном буране, отец сказал мне: «Мои родители оба погибли в пятьдесят семь. Чем же я лучше?» Вот и сейчас, когда казалось бы пандемия и стала тем испытанием. которое выпало на нашу долю, оказалось, что нам придется увидеть кадры такой разрухи в Европе, остатки которой мне пришлось увидеть в детстве. В старом городе Вильнюса, где я выросла, еще десятилетиями после войны стояли развалины домов,

стены без окон.

Одна обрушилась через мгновения после того, как мы с папой зашли в книжный магазин напротив на узкой улочке и свет померк в середине дня. И вот снова — беженцы бегут из Украины, едут, идут пешком кричат, закрывают голову и детей руками, молят бога, проклинают тех, кто это придумал. Тех, кто, казалось, вел себя цивилизованно. А потом перестал.

18 марта, 2022

* * *

Крым-брюле Крым-тартар Крым-караим Кара им Нам гашиш Им шиш Ку-ра Ура Ку-рок Рок Не в прок

Крым в крик! «Крым-зионерам повысят пенсии Артек-улируйте свои претензии Деньги там тоже станут русские Запретят хип-хоп, интернет И джинсы узкие»

Крым уплыл Он на пути к Путину Запутину-Распутину Перепутину-Напутину Напутали Перепутали Крым скрымздили Слямзили Про-Обамзили

А людей-то как жаль...

2014

* * *

Боже мой, готтеню, меня никогда не научили правильно молиться я умею только говорить с тобой голосом испуганного кролика, который прячется за кустом так, что его глупый хвост торчит из-за угла я умею говорить с тобой голосом енота-мамаши, которая тащит своих детенышей полосатых за загривок, куда подальше от двух орущих женщин, обнаруживших ее гнездо у себя в дачном сарае. Я умею молиться тебе, как засыхающее дерево простирающее голые ветви к воспаленному небу или как прибой, который бъется о дощатый пирс в море, залитом лунным светом.

На пожелтевшей фотографии

десять евреек

полураздетых стоят в обнимку

мучительно сжимая друг дружку

спиною к яме в ожидании расстрела.

Снимает их какой-то неведомый палач в Понарах где же ты был тогда

о Боже, ты мерзавец!

Я бы хотела верить, что люди, несмотря на всё, хорошие в душе, как написала в дневнике пятнадцатилетняя Анна Франк.

Я, маленькая советская пионерка в алом галстуке, отдаю тебе салют!

И все-таки я верю в синергизм улья сложную гармонию и танцы муравьев в муравейнике

божественную архитектуру плотин построенных бобрами до тех пор, пока бешеный охотник не подстрелит самку и горюющий самец не начнет выписывать круги оплакивая подругу в окровавленном пруду.

* * *

God, Gotteniu, I had never been taught the formal language of prayers I can only talk to you in the voice of a scared rabbit hiding in the bush with his stupid little tail sticking out I can talk to you in the voice of mama racoon carrying her striped offspring one by one by the skin of their necks away from the two screaming women who had discovered her nest in their country house shed. I can pray to you like a drying out tree stretching naked branches at night into the tangerine sky like the tide lapping against the side of the wooden pier in the moonlit sea. In the yellowed photo ten Jewish women half-naked clutching each other in anguish standing with their backs to the pit ready to be shot photographed by some unknown executioner in Ponary where were you then, God, you bastard? I wish I believed that people are good at heart like the fifteen-year-old Anne Frank. I am a little Soviet pioneer in a red tie saluting you. I do believe, though, In the synergy of a beehive complex harmony of behaviors of ants in an ant hill

divine architecture of beaver dams before a mad hunter shoots the female and the male begins madly swimming in circles mourning his mate in the bloody pond.

* * *

Может быть, и агностик, но всё же не совсем атеист, в минуту, когда все сходится в одной точке – отправления поезда из Однажды в точку Никуда через транзитную остановку в Когда-то. Однажды были Мы и воздух был густым и сладким, как запах жасмина в майскую ночь и прохладный ветерок приносил облегчение после дневной жары. А вот когда тьма сгущается и De Profundis – из безлны к Тебе (если ты существуешь) взываю вдруг ты посылаешь знак доброту встречного

доброту встречного какого-нибудь малознакомого или вовсе чужого тебе человека который внезапно откликнется когда всё летит в тартарары — как прикосновение крыла твоего ангела, который пас тебя в детстве и потом исчез, только легкое тепло его крыла или память о прикосновении остались.

ТЬМА СГУЩАЕТСЯ

Свет превращается в блики на серой стене запах горелого клочья обгоревшей бумаги — черные мотыльки. Пожар пожирает время уносит в будущее

без действующего лица там, на блошином рынке, уже прошли года желтый бакелитный браслет и пуговицы от мундира перемешаны с генеральскими звездами черепаховыми гребнями тростью с хоботом из слоновой кости вазочкой из страусиного яйца. Почерневшие от копоти дипломы престижных университетов потрепанная лицензия зубного врача две тысячи... того года фотография юной красавицы с тонкой талией в корсете но без липа.

ЖИЗНЬ РАЗМАТЫВАЕТСЯ

Как редко связанный свитер весь в дырах — не заштопаешь, как залитый зеленой желчью кишечник вывалившийся из живота юного солдата раненного разрывной пулей на поле боя, отец рассказывал внуку Саше.

Катастрофа сменяет катастрофу отношения распадаются растут горы взаимных обид. Где же троянские воины в блестящих доспехах? Да и Троя вся была размером с деревню где цвета старого бургундского кровь смешанная с потом

струящаяся из раненного мускулистого плеча, в грохоте битвы?

Не до театральности тут Увы! Вход в театр заколочен досками. Бархатные пурпурные и алые плащи шекспировских героев переброшенные через спинку кресла собирают пыль.

Любовь и Красота добродетели и музы скучают в карантине или ретировались вовсе. А может быть ждут терпеливо в очереди чтоб протестироваться, прикрывшись маской.

13 июня 2020

Бахыт Кенжеев

* * *

Те, кто двуручных не влагали мечей в военные ножны, досель блаженствуют в валгалле, вдали от дома и жены.

Там мед рекой, там слава смелым, там песня грубая строга, там тучный зубр навстречу стрелам подъемлет полые рога.

А тут – похмелье, бездорожье, жизнь допита, считай, до дна, и старость в наказанье божье гражданским лицам суждена.

Припоминая дни иные, так и зимуют, дурачки, теряют челюсти вставные, трут запотевшие очки,

сквозь глухоту и катаракту пытаясь цельность бытия восстановить, вернуть хоть как-то на круги, значитца, своя.

* * *

Спит в норе хорек, не добыв синицы. Счетовод, зевая, свою тетрадь закрывает. Верно, пора учиться вечерять, смеркаться и догорать.

Так издревле во имя Отца и Сына догорает, огненный крест влача, богачам — свеча, беднякам — лучина, невезучим — лампочка Ильича.

C'est la vie. Не жалейте о ней, коллеги. даже если вам позабыть слабо о нетающем прошлогоднем снеге под мостом, как водится, Мирабо.

Разберем опустевший Ковчег Завета, да немножко выпьем на ход ноги, добавляя иссохшие ветки века в погребальные очаги.

2022

Марина Темкина

ПАРАД 9 МАЯ

Вот я такой лихой веселый пропрозябавший на балконе сорок второго этажа. За мной, как в мультике, толпа из облаков простынной рвани, надутых шариков цыгане, люд голопуз и голозад, дрейфующий на льдине с пеной на взбитых сливках, в толстом мыле маркиз, Петрушек, париков напудренных Людовиков.

Великое переселенье народов-беженцев, шлея в бинтах, в повязках, на протезах скользят по небу, и рябит от пятен солнца с ястребками. Вьюки и блеянье овец, смотри, из шелка тюбетейки, папахи, паранджи летят на фоне фрески Вознесенья, на крышах Тьеполо в углах.

Реклама дирижаблем с пастой огромным тюбиком висит с бельгийским кружевом оружий и млечным запахом детей, растущих, годных к строевой, «Вперед, товарищи, за мной!».

Вот бутафория трибуны. Сквозь бедовые полевые кухонные пары стряпни и поварские колпаки мне непонятных экзекуций я партизаном в маскхалате, в секрет назначенным дышать и никого не выдавать. Ребята, не еда ль за нами оставлена в подкорке войн, всех на убой. Сама завой. Они узнают, что шпионом стою столбом у катафалков (о, счастье гробовой доски!), цветы и флаги за спиной, снабженцем армии чужой и рация моя со мной.

2020

* * *

Говорят, опять кончается эпоха. Я не Галич, не Высоцкий с Окуджавой. Говорят, с правозащитой очень плохо, и нам новенького Сахарова надо.

Я не гаррик, у меня всё в женском роде, помню, как нас стало много, было мало, даже нас на демонстрацию хватало, а теперь мы в кулаке вроде-Володи.

Сторожа, истопники, гип-гип лифтеры, феминистки – иностранные агенты. Как Арину схоронили с Королевым, дверь закрыли. Мы в остатке. Детки в клетке.

14 августа 2021, Нью-Йорк

СТИХИ О ДРУГИХ ВОЙНАХ

1

Мой дед похоронен в Джанкое. Вот, думаю, джан армянский бежал от турков и «кое» какое-то кое-такое и что-то там еще, как в куплетах французских. Мой дед развел виноградник, в глаза винограда не видел, когда покидал местечко. Дом отобрали с садом и пароходик, стали «семья лишенцев». Дед не ревет, не стогнет, надо от них убраться, от Днепров, от штыков, и лучше на юг, теплее, может, хотел и дальше через море, кто знает. Дед Темкин Арон молчит,

он тебе не расскажет. Шестеро его детей арбайтен, поют на идиш в винограднике том библейском, это их Палестина. Всем выводком собрались со Славой, бабушкина сестра-близняшка, перед ее отъездом в Америку Кафки сделать семейное фото. Только прошу тебя не философствуй. Когда выселяли, отцу моему двенадцать, на фотографии ему семнадцать, всю жизнь разбирался в дынях, бахча, мандарины, стоял на фруктах, всё, что осталось от Крыма. Раскулачили деда, забрали лошадь, была водовозом, опять разоряют, прямо во время обыска на их глазах и умер, кому нужна такая жизнь? Оставшиеся оттуда быстро уехали. Зятья полегли за отчизну, внуки рассеялись, евреям всегда везет. Их дети, правнуки той могилы, о ней не ведают, заговорили на разных наречиях, друг друга на улице не узнают, и могут вполне оказаться на разных фронтах враждующих армий, как в Первую мировую. Теперь, говорят, татары закрыли лавочки, и еда исчезла. Моя подружка детства Таля живет в Хельсинки, татарка, составляет часть русского меньшинства. Этнос я лучше политики понимаю, когда не за кого голосовать. Август, 2014

2

Тихий, Атлантический, Индийский, Арктика, Антарктика, Страбон, Средиземноморье, Адриатика, выход к морю, набеганье волн. Дельта, островное человечество, теплое течение Гольфстрим, дюны, побережья каменистые, водопады, хлюпанье болот. Картография зелено-каряя, гобелены райские полей, научили плохо географии, той земли своей и не своей. Пасхи ли, Маркизовы, Суматры ли, острова на кобальте, пролив, горные хребты переминаются,

перешеек тоненько бежит по песчаным пляжам, где Карелия, Сахалин, Чукотка, степь да степь, рукавами речек загребаемы... Охристый песок Сахары здесь, где не надо быть ему, не Африка, пылью на Лиможские поля у моих окон прилег во Франции на машины, крыши, ставни, дом. Спрашиваешь, мол, куда податься бы новым открывателям земель. Контур карт послевоенный раненый, где она, Европа, где твой Крым...

2014

3. С НОВЫМ 1995 ГОДОМ!

Я представляю себя танцующей на балу в вечернем платье из шифона с Куртом Вальдхаймом в элегантной нацистской форме, мы вальсируем на фоне фотографий, увеличенных в полный рост котлованов отрытых дистрофиков Дахау, груды трупов на улицах Варшавского гетто, полуживых мертвецов на этапах между лагерями.

Я представляю себя танцующей на балу в белом фраке с Лени Рифеншталь. она в платье в талию с плечами, укладка валиком, все нами любуются, мы исполняем танго, прижавшись друг к другу, на фоне ее гениальных документальных фильмов о фашистских съездах свежевыбритых молодых мужчин с нежными шеями, тонкими запястьями тянущихся приветствовать вождя.

Я представляю себя танцующей на балу в лакированных лодочках с Эдиком Лимоновым, он как всегда загорелый, тонкий, очаровательно-провинциальный, со свастикой, с «Калашниковым» за плечом, в кожаной поперек груди портупее, мы движемся слаженно под звуки счастливых оркестров 50-х на фоне фотографий обрубков тел, убитых в Боснии, женских толп изнасилованных, беременных, простирающихся до горизонта.

Я представляю себя танцующей на балу шестнадцатилетней, юной, в мини-юбке с блёстками и полупрозрачной майке с Жириновским Владимиром Вольфовичем после его избрания президентом, он,

похудевший от пережитых волнений, в костюме от Диора, при свете прожекторов под открытым небом под радостное «Во-ля-ре! о, о!» на глобусе, уставленном гигантскими киноэкранами, где продолжается выгрузка тел умерщвленных в газовых камерах, закопанных живыми, инвалидов, а в новостях бомбят в Чечне и погибают по обе стороны военных действий, и зачитывают приветственные телеграммы от глав правительств европейских, и мы поздравляем друг друга с наступающим.

4. АПРЕЛЬ 1999

Война по телевизору. Бомбят. Спроси на улице в Нью-Йорке, кто албанцы, кто сербы, черногорцы. – Перестань, то песни южные славян, Альбениса «Цыганка».

То зверский эпос, дротики, быки, и ядерная выгорает травка, лежит в земле иси на небеси, иль это в танке. Буддистам кайф, у них нет времени приманки.

Не можешь не шутить и, значит, стыдно. И снится дальше, кончилась война, и можно рот набить и наслаждаться, и баня, и еда, и простыня.

И дети без увечий, не боятся ни темноты, ни мочатся в постель, не видят страшных снов, где убивают то ль их самих, то ли на их глазах.

* * *

L'enfance de l'art commence avec l'enfance.*
Детство началось с войны.
Война началась с оккупации, пропажи необходимого, введения карточек. Безопасность и нормальность исчезли.
Выживание совсем не позволяет любить ребенка.
Выживание, оно не о том, чтобы брать его на руки и кормить. Война, она не о том, чтобы понимать нужды детей. Война

не занимается признанием детских способностей и талантов, ни тем, чтобы он был в центре внимания, чтобы уделять ему время, чтобы он мог расти счастливым, уверенным в себе, состоявшимся. Война сделала его пугливым, ранимым и одиноким. Она сделала его растерянным, неловким и нервным. Он не доверял миру, только своему другу комиксов Литтл Немо. Когда их освободили, он научился радоваться. Раны войны затягивались в процессе социально принятого занятия рисованием. Искусство становится его игрой и призванием. Его гневу еще предстоит проявиться, он выйдет наружу по мере роста, личного и творческого. Опозиционный подросток, он покинет дом. Конфронтация продолжается со студенческими событиями 1968-го. Он изобретает колесо и ездит по новым местам. Он ощущает себя свободным от любви-ненависти к родной культуре. Он учится ощущать свой внутренний мир. Он перестает чувствовать себя маргиналом. Он обретает независимость. Он участвует в глобальном изменении мира. Он трогает мое сердце. Эти двадцать пять строчек есть моя антивоенная пропаганда.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ Перевод с польского

Вот еще один год, когда я не был готов, но завтра, самое позднее, начну большую книгу, где век мой предстанет, каким он в реальности был. Солнце в нем всходило над праведниками и ублюдками, вёсны и осени в свой черед возвращались, дрозд лепил гнездо из глины в чаще, и лисы учились лисьим своим повадкам. Таково содержание, каркас книги. Армии в ней пересекают зеленое поле, вслух на ходу матерясь многоголосо и проклиная; дуло танка огромно вырастает из-за поворота улицы; начинается акция погрома в лагерной тьме, под вышками за колючей проволокой. Нет, не завтра. Не раньше, чем лет через пять или десять. Мозг не в состоянии уразуметь, в голове не укладывается мысль о матерях, и возникает вопрос, что есть человек, рожденный женщиной. Вот он пригнулся, прикрыв голову,

^{*} Детство искусства начинается с детства (ϕp .). Автоперевод текста-инсталляции на выставке Мишеля Жерара в Музее современного искусства. Ницца, лето 2008.

пинаемый коваными сапогами, бежит под огнем, горит ярким пламенем, свален бульдозером в глинистый ров. Ее дитя. С плюшевым мишкой в обнимку, зачатый в наслажденье. Я еще не могу говорить об этом, как принято, спокойно.

В БИБЛИОТЕКЕ МОРГАНА. 28 АВГУСТА, 2015

Первопечатная индульгенция, драгоценная, наконец-то я тебя вижу. Выдана папой Иннокентием Восьмым с его красной печатью и куплена 17-го июля 1489 года, она гарантировала временное отпущение грехов участникам Крестовых походов. Купил Ричард Хоптон, декан Итон колледжа. Так завлекали призывников воевать против Оттоманской империи в Палестине. Гравер тиражирует, надо поправить финансы, вот она, живая пропаганда войны. После Чосера, после рыцарей Круглого стола короля Артура, и действительно до Гуттенберга, и папа совсем невинный Иннокентий.

ИЗ СЕРИИ «ВИДЕОКЛИПЫ»

ДЕВЯТЫЙ

В мае мы ездили в Гавр по музейному делу. Кто-то из наших писал о Гавре, Бунин, Куприн? Матросы парлают по-всякому, балакают, польский, греческий, итальянский. Война с ними с каждым справилась, не разбирая страны. Блиндажная архитектура послевоенных построек для наскоро новорожденных и такой же новый собор.

Восстанавливают трамвайные линии, после войны разобранные. Улицу не перейти, непроходимый урбанизм. В некоторых городах Франции что-то погибло, как будто Холокост только что закончился, в Бордо, в Ангулеме, в Париже. Исчезнувшие с лица пытаются рассказывать непредставимые ужасы о человечестве, но их никто не слушает.

ТРИНАДЦАТЫЙ

Закат кроваво-красный, как будто кого-то убили в Илиаде, в Иудее или в Украине. Молись, если можешь, траве, птице и рыбе, воде, козе, барану, корове, чтобы выжили и кормили-поили в убежищах, в укрытиях, в приютах, в госпиталях, в горах, в пустыне, везде. Повтор. Остановка. Повтор. Автоматная очередь тра-та-та-та. Небо становится цвета пакли, взрыв, дым, чернота. Выключи телевизор. Радио вещает, обсуждает науку, чем отличается человек от животного зверя, оказывается, а то мы не знали, ничем. Крысы громко хохочут, когда их щекочут, но мы не слышим.

Марина Эскина

Не смотрю утром новости, и без них узнаю — все невинно убиенные уже в раю, — говорит огонь, который под сердцем в груди зажат, а убийцы — кто камнем лежит в земле, кто разлагается заживо в своем кремле — выстроились в очередь в ад.

Из прапамяти торчит арматура взорванных стен, рассеченное время ничего не дает взамен, это мама, в придачу к теплу и ласке, мне доверяет свою блокаду, прерывая зло, отодвигая ложь, хочет меня защитить крылом своей детской боли, в которой я, как в броне.

Мы с утра теперь не смотрим друг другу в глаза, потому что взглядом не пересказать, что случилось в этом безумном мире за ночь, потому что «гибель богов» – это смерть детей, и царапать ногтями грудь не поможет ей, матери, что в живых осталась.

Даже у музыки не хватает в октавах нот, кроны сломаны, сожжены, ветер в них не поет, дома нет, неужели цветы расцветут без спроса там, где был палисадник, где нет сейчас ничего, ни весны, ни пения птичьего, только лакримоза.

* * *

Язык только запинается, отвечая воющей заумью на зияющий ужас ясности, отраженный твоими глазами нет, не сто, десять тысяч лет назад, мир, ты так же сегодня чудовищен... ямб, хорёк, амфи-бия... что еще дыр бул щыр я могу сказать

* * *

Я - HИКТО,я – щепка, отлетевшая от разбитой оконной рамы, нас много, щепок; дом стоит, как эксгибиционист, демонстрируя свои интимные части всему миру - кухонные шкафчики, невымытую посуду в раковине; нет, это поруганная еврейка, в разодранной одежде, идет, спотыкаясь, вдоль улицы, подгоняемая улюлюканьем, взрывами хохота/снарядов, им обоим нечем прикрыть наготу; сознание/память воспроизводит увиденное снова и снова и деревенеет, я щепка, я никто.

Март-Апрель, 2022

Светлана Алексиевич

«Я поняла, что я – пацифист»

Это выступление Нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич состоялось в Москве пять лет назад, 10 июня 2017 года в Гоголь-Центре. После этого вечера в театре Кирилла Серебренникова, собравшего многочисленную аудиторию — в основном, молодежную, — мы попросили нашего автора, известного журналиста Надежду Ажгихину, вице-президента Европейской федерации журналистов, сделать для НЖ интервью со Светланой Алексиевич — текст интервью был опубликован в 2018-м (Светлана Алексиевич. «Мы совершенно не готовы к будущему». — «Новый Журнал», № 291, 2018). Однако сегодня я хочу дать возможность нашим читателям вчитаться в эту аудиозапись, сделанную мною для журнального архива, вернуться в тот год, познакомиться подробнее с выступлением С. Алексиевич, в том числе и с ее ответами на вопросы зала.

Марина Адамович, гл. редактор НЖ

...Я поняла для себя, что я пацифист. Никто меня не убедит, что человеческая жизнь чему-нибудь равна. Это все-таки Божественный дар, и он дан не для того, чтобы умереть где-то в Донбассе или в Кабуле, или в Сирии, или на крыше реактора — тридцать минут графит соскребать и приехать домой, собственно, чтобы умереть... Я поняла, что это мое неприятие войны — это, может быть, главная сегодняшняя тема. Каждый человек должен решить ее для себя сам. То есть как-то выйти из системы, не участвовать — при этом не обязательно с плакатом на площади, можно решить для себя — и ты тогда выходишь из этого круга, заговора этого коллективного, и продолжаешь этому как-то сопротивляться.

Я думаю, что когда-нибудь наши потомки — если они будут, если это время не кончится безумием, — потомки будут говорить о нас как о варварах. Мы обходились неважно с человеческой жизнью. Во время Второй мировой войны совершенно дёшево умирали люди, очень много. Я помню женщишу-повара, она рассказывала: «У нас были такие огромные котлы — и вот котел каши наваришь и супа, на 500-400 человек, а из боя возвращается десять». А Вы знаете, какими мужчины возвращаются из боя? — Они еще не пониимают, кто они, это почти стертая грань между животным и человеком. Они долго

приходят в себя; они боятся смотреть на животных, на женщин. Они смотрят куда-то в себя. Неизвестно куда. И я думаю, что это знание как-то ускользнуло от нас. В нашем апофеозе победы – о которой мы также правды до конца не знаем, – победы, которую нельзя отличить от поражения, – мы совершенно переориентировались с человека на какое-то другое знание о том, что такое жизнь, что такое человек... И любая историческая неудача возвращает нас назад – туда, опять в то состояние.

…90-е годы, 2000-е… мы были другие люди, мы, в общем-то, верили в другой мир. Но любая историческая неудача, как я говорила, она возвращает нас туда, назад. Сейчас мы можем сказать, что мы отброшены почти в средневековье. Даже сейчас, когда мы ехали сюда, — стоят толпы людей, чтобы увидеть реликвию (Пояс Богородицы, который тогда привезли в Москву. — M. Обряд, который совершается... — понимаете, это тоже всё убегание, убегание от главных вопросов.

Я думаю, что мы не можем так, как западные интеллектуалы, отойти в сторону и сказать, что дело интеллектуалов – это некая игра, мистификация, это познание самого себя... Может быть, я отношусь к другому поколению, но я чувствую, что у нас, во-первых, такой роскоши нет, потому что мы не шагнули в двадцать первый век, мы еще в двадцатом веке, может, еще дальше, - когда мы сошли с пути, на который мы, казалось бы, встали. Когда в 2000-м году я ездила в Европу – как люди радовались там, как они говорили: «Вы наконец-то с нами! Теперь нам не страшно жить в этом мире! – потому что мир был парализован страхом атомной войны. Теперь этого нет; теперь Горбачев с Далай-ламой говорят о добре и зле... Страх исчез, его как будто не существовало в нашей жизни. Теперь вы тоже другие; вы придете к нам!» Вы знаете, люди обнимались, целовались. Я уже рассказывала, как зашли в какой-то ресторан – а там пельмени «Горбачев», котлеты «Перестройка»... - можно было улыбаться всему этому, но то, как хозяин сразу начинал танцевать вокруг нашего белорусского стола, это внушало всем уважение. И вот этот ответ надо найти, я думаю, каждому из нас - общество должно найти, мы вместе: что же с нами случилось – почему мы опять стали «военными людьми»?

Мы опять стали «военными людьми».

Почему мы забыли то, что нам рассказывали наши отцы? Например, в книге «У войны не женское лицо» (у меня есть такая книга, в ней женщины рассказывают, как они убивали на войне, защищая родину) эта война все-таки как-то была оправдана. Женщины рассказывали, что когда объявили «свобода», «мир», то они расстреляли весь боевой комплект оружия – всё, что было, – сна-

ряды, патроны, и приехала комиссия — материальный ущерб такой! — а все искренне недоумевали — и проверяющий, и они сами: а зачем это всё больше? Людям казалось, что после таких слез, такого страдания, этого уже не может случиться. Никогда. Нельзя найти этому оправдания..

...Мы даже не представляем, в каком диком мире опять оказались! И я, которая когда-то отчаянно заходила, помню, в госпитале в Ташкенте в палаты, где были ребята без рук без ног, которые не хотели ехать домой – и не могли бы поехать: там мама, одна, и что она могла бы сделать с таким вот уже нечеловеком... – то сейчас я бы уже не могла зайти в такую палату. Потому что, с одной стороны, накопленное знание о человеке - который и прекрасен, и страшен одновременно. Когда я писала книгу войны, я не случайно ввела взгляд женщины – мне казалось, что у женщин и детей есть со-знание об этом человеческом безумии – вечном, не известно, каким образом укорененном в нашу природу, надолго - поскольку это было с человеком всегда, - мне казалось, что женщина может что-то рассказать, чего мы еще не знаем, – почему мужчина в форме нам нравится, и его культ присутствует в нашей жизни и как бы, кажется, неисчезаем... Женщины действительно рассказали о совершенно другой войне. Одна из героинь мне сказала: «Я расскажу вам о войне, от которой генерала стошнит, - генералы не знают войны. Я вам расскажу о рукопашной. Когда начинается рукопашная, я все-таки стою как бы в стороне (Она – санинструктор. – C.A.) и смотрю, куда бы мне броситься, кого спасать, - и я вижу: как только люди вплотную сходятся друг с другом, тут человек кончается». Тут остается некий биовид, что ли, не хочу сказать – животное, хотя то животное, что есть в нас, оно больше на всё реагирует, чем мы думаем, мы как бы только слегка припорошены культурой... Это всё мычание какое-то – люди не говорят «За Родину! За Сталина!» – или что-то подобное, – они мычат, там работает только одно: человек не хочет умирать, исчезать, – и это, конечно, наиболее сильное чувство в человеке (если он не одурманен окончательно пропагандой). Что меня привлекало в этих героинях, было понятно, близко, – человеку уже послевоенному? – Победа – это не то, о чем через сто лет надо говорить. Надо говорить, наверное, об опыте: как все-таки остаться человеком, как все-таки не стрелять, не убивать. Я думаю, и сегодня важно не стрелять. Я видела недавно по телевидению, как отправляли добровольцев с духовым оркестром в Донбасс... я думаю, сегодня герой тот, кто не стреляет.

И мне хотелось писать такие книги, которые бы человеку возвращали человека. Как писал Достоевский в своих дневниках, формулировал: сколько в человеке человека? Как вы знаете, его опыт

очень современен сегодня — этот подпольный человек, человек бездны, падающий в какие-то глубины самого себя; человек, в которого не проникает культура, который находится больше на уровне мифологии, — это всё люди, которых больше, чем других. В основном людей несет поток банальностей. Не так много людей, которые задумываются и имеют личную ответственность.

Даже сегодняшняя религиозность — она не породила чувство личной ответственности. Она опять всех сгруппировала в некое народное тело. А народное тело, как известно, — это чувстующее существо, но не думающее. И, уж тем более, не думающее о личной ответственности.

Дальше была книга «Цинковые мальчики». Это была уже война, на которую я могла поехать. И я поехала – чтобы увидеть, как это на самом деле происходит. То есть я уже была не только в пространстве чьих-то воспоминаний, чей-то мифологии - но женщины меньше всего мифологизируют войну, - хотя, конечно же, это нельзя вопринимать, как механический рассказ. Документа в чистом виде не существует, трамвайный билет – это «документ», а документ – живое существо. Это версия человека, и у каждого – своя версия. И для того, чтобы добиться правды в своих книгах, я стараюсь, чтобы были версии других, которые смотрят на события с разных сторон. Одну войну видела летчица, вторую - вот эта женщина, которая с рукопашной, третью - пулеметчица, которая стреляла в кого-то невидимого. Она признается: главное, когда стреляешь на войне, не встретиться глазами с тем, в кого стреляешь. Потому что, когда смотришь в глаза, понимашь, что там тоже человек. А война требует бездумья. Тогда можно убивать. Тот знаменитый стрелок... как его фамилия... который был одним из первых в Донбассе, он говорил, что где-то около недели труднее всего было заставить людей стрелять друг в друга: украинцев стрелять в русских, русских – в украинцев; чтобы из мирного времени шагнуть куда-то туда – в то пространство, где совсем другие точки отсчета, совсем другие критерии, где дают медали и ордена за то, за что в мирной жизни сажают в тюрьму, там... нелегко этот шаг сделать. И какое-то время люди делали это нехотя, по принуждению, а потом, когда появляется кровь, то уже...

Когда писала книгу «Цинковые мальчики» – это была уже другая война. Это было другое оружие. Это были мальчики, которых я знала, которых учили мои родители и я, которые были в нашем доме, были в деревне, где я жила, которые были везде – это были люди моего времени. И где грань перехода из мальчика в *человека стреляющего* – то, ради чего я хотела написать эту книгу: как обыкновенные люди ста-

новятся убийцами. Может ли человек, находяйщийся в системе, этому противостоять? И что может культура?

Так вот, когда я оказалась сама на войне, то я поняла — как формулируют сами мои герои, — что когда ты взял автомат и сел на броню танка, то ты уже другой человек. Ты уже не тот человек, которого мама водила в хореографическое училище, или который учился на пианино играть, или который поцеловал девочку перед отъездом... нет, в тебя уже вселялся бес накопленной военной культуры.

<u>Военная культура — эта та культура, которая пронизывает</u> наше общество.

Военная культура — эта та культура, которая пронизывает наше общество, — я могу сказать о советском обществе и о славянском, которое я знаю лучше всего, — это единственная культура, которая безоговорочно властна над нами. Она властна не только потому, что зло имеет давнее генетическое накопление в ядре и оно гораздо более тренированное, чем добро, — добро выглядит беспомощным рядом со злом, и надо признаться, что есть темная сторона искусства, для которого добро и зло одинаково интересны.

Меня поражало, например, на войне – той, которую я видела в Афганистане, – как много красоты! Это странно звучит, но смерть и красота – рядом. Как летят снаряды в ночном небе... Как поют ребята вечером... это никогда не было хоровым пением, каждый пел на своем языке. Я слышала молдавскую речь, украинскую, русскую... Вблизи смерти люди открывают в себе то, что может быть для них в обычной жизни очень далеко запрятано. Я помню, мне одна медсестра, из книги «У войны не женское лицо», говорила, как учил ее старый профессор: «Когда раненые кричат, ты не всегда беги, потому что ты должна тоже поспать; ты беги только тогда, когда человек кричит на своем языке. Вот тогда он умирает. Это уже близко к смерти». И вот эти вещи были для меня, как никогда, оголены там, в Кабуле, в Афганистане. Потому что не было того, за что можно было бы спрятаться. Потому что, если речь шла о Второй мировой войне, то человек убивающий мог сказать: «Я убивал за родину». И он был прав. Хотя я встречала одного старого человека, который завещал свои ордена и медали в церковь, сказав: «Да, я защищал родину, но я всетаки убивал». И чтобы ближе всё это понять, я вглядывалась – даже можно сказать, для того, чтобы написать, я вынуждена была разглядывать - вблизи зло, боль, страдание... Без этой отстраненности от полной вовлеченности в то, что видел, никогда нельзя было бы написать. Я помню, например, такой случай, когда в первую же неделю, когда я туда приехала, была выставка – наверное, для иностранных журналистов – современного оружия, которое захватили у моджахедов. И знаете, это оружие очень красивое. Человек достаточно много времени потратил на то, чтобы сделать зло красивым.

Человек сделал зло красивым.

Вообще, военная культура – это огромная культура. И особенно мужчины – они заложники этой культуры. Им с детства говорят, что они должны убивать. Слово должны значит могут. Значит, ты можешь себе это представить. А когда ты вырастаешь, ты уже прекрасно понимаешь, что это не мультики – ты дейсвительно можешь убить такого же парня, как ты. Многие люди над этим задумываются. Меня поразили разговоры с людьми, которых я застала на войне. Это был – я могла бы сказать – некий крик: хочу к маме! То были мальчики, недавние школьники, - вот он говорит, говорит что-то, пыжится... а потом вдруг сядет – и расплачется: «Я стреляю, потому что я не хочу, чтобы меня убили». Та война уже не имела никакого смысла. Все эти отблески мировой революции, они были наивны, мягко говоря. Об этом говорили сами афганцы: «Мы не знаем, что вы здесь делаете; у вас там всё трещит по швам – а чего вы сюда приехали?» Когда военные приезжали, собирали весь аул: сегодня будем делить землю. Делят землю, нарезы – как после Гражданской войны, после революции русской, – а дехкане... они даже не смотрят в ту сторону. Подполковник говорит: «Иди, бери!» – а дехканен: «А ты что, Бог – чтобы дать мне землю? Ты поезжай туда, домой, – и там давай землю».

И вы знаете чувства людей, наших солдат? – Вертолетчиков, с которыми я поднималась в небо, – а там внизу лежали, блестели на солнце тысячи цинковых гробов... Они сами признавались, особенно когда из офицеров рядом никого, один на один (поскольку доносчики – они всегда и везде у нас): «Взлетаешь и видишь эти ящики, и думаешь: вот там где-то твой ящик, скоро ляжешь, а за что – неизвестно. И почему я должен убивать человека, которого я не знаю? Не знаю ни культуру его, ничего...» Я лично оттуда приехала свободным человеком. Я думаю, Афганистан освободил немало людей. Которые тоже оттуда приехали свободными. Их уже не так легко было обманывать, всучивать им какую-то идею и говорить, что во имя ее можно убить другого человека.

Еще есть книга «Последние свидетели. Соло для детского голоса» — война глазами ребенка. Но это совершенно как бы ангелы... они не отвечают за наши взрослые дела. И они оказываются там — в том времени и пространстве... Немцы входят в госпиталь, где держат детей из детдома, чтобы взять у них кровь, — а дети кричат: «Папа идет, папа!»... Сталкиваются взрослый мир и детский мир. Это совершенно чистый взгляд на войну. Для ребенка нет врага. Есть папа —

мужчина. Так же, как для женщин труднее всего было научиться убивать, как они рассказывали, особенно снайперы... Она говорит: «Вот я вижу — выходит красивый немецкий офицер, я вижу его в оптический прицел, вижу, что он красивый... что он ненамного, может быть, старше меня, — и невозможно нажать, чтобы выстрелить... А подруга: стреляй, стреляй, а то уйдет! А я не могу стрелять». И очень много понадобилось времени, чтобы научить стрелять. Там людям помогала ненависть перейти через эту черту.

Сейчас, наверное, в войнах, которые, скажем, в Донбассе, в Украине, – наверное, тут гораздо сложнее. Тут ненависть, еще чтото... тут очень много всего замешано. И я думаю, что придет время и мы больше поймем себя, и меньше найдем оправданий себе, что мы промолчали.

Я думаю, что сильная власть — она сильна тем, что кажется непроницаемой. И одному человеку трудно вырваться, и каждый чувствует себя беспомощным. Войти и раздробить это тело — для этого надо накопление какой-то мощной энергии; долго эту энергию надо накапливать.

Последняя книга «Голосов Утопии» – это «Время секонд хэнд». Развал империи. Это бойня на окраинах империи. Это развал идеи, окончательный. Если во время Второй мировой войны идея была молодая, сильная, – было первое, единственное советское поколение, которое верило. Другие бы люди в той войне не победили; нужна была только эта фанатическая вера. Например, у меня описан случай такой: когда наши войска входят в Петрозаводск и прибегают жители и говорят, что только что - ну вот полчаса - расстреляли девушкупартизанку, и у всех было такое желание – бежать и раскопать эту могилу – а может, она жива... Нашли переводчика – там стояли фины. И вот финский офицер не хотел расстреливать эту девушку, она была очень красивая, он сказал ей: «Мы отступаем, мне идти с этими солдатами еще долго до моей родины, и поэтому я прошу тебя: чтобы я тебя мог отпустить, ты скажи два слова: Сталин – дерьмо, – и я тебя тут же отпущу». Он просил ее минут пятнадцать, и она не сказала. Понимаете... вот таких людей уже, конечно, не будет. И когда я разговаривала с этими женщинами, было абсолютно очевидно: это какие-то другие люди. Можно было, конечно, считать их фанатиками, можно было много чего говорить о них с позиций нашего высокомерия – из другого времени людей, но оно недорого стоит, это высокомерие, потому что в своем времени мы, в общем-то, такие же – мы повторяем тот же ход. Тот же путь.

«Время секонд хэнд» – это опять-таки война, и чернобыльская

книга — «Чернобыльская молитва», которая была у меня, — тоже война. Но война уже с выходом в другую, новую реальность. В ту реальность, которая нас ждет. Потому что дальше нас ждут более страшные войны, чем войны человека с человеком; наверное, природа будет воевать с нами. Природа будет говорить нам, где наше место. Как это было в Японии, на Факусиме, — там такой фильм крутят о тайфунах, и там видно, как в течение 15 минут от всей этот цивилизации, одной из лучших и самых современных цивилизаций, остается куча мусора. Когда корабли летают, как перышки... И вот рядом с этим — человек. Человек, который вообразил, что он — властелин всего. И я думаю, что это тоже война, но только война уже в новой форме.

Я помню, как из Чернобыльской зоны выводили людей, это делали военные, и к нам – я стояла с теми, кто руководил, – прибежали солдаты, говорят, что одна женщина не хочет уходить из своего дома, ее не могут силой увести. И тогда я пошла туда. Она, увидев меня, женщину среди мужчин, осказала: «Девочка, разве это война? Ты посмотри: птицы летают, даже мышку утром видела, цветы цветут, солдаты свои – а я должна уходить со своей земли? Должна бросать свой дом?..» И вот вокруг был всё тот же мир, который нам, казалось бы, знаком: небо, земля, цветы, но... на землю сесть нельзя, цветы рвать нельзя, фрукты – не дай Бог взять... Никакой рыбы, никакого молока... Ничего. А ты не слышишь ни запаха этого нового зла, ты не можешь дотронуться до него руками, ты не слышишь... А люди вокруг бегают с автоматами – они приехали на ту, знакомую, войну – когда много техники, много людей – и всё, мы победили... А тут... в кого стрелять? Мир стал перед совершенно новой катастрофой. Чернобыль перебросил человека из одной реальности в другую. Но, к сожалению, люди живут после Чернобыля – как и до Чернобыля. Можно повторить вслед за Адорно: как можно писать стихи после Аушвица? – Так вот у меня, когда я была там, ездила десять лет по этой зоне и пыталась собрать это новое знание, - тоже было такое ощущение, что ты уже не русская, не белоруска, не француженка, а представитель биовида, который может быть уничтожен. Мы заглянули куда-то так далеко, но делаем вид, что этого с нами не было.

То есть незнание, которое поразило нас первым днем Чернобыля, – оно продолжается. Люди по-прежнему стреляют друг в друга, по-прежнему политики говорят, что наш лучший друг – армия и флот, хотя Чернобыль уже всё изменил.

Что такое далеко-близко после Чернобыля – если чернобыльские тучи на червертые сутки были над Африкой? Что такое свои-чужие? У нас, у белорусов, нет атомной станции – но просто четыре дня ветер дул с Украины в нашу сторону. И Чернобыль стал как бы нашей

проблемой. И в Швеции, во Франции... То есть то, что мы называем войной, сегодня наверняка уже выглядит иначе.

У зла уже другие лица. Их много – и мы не всегда можем их различить. И можно сказать, что человечество к этому не готово. Мы попрежнему считаем, что должна быть сильная армия, должно быть много оружия. Но мы совершенно не готовы к будущему.

Из ответов на вопросы

Написав «Голоса Утопии», я сказала всё, что я могла понять об этом времени, о русском коммунизме, социализме... И я написала это потому, что, я думаю, коммунизм не умер. Мы были романтиками в 1990-х и 2000-х, думая, что коммунизм мертв. Это более живучее существо. Оно живет в человеке: равенство, братство — абсолютно нормальные идеи, вечные человеческие идеи. Другое дело, что я написала как бы о русском исполнении — о советском исполнении — этой идеи. Как у нас это было и почему это было. И постаралась, чтобы ответили сами люди.

А потом я задала себе вопрос: ну вот, ушла эта великая идея, которая, как мощная такая плита, придавила нас на сто лет. А что потом с человеком? Человеку же всегда надо за что-то уцепиться. Мне кажется, тот ренессанс религиозный, который у нас сейчас, он же не оттого, что человек прошел духовный путь. Для большинства людей это бегство. Бегство от свободы, желание опять сбиться в это мощное тело. Не чувствовать свое одиночество. И тогда я подумала, что частная жизнь, о которой всю жизнь мы пренебрежительно говорили, да и сейчас считаем, что это что-то такое вульгарное, люди стали слишком заняты вещами... может быть, это ответ на тот аскетизм, на то время, когда человек никогда не жил для себя... когда человек не знал мир счастья, мир дома... Это какая-то совершенно не известная нам территория. А частная жизнь, жизнь, когда человек один, - новая жизнь, предоставляет нам такие возможности, когда человек сам себе будет ВСЁ.... И очень важен будет другой человек, рядом с ним. Кто следом идет. Переоценка вещей произойдет. И тогда я подумала... рассказы о любви – это о тоске человека по счастью. У меня даже есть название для этой книги – «Чудный олень вечной охоты». Это у Грина есть такие слова о любви...

Революцию может сделать кучка революционеров, а перестроить Россию может только общество. Один таксист в Москве сказал: «Мы строим капитализм под руководством КГБ» Пусть эта власть делает непроницаемым общество, закрытым, но быть на стороне добра — это все-таки в силах каждого из нас.

В советское время я занималась русской утопией. Она говорила на русском языке. Казахстан, Украина, Беларусь — эта идея говорила на русском языке. Я и написала на языке этого времени. Но у меня три дома: моя мать украинка, моя бабушка была настоящая украинка, носила вышитые сорочки... мой отец — белорус (и это мой дом, поскольку я прожила там всю сознательную жизнь), но сложилась я в русской культуре. Я — человек русской культуры, мой дом — и русская культура тоже... Я думаю, это было такое время, которое как бы перепахало границы, и если бы каждый из нас стал рассказывал о себе, о своей семье, он тоже сказал бы, что состоит из многого — как человек будущего, или как люди, которых встречаешь в Европе.

Я считаю, что Крым – это оккупация... Получилось всё как бы вне закона. Мы выпали из Европы, оказались опять нелюбимыми.

Донбасс. Это развязанная война, развязанная Россией, — и такую гражданскую войну можно развязать везде, где есть болевые узлы. Ее можно развязать даже в такой мирной стране, как Беларусь. Можно натравить католиков на православных — если уж натравили православных на православных. Католики вдруг разобиделись (После интерью Алексиевич на канале «Дождь», в котором она высказала эту мысль. — M.A.); епископ написал целое письмо... Я думаю, что за всем этим присутствует такая невидимая манипуляция массовым сознанием.... Мы находимся в очень сложном мире. И благодаря технологиям, в том числе.... Надо всегда знать, что нами легко манипулировать благодаря этим технологиям. И надо меньше быть «коллективным человеком». Сегодня надо стараться быть *отдельным человеком*... Надо самому обо всем думать... Сегодня сохранить себя очень сложно. Это требует больших усилий, большой духовной работы. Но остаться человеком — другого варианта нет.

...Сегодня говорить о будущем — самое неудачное время, потому что эксперты потерпели полное поражение; ничего из того, что предсказывали, не случается. События происходят на каком-то иррациональном уровне. Все-таки раньше была некая преемственность.... Я уехала в иммиграцию в 2000-м году не потому, что меня судили, и было много опасностей... другие же живут... Но я приходила в Союз писателей — и у писателей горели глаза, они с восторгом рассказывали, как лежали в крови милиционеры, а милиционеры, наверняка, где-то говорили, как они побили этих демонстрантов.... В реанимации я увидела двух деревенских баб — они обе ревели: у одной сын — милиционер, а у другой сын — демонстрант... И я сказала себе: я никогда не буду среди тех писателей, которые будут радоваться чьей-то крови.

Баррикада — это опасное место для художника. С баррикады ты видишь только мишень: свои — чужие, черные — белые. А художник должен видеть весь мир цветным. Люди — разные, в них есть то и это, из них может быть то и это. Мы зависим от обстоятельств. И я хотела вернуть себе нормальное зрение. Я поняла, что я — человек баррикадной культуры. Мы — заложники этой культуры. И на сегодняшний момент эта культура — ловушка. Она рождает только ненависть, ничего другого она породить не может. И тогда я решила, что мне надо уехать из страны и увидеть мир. Как живет другой мир, что там происходит.

Мы смотрим на всё из собственных суеверий; всё самое главное происходит в России. А приедешь в какую-нибудь Колумбию – никому не интересно, что происходит в России, – они сами 60 лет воюют.... Но я никогда не хотела остаться за границей.... Я просто хотела увидеть *нас в мире*, а не нас в некоей придуманной истории.

Как говорил мой отец, историк по образованию: в нашей стране непредсказуемо не только будущее, но и прошлое. Рецепта нет.... Нет ответа. И я даже больше скажу: этим ответом сегодня никто не обладает. Ясно только одно: что ответ каждый должен искать сам. Единственная путеводная нить: ты должен быть на стороне добра. И никакая кровь не служит оправданием ничему. Быть на стороне добра, искать людей добра — и только таким накоплением — как волонтеры: цепочка, цепочка — и вдруг они делают больше, чем государство. Так и я думаю: должна накопиться некая общая энергия для взрыва большого. Тут каждый из нас может сделать — каждый может себя готовить ко времени, каждый должен себя очищать от этих ересей, от этих суеверий. Это большая работа, которую, к сожалению, приходится проделывать в одиночестве.

Я писала о человеческой природе, которая сталкивается с этим безумием и не сходит с ума от того, что ты можешь убить человека. Законно, с пафосом, убить другого человека. Тебе дают за это орден. А собственно, кто ты? – Никто.

Можно ли уравновесить кровь на руках политика какими-то положительными моментами в его политической деятельности? Для современного политика кровь не может быть оправданием слезинки ребенка, по Достоевскому. Я думаю, прошло то время, когда кровь можно было оправдать тем, что мы «прирастаем Сибирью», еще чемто. Теперь время, когда главная ценность — это человеческая жизнь.

Вопрос о банальности зла... Я думаю, сегодня нам досталось

плохое время. Мы думали в 2000-м году, что дальше будет красивое время. Нет, плохое время нам досталось. И демократия уступает – она уступает во всем мире, и ясно почему - страшно жить в современном мире. Страшно потому, что совершенно не известно будущее, и всё больше людей оказывается на обочине жизни. И еще больше их будет, потому что больше будет машин, и экологических проблем; природа начинает мстить и будет дальше мстить; очень много экологических беженцев, и их будет еще больше, - и надо приучаться к мысли жить с другими.. Я думаю, что противостоять этому тотальному злу можно, конечно, в демократическом обществе – тогда можно ждать что-нибудь от власти. Но для этого нужно гражданское общество – которое у нас подавляется тотально. Используется любая возможность уничтожить «иностранного агента» — тут же это делается. Я думаю, дальше будет еще хуже. Потому что ресурс доверия к власти - к такой власти, авторитарной, - он подкрепляется только или войной, или закручиванием гаек. Достаточно знать историю даже поверхностно, чтобы понять, что есть некая логика авторитарной системы. И здесь мы должны как-то объединяться друг с другом. Как-то противостоять этому, вместе. Не только противостоять Лукашенко в Белоруссии, но и в том, что страна, которая больше всех пострадала от атомного взрыва, - она не смогла бороться против строительства атомной станции. Сейчас у нас строится атомная станция – и это решение принял один человек. Все, кто был против, – всё тотально подавлялось вокруг... Цепочка страха, который передается. И я в который раз повторяю: никто этого не решит, ни один человек, только сообща... То есть каждый из нас должен стать вестником.... особенно для молодых: очень важно сохранить себя в это время, сделать себя за это время.

Об интересе к национальной культурной памяти... Это происходит во всем мире — это называется устная история. У нас этот жанр имеет другую традицию... Я думаю, память — это какая-то форма защиты, форма накопления знания и форма защиты. В 2000-е годы было ощущение, что началось совсем другое время. И я часто слышала от героев своих книг: «Дети мне говорят — сейчас это неинтересно, сейчас совсем другая жизнь.... сейчас полный культурный разрыв... и вся наша библиотека, которую ты собирала десятилетиями, — это сундук со старыми рукописями». Понадобилось время, чтобы мы поняли, что мы оказались в пустоте. Что никакого интерьера нет, есть интерьер пустота, и люди поняли: чтобы остаться людьми, они должны знать, что было раньше — и как это было. Ты не из «ниоткуда», ты — какое-то накопление... культурное, генетическое. Вот это усиленное обращение

к памяти — желание найти единомышленников — *там*, это накопление знания о том, *как* человеку остаться человеком. Вот я лично — я же не занимаюсь собиранием ужасов, этого ужаса в нашей жизни так много, что испугаешься человека навечно! Но я собираю *человеческий дух*. Как человеку остаться человеком даже в аду, даже в нижайшем положении. Что его может распрямить?.. Собирание — это, наверняка, желание построить фундамент нового строения, которое все-таки когда-нибудь будет построено.

Когда я вернулась четыре года назад, мне было очень страшно – меня поражали даже мои собственные друзья-демократы. Я понимаю, они потерпели от власти, но они говорили примерно так: вот когда мы придем к власти, я всем отомщю, каждому - поименно, я всех их запомнил. Мне было страшно. Я говорила: а чем мы тогда лучше их?.. Или – интеллигентная женщина говорит: да я их душила бы руками... Боже мой, ведь мы – люди, выросшие на насилии. Мы даже не знаем, насколько мы сами – часть этого насилия. Насколько это нас уже пропитало. Это действительно и сверху – я думаю, наше государство, их система обработки населения, манипуляция, - они очень много сделали для того, чтобы перепутать добро со злом. Чтобы человек сказал: ну да, это с какой стороны посмотреть... Быть хорошим человеком, действительно, очень сложно. Поэтому получить рецепт – нет. Нет рецепта. Рецепт – везде; и в религии, и в книгах, и в живописи, - из всего того, из чего вы собираете свой мир. Могу сказать лишь о своем опыте: когда я начинаю работу над новой книгой, я считаю, что ее должен писать новый человек. Я должна быть другим человеком – зачем мне писать то, что я уже сделала?.. Или то, что уже есть в архиве человечества? То есть я должна собрать некую новую философию, применить новый взгляд на вещи. И я его ищу везде. Я его слухом ловлю на улице, я читаю книги по философии, по естественным наукам, Мы все – носители этого времени, этого знания, – и мы перерабатываем всё то, что нам достается, в некое новое знание. Так что я могу сказать: наращивайте в себе – только побольше антен, чтобы у вас было чем уловить всё вокруг. Не повторять банальности, которыми обычно обходится человек не думающий; надо вырваться из этого круга и надо действительно серьезно задуматься, кто мы. Может быть, сегодня – как никогда для меня – я пишу не только о человеке во времени, я всегда пишу человека во времени – и как бы в космосе, то есть человека реального, сегодняшнего - и того, что называется вечный человек. Что бы ни получилось, как одна моя героиня говорит, пройдя все эти сидения в сизо. Она сама нашла меня и сказала: «Я хочу вместе с вами говорить

о том, почему Чехов не передается, — а пакет, который и при Сталине надевали на голову человеку, и сейчас, как при мне душили другую девочку, чтобы меня напугать, — этот пакет на голову передается?!» Я прихожу к своим героям, и мы думаем об этом. У меня нет рецепта. Не знаю. Единственно знаю, что свобода — это долгий путь.

...Мы не знаем этих новых форм сопротивления – они есть, их надо искать. И если они найдены – им надо следовать. Это может служить обновлению каждого из нас и обновлению общества... Я пишу свои книги, потому что я сама хочу это понять. Я сама шла поэтапно, пытаясь понять, кто мы, что мы. Потому что я выросла в семье коммуниста, он дожил до 90-та лет, папа до конца верил в идею – он даже просил партбилет положить ему в гроб. Я никогда не скажу «совок» ни о ком, потому что я сразу вспоминаю моего отца. Он был директор школы, он был человек системы, но он был хороший человек... Я так вижу мир. Но какая-то таинственная вещь происходит с нами, когда каждый из нас вдруг оказывается в мире не своем. Казалось бы – ты живешь, это твоя страна, но это совершенно не твой мир! Тебе кажется, что ты открыл не ту дверь, не туда зашел. Что это происходит? Я думаю, что в 2000-х годах, если кого-то из нас спросили бы, что будет так, как сейчас, никто бы, как в страшный сон, тогда не поверил. Но была некая логика миллионов наших молчаний, наших неспособностей, непонимания нами свободы – которые и привели нас к тому, что мы есть, что вокруг есть. И единственное, что мы можем, это все-таки... как сказать, трудно... – это все-таки любить другого человека. Других путей я не вижу. Но это очень тяжело.

2017

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Андрей Иванов

Бульвар Рошешуар

Люди в Париже открываются с неожиданной стороны. Пока мы добирались до отеля, у Пашки поднялась температура, в номере он лежал в постели и пил «Колдрекс». Отель «Карлтон» находится напротив клуба La Cigale, до концерта был целый день: 25 ноября 2017 года, на улице дождь, я стою у окна (второй этаж, левое крыло, длинная узкая лестница), катаю между пальцами комочек гашиша и смотрю на бульвар Рошешуар.

 Извини, но я не составлю тебе компанию сегодня. Что-то мне совсем фигово, – сказал П. – Иди, гуляй по Парижу!

Я не хотел его бросать в номере одного, да еще с температурой.

– Ничего, я с тобой посижу.

Он был привычным и неуловимо другим. Париж его взволновал, даже оглушил. Он осунулся, казался немного затравленным. В голосе появилась скрипучая нотка - маленькая зазубрина, как если б он был после операции, и я увидел свежий шрам: вот на его теле шрам, которого не было, и он будет навсегда. Меня охватывает тревога, она звенит в моих руках, пальцы вибрируют, на кончике языка появляется дурацкая бесчувственность, как после анестетика. (Он что-то говорит, но я не слушаю, не успеваю ответить, я пишу эти слова в мой блокнот, и он понимающе говорит, что спросит потом, когда я закончу.) Тревога быстро разбегается по телу, а вместе с тревогой приходит уверенность: если я не ухвачу мгновение и не запечатлею П. (хоть на клочке бумаги), он исчезнет, прямо сейчас же, у меня на глазах он начнет истончаться, станет прозрачным, как копировальная бумага, сквозь его тело проступят узоры обоев, кровать, подушка, истлеют его спрятанные под одеялом ноги, живот, крупные пальцы, большие губы и разросшиеся волосы, он станет похожим на шкурку, какую сбрасывают земноводные, а затем он исчезнет, вместе с кружкой. Первой, не выдержав силы абсурда, последует за ним кровать. Дребезжа старыми рамами и колечками занавесок, покатит отель. Всё будет дрожать и легонько звенеть, будто хромоногий черт влез на крышу и трясет бубенчиком апокалипсиса. Столик, чайник, поднос, на котором лежат надорванные и опустошенные пачки «Колдрекса», - во всем вибрация, стук колес, двигатель, поршень. Наконец, не снеся

скорости и силы, галлюцинация лопнет, а с нею весь мир. И некуда будет лететь.

* * *

Я избегаю пристального вглядывания. Вхожу в номер отеля, подхожу к окну и... сейчас я заговорю, но у меня не хватает смелости. Поэтому сначала я расскажу о том, что я видел. Я смотрю сквозь влажные стекла на бульвар. Вот, собственно, и всё. Я смотрю на деревья, на листья, на окна домов, на людей, что стоят возле клуба. Пашка шуршит пакетиком «Колдрекса», а меня медленно нагружает своей теплой дурнотой гашиш, он размягчает мое тело, как марокканская духота.

В номере было холодно, но я этого не чувствовал. Мне было жарко. Нечистые стекла, выцветшие занавески... Осень, листья. Его ум, спланировавший поездку столь безукоризненно, что она напоминала ловушку. Гуляя по бульвару с самокруткой, я думал, что нахожусь не в Париже, а в фантазии моего друга. Это не поездка. Это не Париж. Это его болезненный бред. Это его представления о Париже, думал я, просыпая в сумерках искорки.

Он так хотел вырваться, что ему приснилось, как он купил билеты на концерт и самолет, забронировал номер; его воля к побегу была столь сильна, что она вовлекла и меня в эту галлюцинацию.

Даже теперь его ум вмешивается, выталкивает меня, требует от меня точности (соблюдения правил его галлюцинации), что в моей жизни недопустимо; я должен всё переставить, изменить, вырезать ненужное, мелочи отвлекают от главного. Его ум заставляет меня увидеть тот номер его глазами, он напряженно работает, взвешивает, рассчитывает, делает несколько копий каждого документа. Он фиксирует предметы, от его взгляда они становятся вещественней, теперь их не исключить, ни подвинуть с места ни на сантиметр. Отчетливо вырезается каждый узор на обоях, безупречные рамы, ровные медные карнизы, шкаф и стол – всё твердое, крепкое, надежное. Я слышу гудение и щелчок: точная копия бульвара насмерть сохранена в памяти, затем наши билеты, чек из кафе, где мы перекусили, и, наконец, наше сумбурное перемещение по городу (оттиск на карте Парижа) отправляется на хранение в архив; и каждый раз, когда я буду рассказывать о том, как мы шли на площадь Бастилии, он будет меня поправлять (как обвинитель): сначала улица Лепик, потом – Фонтен, 42.

Нам необходимо избежать этой ловушки. Я делаю над собой усилие – комната распадается на фрагменты, которые повисают в блекло-зеленоватом свете. Прошлое похоже на дым, эти стены колеблются, бульвар утопает в бархатном мареве, блекло-зеленоватый свет

обволакивает деревья, стирает с домов номера, из тумана идут люди, похожие на беженцев. Мы крадемся по улочкам без фонарей, на нас не обращают внимания. Зачем нам достоверные факты? Будем говорить о чем-нибудь постороннем. Необходимо подобраться к нему; подойти с той стороны, где нет твердой скорлупы, жестких правил. Застать врасплох непокрытую кожу, внедриться в мягкую плоть и взять пункцию, снять слепок с его лопаток, хребта, шеи, отрезать прядь с его затылка, рассмотреть изгиб ушной раковины, сосчитать родинки, изучить складки, собрать капли пота – и отправить всё это на экспертизу. В конце концов, в этот поздний час я пишу не ради точности, которая отнюдь не дает нам гарантии того, что мы получим правдивый портрет, – я должен знать, что тот Π ., которого я знал еще тридцать лет назад, был тем же П., с которым я разговаривал в номере отеля «Карлтон» на бульваре Рошешуар. Почему? Беспокойство. Зачем ты пишешь вообще? Меня заставляет писать беспокойство. Я не уверен в том, что он – это он, а я... Кто я такой? Что я такое? Сомневаюсь, что могу дать ответ, - какой угодно не пойдет, нужен удовлетворительный, чтобы унять беспокойство. Оно преследует меня, как оводы, которые кружат, жужжат, поторапливают. Волнение захлестывает сердце, в висках стучит, в горле ком, он растет, мир вот-вот распадется (я отдаю себе отчет в том, что не мир спасаю, а свой рассудок, может быть, ценой жизни: пусть я умру – но не сойду с ума!).

* * *

Мы с ним часто спорили, даже ссорились. Как-то ранней осенью, поздним вечером, после какого-то фильма, мы вышли из «Соляриса» и пошли на автобусную остановку, срезали возле клумбы, где когда-то стоял памятник Ленину; было темно и влажно, вдруг он сказал:

– Мы рано родились.

Я подумал, что он имел в виду родиться с запозданием внутренних часов, с замедленным ходом сердца или крови или чего-то в душе — там ведь тоже есть внутренние токи, течения, вихри, часовые пояса... Мне это понравилось, и я с ним согласился. Но он говорил о другом:

- Скоро деньги будут раздавать просто так.
- A, ну-ну, я ухмыльнулся. У меня синяки не просто так на теле выступают, не сами по себе...
- Скоро тебе не придется работать. Ни мне, ни тебе, никому! Большие губы, седая голова, красная крыса на черной майке. Никому не надо будет работать! Скоро будет сплошная лафа!...

Откуда у него в голове эта чушь? Потому что финны начали

выплачивать безработным зарплату просто так? Решил смолчать, чтобы не спорить. Мы стояли на остановке Театральной площади в ожидании моего автобуса или его троллейбуса. Не удержался:

- Скоро всё накроется медным тазом. Скоро миру пиздец. Не до денег будет.
- Ерунда. Вот увидишь, очень скоро всем будет так хорошо, что мы с тобой от зависти просто крякнем, мы сдохнем от зависти, потому что мы будем слишком старыми, чтобы наслаждаться жизнью...
- Мы уже слишком старые, чтобы наслаждаться, сказал я, потому что я смогу согласиться с тем, что мы слишком старые для всего, но с остальным я категорически не согласен, остальное бред!.. хорошо не будет, нигде никому никогда, даже ворам и пролазам никому никакого кайфа!.. о чем он бредит?.. кому и где будет хорошо?.. будет только хуже и хуже.
 - Это все ерунда, вдруг как рявкнет: Вот увидишь!

Все оглянулись, на нас смотрели, ему плевать. Я говорил, что скоро еды и воды не будет совсем...

— Ха-ха-ха! Какой же ты дурак! Ха-ха-ха! Да жратвы столько, что ее не сожрать! ее выбрасывают! вообще работать не надо! все давно притворяются, будто в труде есть необходимость, потому что скрывают от людей, что они могут спокойно шляться и жить, не трудясь! просто не знают, чем людей занять! всего завались! скоро всем будут выдавать всё бесплатно! и деньгами завалят!...

Его взгляд бродил. Люди на остановке определенно решили, что мы опасны. Вокруг нас образовалась пустота. Мои автобусы приезжали и уезжали. Я искал брешь между слов, чтобы втиснуть свое слово. Он взмахивал руками, насмешливо называл меня антиглобалистом. Его троллейбус дважды уходил, а мы стояли и ругались. Когда он затихал, заводиться начинал я, и он слушал, тихонько клокоча и посмеиваясь, а потом набрасывал на меня сеть своих аргументов и душил меня. Так мы стояли и выплескивали из себя гневные фразы, и было непонятно, на кого мы гневались. Не друг на друга же! В этом не было бы смысла: не я у него украл молодость, не он превратил мир в помойку. Мы швырялись словами, как два старых теннисиста. Хромая и кривясь от боли, ненавидя свою дряблость, свои годы, свои сломанные судьбы, они играют, яростно бьют ракетками по мячу: вот тебе, сука!.. получи! Мы были ослеплены.

* * *

Улица, затихни на минутку! Дайте собраться с мыслями. Снег, не шурши! Я хочу вспомнить летнюю ночь, когда мы возвращались после концерта Кирилолы (23 июля, 2016). Мы шли по улице

Теллискиви, фонари хорошо освещали дорогу, но на тротуарах было темно. Эта улица всегда была мрачной и будто в заплатках; такой же она будет и в солнечную погоду, ее мрачность станет еще очевидней – вывернутое наизнанку дряхлое тело, вытянутое из раскуроченной могилы.

Деревья шелестели. По рельсам скользили отблески железнодорожных прожекторов, холодные блики тревожно извивались, будто в дрожащей воде. Когда мы выходили на свет, я бросал на П. быстрый взгляд: он затаенно улыбался. А потом мы надолго ушли в сумеречную аллею, где он — ни лица, ни тела, один голос — в экстатическом состоянии бесстыдно высказал свою мечту: выиграть в лотерею джекпот и переехать в Токио. Его мечта, как никогда фантастическая, пришлась мне по вкусу. В довесок прикреплялась еще одна идея: с помощью лотереи можно установить своеобразную коммуникацию с так называемыми «высшими силами». Это было настолько безумно, что я не мог не поддаться очарованию.

Потрясающе, – сказал я.

В тихом восторге я повторил это слово несколько раз, а потом спросил:

- Ну, а что бы ты делал в Токио?
- Ничего. Жил бы себе, да и всё.
- А когда деньги кончились бы...
- Это уже не имело бы никакого значения, отрезал он, слегка раздражаясь.

Кто еще в этом городе пытался установить связь с «высшими силами»? Кто еще размышляет над такими невероятными вещами?

Когда-то он хотел написать роман, я даже помню название: «Волшебник ганзейского города». Всё это, наверное, отголоски тех мыслей. В общем-то, его жизнь и есть продолжение романа, – не продолжение, а развернутая манифестация. Я иду с алхимиком, с черным магом, безумцем, героем и автором ненаписанного романа. То, что он не написан, в данном случае гораздо важней: невоплощенный замысел, как вызванный дух, навязчивей, чем тот, что уже реализован. Когда что-то долго вынашиваешь, то невольно становишься воплощением своего намерения, его слепок преследует тебя, ты повсюду с ним, будто носишь отпечаток. Сплавить в прошлое замыслы невозможно (ибо нет ни прошлого, ни будущего, но только настоящее), они всегда дрейфуют с тобой, в тебе, над тобой; они застилают твой взор, а ты, не замечая их, шагаешь в пелене своих идей, желаний, мечтаний, маний, как в тумане, который год от года делается плотней. Расщепленный, я вижу нас: две конгломерации, плывущие в сумерках.

Всё это только потому, что он хочет вырваться из этого города, думал я, когда мы повернули на ул. Ристику. Если б он однажды совершил побег, как я, то не думал бы больше об этом. Он не понимает, что вырваться невозможно, думал я, шагая под старыми ивами, которые тихонько шуршали в темноте. Этот город не отпускает так просто. Дело вовсе не в том, что у тебя нет денег. Город привязывает к себе, запускает в тебя свои щупальца, поселяется в твоих мыслях, снах. Мы привыкаем к воплям чаек и ветру, морской вони и шуму волн, к его улицам и лицам. Привыкаем к автобусам и дорогам, остановкам и светофорам. Учимся болеть, любить, ненавидеть, пропитываемся едва заметными словечками, от которых разбухаем; мнения, решения, принципиальная позиция... Мы спорим, ругаемся, сдаемся раздражению, капитулируем перед начальством, смиряемся с мизерным доходом, шалеем от внезапного повышения или удачи - о, я познал унижение этой внезапной радости, обмываешь премию и торжествуешь, не сознавая ничтожности своей победы, – над кем? Или покупаешь что-то жене и пьянеешь! Ненавидишь политиков, проклинаешь Уолл-стрит, клянешь капитализм или Хуйло... Изо дня в день, из года в год... Незаметно мы делаемся зависимыми от всего – и от серого неба, и от привычных улиц, от вездесущего ветра, шума города, шелеста деревьев и тарахтения газонокосилок; привыкаем сердиться и раздражаться, нам нужна плохая погода и боль в костях, нужны неурядицы и потрясения – мы молим город об этом, не всегда сознавая, что молимся. Я знаю, я слышал свои молитвы, я видел их – мятые бумажки, летящие в полосе желтоватого света. Они летят неестественно плавно, бумага так не летает, они словно плывут в воде. И всё это ноет, скрипит, гудит. Это и есть мой стон, безмолвное обращение к городу, мольба о том, чтоб в моей жизни хоть что-нибудь изменилось. Я даже не знаю, о чем прошу, потому что мои мечты невнятны, они похожи на россыпи битого стекла. Осколки вспыхивают и гаснут, неприятно проворачиваются, ранят. Каждый житель принадлежит городу, за побег ты платишь дорогой ценой. Я знаю, пробовал, и что получилось? Посмотрите на меня! Где я? Всё там же. Иду по ул. Ристику, рядом с моим другом, которого знаю почти тридцать лет. Вырваться невозможно. Даже вырвавшись однажды, мы продолжаем питать сны города, пишем письма, звоним, приезжаем на день-два, чтобы давать ему жизнь, чтобы рассказывать свои истории, чтобы получать упреки и страдать, блистать, похмеляться, чтобы всетаки вернуться однажды и угаснуть, лежать на его кладбище (шагая по ул. Ристику, я принял твердое решение: кремация, – прах высыпать в Таллинский залив, место – по усмотрению исполнителя).

* * *

Грохнула шутиха.

Я получаю письма от писателей, которые живут в Европе, России, Америке... Возможно, они мне пишут, потому что узнают во мне своего. Так и есть: мы больны одной болезнью. Что я о них думаю? Я не знаю. Сложные эмоции. Иногда мне кажется, что я схожу с ума, и все они не существуют, что это обман, их письма розыгрыш; я думаю: нет, этого не может быть, эти письма шлют мне какие-то пранкстеры! Нередко я разговариваю с писателями по телефону, встречаюсь, и хотя некоторые нет-нет да неприятно удивят, я могу сказать, что у меня есть опыт общения с этими незаурядными личностями; подписанные ими книжки стоят на полках, но всё равно иной раз найдет – и я думаю, будто все они не вполне настоящие, они словно родились от необычных женщин, от спящих женщин, выползли из чьих-то бредовых сновидений, порождения болезни, горячки, голода, бреда; они утрачивают рассудок или ниточку, которая нас всех связывает не только с издателями, не только друг с другом, но с миром живых. Их письма – это письма с другой планеты, фрагменты монологов, которые они копируют и рассылают, так мне кажется; они их пишут не только мне, но очень многим – десяткам, сотням других людей; некоторые письма после прочтения оставляют у меня чувство распыленности, я будто разбит на осколки, в меня бросили камень – я разлетелся, мне никак не собраться: хруст слышите под ногами? – это я перебираю вещи, слоняюсь из комнаты в комнату, растерянно смотрю на сына, слушаю его детское воркование, я предлагаю ему сыграть в шахматы, вместо этого мы садимся на пол, расставляем римлян и египтян, я – Рим, он – Египет, и мы воюем: стреляем по солдатикам из наших игрушечных катапульт маленькими стрелами, солдатики падают, мы расставляем их и снова стреляем, они падают... и я думаю: по нам стреляют, мы умираем, но снова встаем, и снова живем, как прежде, идем, по нам стреляют - краской, дробью, электронными письмами, эсэмэсками, бранью, законами, угрозами, новостями, градом и дождем, кризисом и сокращениями - мы падаем, сраженные, усталые, сдаемся, спиваемся, отчаиваемся, умираем, а потом снова встаем и идем, моемся, переодеваемся, забираем деньги, едем в автобусах и машинах домой, заползаем в роман, пишем письма, прижимаемся к жене, что-нибудь говорим ребенку, ныряем в пустоту... Я возвращаюсь в мою комнату; читаю письмо от писательницы из Луганска – я ничего не смог сделать для ее романа, я ходил с ним по издательствам, как она ходила по Луганску в поисках обычного стула, она не может найти в разбитом Луганске стул, а я не могу для нее найти издателя, которому нужен роман из недр войны. У

меня есть друг Пшемко, поляк, поэт, он живет в Дании, я хотел перевести его сборник малой прозы, но не нашел переводчика – ни на русский, ни на эстонский (все вдруг забыли польский!). Таких поэтов и горе-писателей у меня полный box; открываю email – и для меня приоткрывается дверца внутрь одиночной камеры, увиденное сквозь щелку приотворенной двери лишает меня сна, я переживаю за них (вижу в них себя); скороговорку запечатлевшие письма – такие письма пишут самоубийцы, вывернув шею набок, искривившись на табуретке с веревкой. Даже с веревкой на шее человек имеет связь с миром (может быть, надежней, чем когда-либо без нее!), а мои адресанты – как выброшенные в открытый космос астронавты. Болезненно переживающий остракизм писатель - жалкое зрелище; спивающийся писатель мало чем отличается от спивающегося не пишущего человека. Писатель, который соглашается порезать свой роман, чтобы он лучше продавался, - ничтожество, жалости не достойный человек. Меня спрашивают, чем отличаются русские писатели в Эстонии от русских писателей в России, - да ничем! Неужели непонятно? Ничем! А помнишь, как ты лепетал в трубку агенту, что согласен пойти на некоторые уступки, если дело дойдет до серьезных переговоров? «В зависимости от условий всегда можно договориться...» Твои слова? Лепет ничтожества, сжавшего себе яйца, чтобы продать себя. Забытый писатель – это старик, который живет в собственных шлаках и не меняет штаны, он бредит своей славой, славой двадцатилетней давности; родились и выросли новые поколения, которые никогда не слыхали его имени, а он всё ходит и сам себе улыбается. Впрочем, любой писатель в любом состоянии – жалкое зрелище. Писать вредно – don't try! Человек пишущий – без возраста и пола, и всем болезням подвергнут; инспирация сродни воспалительному процессу, что делает писателя особенно уязвимым. Монтень умер от паратонзиллита, которым я переболел в 1996 году, – мучился в больнице, П. принес мне «Путешествие на край ночи», я читал, подвергался пыткам, падал в обморок, когда меня резали, захлебывался в собственном гное, получал в течение недели жуткое количество уколов, незаметно для себя дрейфуя в направлении Лолланда (со мной в палате страдал мужик, которого покусала собака его начальника, мужик получал уколы от бешенства, но о собаке говорил с восхищением). Я бросил Бардамю в Африке. Интересно, а как на закате шестнадцатого века лечили паратонзиллит?.. Монтень попросил мессу... и умер. Любопытный факт: у взрослых и пожилых людей паратонзиллит случается крайне редко. Писатели возраста не имеют, или они сродни детям, – дети в быстро дряхлеющих оболочках. Срок годности некоторых писателей – год-два, как у современной китайской бытовой

техники. Мир развил такую скорость, что люди не замечают литературы. Человеческое сознание стало настолько стремительно, что литература больше не способна соответствовать набранным оборотам, она не того формата. Чтобы читать роман, необходимо замедлиться, отключиться; нужны не только writers' retreats, но и retreats for readers.

Я курил и думал: к черту читателя! Читатель умер – я свободен. Скоро перевалит за восемь миллиардов, мир наполнится океаном людей другого порядка – с новыми манерами, новыми смартфонами, обманчивой глубиной в глазах; новый человек будет видеть не глубже стекла, по которому скользят его пальцы. И таких будет восемь миллиардов... Мне нечего делать в этом поезде, thank you very much.

Весь год я словно пробыл взаперти, как в камере пыток. Символом этого года может стать комната в отеле «Карлтон» на бульваре Рошешуар. 25 ноября 2017 года. Весь день я катал маленький комочек гашиша, который купил под мостом станции Stalingrad. Я нюхал его. Пашка, хоть и принципиальный некурильщик, тоже нюхал и утверждал, что он пахнет океаном и романами Боулза. Мне не терпелось выскочить и покурить, но я уговорил себя дождаться наступления сумерек. Пашка сморкался, кашлял, делал себе лекарственный напиток, тихонько усмехаясь:

- Болеть в Париже, оказывается, очень приятно.
- Я сказал, что болел, мне не очень-то понравилось.
- Это потому что ты болел один, сказал он. Если бы я жил один в Париже, я бы, наверное, свихнулся.
 - Наверняка, пошутил я, и мы посмеялись.

На него напали воспоминания, он их вытягивал, будто фотопленку: вот концерт «Гражданской обороны» в медучилище, вот квартирник – Пашка принес бутылку водки и свою гитару, Егор сыграл пару песен на его гитаре; Rock Summer, Rock Summer, Rock Summer... У него в голове много маленьких ящичков, в которых полно гильз с микрофильмами; он их может разматывать сколько угодно – в Париже день, кажется, длинней, чем где бы то ни было...

Весь год был сплошной маразм, который наступал и давил; я несколько раз срывался и пил, захотелось взять и уехать, без оглядки, — так, чтобы не возвращаться, пробиваться сквозь непогоду, всё время ехать вперед, как в книге *Le livre des fuites**, не думать о том, какой будет следующая страна, у кого я остановлюсь, с какой целью, насколько долго пробуду, как вернусь — никогда не думать о возвращении, ехать так, чтобы ничто не удерживало, не тянуло обратно, на

-

^{*} Роман Ле Клезио «Книга побегов» (1969).

мой давенпорт – как он мне осточертел! – и эта кошка, которая приходит и кусает пятки; ехать вперед и не читать твиты, не крутить френдленту, не ставить лайки, не отвечать на письма, не думать о Трампутине, не смотреть новости, не узнавать старых знакомых, презирать этикет, не давать интервью, не отправлять в журналы рассказы, не снимать трубку – выбросить телефон совсем; не слушать музыку, ничего не знать о новых книгах и новых фильмах, о событиях вообще; меня достала музыка, достали критики, которые пишут обо всем - о дерьме, в основном, - да, только о дерьме, могли бы пройти мимо, но они останавливаются и, встав на четвереньки, с увеличительным стеклом изучают, ругают, исходят желчью; я устал от литературы (вся литература со мной!), в конце концов, можно читать только те книги, что попадаются в пути, они становятся попутчиками (с попутчиками общаешься охотней – соседи намозолили глаз), прочитав, оставлять книги в отелях и двигаться дальше (с собой я взял бы «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Исповедь» Руссо), не встречаться с теми, кто заводит беседы о книгах, надоели умники, сколько можно слушать их болтовню, что они вообще понимают, откуда им знать, что такое роман, особенно когда не пишется, как одиноко, когда в груди тихо – ни шепота, ни души; никто не знает, как роман мучает, толкаясь изнутри, не дает спать, в какие погружает видения, как отравляет мысли, как он водит тебя по одной и той же строке-тропинке, отнимает твое зрение, отрывает от жизни, затягивает в себя, а потом выталкивает, как он мучительно выходит, большими рыхлыми частями ты вытягиваешь из себя персонажей, одного за другим, они тебя разрывают тяжелыми родами, которые длятся не день и не два, но – три, четыре, пять месяцев, а потом ты всё бросаешь и отправляешь их в ад или ид, не имеет значения, отнимаешь имя, делаешь одного из двух, и не можешь с этим жить, с такой трансформацией, с таким компромиссом, – просто изгоняещь, как титанов, всё начинаешь заново, и это уже другой роман, другой ты, другой мир, другая жизнь – всё другое, и ты больше не можешь быть прежним, не можешь себе простить, тебе надо уехать, ты изгоняешь себя, потому что ты хочешь что-то сделать с собой (небольшой безопасный надрез или совершить плавный поворот, чтобы двигаться в другом направлении: быть непредсказуемым и новым – это всё, чего я хотел); сменить одежду, стиль, покрасить волосы, видеть другие улицы, нести их отражения в сердце – так, чтоб старые знакомые, заглядывая в мои глаза, видели себя другими; я хочу ехать по незнакомому городу с новыми друзьями, хочу входить в новые клубы, бары, жадно говорить на иностранных языках и чувствовать стыд, точно я себя и всех, кто меня знал, предаю – вот я здесь, посреди веселых молодых

людей, учу чужой язык, сижу и курю, слушаю истории не моих старых друзей, а – незнакомцев, половины не понимая, но улыбаюсь, киваю, ја, ја... всё больше отваливаясь; какая-то сила вытягивает меня из настоящего, я снова в прошлом, от кого-то прячусь, мне и горько и страшно, один, вдалеке от дома, посреди новых друзей, которые ничего обо мне не знают, кроме того цветастого бреда, что я им наврал, я вроде бы с ними и вроде бы где-то там, плыву в большом мыльном пузыре по светлым утренним улицам любимого города, я и не думал, что буду тосковать, я бы и не узнал, что такое тоска, если бы меня не пнули – почти как мяч, взял да улетел через забор в соседний двор, а там его чуть не порвала собака... сколько таких мячей пропало! – Поезд вывезет... Ну всё, отправляюсь в настоящее путешествие, наконец-то уеду, стану новым, чистым, светлым, легким, похудею, изменюсь; путь неблизкий, конечной точки не ставлю, можно не ставить точек совсем - написал же коморский писатель роман без точки* – так и я напишу свою жизнь, много станций, тире да тире, пешочком по шпалам, годов не считая...

Но чтобы так легко двигаться, нужен хороший паспорт...

Тут опять возникает видение канцелярии: полицейский участок соединяется с ней подземными щупальцами коридоров, по ним катятся тележки, ходят курьеры, клерки, доносчики, тайные агенты и черт знает что еще, какие-то кикиморы. Плавно схожу в казуистический мир, похожий на кишечник. Маленькие и безобидные козявки суетятся, перебегают из одной дверцы в другую, мухами снуют по извилистым тоненьким коридорам, текут ручейками и поодиночке. Сколько пылу! Сколько энергии! С какой самоотдачей и верой в важность дела они перемещаются по этому миниатюрному сложному строению, а ведь я сделал всего-то поверхностный срез. Нам об этой стороне жизни неизвестно почти ничего, хотя не уверен – возможно, есть люди, которым удавалось, как и мне, скользнуть взглядом по этой крохотной системе, вшитой в наши тела, но сомневаюсь, что те, кто открыто высказывался о своем знании, остался среди вменяемых, его наверняка спрятали.

Я всегда знал: что-то там есть... Наша система не работала бы столь отлажено без некой внутренней начинки, и как только я увидел этих крохотных существ внутри себя, всё во мне откликнулось: я знал! Я знал! Иначе и быть не могло! Вот кто нами управляет! Кто

_

^{*} Имеется в виду роман Али Замира «Тут что-то не так» (Anguille Sous Roche), написанный без единой точки. Али Замир (1987 г.р.) — писатель и исследователь с Коморских островов, проживающий во Франции; автор пяти книг, обладатель нескольких престижных премий Франции, пишет на французском языке.

сказал, что всё оцифровано? Чепуха! — Эти вне досягаемости, работают по старинке, полная секретность, им не нужны электронные штучки, там всё гораздо сложней, и большую часть их заданий выполняет человек, которым управлять не так уж и сложно, тайная подкожная полиция — вот откуда берется вся та ахинея, в которой захлебывается мир. Суета... нервы... неразбериха... всё это — подкожные блохи!

Медленно вращаясь, я продолжал опускаться. Во все стороны разбегались коридоры, завиваясь спиралями, уходили вглубь. В отличие от коридоров наших учреждений в миниатюрном мире нет углов, он весь состоит из ровных округлых линий, двери словно есть и их нет, они похожи на тени, никаких дверных ручек я не видел.

Я остановился на уровне одной из подвешенных в воздухе конструкций, которая походила на сомкнутые между собой тонкими переходами вагонетки; внутри этой причудливой конструкции, освещенные неоновыми лампами, как в кабинете, сидели за маленькими столами крохотные существа и занимались сортировкой бумаг. Как только я приблизился к ним, одно из существ выпорхнуло из шарообразного кабинета и бросило маленькое послание в щель моего глаза (до того момента я и не знал, что в моем зрачке есть щель!). Тотчас меня вытолкнуло на поверхность. Я лежал на моем коврике для йоги, в руке у меня пузырек: я только что вдохнул это, сказал я себе, да, я только что вдохнул галлюциногена, вот и всё... Но шевельнулось какое-то щупальце, и я понял: нет, не всё так просто. Внутри меня идет – вот только что началась – сложная работа: задвигались давно остававшиеся незадействованными, сложно меж собой связанные механизмы, и еще включился свет в тайных лабораториях. Это было реакцией моей психики на послание, которое бросил в меня маленький человечек, и снова накатило: я провалился, глаза заволокло; мы с мамой идем по улице Пикк мимо кондитерской, округло огибаем угол... Нет, это даже не угол, в нашем мире принято называть это углом, но это не угол, а скорее, загиб, который выводит на улицу Нунне. Очень грустный для меня перекресток, здесь начинался спуск на ул. Нунне, тут почти всё заканчивалось, не было магазинчиков, были еще киоски, за которые я цеплялся, рассматривая марки, значки, спортивные журналы, но и они не спасали, в тир мама не ходила, свернуть в парк ни за что не соглашалась, мы были обречены пройти по подземному переходу, нас проглатывал шумный многоногий вокзал, после которого были только грязные скучные улицы нашего района, кинотеатр «Лембиту» (иногда мама соглашалась войти в его чрево и спала, пока я смотрел фильм), квасной ларек с кривыми рожами, разбитые ступени гастронома, телефонная будка, сирень, жасмин, снежноягодник, газоны, клены, липы, Дворец Культуры и, наконец, наш дом, в котором всё было так тяжело, так мрачно, так обыденно! Но, стоя на перекрестке, я видел, что мама не хотела уходить из Старого города, еще можно было уговорить ее зайти в «Десятиминутку» или свернуть на Пикк-ялг, чтобы пойти по старым улочкам, останавливаясь на смотровых площадках: со смотровой площадки наш район не казался таким уж мрачным. Мама спускается по ул. Нунне, мы идем, она наклоняется (мне семь лет) и говорит, что хочет мне кое-что показать. Мы делаем несколько шагов в сторону, она открывает сумочку, достает миниатюрную, бархатом обшитую коробочку, я привстаю на цыпочки, она вдруг серьезно шепчет: «Но ты должен поклясться, что никому, никому, особенно бабушке с дедушкой, не скажешь». Я быстро произношу клятву, люди и строения вокруг нас медленно тают, мы стоим посреди города, но нас никто не видит, она открывает коробочку и показывает маленькое колечко, на котором сверкают три яркие нежные слезинки, мое сердце замерло на секунду.

Тысячелетие спустя прихожу в себя, слышу, как мама произносит слово «бриллианты», и я чуть не вскрикиваю: «Бриллианты?.. Мама, это и есть – бриллианты?!»

Я впервые увидел бриллианты, и в ту же секунду мы стали заговорщиками, я шел рядом с ней, поглядывая на ее сумочку и на встречных, смотрел по сторонам, просил маму, чтобы она внимательней была с сумочкой, она была довольна, я тоже: теперь у нас есть бриллианты, думал я, и мы — особенные, не такие, как все; в маминой сумочке бриллианты, и никто в мире об этом не знает!

Я пришел в себя со слезами на глазах, я повторял: мама, я люблю тебя!.. мама, как я мог это забыть!.. мама!..

Мне снова было семь лет, я снова был заговорщиком, я чувствовал ее руку, я снова ее любил; чувства, которые мне удалось спрятать от себя, вдруг поднялись, распрямились; призраки, выплывшие из фотокарточек, обрели плоть, выломали дверь подвала, поднялись по лестнице, заполнили дом и принялись хозяйничать; в слезах я бродил по квартире, не в состоянии к чему-либо прикоснуться — ничто не имело отношения к существенному. Существенным были похороненные чувства. Мое отношение к матери с годами менялось. Я нарушал данную ей клятву, предавал тайну бриллиантов, которые она носила в бархатной коробочке, перепрятывала ее, шептала мне: «Я перепрятала ту самую коробочку в новое место... должна тебе показать», — я шел с ней, она отодвигала книгу на моей полке: «Теперь она лежит тут... если что со мной, ты знаешь...» — Так длилось годами, тайна, пока однажды я не вырос из этой игры, сказка перестала быть волшебной, невидимые нити, протянутые вглубь моего существа... очень

надеюсь, что они не оборвались, а, скажем, провисли, ослабли, атрофировались. Ну и во что я превратился? Моя банка кофе, в которой я прятал свои жалкие сбережения... Посмотри на себя, разве ты не смешон? Мои дополнительные счета с фондовыми накоплениями – ха-ха! А когда-то, отогнув обои, я прятал в трубочку свернутые рублики... Как всё глупо и пошло в этой жизни! Прагматика, точность, достоверность, надежность, гарантии... Зачем я повзрослел? Как прекрасно лучики камешков щекотали глаза, приводя внутри меня в движение таинственные шестерни! Это была сказка, которую мама придумывала для нас двоих.

* * *

Теперь, когда чуть-чуть приоткрылась подкладка, нам кое-что известно об устройстве нашей жизни, мы кое-что припомнили; одна из нитей оживает и крепнет, поэтому не стоит отчаиваться, надо продолжать —

* * *

Он пьет третью кружку «Колдрекса».

- Не боишься сердце посадить?
- Сдохнуть в Париже что может быть лучше!

Он теребит билеты на самолет, на котором мы прилетели.

– Ну надо же, вот билеты, которые нас сюда привезли...

Тогда у него еще была работа, он *болтался на ниточке*, по его собственному выражению, *на последней ниточке*, которую сам много раз хотел обрезать.

Обрезать ниточку? Лишиться такого теплого местечка? Я невольно вздохнул. Я бы цеплялся за эту ниточку! Он посмотрел на меня, пытаясь угадать мои мысли. Немного оправдываясь, я сказал, что не представляю, как он будет начинать всё сначала...

- Что ты имеешь в виду? Что значит сначала?

Я не хотел говорить тривиальные вещи: сейчас нигде ничего нет, все тараканы сидят в своих щелях, каждый клоп впился в свое место. Кажется, он не представляет себе... Он лежит в постели и шуршит билетами. Беспечно и слегка раздраженно. Он уверен, что любые двери отворятся перед ним.

На его лбу выступил пот. Он поднялся, посмотрел в окно.

– Обалдеть как красиво! Даже не верится...

 Π . говорит, что отец умер на его постели, вернее — он умер в своей специальной больничной койке, которую для него Π . заказал в больничном центре, но стояла эта койка в комнате Π . на месте тахты, на которой он спал с раннего детства, почти двадцать лет. Меня это

потрясло, я онемел, представил комнату, тахту, над которой висит та самая картина: солнечный зимний день, следы по снегу ведут через сад к небольшому хуторскому домику, — всё в светло-коричневых и голубых тонах, немного золота и, конечно, бело-голубоватый снег. Обычно мы слушали музыку при свете настольной лампы.

Он опять ускользает... Нет, я могу удерживать его в сознании, я вижу его на кушетке. Он нервничает, проверяет мобильник, перебирает копии билетов и прочих бумаг — добрая кипа листов, он набил ими свою сумку, хватило бы на шестнадцать человек, нас только двое, нас в этом мире только двое, больше нет такого П., больше нет такого меня, хотя если вдуматься... нас миллионы, наши отражения в чужих глазах, на старых пленках, снимках, в чьих-то файлах, в мыслях, письмах, наши образы коварно множились все эти годы, гуляли по городу под чужой кожей, рассказывали истории, бесконечно искажаясь...

Я медленно разминаю комочек... смешиваю его с табаком... выхожу на бульвар... тихо шуршат влажные листья... куда-то спешат каблучки...

Вот и я – туман в голове, тепло в членах, думать подробно не хочется, расфокусировав взгляд, я скольжу по камням, по решеткам, по замершим деревьям, навстречу мне тени, зонты, туфли, целлофановые призраки, я вижу свой расплывчатый образ в витринах. Страница обрывается на углу улицы. Обрез, вот и нет меня! Алмазными нитями прошитый взгляд. Вхожу в номер:

- Ну, как ты?
- Ничего, терпимо, он наливает себе чай.

Я встал к нему спиной, глядя на бульвар, и сказал, что у меня с Парижем свои счеты.

- В каком смысле счеты?
- Я сел перед ним, неловко улыбаясь.
- У меня не будет следующей книги.

Он уставился на меня.

Как только я это сказал, мне стало легко, я говорил и говорил, выпуская всё, что терпел.

— Тебе первому говорю, даже Лена еще не знает. Не могу ей сказать, потому что столько надежд мы связывали с Францией, я сам виноват, потому что сам те надежды не только в себе породил, но и в ней взращивал, и всё это как-то незаметно произошло. Как-то незаметно мы начали ждать — вот переведут на французский «Мотыльков», чтото будет, какой-то прорыв... Мы были уверены, что книгу оценят именно в Париже. Так нам казалось, и вот всё обломилось, крах.

Он слушал, весь напрягшись, ногами немного елозил нервно.

- Раньше у меня было навязчивое ожидание того, что меня ктото раскопает, говорил я, раздвинет передо мной двери, и тогда мне не надо будет больше думать о деньгах. Я знаю, что я невольно внушил это ожидание и ей тоже. Она тоже ждет. Мы же столько терпим. Всё поставили на это. Вот появился Патрик, и нам показалось: вот оно, начинается, сейчас-то меня и найдут! Книга вышла, ждали другую, надежды росли. Думали, заметят меня, будут стабильно переводить в семи-восьми странах Европы. Это способствовало бы нашему более-менее спокойному существованию, не скажу «безбедному», а позволило бы держаться: to make the ends meet. Иными словами, в голове моей частенько включалась и играла жалкая мелодия, как в старом јикевох: подайте бедному писаке на пропитание... Я изо всех сил стараюсь следить и пресекать это, каждый день заглядываю в себя, проверяю: нет ли там этой подлой надежды? И вот полная тишина, даже страшно...
 - Ты же говорил, вы с ним такие друзья!
- Да, всё так и было! Но, видишь, как это всё скользко! Я сам не знаю, как это получилось...

Произошла какая-то ерунда. Патрик на меня обиделся по нескольким причинам. Во-первых, он был отчего-то уверен, чтоб будут хорошие продажи, а я ему сказал: не жди, что пойдет нарасхват, - мое предупреждение он воспринял как своего рода пари: «Ты думаешь, я не смогу продать твою книгу?! Xa-xa!» – Я насторожился, мне встречались такие горячие головы, они готовы спорить о чем угодно и демонстрировать свои способности. К тому же я тогда еще не знал, что он наполовину итальянец... Я люблю итальянцев и французов, но Руссо говорил о французах... и об итальянцах он тоже писал уважительно... однако он всегда предупреждал, что с этими людьми нужно быть внимательным и осторожным... А я упустил как-то вожжи, большой роман увлек меня, я ко всему стал относиться без должного внимания, Патрик просил меня отдать ему «Бизар», он настаивал, а я просил его придерживаться договора, он взял «Харбинских мотыльков», взялся – тяни, а «Бизар» потом. Он задумчиво смотрел мне в глаза, сидя в соломенном кресле на террасе кафе в Сан-Мало... Ох, не забуду те взгляды... Он говорил: «Давай следующим будет Бизар!» Я улыбался, совсем наивно, и отвечал: «А давай Мотыльков!» Он сказал: «А давай так – сейчас придет Элен (переводчица) и мы спросим ее!» Я сказал: «Давай», совсем простодушно. Пришла Элен и сказала, что очень хочет переводить «Мотыльков», и глаза Патрика потухли, он заторопился уйти: его жена ждет, ребенок... Я подумал, что он расстроился именно потому, что ему надо торопиться к ним (с женой не всё было ладно, они

много ссорились), я подумал, что расстройство, которое прочел в его лице, было связано с его желанием посидеть подольше со мной... Позже я понял: не хотел он со мной сидеть, он соврал, что его жена зовет. Последний мой шанс (который он мне дал, как я понимаю) был в Париже. Он назначил мне свидание с каким-то «очень важным человеком», не предупредив, кем тот был, не назвал имени, но сказал, что это очень важный человек, важный писатель, самый лучший на данный момент, он хочет с тобой встретиться, – для меня, дескать, это очень важно (видимо, продажи падали стремительно). А я, дуралей, накануне пошел на Пер-Лашез и там надрался, склепы и могилы меня расстроили настолько, что я взял еще вина, аж две бутылки, уже в сильном помутнении, третью не допил, я разбил ее, на следующий день у меня было такое кислотное похмелье, что я никого видеть не мог, взгляды прохожих расплетали меня на ниточки, в ко-воркере у Восточного вокзала я ел зеленый супчик, и, когда я брал солонку или ложку, мне казалось, что они слипались с моей кожей – о каком рандеву речь?! Я дополз к себе и написал Патрику полное извинений письмо (беда в том, что я с похмелья не могу врать, я признался, что у меня похмелье), он быстро ответил, что очень жаль, с кем не бывает... И всё, на этом дружба кончилась, Патрик выпал из моей жизни – чего я не заметил, поскольку ушел в мой роман с головой, забыл обо всем, ни на что не оставалось сил. Я думал, что всё нормально, договор есть договор, ничто его не может нарушить, я ждал, когда он мне напишет. Он не писал. Я ждал, что мне напишет переводчица. Она не написала. Я написал ему – а мне в ответ: лучше б я стал стивидором!.. И всё. Вот так, всего лишь не пришел на встречу... Но какой писатель не упускал своего шанса из-за выпивки? Нет такого, я думаю. А кто не упускал, тот и не писатель.

 Π . слушал, закрыв глаза, и нервно шмыгал. Когда я закончил, он тяжело вздохнул.

- Ох, ужас какой. Я даже не знаю, что сказать.
- Необязательно говорить...
- У меня темнеет в глазах, буквально.
- Я сам виноват...
- Нет, не ты. А он. Не представляю, как ты это вынес. Это ж сразу сколько обвалилось! Знаешь, когда у тебя происходит что-то такое или у Сулева (я, конечно, был шокирован тем, что с его сыном произошло), я чувствую бессилие и мрак. Мои представления о мироздании, моя система все трещит и разваливается. Ну вам-то за что эти траблы?! Если у кого и должна быть хоть чуточку беззаботная жизнь, то у вас. У кого, если не у вас? Это было бы справедливо, потому что я знаю за вами одни достоинства и не знаю недостатков.

Так называемые «причуды» за таковые не считаются. Я бы занес твои «причуды» в разряд достоинств, но они тебе доставляют много хлопот – но это всё спорно, не будем сейчас об этом. Я понимаю, что каждый что-то когда-то делал не очень хорошее, но в вашем случае я вижу все-таки абсолютную ориентацию на человечность, которая так редка среди людей. Даже я, стараясь держаться «хорошим», так сказать, чувствую, что меня часто душат неоправданные приступы ненависти или мизантропии. Я их просто держу в себе, но они есть. Мне проще себя обвинить в чем-нибудь, чем вас. Как обухом по голове. Если даже насчет тебя у высших сил ясности не возникло, что тебя надо как минимум не прессовать, то про меня и говорить нечего. Может быть, температура, но я отчетливо сознаю сейчас, что все мои представления о мироздании опять сломлены. Никакого смысла в устройстве вселенной нет. Годами, как бобёр, строю плотину. Наконец, когда что-то начало складываться, успокаиваюсь, живу себе, живу... и вдруг, как сейчас ты рассказал, и всё разом ухнуло.

- Вселенная не минкульт, который может дать премию за вклад в культурную копилку или выслугу лет. Вселенная бесконечна и непостижима. Никому нет до тебя дела, никому скидки не будет ни за человечность, ни за труды. Справедливость, воздаяние ничего нет.
 - Нет, я всё вижу не так.
- А я так. Я не верю в «грех». Я вот как вижу. Если ты достаточно наглый и сильный, ничего тебе за твои грехи не будет. Человек, по замыслу, обязан доказывать свою жизнеспособность. Если человек не открывает и не развивает в себе заложенный природой дар, он становится уязвимым. Жизнь похожа на охоту. Человек обязан быть в форме бегать, стрелять, метать. Как только он начинает лениться, он меньше ловит, хиреет, умирает. Человек должен умирать, так мы задуманы. Цивилизация не очень способствует смерти, мы хорошо устроились, нас львы не пожирают, крокодилы не стерегут, почти от всех болезней нашли лекарство. Мы, ничего не делая, долго живем, и это вопреки природе, поэтому смерть подкрадывается через другие каналы, она должна нас как-то ловить. Поэтому тут нет такого: за что мне или тебе траблы?
- Нет, я не в состоянии это принять. Просто не в состоянии. Вопервых, я должен знать за что мне такое. Во-вторых, я не могу смириться с тем, что ублюдки отправятся в такое же посмертное путешествие, что и достойные люди, которые прожили свой век, никого не обидев. Грехи ничего не значат, говоришь, никто не будет наказан... Значит, можно сбивать самолеты, травить людей направо и налево, начинать войны всё сойдет с рук!
 - Именно.

- Нет, меня это не устраивает. Честное слово, с ветхозаветным Богом мне б жилось проще, чем с твоими взглядами, потому что жить и знать, что мерзавцы рано или поздно будут наказаны, это охренительная компенсация. Я должен увидеть, как подлецы получают по заслугам. Хуссейн, Милошевич, Каддафи... Ох, как хочется продолжить этот список, успеть при жизни вписать имена, которые сами так и просятся! Помнишь, я верил в божественную инквизицию? Даже придумывал, как бы отправить донос высшим силам? Принимаешь что-нибудь вроде DMT и рассказываешь ангелам... Конечно, я обрадовался, когда услышал панк-молебен, я сразу возликовал: ну вот, кто-то думает так же, как я! Тот же ход мысли! И что, всё напрасно? Никто не услышит?
 - Не услышит. Вселенная глуха и безразлична.
 Он поморщился.

— Да, — настаивал я. — Вселенная — это грандиозная непостижимая медуза. Медузе всё равно — убивал ты или занимался благотворительностью. Нам кажется — смерть, всё, конец. Вовсе нет. После смерти сознание отправляется к истоку, а тело идет в компост. Всю жизнь мы ведем отсчет от рождения. Кажется, что рождение было началом, мы поставили зарубку — дата рождения, и пошло-поехало,

тогда как на самом деле мы начались гораздо раньше. Мы начались на целую бесконечность раньше.

— Бесконечность, — сказал он тихо, — в такой перспективе даже

Холокост ничего не значит. Мы долго молчали, совсем стемнело, за окном возле клуба собралась толпа, но времени до начала концерта еще было полно. Вдруг он снова заговорил:

— Я так измучился. Не жизнь, а ловушка какая-то. Когда маму похоронили, работники сказали, что туда уже никто не ляжет в ближайшее время. Нет места на участке. На Хийуском, где бабушка, тоже места нет, совсем. Но у мамы был участок приватизирован, где лежит ее крестный, Василий Сопелкин. Я его не видел, но сестра моя, кажется, помнит, смутно, но припоминает его. У меня в детстве было много серебряных чайных и десертных ложек с его вензелями, и еще какие-то книги до сих пор стоят в шкафу с его экслибрисом, инициалами «ВС». Почему-то у нас в семье говорили не Василий Сопелкин, а именно Вася Сопелкин — так его мама называла, с благостью и обожанием. Он был, кажется, другом ее отца, деда, которого я никогда не видел. Вася Сопелкин умер в 1975 году. Помню надгробную плиту с детства, мама туда часто нас водила. Метрах в ста, наверное, от мамы и папы. Мама умерла, сестра переоформила его участок на свое имя, так вот там места до фига. Так что кто угодно

следующий в нашем роду — на Васю, я думаю. Вглубь, подальше от ворот, которые ближе к теннисным кортам. Он уж осел-то за сорок с лишним лет. Наверняка можно сверху! И вот часто в своих обращениях к высшим силам я прошу дать мне незаметно, безболезненно на Васю Сопелкина лечь.

* * *

(Нет, это не снег шуршит, это прошлое кружит стайкой попугаев над Авеню Вольдера.) Укрыться и лежать. Смотреть, как дым поднимается вверх, ползет по потолку. Смотреть на картины, что рисует дым. Дыхание. Ностальгия по сгорающему закату. Предчувствие отъезда. Меланхолия сумерек. И снова картины. Неуловимые. Метафизические. Потом они исчезнут. А вместе с ними исчезну я. Останутся только газеты. Они просыплются прошлогодними новостями на зонтики прохожих. Дождем, птичьим пометом, тревогами и сомнениями они осядут на сердца людей.

Мы навечно замуровались в той комнате; если сюда когданибудь войдут, они найдут только пыль, которая будет вращаться в свете солнечных лучей, она будет проворачиваться и смущать, вводить в заблуждение.

Я вышел из отеля и перешел дорогу, повернул направо и пошел по аллее, совершенно пустой, ни души, я закурил и шел до конца бульвара Рошешуар, стоял за киоском, докуривая джойнт в слетавшихся ко мне сумерках.

Утром ему стало лучше, мы выписались из отеля, как из больницы, и медленно, глазея на сценки парижской жизни, как на картины древних художников, проникших сквозь человеческие жесты и гримасы в наши дни, отправились на улицу Лепик, где я его сфотографировал возле дверей дома № 98.

Таллинн

Александр Немировский

ЛАС КАБОС БЛЮЗ

Городок, приколотый бабочкой рыжих крыш на гербарий горбатых гор. Радующий глаз прикол стройных конечностей в тапочках, от уголков бикини к щиколоткам, где пробор песка. И, прикинь, над ними, над розовыми хребтами, — Рождественская звезда.

Щелкая замками, торговец сворачивает киоск украшений и фруктов. На шею повешенный поднос — безразмерной книгой. Взгляд в море Кортеса. Пальма, подметающая закат над бухтой. В основании ствола: амиго с гитарой, сомбреро — нимбом. Сбор туристского песо.

Без интереса к людям, принимающим меры, пеликан наблюдает движенье рыбы. Его ужин шевелит плавниками на подносе прибрежного мелководья, какая-то будет первой. Остальные – останутся, испуганы облаками. В природе, подчиненной законам пищи, жизнь – это искусство не оказаться нищим.

MARDI GRAS

Я стану неучем истории. Забуду имена, не вспомню даты. Просторы времени, тем сбережённые, вдохну в трубу, чтоб терции синкопы строили, морщины разогнав на лбу. Чтоб виноваты в ночи хмельной, мы возвращались на рассвете, льняной накидкой прикрываясь, в шальном такси конца столетья. Чтоб упрощались, сокращаясь на боль, числитель лжи и знаменатель жизни дней. Мой саксофон в руках дрожит, когда мелодия нежней моей, ведома парою влюбленных. Им в спину дышат миражи тем хриплым голосом Луи про долю Долли. Им клены, в едва набухших почках, машут еще костлявыми ветвями. Мне, что ли, захлебнуться джазом в попытке плыть за парой строчкой?

Парк, берег, узкая дорожка, прохлада. Дрожит туман над Миссисипи. Взвесь сыпью капель на футляре. И, равнодушная, в тиаре, мисс с кожей цвета шоколада шагает на работу в Сити.

САН ФЕЛИПЕ

Между пивной и «Ла Вакитой» дорога ниткой режет пляж, От солнца шляпкою прикрыта смуглянка - ножки, даль, пейзаж. Переживая Сан Фелипе, под кружку с пальмой на холме, где, рукотворный, он насыпан над полем гольфа. Где вполне пространство моря в окна вхоже, где ширь отлива икры гложет, покуда до глубин дойдешь, я был однажды... Светлый боже, ты память эту не тревожь. Пусть будет чистая страница: embarcadero, юбки, лица, баркас рыбацкий вдаль стремится, и грузовик: колеса-спицы, корыто лодки на прицепе и бирюзовой глади дрожь.

Между пивной и «Ла Вакитой» в прицеле объектива, чуть размыто: собаки, мусор, арка взмыта. Шумят, торговлей перевитый, базар, заправка, магазин. Среди покупочных корзин кружится Мексики сомбреро над кактусом. Над тем, наверное, что местное являет древо и сотню лет цветет один.

Что ресторанчик «Ла Вакита»? В нем ресторанщик – волокита видать, бывал, до всяких дам. С тех пор обрюзг, стареет сам, но обаятельный, каналья.

ПОЭЗИЯ 87

Ему б в кино, его б снимали, но в Сан Фелипе – где ж оно?

Окно

и рядом стол накрытый. В волнах играет la vaquita. Закат лучами пики выткал на панораме дальних гор. Пивная, громкий разговор стекает пеною по кружке, о чем — не разобрать — не русский; Вдоль моря розовеют спуски, простор вздыхает ветра сушью по преходящему в насущном.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ НОКТЮРН

Нам уже не встретиться с тобой в городе, под снегом, летящим в морды статуй сфинксов из неба, что самую суть светлее земли. И́ксы наших дорог никак не пересекаются с игреками времени, теми, по которым плавают корабли. Я ухожу от тебя на триере: быта, работ, обязанностей, с которыми не уместен торг. В разности вычислений оказывается устье реки, протяженной с запада на восток.

Воспоминания — это грусть о безнадежности возврата. Я не хочу помнить, о чем мы когда-то мечтали, особенно, не хочу вспоминать детали. И, если бы мог, предпочел надежду, на повтор, даже, если далее, повтор — расплата.

Перебор
твоих ног по поребрику,
пасть парадного, откуда веет
сыростью.
Моя маленькая фея,
зачем мы живем на свете,
если твоим волосам никак не рассыпаться
под мой рукой?
Неужели, укором
или, хуже, — пане́гириком
по самим себе за выживание в этом столетии?
Если всё, что нам удалось, получилось порознь,
значит ли, что для «вместе»
нам пора на покой?

ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ

М. и С.Г.

Стеклянная стена. Малиновые шторы и книги — стеллажи узорами времён. Кораблик — столик мой в волненье разговора плывет на парусах стакана «Совиньон».

Аккорд гитарный взят и микрофон подлажен Звучит баллада о... и кружатся слова. Как листья ноября, они ложатся на... и заметают рыжим сиденья экипажа — дрожит купе-кафе, над строчками паря.

Прижатый пальцем гриф взмахнет струны прибоем, и вздыбится крутым волнением душа,

89

когда возьмет мотив в небесно-голубое, тебя, меня с собою в речитатив кроша.

По залу тишина. Остановись, мгновенье. Для дуновенья рук раздвинут локоток. Одежды лишена, жизнь продолжает пенье. И лай ей Бог!

HALLOWEEN

Не получится вышить в батисте сезона дождей. Танца листьев, гоняющих свет над дорожками сада. Из бесценных вещей мне достался скелет из пиратского клада – Halloween овощей, где щекастые тыквы с разрезами глаз. Отберите конфеты, давайте! Мне сладкое вредно до жути. Венский вальс одичалому платью с метлой приведения. Я вхожу, неживой в нежилые дома и с корзинкою клянчу напутье. Что направо, что прямо в направленье веселья.

Лишь топорщит карман, лицемерно возвернутый кем-то твой потерянный шарф. «Нет, спасибо, не мерзну». Видишь, падает жаркий ноябрьский дождь на макушку скелета, что пустыми глазницами смотрит на звезды.

Леонид Латынин

Двуглавая лира

К ДАНТЕ

(Из империи, стоящей на погосте)

А я родился «в сумрачном лесу», Где вдалеке дымилась Хиросима, И службу вымысла невольную несу, Иначе бытие невыносимо.

В тумане лет, преданий и веков И в тайне смысла сумрака и света Я прожил жизнь в стране большевиков И, слава Богу, не заметил это.

Любил и пел, и прочие дела, Играя иногда с надеждой в кости, А жизнь себе то тлела, то цвела В империи, стоящей на погосте,

Тревожа изредка усталые мозги. Но крепок сон бессмыслицы и страха, А то, что в прошлом не видать ни зги, – Давно добыча вечности и праха.

Есть данный день, где весело окрест, Гогочут гуси, хороводят мухи, Да высится Христов казенный крест Среди простора мировой разрухи.

3 июля 2021

ЗАЛОЖНИК НЕОКОНЧЕННОЙ ВОЙНЫ

Перед теми, кто ушел, – виноват, Перед теми, кто остался, – вдвойне, Не пора ли помолиться – в Цареград И не думать по дороге о войне,

91

Всё лелеять бесконечную вину, От которой не останется следа. Я был призван на гражданскую войну Тенью судеб, не ушедших никуда.

Всё тяжеле череда моих утрат, Список тайный прибывает не спеша, В хороводе невеселом скорбных дат Остается неприкаянной душа.

Мне не выбрать ни страны, ни стороны, Мне покоя не даровано ни дня. Я заложник неоконченной войны, Что затеяли когда-то до меня.

23 мая 2021

* * *

Как просто жить, готовясь к смерти, Архивы – в печь, строку – в печать. И адрес вечный на конверте, На срок не скорый намечать.

Чертя писалом по бумаге Тем, что родятся ли, вопрос? Топить слова в соленой влаге Непроизвольных поздних слез.

И слушать птиц живое пенье, Благодаря за каждый звук, Испытывав благоговенье Пред нежностью желанных рук,

Перемешав концы, начала Судьбы без края и угла, В которой музыка звучала, И так светло изнемогла.

22 июня 2021

К ДРУГУ

Пока не выполз голубь из берлоги, Пока цветок не окотился вдруг, Мы подведем столетию итоги, Еще летам неведомый, мой друг.

Мы жили долго в не небесном храме, Одни всерьез – другие невпопад, Рожденные при рукотворном хаме, И при другом спустившиеся в ад.

Бессмысленны, умны, простоволосы, Не сделавшие дела ни на грош, Вот разве что задавшие вопросы, Которые ты сразу не поймешь.

Зачем ярму вручали страстно шеи, И старый дед и юный пионэр, Зачем строчили нам родные швеи, Не сарафаны – саваны в размер.

И почему кумиров наваляли
Из бесов, дураков и прочих «не».
Да мы и сами поняли едва ли,
Что жили, как и померли, – во сне.

10 июля 2021

* * *

Мариэтте Чудаковой

Друзья живут на минном поле, Запаса жизни ни на грош, У всех диезы и бемоли, И белых клавиш не найдешь.

За ночью день спешит, итожа Скупой надежды краткий час, Но всеблагой и щедрый Боже Хранит не каждого из нас.

То здесь, то там – дымок и вспышка, И вслед Шопена скорбный звук.

ПОЭЗИЯ 93

А прочим снова передышка От слез и музыки вокруг.

И гаснут разума лампады, Законы вечные верша. Кресты, железные ограды Столетья множа не спеша.

Вот так, так буднично и просто, За край судьбы и бытия Уводит линия погоста Из плоти воздухи вия.

27 декабря 2021

ПОД СЕРПОМ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ

Друзья уходят – недруги цветут. Ветшает жизнь, и вера на излете. И жизнь в границах призрачных минут Опять на той же безысходной ноте.

Но грудь полна и ветра и волны, И кровь кипит, и не проходит сила. И под серпом погашенной луны Живое солнце вовсе не остыло.

Бессилен оказался приворот, Казенных слов, хвалебных или бранных. Вновь слышен скрип истории ворот – «Так мало избранных, так много званых». 23 декабря 2021

В РОЖДЕСТВО

У иконы мы стояли «Утоли мои печали». И молились, как могли, На краю чужой земли.

И просили тихо Бога Робкой радости немного. Света светлого огня, Для тебя и для меня.

СТАНСЫ

Не вышел диалог с глумливым веком, А тот с кем мог – он умер до меня, Я срок тянул отдельным человеком При свете не небесного огня.

Кто был со мной, не помню и не знаю, И с кем я был, не понял до конца. Одной дорогой к аду или раю Уходят волк и пастырь и овца.

И сон и явь меняются местами, Кто мог бы быть – истрачен ни за грош. Земная ширь испещрена крестами, И множит ложь сама себя на ложь.

11 марта 2022

* * *

Одна чума сменить другую Спешит, времен ускорив бег, И снова в службу роковую Отправлен ныне человек.

По воле пленника неволи Законов тайных бытия, Не нами явленных в глаголе, Которых жертва ты и я.

И что с того, что каждый правый, Что будет оным правым впредь. Наш выбор прост, уйти со славой, Иль безымянно умереть.

А может выжить незаметно, В забытом Богом рубеже. Так наугад и беспредметно, Как жили смертные уже.

19 марта 2022

* * *

Злобы диагноз, конечно, не вечен. Давних обид не уменьшена рать. Жаль, что лечить эти тягости нечем, Кроме ума и уменья прощать.

Снова земля, словно бранное поле: Крики, мечи и селенья в дыму. Мир непослушен рассудку и воле В граде престольном и малом дому.

Что наши речи и бедные вздохи, Нам не подвластна и наша судьба. Мы только слуги текущей эпохи Или рабы у другого раба.

Падает лист в истечении лета, В небе кружится верста за верстой Малая кроха, живая планета, Бедная птица над пустотой.

Mapm 2022

Ольга Исаева

Быть частью речи

В конце восьмидесятых годов двадцатого века русская речь в Нью-Йорке была еще редкостью. Услышав ее, я приходила в такой восторг, что бросалась к незнакомым людям, как к близким друзьям. Нередко это приводило к курьезам. Как-то раз я спешила в гости к родственнице моего мужа, живущей на 52-й улице между Бродвеем и Восьмой авеню, и вдруг услышала обрывок донесшейся до меня фразы, произнесенной по-русски, но, как мне показалось, с иностранным акцентом. Я пошла медленнее, прислушалась. Говорили мужчины, оба картавили и упоминали какого-то Милоша. Я подумала — чехи. Но тогда почему они говорят по-русски и кто этот Милош? Может быть, это режиссер Милош Форман? Я вся превратилась в слух. До меня донеслось:

- Хорошенькая, да?
- На заднем дворе у нее полный порядок, но интересно, каков фасад.
 - Уверен, там тоже все в порядке «шепот, робкое дыханье»...
 - «Трели соловья». Может, посвистеть, чтобы она обернулась?

Я поняла, что обсуждают меня, так как никого другого в этот момент вокруг не было. Острое словечко завертелось у меня на языке. Я обернулась и вдруг... Боже мой!

Одного из них я видела полгода назад в Москве. Это был Томас Венцлова. Впервые после долгого изгнания этот известный на Западе поэт приехал встретиться с друзьями. Кто-то устроил у себя его квартирник. Я попала на него случайно, но после чтения сумела пробиться сквозь толпу и спросила:

Через месяц я уезжаю в Америку. Что бы Вы могли мне посоветовать?

Он ответил:

– Поезжайте в Нью-Йорк. Это лучший город на свете. А про Америку запомните: всё, что вы когда-либо о ней слышали, самое плохое и самое хорошее, – правда.

Сколько раз я с благодарностью вспоминала его слова! И вот я стою на нью-йоркской улице и во все глаза смотрю... НЕ НА НЕГО.

Его собеседник – Иосиф Бродский, мой любимейший поэт, чья отксеренная фотография стояла в Москве у меня на письменном

столе в годы, когда это было попросту опасно, особенно, если живешь в одной коммуналке с капитаном милиции, начальником районного ОВИРа, который при первой же встрече строго нас с мужем предупредил: «Сидите и не рыпайтесь. И чтоб никаких этих ваших еврейских сборищ, пока не получу новую квартиру и не перейду на другую работу».

Но мы рыпались. Мы активно участвовали в самиздате. Муж доставал, а я размножала и распространяла подсудные «Архипелаг ГУЛАГ», «Зияющие высоты», двухтомник Бродского. Того самого, который сейчас стоит передо мной и с интересом меня разглядывает. От изумления я так смутилась, что смогла пискнуть только: «Спасибо», после чего юркнула в подъезд дома мужниной родственницы, а они, улыбаясь, вошли под козырек соседнего ресторана.

Ресторан назывался «Русский самовар». Литературные завсегдатаи, чтобы избежать тавтологии, называли его просто «Самовар». Я много раз проходила мимо, но о том, чтобы зайти туда, даже не думала. Денег у меня в те времена не хватило бы даже на «Макдональдс». Однако вечером, после того, как я увидела, что в него зашли Бродский и Венцлова, решилась зайти и узнать, не требуется ли там официантка. Английского я в то время еще не знала, общаться с американцами было сущей мукой, а тут все-таки русский ресторан.

Робко потянув на себя тяжелую дверь, я вошла в длинное, напоминавшее вагон, помещение, в котором, пахло табаком и вчерашними пельменями. Бар сиял огромными бутылями фруктовых наливок. По стенам висели картины, литографии и фотографии знаменитостей. С потолка свисали зеленые обажуры. На столиках под стеклом красовались павловопосадские платки. Из динамиков доносился хриплый голос великого эмигрантского певца Алеши Дмитриевича. Было еще пусто. Только в глубине смеялись за столиком какие-то подвыпившие господа в смокингах. Из-за своего столика навстречумне вышел человек в дорогом костюме и с трубкой в зубах. Это был Роман Каплан, напомнивший мне булгаковского ресторатора Арчибальда Арчибальдовича. Было в нем что-то пиратское. Он совсем не был похож на интеллигента, бывшего учителя русского языка и литературы.

Оказалость, что зашла я вовремя. Несколько дней назад из «Самовара» уволилась официантка. Услышав ее имя, я не поверила. Ее звали Елена Коренева. Я уже слышала, что она живет в Нью-Йорке, но что обстоятельства заставили ее пойти работать официанткой, вызвало во мне острейшее сочувствие. Что должна была чувствовать популярнейшая актриса нашего поколения, разнося подносы. Ужас!

Сама я унижения не испытывала. О гордости, как о тяжкой обузе,

пришлось забыть. Когда человеку надо не просто начать жить на новом месте, а выживать, гордость может потянуть ко дну. Да и кто я такая? Подумаешь, бывшая училка. Я уже и уборщицей поработала, и няней. В ресторане-то наверяка хуже не будет. Но хуже было. Клиентами в те годы были в основном американцы. Зная, что официантами в Нью-Йорке работают, главным образом, не профессионалы, а люди творческих профессий, которым нужны деньги, они относятся к ним с уважением и сочувствием. Работая в «Самоваре», я постоянно должна была отвечать на вопросы. Откуда я приехала? Давно ли? Кем была в Москве? Нравится ли мне в Америке? Остались ли у меня родственники в Советском Союзе? Но главным вопросом был, конечно, как я отношусь к Горбачову. О нем спрашивали все без исключения.

Что я могла думать о Горбачеве? Этот человек стоял во главе правительства, когда случилась авария на атомной электростанции в Чернобыле. Дети в Киеве, Минске, Ленинграде гуляли во дворах во время весенних каникул. По всем городам шли первомайские демонстрации. Сколько людей получили облучение из-за того, что правительство и лично Горбачев целую неделю скрывали от народа эту ужасную новость?! С другой стороны, я не могла не испытывать к нему благодарности. Ведь только благодаря инициированной им перестройке, я вместе с семьей смогла уехать из Советского Союза, а это дало нам шанс на выживание. Ответить на вопрос о Горбачеве в двух словах я не могла. На то, чтобы объяснить, что я думаю о нем, словарного запаса не хватало. Никто и не ждал от меня аргументированного ответа, но я этого не понимала. Между мной и моими собеседниками зияла огромная культурная пропасть. Вежливость на разных концах Земли воспринимается по-разному. Внимание к моей полунемой персоне было для меня сущим наказанием. Люди видели мое смущение и думали, что я не решаюсь отвечать на их вопросы, потому что до сих пор боюсь КГБ. Многим я казалась слишком неприветливой, потому что улыбка еще не вошла у меня в привычку. Да и как улыбаться, когда на душе такая боль, что скулы сводит? Словом, именно в русском ресторане я получила первые уроки общения с американцами, и далось мне это нелегко.

Я продержалась три месяца. Хозяин уволил меня, когда я допустила досадную ошибку. Вместо блинов с черной икрой принесла блины с красной. Казалось бы, ничего страшного, ну ошиблась, с кем не бывает. Но клиентка оказалась «звездой». Звали ее Ванесса Редгрейв. Мне это имя ничего не говорило, но у хозяина при виде ее взмокли подмышки. Для нас обоих ее приход был полной неожиданностью. Рядом с «Самоваром» находился театр. Он и сейчас там находится. На полквартала растянулась светящаяся вывеска «Simon

Theater». Ньюйоркцы знают, что это весьма престижное место. Я сотни раз проходила мимо афиши с фотографией примадонны, но без грима ее не узнала. Тетка как тетка – немолодая, неприветливая, с затертым лицом и барскими замашками.

Пьеса, в которой она играла главную роль, называлась: «Кто боится Верджинию Вульф?» Пьесу, разыгравшуюся в реальной жизни, в которой я играла главную роль, можно было бы назвать «Кто боится Ванессу Редгрейв?» Когда в сопровождении всей труппы она заявилась к нам в ресторан, я была одна. Ни бармена, ни помощников, приносящих еду и убирающих грязные тарелки, днем обычно не требовалось. На ланч приходило пять-шесть посетителей. Меня это устраивало. Я получала крошечные чаевые, но без опыта с большим количеством клиентов мне было не справиться. И вот — в один миг все столики заполнились. Всем требовались коктейли и еда, причем немедленно.

На кухне тоже был всего один повар. Он чуть не умер от испуга, когда на него посыпались заказы. Кухня находилась в подвале, бегать по лестнице с полными подносами было очень тяжело. От напряжения у меня голова шла кругом. Если бы Ванесса Редгрейв просто указала мне на ошибку, я бы извинилась и всё исправила, но она сидела рядом с хозяином и, естественно, пожаловалась ему. Он вызверился, выволок меня на улицу, наорал, обзывая самыми обидными словами. Я в тех же выражениях послала его и, благо уже примчались другие официантки, ушла, не взяв с собой ни чаевых, ни положенного мне за две недели жалования.

Я никогда не пожалела о том, что так случилось. И по сей день работа в «Русском Самоваре» остается для меня самым унизительным опытом моей жизни в Америке, но всё же я без горечи вспоминаю о нем, потому что там мне посчастливилось встретиться с Иосифом Бродским. Как-то раз он пришел на ланч с другом, чешским писателем Чеславом Милошем. Вот о ком они говорили с Венцловой во время нашей первой встречи!

Хозяина еще не было. Посетителей – никогошеньки. Я обомлела от радости. Стала предлагать самый лучший столик, но Бродский сказал, что его любимое место в глубине, и провел своего гостя в самый конец ресторана. Я принесла меню. Бродский сказал мне чтото по-английски, но я взмолилась:

- Ради Бога, пожалуйста, по-русски. Я совсем недавно из Союза. Он оценивающе взглянул на меня и кивнул.
- Хорошо, солнышко, принесите нам для начала водочки, селедки, огурчиков, а там посмотрим.

Внезапно для себя я ответила:

– Хорошо, солнышко, сейчас всё будет исполнено.

Он снова удивленно вскинул на меня глаза.

– Вы что, обиделись?

Я покачала головой.

Нет, просто Вы – солнышко русской поэзии.

Он захохотал.

- Вот именно солнышко. Не сердитесь. Я не думал, что Вы меня узнали.
- У меня в Москве была Ваша фотография. Я читала Ваши стихи в самиздате.
 - Неужели? Похвально. А как Вас зовут?
 - Опя

Он дотронулся до моей руки.

Оля, простите за фамильярность. Я всех называю солнышко.
 Глупая привычка, но всё же не обидная, да?

Я смутилась.

– Да нет, что Вы, я не обиделась, просто пошутила.

Он снова внимательно посмотрел на меня снизу вверх.

– Говорит – пошутила, а глаза грустные.

Я отмахнулась.

– Это от хорошей жизни.

Он напрягся.

- Что, хозяин обижает?
- Пытается, но я не поддаюсь.
- Не поддавайтесь, Оля. Я буду Вас защищать. Я имею некоторое отношение к этому заведению. Ромка меня уважает.

Мне хотелось говорить с ним, видеть его внимательный взгляд, ощущать тепло его сочувствия, но я была всего лишь официанткой, и надо было работать.

С того дня я ждала его каждый день. Он появился через две недели, а может, через месяц. Время тянулось, как во сне. Каждое утро я просыпалась с ощущением, что снова хочу уснуть и оказаться в серой, голодной Москве, где по улицам грохочут танки, где мне страшно, унизительно жить, но всё же там я дома. ДОМА! Снилось мне это в восемьдесят девятом году. Совок хрипел, но еще дышал. На улицах Москвы танков не было, но в моих снах всё уже случилось. И от этого было еще тяжелей.

На сей раз Бродский улыбнулся мне как своей знакомой. С ним был невысокий, удивительно пропорционально сложенный, красивый блондин, чье лицо мне показалось смутно знакомым. Где-то я его уже видела.

 Вот, Миша, познакомься. Это Оля. Она недавно из Москвы, читала меня в самиздате. Барышников! – вспомнила я. Он привстал, подал мне руку. Лицо его не выразило ни малейшего интереса. А Бродский сказал:

– Оля, Вы сами не догадываетесь, как приятно было встретить москвичку, которая читала мои стихи. Это было уже после?..

Я догадалась, что он хочет спросить о Нобелевской премии.

- Нет, задолго до.
- Удивительно. А что это было? Какой-то самодельный сборник?
- Это был двухтомник.
- Тот, что Костя Кузьминский сделал?
- Да. Бесцветный такой. Сотая копия. У меня его украл один юный поэт. Сказал, что в Америке я куплю другой, а ему надо.

Бродский рассмеялся.

– Я Вам подарю. У меня недавно вышел сборник.

И действительно, буквально через неделю он принес синюю книжку, вышедшую в издательстве «Ардис». Называлась она «Урания». Я испугалась, что он спросит, знаю ли я, что означает это название, но он не спросил. Просто достал ручку и что-то стал писать на титульном листе. Сразу прочесть я не решилась. Бледно поблагодарив (ни одно проявление благодарности не соответствовало бы буре чувств, которая разыгралась у меня внутри), я убежала в подсобку и только там прочла:

Ура! Не я тебя предам. Ура! Не я тебя забуду, Ура! Не я в твоих глазах, Отьявленным мерзавцем буду.

Милая, Оля, не грустите. Все наладится. «Солнышко русской поэзии» – Иосиф Бродский

Он был прост со мной, сердечен. Он был именно таким, каким я его себе представляла. Я восхищалась им и, в то же время, не видела в его поведении ничего исключительного. Оценить его такт и достоинство я смогла много позже, когда познакомилась с некоторыми друзьями его юности. После общения с ними у меня оставалось ощущение, что меня изощренно унизили. Спесь, мнимое величие и неумело скрытая обида на великого друга чувствовались за каждым словом.

Когда открылся железный занавес, друзья Бродского стали приезжать в Нью-Йорк, ожидая, что он, бросив все дела, будет водить их по городу, показывать достопримечательности, развлекать, кормить, утолять духовный голод, устраивать их литературные дела. Поначалу он так и поступал, но поток был нескончаем. В начале девяностых друзья-поэты стали приезжать в Америку с чадами и домочадцами по

нескольку раз в год, а у Бродского была своя сложная, невероятно интенсивная жизнь. Через некоторое время друзья почувствовали, что его внимание небезгранично. Один из них жаловался мне: «Я приехал на месяц, думал наконец-то пообщаемся, но он просто вручил мне ключи от квартиры, сказал: 'Живи, сколько надо' – и уехал в Швецию».

Многие тогда на него обиделись, решили — зазнался. Впрочем, у меня создалось впечатление, что они так решили, как только Бродскому присудили Нобелевскую премию. Незадолго до отъезда в Америку мне довелось побывать на вечере, посвященном этому событию. Помню скорбную речь, которую произнес Евгений Рейн, который впоследствии на всех углах кричал, что он не просто друг, а «учитель» Бродского. Мрачно глядя в зал, Рейн произнес: «Кажется, что над этим залом витает вихрь стодолларовых купюр». Мне так не казалось. Меня возмутила эта фраза. Но дальше было еще хуже. Вместо того, чтобы порадоваться за друга, Рейн заговорил о тяжелой судьбе поэта в эмиграции. Он не упоминал ни о позорном судебном процессе «над тунеядцем» на родине, ни о тюрьме, ссылке, насильном выдворении из страны; он говорил о том, что никакие «нобелевки» не могут компенсировать поэту, живущему в эмиграции, отсутствие массового читателя.

Конечно, он был прав, но на торжестве в честь друга эта речь прозвучала вызывающе. Это почувствовала не только я. Всех, кто был в зале, покоробило то, что ближайший друг лауреата не смог скрыть ни своей зависти, ни взбеленившейся гордыни.

Не он один. Друзья и знакомые по-прежнему называли его Оськой, цитировали его шутки, в воспоминаниях все пытались встать с ним вровень, но на заднем плане чувствовалась нестерпимая боль. Ведь зависть — это душевная боль от того, что у тебя отняли самую драгоценную иллюзию — иллюзию равенства. Только общаясь с Львом Лосевым, Ефимом Григорьевичем Эткиндом, Владимиром Уфляндом я не чувствовала этой скрытой боли. Только им удалось не пораниться об острые края чужой славы.

Однажды, когда я уже не работала в «Самоваре», мы случайно встретились с Бродским на улице. Он обрадовался. О себе я и не говорю. Случайная встреча знакомых в огромном городе – всегда радость. Встреча с Бродским была для меня настоящим счастьем. В то время, когда мы с мужем безнадежно метались по городу в поисках работы, нас поддерживала только литература. Каждый вечер мы читали друг другу вслух Пушкина, Гоголя, Чехова, Зощенко, Булгакова, Мандельштама, Пастернака, Довлатова, Набокова... Но особенно в те годы нас восхищали стихи Бродского. Их трагизм был созвучен нашему мироощущению. В исполнении мужа я могла слушать их

часами. От них, отнюдь не жизнерадостных, окрашенных болью, горечью, мудростью страдания в моей душе почему-то оживала надежда, а жизнь наполнялась смыслом.

Скорее всего не в таких выражениях, но во время нашей встречи я ему об этом рассказала. Он не перебил, не отшутился. В его реакции не было ничего манерного, ничего надуманного. Он не скрывал, что ему важно всё, что я говорю. Как в человеке в нем не было заметно ни тени снобизма. Во всем его облике чувствовались благородство, открытость, доброжелательность, обаяние. Помню, мне пришла тогда в голову мысль, что слава может искалечить лишь обыкновенного человека, что единственной защитой от нее может быть подлинное величие.

Увы, все наши встречи с Бродским были слишком короткими, слишком редкими. И все я запомнила как яркий сгусток счастья. В тот раз я, как всегда, спешила домой. От 52-й улицы в Манхэттене до Перри авеню на окраине Бронкса, где мы жили, в сабвее ехать было не меньше часа. Мне надо было успеть забрать дочку из школы. Если бы я опоздала к закрытию, ее отправили бы в полицейский участок. Так однажды и случилось. Повторения этой истории я жутко боялась. В Америке к детям отношение более серьезное, чем было в Советском Союзе. Помню, я ходила из детского сада домой, переходя и через железную дорогу, и через улицу, но никто мою маму за это не думал лишать родительских прав. В Америке меня сразу предупредили: если опоздаешь забрать дочку из школы хотя бы два раза, полиция сообщит в органы опеки, и ее могут забрать из семьи.

Мне надо было бежать. Я стала прощаться, но очень просто, как что-то само собой разумевшееся, Бродский сказал:

– Мне как раз в ту сторону. Давайте дойдем до пятьдесят девятой, Вы сядете в метро, а я пойду по своим делам.

Мы свернули на Восьмую авеню. Шли очень быстро. Оба курили. Я испытывала одновременно и радость, и страх. Очень страшно было в разговоре сморозить какую-нибудь чушь, но Бродский не дал мне окоченеть.

— Оля, вы похожи на героиню Бунина. В вас чувствуется неподдельная печаль. Вас мучит какое-то горе? С нашей первой встречи я хотел спросить... Не могу ли я вам как-нибудь помочь?

От неожиданности у меня слезы хлынули из глаз.

Преодолевая их, я еле смогла вымолвить:

— Мне никто не может помочь. У меня муж болен, но он об этом не знает. У него какая-то болезнь мозга. Он часто теряет сознание, никого не узнает, не понимает, где находится. Это длится несколько минут, а потом он приходит в себя и ничего не помнит. Я пыталась ему объяснить всю опасность, уговорить обратиться к врачу, но он

только замыкается в себе и твердит, что я нарочно его обманываю. Может быть, в глубине души он понимает, что я говорю правду, но ему так страшно, что легче меня возненавидеть. Я чувствую, что его надо спасать, но он не хочет жить и внутренне готовится к смерти. Словом, я не знаю, что делать.

Бродский кивнул.

- Да, ситуация ужасная. Он работает?
- Только что устроился.
- Это отлично. Если подобные приступы начнут случаться с ним на работе, коллеги обратят внимание и убедят пойти к врачу. Сейчас вы ничего не можете сделать. Мужчины терпеть не могут, когда женщины говорят им правду. Тем более о болезни. Я по себе знаю. Коллеги другое дело. Я вам очень сочувствую. А что у вас с работой?
- Пока убираю квартиры. Недавно подала документы в аспирантуру в Русскую школу в Вермонте.
 - В Норвич или Мидлберри?
 - В Норвич.
- Отличная идея. Обязательно возьмите курсы у Льва Лосева, он мой старинный друг и блестящий интеллектуал. А еще у Эткинда. Может быть, вы читали его «Книгу о стихах»? Замечательный литературовед. У них Вы получите настоящее образование. Я имею в виду не советское. А что случилось в «Самоваре»? Ромка вас уволил?

Я рассказала об истории с Ванессой Редгрейв.

Бродский мрачно сказал:

– Красная могила левых сил. Таких, как она, в Америке называют лимузинными либералами.

Мы подошли к станции сабвея. Бродский сказал.

Если понадобится помощь, Оля, прошу, не сомневайтесь, звоните мне.

Он вложил мне в ладонь свою визитку.

- Да, и вот еще. У меня через неделю выступление. Может, вы с мужем придете? Буду рад. Как его зовут?
 - Виталий.

Он поискал в портфеле и протянул мне контрамарку. Я взяла ее как драгоценность. Мне всегда было грустно, когда мы расставались, но в тот день особенно. С Бродским я чувствовала себя дома. Когда он был рядом, всё в жизни казалось возможным. Но ничего не поделаешь. Он ушел в золотистый свет Центрального Парка. Я начала спускаться в душный ад сабвея. Сказать, что я была благодарна ему за внимание и сочувствие, — ничего не сказать. Нас разделяла социальная бездна, но каждый раз, когда я общалась с ним, у меня возникало ощущение, что он очень бережно приподнимает меня и подносит к самому сердцу.

Вечер, на который он пригласил нас с мужем, состоял из двух отделений. В первом стихи читал его друг, поэт Анатолий Найман. Читал отлично. Стихи были мастерски написаны, со своей индивидуальной мелодией, но в них не чувствовалось присутствия исключительной личности. Это были хорошие стихи обыкновенного, хоть и талантливого, человека, поэтому они не потрясали до глубины души, а просто доставляли удовольствие. Что, вообще-то, уже немало.

Бродский сидел на сцене за столом и курил, зажигая одну сигарету от другой. Видно было, что он нервничает. В лице его не чувствовалось ни улыбки, ни живости, ни свойственной ему самоиронии. Зал слушал никому не известного Наймана, но все ждали Бродского. Я просто умирала от нетерпения. И вот он встал, подошел к краю сцены и начал... Нет, не читать – завывать свои стихи. Я вся внутреннне сжалась. В голове мелькнула трусливая мысль: «Хоть бы в обморок упасть, лишь бы не слышать странной неестественной интонации, заунывного, гнусавого голоса, так непохожих на его обычную речь». Мой муж читал стихи Бродского в сдержанной, интеллектуальной манере. Услышав, как Бродский читает Бродского, я была разочарована. Его манерность раздражала, вызывала протест... Но потом случилось странное. Я забылась. Ритмичная интонация, как бесконечные, монотонно идущие одна за другой волны, укачала меня. Я впала в забытье – слыша, как Бродский читает стихи и, в то же время, находясь в пространстве, где эти стихи существовали до того, как были написаны. Я испытала этот гипноз всего один раз. С тех пор прошло много лет, но стоит мне открыть книгу Бродского, я начинаю слышать его голос. Именно этим странным заунывным магнетическим голосом его стихи с тех пор звучат в моей душе.

После чтения был фуршет. На нем Бродский познакомил меня с женщиной, удивительно напоминавшей Мадонну с картины мастера Возрождения. Ее звали Мария. Красота ее казалась нереальной. Зато реальным оказался акцент. Так говорили дети эмигрантов, никогда не жившие в России. Бродский представил нас. Разговора быть не могло. Вокруг всё кипело. Очередь из желавших получить автограф опоясывала нас, как многожальная змея. Я стала прощаться.

Бродский подмигнул мне:

- Оля, у Вас вид человека, который увидел Медузу...
- Я добавила:
- Или услышал, как Вы читаете стихи. Предупреждать надо. Я и так нервная.

Он рассмеялся.

 Насколько я помню, все девушки нервные. А что Виталий не пришел? Ребенка не с кем оставить. Может быть, в следующий раз...
 Может быть... Может быть...

Бродский был энергичен, весел. Казалось, он стоит в начале новой счастливой жизни. Так оно и было. Вскоре я узнала, что он женился на Марии, перебрался из маленькой квартирки на Мортон стрит в красивый дом в Бруклин Хайтс, что у них с Марией родилась дочка. Я была счастлива за него.

В моей жизни тоже наметились перемены к лучшему. Как и предрекал Бродский, коллеги мужа обратили внимание на его приступы и настояли, чтобы он показался врачу. Это был знаменитейший в Нью-Йорке нейрохирург. Он сделал томографию и обнаружил в лобной доле связку расширенных, перекрученных в клубок кровеносных сосудов величиной с кулак. Инсульт мог случиться в любой момент. Операцию надо было делать немедленно.

Нам повезло. Мы жили Нью-Йорке, Виталий работал в компьютерном центре, обслуживавшем больницы; ему полагалась хорошая страховка. Это, конечно, удача, но главное везение было в другом. В одной из больниц, которые обслуживал Виталий, работал Алехандро Голдстин, гениальный хирург, в то время единственный во всем мире делавший операции по удалению сосудистых аномалий мозга. Как сотруднику Виталию назначили операцию минуя многотысячную очередь, состоявшую из людей, приехавших со всех концов мира и ожидавших ее годами. Мы готовились к операции со страхом и надеждой. Эта надежда сплотила нас. Отношения стали более сердечными. В них появились доверие и благодарность. Иногда в жизни эти чувства бывают важнее, чем любовь. Так, по крайней мере, было у нас.

На время я будто выпала из жизни, все свои душевные силы сосредоточив на муже и ребенке. И опять нам повезло. Операция прошла успешно. Через месяц Виталий вышел на работу. Мы начали жизнь сначала. Это был счастливейший период моей жизни. Мне казалось, что не только я, но и все вокруг должны быть счастливы. Однажды, зайдя в русский магазин, я взяла с полки газету «Новое русское слово» и на первой странице увидела сообщение: «Умер Иосиф Бродский». Это было так неожиданно, так чудовищно, что я не поверила. Помню, как надрывно и страшно выла сирена припаркованной у магазина машины. Помню, как всю дорогу до дома пыталась побороть слезы, потоком лившиеся из ослепших глаз. Смерть любимого поэта я восприняла как личное горе. На следующий день поехала в похоронный дом прощаться... С кем? С чем? С телом любимого человека? С телом... Как странно звучит эта фраза. Бродский был для меня прежде всего единомышленником, учителем, поэтом, мыслью, образом. И при личном общении, и в стихах я прежде всего восхищалась его личностью. И всё же мне важно, очень важно было в последний раз его увидеть.

Перед выходом из дома я встала под душ, но была так подавлена, что выбежала на мороз с мокрыми волосами. Был первый день февраля. Ветер, мрак. Казалось, мир померк, хотя это был обычный блеклый зимний, хоть и очень холодный, день. Задыхаясь от слез, я бежала к мосту, переезжала его на автобусе, долго ехала в сабвее, металась по Гринвич Виллидж, заблудившись в знакомом месте. Что бы я в тот день ни делала, душа моя выла от боли, а в голове звучал голос Бродского:

Он умер в январе, в начале года, Под фонарем стоял мороз у входа. Не успевала показать природа Ему своих красот кордебалет. От снега стекла становились уже. Под фонарем стоял глашатай стужи. На перекрестках замерзали лужи. И дверь он запер на цепочку лет...

Ему было всего двадцать пять лет, когда он посвятил эти строки поэту Т. С. Элиоту. Через тридцать два года эти строки зазвучали реквиемом по нему самому.

До сих пор помню шок от того, что в вестибюле похоронного дома смеялись какие-то люди. В полутемном зале стоял освещенный гроб. В нем — отрешенный профиль, отсутствие взгляда. В Бродском меня всегда поражал его быстрый, острый, заинтересованный взгляд. Впрочем, взгляд был — из темной ниши тяжелыми, обожженными горем глазами на меня пристально смотрел какой-то человек. На этот раз я сразу узнала — Барышников.

Я провела рядом с телом Бродского несколько минут, но мне показалось, годы. Впервые после смерти мамы я оказалась так близко от смерти. По пути сюда ревела, а сейчас сухими колючими глазами смотрела на тело, которое еще несколько дней назад дышало, мыслило, радовалось, жило. Мне казалось, что душа Бродского совсем рядом, просто к телу уже не имеет никакого отношения. От этой близости я даже успокоилась и вздрогнула, когда меня попросили выйти, чтобы родные могли проститься с ним без посторонних. Темной тенью с белым лицом в полутьме мимо меня скользнула Мария.

Я еле добралась до дома. Меня лихорадило. Кости ломило. В голове настойчиво звучали строки:

Тронь меня – и ты тронешь сухой репей, сырость, присущую вечеру или полдню, каменоломню города, ширь степей, тех, кого нет в живых, но кого я помню.

Тронь меня – и ты заденешь то, что существует помимо меня, не веря мне, моему лицу, пальто, то, в чьих глазах мы, в итоге, всегда потеря.

Дома выяснилось, что у меня поднялась температура. От перенесенного шока я заболела воспалением легких и на похороны пойти не смогла. Я сама еле выкарабкалась. Болезнь долго не отпускала. За время ее я перечитала шеститомник Бродского, который опубликовал в Санкт-Петербурге Генадий Комаров в Издательстве Пушкинского Фонда. Я читала стихи и прозу. Дышала образами, мыслями Бродского. Его смерть стала для меня «концом прекрасной эпохи». Я испытывала острейшее чувство сиротства. И в тоже время она дала толчок моей самостоятельной творческой жизни. Если для Бродского источниками его поэтической личности были Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Роберт Фрост, Уистен Оден, то для меня таким источником был он. Пережив кризис, я почувствовала, что свою «личную жизнь» больше откладывать нельзя, что от внутреннего беспокойства и одиночества меня может спасти только литературный труд.

В своей Нобелевской речи Бродский говорил: «Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом – точней, на пугающем своей опустошенностью – месте и что скорей интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, современным содержанием».

Мне тоже казалось, что я начинаю на опустошенном месте. Умерли Бродский, Окуджава, Эткинд, Довлатов. Я начинала писать в чужом мире, в чужой стране. Моя родная страна тоже рушилась. Не было больше Советского Союза. Не было моей мамы, дома, друзей, знакомых улиц, запахов, звуков детства и юности. Города заполонили иномарки, улицы изуродовали рекламные щиты; язык, как пустырь, зарос англицизмами и бандитской феней. Жизнь с дикой свирепостью уничтожала прошлое, но я, набравшись смелости у предшественников, решилась восстановить его в своих рассказах.

В середине девяностых годов «ностальгическая проза» никому

не была нужна. В литературе главенствовала «чернуха», на книжном рынке – детективы и «фэнтези». Издатели говорили, что моя проза им нравится, но она – «неформат». Я не понимала их языка. Я чувствовала себя никому не нужной, выброшенной на край земли русской писательницей-эмигранткой конца второго тысячелетия, задыхающейся в плену у времени, когда телевизионный ящик заменил человечеству интимный разговор писателя с читателем. Подлинный обмен духовной энергией был заменен эрзацем. Я начинала писать, когда литературу еще окончательно не вытеснили из жизни компьютеры и смартфоны, но чувствовала, что это время близится. Я писала наперекор всему: здравому смыслу, практичности, здоровью. Я писала только потому, что это было мое «личное дело». Через несколько лет в России вышла моя книга, которую издал всё тот же Геннадий Комаров в Издательстве Пушкинского Фонда. Книга называлась «Мой папа Штирлиц». Это ироническое название. На самом деле я глубоко ощущала себя дочерью литературного полка и больше всего на свете хотела стать частью русской речи. «Частью речи вообще. Частью речи.»

Нью-Йорк

Анатолий Николин

Юная дева Клуэ

Когда верстался этот номер, пришло известие о трагической гибели Анатолия Николина в Мариуполе, где он прожил большую часть своей жизни. Анатолий Игнатьевич был ребенком первого послевоенного года — он родился в 1946-м в Екатеринбурге (тогда — Свердловск) и, казалось, ему посчастливится никогда не узнать, что такое война. Он окончил филологический факультет Донецкого ГУ, выступал как прозаик и поэт. В 2015-м Николин стал лауреатом Литературной премии имени Марка Алданова за повесть «Жаркий август Терезы» о событиях в Чехословакии 1968 года. Он был постоянным автором «Нового Журнала», публиковался в России и Украине. Но война настигла его. Мы не знаем ни подробностей последних дней его жизни, ни обстоятельств его смерти. О его гибели нам сообщили украинские коллеги, составляющие списки жертв этой войны. Мы скорбим. Мы помним.

Редакция НЖ

1

У нее некрасивое и злобное личико юной Марго, какой изобразил ее художник эпохи Возрождения Франсуа Клуэ. Но когда в первые часы нашего знакомства я рассматривал ее пристально и недоверчиво, ни о каком Клуэ, конечно, не думал. В то далекое время я вообще не знал, кто такие художники, и о молоденькой Маргарите Валуа не имел ни малейшего представления. Для меня она просто была Женя, наша соседка; личико было неприятное, но первые впечатления этим и ограничивались...

2

Раннее весеннее утро, но солнце уже припекает. В открытое окно моей комнаты тянет запахом первой зелени, и в саду у Ратнеров стучат молотком – это старый хозяин приколачивает к дереву новенький свежеструганный скворечник. Маленького роста, с круглым животиком, делавшим его похожим на весело катящегося колобка, каждую весну Иван Ратнер с неуклюжестью конторского работника достает из чулана старенький молоток и гвозди и принимается за работу в саду. Служит он на чугунолитейном заводе в непонятном отделе, где, по брезгливому выражению отца, «перекладывает бумаж-

ки», и смотреть, как он занимается непривычным для него делом, доставляет мне снисходительное удовольствие.

Заканчивался май. В саду для приема возвращающихся из теплых стран птиц было всё готово, но старый Ратнер упорно стучал и стучал.

— Наверное, птиц в этом году прилетело много, — предположила мама. — Зима была холодная, воробьи заняли пустующие с осени домики, и скворцам теперь приходится их оттуда выгонять. Выгоняют — и никак не выгонят. Вот Иван Юльевич и прибивает для них недостающее жилье...

Вообще-то настоящее имя старого Ратнера — Иоганн. Родом он из таврических немцев, давно обрусевших и потерявших связи с фатерландом. Из прежних отношений, собственно говоря, остался только родной язык. Мне не раз приходилось слышать, как дома, в кругу семьи, Ратнеры говорили между собой по-немецки. Всё остальное у них было русским — скромный домашний быт, неряшливость в одежде, книги, которые они читали. Всё, кроме увлечения соседа орнитологией и распития кофе в утренние и вечерние часы. Да еще, пожалуй, легкого немецкого акцента у него и его жены, Екатерины Федоровны, дебелой красавицы, русоволосой и круглолицей, приветливой и спокойной. Она несколько пришепетывала, но речь это не портило; звали ее по-настоящему Каролина, была она дочерью зажиточного фермера из немецкой колонии под Ногайском...

...Вот, значит, Иван Юльевич и крепил к деревьям весной новенькие скворечники для птичьего пополнения в саду; меня такая версия его неустанных занятий вполне устраивала: она дышала гуманизмом, и мне хотелось верить во врожденную доброту не только соседа, но и всего человечества...

3

Звуки молотка стихли так же внезапно, как и начались. Я с облегчением вздохнул и переключился на обычные утренние созерцания, поводов для них находилось множество.

Вот небо. Сегодня оно бледно-василькового цвета, и в блеклой синеве с ликующим писком проносятся юркие стрижи. На улице бодро и радостно гудит только что подкатившая к дому мусоровозка, раскрашенная и расфранченная, как будто ее пригнали на выставку коммунальной техники. Дворник — рослый, крепкий мужичина лет сорока, в оранжевом жилете, быстро-быстро орудует длинной, похожей на щетку метлой: спешит убрать уличный сор и навести глянец на гранитные ступени, пока их не запрудили спешащие на занятия школяры. Они пестро, по-летнему одеты и уже предвкушают близящиеся каникулы — их очертания явственно проступают на мутном

ученическом горизонте... Ненавистное учебное заведение каждое утро встречает толпы юных варваров строгой античной колоннадой, мрачноватой, как и всё античное в России. От множества пожиравших его в течение полутора столетий пожаров старинное здание с антикварным фасадом из красно-кирпичного превратилось в серый с подпалинами. До 1917-го в нем располагалась мужская гимназия, а теперь здесь индустриальный колледж. Я же помню дом высокомерным металлургическим техникумом, много лет назад вызывавшим у нас, мальчишек, немое восхищение и благоговение. Не только во внешнем облике казавшегося аристократическим учебного заведения, но и внутри него содержалось нечто серьезное и высокое, присущее иной, гуманной и просвещенной жизни.

Снаружи техникум мало отличался от того старого и корявого здания, каким оно стало сегодня. Но внутри... Внутри он был великолепен! Сооружено это великолепие было в эпоху императора Александра II, просветителя и реформатора. Там еще жила чудом сохранившаяся до наших дней старинная российская гимназия, воплощавшая красоту и привилегированность классического образования. Просторный актовый зал, куда мы бегали в праздничные дни на концерты и бесплатные киносеансы, напоминал пушкинский лицей с блестящим паркетом и глуховатым Державиным, восторженно внимавшим юному гению. Державин театрально прислонял ладонь к плохо слышавшему уху, а мы с восторгом вертели головой и таращили глаза. Зал был огромен и бел. На стенах золотом по алебастру сияли овальные медальоны с изображениями светочей русской науки, и под каждым блистала золотой вязью многозначительная Лучше всего запомнился профиль большеголового Ломоносова в парике и стихи, смысл которых был нам непонятен: «Может собственных Платонов / И быстрых разумом Невтонов / Российская земля рождать».

Нам — лет по семь-восемь, и ни о чем высоком мы даже не помышляем. Рысью, чтобы не успел остановить наше нелегальное вторжение швейцар с сердитым лицом и противным голосом, мы пробегаем мимо него, минуя праздничное святилище с «Невтонами», в тесный спортивный зал, где можно вволю поиграть в баскетбол.

Летом мы наслаждались этой замечательной игрой на открытой площадке, устроенной на заднем дворе. Баскетбольное поле выглядело — хуже некуда: обычная земля, изуродованная выбоинами от наших башмаков, делавшими великолепную заморскую игру сущим наказанием. Мяч при ударе о землю отскакивал не туда, куда следовало. Деревянные щиты, сколоченные столяром Петровичем, выглядели некрасиво и грубо, сеточек для корзинок не было — вместо них

торчали ржавые, косо прибитые кольца. Но нам до всех этих неудобств не было дела: отсутствие комфорта мы возмещали любовью к занесенной американцами игре и спартанским духом соперничества.

Лето, утро, детство...

Солнце косым светом заливает улицу, протянувшуюся с востока на запад. Ввиду такого ее расположения солнце царит на ней весь долгий летний день. Утром оно прохладное и светлое, а вечером — алое, истомленное жарким безветренным днем. Солнце медленно оседает за крыши, затапливая улицу ярким, бездыханным светом... Днем же на солнце ослепительно белеет садовая зелень. В полдневной истоме клонятся долу гроздья акаций, путаясь в листьях разросшегося орешника.

Июньский день жарок и длинен. Я люблю это солнце, жару и небесную лазурь. Но к концу дня тело охватывает тяжелая, старческая усталость. Хочется, чтобы длинный, нестерпимо знойный день наконец завершился и наступила тихая, бессонная ночь. Ночью, в постели, я буду мечтать о том, как хорошо было бы крепко уснуть и пробудиться прохладным и чистым, сулящим новые надежды утром. Чтобы снова повторился летний день — таким, каким его помню во всех прелестных подробностях много лет назад...

Когда я был маленький – да и потом, когда случилось несчастье, – отец каждый день вывозил меня в коляске на утреннюю прогулку. Этот обряд мы совершали в любую погоду и в любое время года. Дышать чистым утренним воздухом мы отправлялись в городской парк, он совсем рядом с нашим домом. Мне особенно нравились прогулки с отцом зимой, в метель и снегопад. Сидишь в коляске, закутанный с ног до головы в теплый клетчатый плед, и щуришься от секущего глаза снега. В тихую, безветренную погоду снежинки с материнской нежностью касаются лица. А во время метели снег всегда жесткий и колючий. В тумане вьюги ничего не видно, и мне становится страшно. Я жалею себя, что согласился на прогулку в непогоду, но папу мне совсем не жалко. А ведь катить по снегу коляску с тяжелым, неподвижным телом ставшего взрослым сына невероятно трудно. Но я так занят собственными переживаниями, что мне нет дела до чужих неудобств!

Чтобы не опоздать на утренний променад, нужно пробуждаться затемно. Папе на работу к восьми часам, я просыпаюсь в шесть и с нетерпением жду, когда он совершит утреннее умывание и выйдет к столу. Завтракаем мы всегда вместе. Потом около часа гуляем, и папа, доставив меня в целости и сохранности домой, отправляется на службу. А я с нетерпением жду окончания этого дня, чтобы заново повторилось утреннее прогулочное счастье...

Теперь выкатывает меня на прогулку мама. К тому времени я

стал уже совсем взрослым, а мама постарела. Ей трудно управляться одной с тяжелой коляской, поэтому всю зиму и раннюю весну я просиживаю дома у обклеенного, как в старину, бумагой окна. Только летом мы с мамой выезжаем во двор дома или в наш садик; в парк добраться мы уже не в состоянии — мама задыхается от астмы и всё чаще останавливается отдышаться.

Наступил, наконец, день, когда я настоял на прекращении наших прогулок. Мама должна экономить силы, которых у нее почти не осталось. Ничего в моей жизни не изменится, если я посижу в коляске один в саду или останусь в этот день дома. На моем здоровье и душевном состоянии утренние и вечерние моционы (или их отсутствие) давно уже не сказываются. Да и душа моя к ним остыла. Я уже не ребенок, радующийся каждой травинке и былинке, и склоняюсь к мысли, что зависимость человеческой жизни от внешних факторов весьма относительна. Как и наше душевное состояние — в зрелости человек тяготится житейскими впечатлениями, и всё чаще его занимают вещи сугубо умозрительного характера...

Однажды я подслушал вечернюю беседу отца с его другом, прокурором Скловским, маленьким, толстеньким человечком, доброжелательным и умным.

В молодости, окончив юридический факультет университета, Борис Вениаминович некоторое время работал в милиции, в следственной группе. Однажды они обнаружили на городской окраине труп неизвестного. «Мы поняли, что перед нами классический бомж, бродяга, — потягивая вино, рассказывал папин приятель. — Грязная, засаленная одежонка, немытое тело, грива грязных, спутавшихся волос... Скорее всего, он пострадал в драке. Ссоры между бомжами, порой с несчастным исходом, вспыхивали постоянно из-за дележа добычи или уютной норы. Наше дело маленькое, — вздохнул Скловский, — отправили тело на экспертизу. Проводивший вскрытие медицинский эксперт дал заключение, что внутренние органы пострадавшего на удивление здоровы — как у двадцатилетнего! И это у бродяги и хронического алкоголика!..»

Какие причины влияют на здоровье и продолжительность человеческой жизни, я не знаю и не допытывался у знатоков, вроде моего лечащего врача. Не знают этого медицинские эксперты, врачи и следователи, философы и ученые. Никто о человеке и тайне его жизни не знает ничего. Я любил маму, и чем меньше ей оставалось жить, тем острее была моя к ней любовь и привязанность. Долгое время с жестоким упорством инвалида я требовал от нее ежедневных прогулок и многочасовых бесед. Хотя и понимал, что убиваю ее своим

эгоизмом. Как все старики, больше всего на свете она ценила одиночество и тишину. Недалек день, когда мама совсем меня оставит, и я окажусь один как перст на этом свете. От мысли о близящемся одиночестве я внутренне холодею, но изменить свою и мамину жизнь не могу. Можно было, конечно, и раньше отказаться от прогулок — радостями познания мира моя душа давно не переполняется... Проживет моя старушка на год, два, пять... десять лет дольше... Но в таком случае у меня не сохранилось бы и сотой доли воспоминаний о маме, какими я обладаю теперь. Медленно, с наслаждением я восстанавливаю в памяти дни и часы, когда я гулял в парке, как она стала вывозить меня в сад, как она улыбалась и что мне рассказывала. Смакование этих воспоминаний стало светом в моем окошке, единственной непреходящей радостью...

Зимою мне нравилось встречать на заснеженной аллее парка, возле покрытого льдом искусственного озерца, маленького мальчика. Его сопровождал папа, высокий человек в меховой шапке и очках на замерзшем лице. Они гуляли два раза в неделю, по субботам и воскресеньям. Мальчик, пыхтя, скользил на коротких детских лыжах, и лицо его, круглое и упругое, было красным от утреннего морозца. Он был так хорош собою, так гладко и ровно шуршал лыжами по снегу, оставляя две желтые сияющие полоски, что я долго перебирал в памяти эту картину: утро, красное зимнее солнце и красивый румяный мальчик на детских лыжах... Впечатление портило его тяжелое дыхание и натужное посапывание, мне они были неприятны, и я не мог понять почему. Пока не догадался: дыхание розовощекого малыша было... вульгарно. Я предпочел бы не помнить некоторых видов и звуков, чтобы картины прошлого в моем представлении выглядели чище и безупречнее.

Зимняя эта сценка стала в дальнейшем одним из главных эпизодов моих воспоминаний. С удивлением я обнаружил, что теперь она мне нравится даже больше. Особенно, если к ней добавить толику выдуманных эпизодов. Я просил папу рассказать о странном озере в парке, вокруг которого мы совершали наши объезды. Летом оно полнилось чистой водой, дно было выкрашено синей краской, и озеро казалось хрустально-голубым.

— Видишь, — останавливал папа коляску и поворачивал ее таким образом, чтобы я мог увидеть всю картину целиком. — Оно не круглое, а странной, искривленной формы. Это оттого, что наше озеро повторяет очертания Азовского моря. На северном его берегу расположен наш город, это вот здесь, — отошел он в сторону и указал на цементную вмятину. — А вот здесь — видишь эту узкую горловину — изображение Керченского пролива. В этом месте Азовское море впа-

дает в Черное; оно, в свою очередь, сливается со Средиземным, а это уже Италия и Греция – Южная Европа...

Лицо у папы становилось мечтательным, и я думал, что, наверное, он тоже, как и я, хочет побывать в странах Южной Европы, но ничего с поездкой у него не получается и уже, наверное, никогда не получится. Потому что вместе с мечтательностью на его лицо ложилась тень обреченности, и я стыдливо отворачивался, чтобы папа не почувствовал себя униженным в моих глазах. Так, наверное, выглядело и мое лицо, когда я принимался думать о будущем. Точнее, о том, что никакого будущего у меня нет, а есть одно лишь горькое настоящее. Что бы я ни делал, как бы ни менялся физически — у меня весной даже усики стали пробиваться над верхней губой! — внутри меня всё оставалось по-прежнему. Как вчера, позавчера, десять или пятнадцать лет назад. Я уже был не я, а такая же неизменная сущность, как бордюр тротуара и сам тротуар под окнами нашей столовой, — я помню его столько же лет, сколько знаю самого себя.

Не вижу, а только слышу, сидя у распахнутого в летнюю зелень окна, негромкие женские голоса. Один голос знакомый — это мама, она вышла на звук колокольчика, чтобы опорожнить в подъехавшую мусоровозку полное ведро кухонных отходов.

Каждое утро, ровно в десять часов (с невероятной точностью – о времени ее прибытия можно было даже не справляться по большим напольным часам в гостиной), к нашему дому на Садовой улице подъезжает специальная машина. Рослая женщина в синем халате звонит, подняв высоко над головой, стальным колокольчиком, оповещая жильцов. Колокольчик обладает редкостным звонким, почти церковным, звучанием. Я люблю слушать его радостный перезвон и воображать, будто я тоже спешу на его зов выскочить на улицу с полным ведром мусора.

К мусорной машине поспешают жильцы со всей улицы; все, кроме меня, — кому спешить куда-либо не дано судьбой. Восточным своим концом улица упирается в глухие строения из серых досок и кирпича, где давно никто не живет, а западным примыкает к парку, в котором еще недавно я гулял с родителями и который теперь стал для меня недоступным...

После того, как ведро с мусором опорожнено, мама полчаса обязательно постоит у дворовых ворот и поговорит с соседями, чтобы обсудить последние события и новости. Ночью у криворотой соседки Пащенко родилась девочка, внучка. Ивана Николаевича Беленького, восьмидесятилетнего старика, бывшего городского архитектора, увезла на рассвете «скорая помощь», ночью у него случился сердечный приступ. А шестнадцатилетняя дочка Тани Марьясовой,

матери-одиночки, Полина, — вертихвостка, каких поискать! — снова не ночевала дома. Мне кажется, я узнаю удрученный голос «Тани» (для меня она всё же Татьяна Никифоровна — ей тридцать семь лет!) и чей-то еще, незнакомый и мелодичный. Он мил чудесными восклицаниями и тихим смешком, и, слушая, я залюбовался его мягкими переливами, но узнать не могу... таинственная незнакомка!

Мне совсем не хотелось знать, как ее зовут; можно, конечно, спросить у мамы — она войдет в дом, вымоет пустое мусорное ведро водой с порошком для чистки посуды и, вытирая полотенцем руки, отворит дверь в мою комнату: «А знаешь, сын, сегодня...» И такой красотой будет сиять ее оживленное, помолодевшее лицо, что мне сразу становятся интересны незамысловатые уличные новости, как будто смена обстоятельств приносила ей (как и мне) невиданное счастье. Мне хочется подняться с коляски, поцеловать маме обе руки и извиниться за причиняемые ей неудобства. Но я понимаю, что мои извинения невозможны точно так же, как и мое выздоровление...

...При папе мама никогда не беседовала с соседями на улице. Ей было достаточно длинных разговоров с отцом по вечерам и нескончаемых забот обо мне в течение всего дня. Теперь же ей мешает стыд. Или страх, что подробности нашей жизни станут достоянием улицы, и она сдерживалась, стараясь вести себя благоразумно.

4

По утрам обычно у меня всё хорошо и на душе, и в теле. Я чувствую прилив сил, юношескую бодрость и желание совершить чтонибудь значительное. Но благие намерения заканчиваются привычным сидением у окна. В конце концов я заставляю себя взять с полки книгу и с головой ухожу в чтение.

Чтение с детства доставляет мне большое удовольствие. Целые жизни я проживал, не сходя с места у окна в моей комнате. Наверное, так выглядит путешествие в самолете. Перемещаешься из города в город, из страны в страну, оставаясь при этом неподвижным. Закрепив себя для убедительности специальными ремнями, чтобы, не дай Бог, не сорваться в самостоятельный полет. Однажды я осознал, что мои одинокие интерпретации увлекательнее книжных открытий, и каждый день теперь я нахожу всё новые поводы для игры. Вот я подруливаю к окну в родительской спальне, чтобы разглядеть тот отрезок улицы, что не виден из моей комнаты. Он не заглушен кустами сирени и не укрыт древним развесистым кленом и производит впечатление необыкновенного простора. Вход во двор обозначен массивными белеными колоннами. Когда-то они поддерживали такую же массивную железную калитку, запиравшуюся на щеколду, и было похоже, что в доме живут

несколько хозяев. Но это представление обманчиво, дом велик и просторен, и живем здесь только мы, семья Панчешниковых.

Дом этот, с заглохшим садом, колоннами и железными воротами, был куплен папой незадолго до моего рождения. В детстве мне не хватало храбрости и сил его исследовать. Внутри он казался огромным и сумрачным из-за тускло горевших в коридоре ламп — иногда свет из соображений экономии и вовсе бывал погашен. Мне не хватало духу в зловещей темноте проехать весь этот длинный и темный коридор. Казалось, в конце его меня поджидает чудовище, вроде Минотавра, готовое тотчас жадно меня проглотить.

Однажды утром мама ушла в магазин: «Сегодня много покупок, и я приду не скоро...» Маминого возвращения я ожидал не раньше полудня. И решился на путешествие, о котором давно помышлял. Какой же ты хозяин, подбадривал я себя, если не удосужился побывать в укромных уголках собственного дома! В моей комнате всё привычно: узкая монашеская кровать, письменный стол, сработанный таким образом, чтобы я мог опираться на него, не вставая с коляски, и букетик из васильков, синевато-бордового шалфея, мелких ромашек... Каждое утро мама приносила из сада цветы, чтобы они всегда были у меня перед глазами. Букеты она разнообразила в пределах того, что мог предложить наш сад. Весной это были крупные голландские тюльпаны, сирень и жасмин. Летом — лилии, мак, гладиолусы «Ирэн», бледно-розовые, с мягкой бахромой, или белые и красные пионы. Ближе к осени стол украшали гортензии и жесткие, кирпичножелтого цвета бархатцы.

– Цветы воспитывают у человека чувство прекрасного, – входя с цветами в комнату, повторяла мама; она напоминала Жанну Вайль у постели больного сына.

Мама полагала, что цветы и книги формируют мою душу – по принципу, упомянутому еще Львом Толстым. Его тетушка, Татьяна Ергольская, поучала маленького племянника: «Ты, Левушка, некрасив, и чтобы тебя любили, ты должен быть умным». В моем случае подразумевалось: «Ты, Алик, инвалид, и чтобы тебя любили…» – и далее по тексту. К уму добавлялась душа – то есть способность переживать, чем я был наделен, полагаю, свыше меры.

 В конце концов, – подытоживала мама, – всё дурное в мире происходит из-за отсутствия чувства красоты.

Я не очень-то верил, что ум и красота равнозначны. Или равновелики – не знаю, как в этом случае выразиться правильно:

- Мама, мне кажется, это разные вещи. Как цветы и книги.
 Но она не соглашалась:
- Видишь ли, то, что мы называем умом, на самом деле чув-

ство. Интуиция, предвкушение. Как и красота — она ведь тоже неопределенна. Но в силу привычки и упрощения людям свойственно представлять сложное, как простое, — мы называем это «умом».

Я долго обдумывал сказанное мамой. Она была весьма убедительна, но что-то во мне не давало на сделанные ею выводы окончательного согласия. Я ощущал разницу в чувстве и суждении и не мог их примирить...

5

После того страшного, что произошло с папой, я нет-нет да и вспоминал мамину сентенцию. И всё больше убеждался, что мама была неправа. Но в беззаботные месяцы лета тысяча девятьсот... – не помню какого года – я был счастлив. Счастлив оттого, что я еще только формируюсь и что жизнь моя наполнена ожиданием, а значит, и смыслом. Я любил запахи приносимых мамой из сада цветов – и цветы, и запахи всякий раз бывали разные. Особенно любил я ромашки и флоксы, и ирисы – их еще называют флорентийской лилией, об этом тоже мне рассказывала мама, добавляя, что весной окрестности Флоренции усыпаны этими цветами, поэтому цветок ириса стал эмблемой города.

Ирисы разнятся по цвету, точнее — по подбору цветов. Они не бывают какого-то одного цвета, оттенка и всегда многоцветны. И запахом тоже они отличаются. Одни не пахнут совсем, источая слабый дух молодой травы. Другие обладают чудесным ароматом — эти цветы я особенно любил. И вдыхал их запах, от наслаждения закрыв глаза, как русский паломник в монастыре Св. Клары в Ассизи. Он оставался на всю ночь в помещении, где стояла рака святой, и слушал в тишине, как пробуждается, словно бабочка, трепещущая крыльями, его «я». Мне казалось, что, вдыхая запах цветка, я наслаждаюсь собственной сущностью...

Цветы любил мой предшественник по уединению Марсель Пруст. Он мне нравился, потому что тоже был болен. И тем, что, когда он был юн и здоров, он выходил весной за ограду отцовского поместья и весь день читал, лежа с книгой посреди луга, заросшего полевыми цветами. Однажды я попытался повторить опыт Пруста: выехал в сад, вывалился из коляски на зеленую, с желтыми одуванчиками лужайку и блаженно вытянулся в траве. Но блаженство мое оказалось коротким и довольно приблизительным. В мое ухо забрался муравей и принялся внутри ползать и щекотать. С трудом я выудил муравья из ушной раковины, но тут на меня налетела оса и пришлось долго от нее отмахиваться. Борьба с осой закончилась для меня

позорным бегством: я с трудом взобрался в коляску и удирал так безоглядно, что напугал маму.

 Что с тобой? – бросилась она ко мне, когда, запыхавшись, я влетел по пандусу в раскрытую дверь. – Тебе плохо? Ты упал? Ударился? Разболелась голова?

Она сыпала вопросами, как будто я находился при смерти. А мне было перед ней неловко и стыдно.

– Бедненький, – с облегчением поцеловала она меня, когда я рассказал ей о случившемся на поляне. Она хотела, но не могла скрыть, как развеселило ее мое приключение.

Но для меня оно вовсе не было пустяковым! Меня пугает и отвращает всё, что исходит от реального, живого мира, — он мне чужд и враждебен. До болезни я чувствовал себя его неотъемлемой частью и не задумывался о разнице между нами. Всё мне доставляло радость, во всем я видел усладу — в перемене погоды, в таинственной жизни мошек, жучков, бабочек и стрекоз, — во всем, что с радостной полнотой окружает пробуждающегося к жизни ребенка. Свободно и невозбранно я выбирался за пределы нашего дома и сада. Меня привлекали дремучие заросли в палисаднике металлургического техникума. Хотелось проникнуть внутрь незнакомого царства, где бушует маслиновая зелень вперемешку с кустами волчьей ягоды, и вся эта роскошь ограждена выкрашенной черным лаком чугунной решеткой, казавшейся необыкновенно красивой.

Я забирался в зеленый, благоухающий рай с отвагой мелкого зверька, отыскавшего место, где находится его пропитание. Моим пропитанием было всё, на что падал мой взгляд. Жадно пожирал я красные горькие — «волчьи» — ягоды, не боясь заболеть бешенством, как со страхом и благоговением предупреждали меня соседские мальчишки. Или отравиться твердой мучнистой кашкой — ее особенно я любил поглощать в больших количествах. Лишь одна девочка разделяла мои пристрастия и отвагу — Женя Ратнер. Маленькая, белокурая, по-детски неряшливая, она храбро соглашалась питаться всем тем диким и травянистым, что я ей предлагал.

Обстоятельства нашего знакомства весьма банальны.

Рано утром я вышел на охоту на ящериц. Вчера я приметил в кустах быстро мелькнувшую маленькую ящерку со светло-зеленым хвостом и вознамерился поймать ее сегодня утром, чтобы затем исследовать. Незнакомая девочка, присев на корточки, шуршала руками в спутавшейся зелени. Я оторопело смотрел на нее, а она — на меня.

- Ты кто?
- Женя.

И продолжала испытующе на меня глядеть. Так смотрят друг на

друга, изучая и примериваясь, два зверька, встретившиеся на узкой дорожке.

- -Я-Алик.
- Я тебя знаю, вытащила она руку из куста. Ты живешь в доме с пианино.
 - Откуда тебе известно?
 - Мы соседи. Это ты бренькаешь на нем каждое утро?
- Не бренькаю, а играю. Вернее, учусь. Играет мама, она музыкант. И не на пианино, так говорить неправильно, а на фортепиано.
- Какая разница, презрительно передернула девочка голым, загорелым плечиком. – Всё равно непонятно.
- A ты не важничай, обиделся я. Ты не понимаешь музыку, потому что у тебя нет дома фортепиано.
 - Подумаешь! Зато у нас в саду живут белки. А у вас их нет, ага!
 - Врешь!
 - Не веришь приходи, покажу.
 - Что ты тут делаешь? подозрительно оглядел я ее.
 - Ящерку пришла ловить. Она такая смешная...
 - Я тоже. Давай будем ловить ее вместе?
 - Давай!

Ящерку мы искали весь этот, оказавшийся удивительно коротким, день. Вчера еще ящерка спокойно лежала, быстро-быстро вздувая и опуская животик, на горячем цементном основании ограды, тараща маленькие выпуклые глазки. А сегодня вдруг исчезла...

— Пойдем к нам в сад, — предложила Женя, когда надежды найти ящерку рухнули окончательно. — Она, наверное, убежала. В саду больше зелени, и там она легко может спрятаться. Ты ее вчера напугал...

Это было похоже на правду, и я с Женей согласился...

Пугливую ящерку мы не нашли ни в тот день, ни на следующий. А потом и вовсе о ней позабыли, увлеченные играми, которые то и дело, соревнуясь в изобретательности, мы придумывали наперегонки.

Сад у Ратнеров действительно был велик, больше нашего, казавшегося в сравнении с ним даже не садом, а чахлым сквериком, – наподобие того, что встречал меня у детской поликлиники, когда я приходил туда с мамой, если у меня болело горло или воспалялось среднее ухо. С утра до вечера мы играли с Женей в прятки и «казакиразбойники», демонстрируя друг другу находчивость и сметливость. Соревнование – плохой спутник любви, но у нас она зарождалась именно так, словно в пику нашему самолюбию. Мы уже не могли жить порознь. Нам нужно было ежедневно доказывать друг другу, что один из нас лучше, проворнее, сообразительнее. Эти качества

одинаково ценны как для положительного казака, так и для отрицательного разбойника, и мы с Женей путались, не зная, кому из этих двоих приписать подлинное благородство. Сами того не понимая, мы решали дилемму, поставленную Андре Жидом: можно ли направить к добру свойства, присущие злу? Оба – и казак, и разбойник – выходили у нас одинаково смелыми и великодушными, потому что дурных человеческих качеств мы не знали. И прерывались в наших играх на обед, а иногда и на ужин, всё же остальное время этого жаркого, длинного лета мы были с Женей неразлучны.

Наше знакомство, вспоминаю я теперь, перешедшее сначала в дружбу, а потом и в любовь, продолжалось несколько лет. Я не могу теперь припомнить, сколько времени длилось это обоюдное очарование, потому что когда ты счастлив, время сливается в одну линию, похожую на остановившееся мгновение. Стиль поведения, семейные привычки, установившийся ритуал жизни способствовали затвердению, законченности существования, за которым нет и не может быть продолжения. Между тем время тихо и незаметно проделывало свою невидимую работу. Мы становились старше и всё чаще не бегали с визгом и воинственными воплями по дорожкам казавшегося безграничным сада, а сидели где-нибудь в укромном уголке, на скамейке, в зарослях сирени и пересказывали друг другу прочитанные книги. Вдвоем нам было хорошо и уютно. Особенно в сумерках, когда становилось страшно от наползавших отовсюду теней и неестественного, зловещего молчания, какое бывает в садах и парках вечером. Оно воцарялось в тихие, безветренные сумерки, наполняя природу и наши детские души ощущением какой-то неизбежности. Когда становилось совсем темно, я поднимался, чтобы проститься с Женей, так как пора было возвращаться домой.

— Не уходи, я не хочу, — вздыхала она после придуманного мною наспех рассказа с привидениями, нечистой силой и несчастной царевной, которую спасает от коварного негодяя смелый мальчик, — он же и оказывался в итоге переодетым царевичем из другого государства. — Что было дальше, они поженились?

Я тянул с финалом, чтобы Женя думала о неоконченном рассказе всю ночь, а значит, думала и обо мне. На следующий день, чуть свет, она высматривала меня в саду, как царевна из своей светлицы, или нетерпеливо меня звала, отогнув в заборе трухлявую доску. Через эту дыру я влезал на их территорию из нашего сада и вечером через нее же уходил домой — так было быстрее и короче. И всё время я помнил, что Женю в моих вечерних (плавно переходивших в ночные) рассказах, иногда жестоких, порою грустных и слезливых, волнует лишь одно: поженились мои герои или расстались навсегда?

Поначалу я наделял бесконечно выдумываемые любовные истории благополучным концом. Но чем дальше шло дело, тем с финалом становилось сложнее. Что-то мне запрещало осчастливить бедную девушку благополучным браком с возлюбленным. Какой-то бес, сопротивлявшийся такому завершению любовной истории и негодовавший на слишком благостный финал...

Вскоре я простудился и слег в постель: съел в сорокаградусную жару мороженое (каждому из нас вручила по сладкой порции пришедшая из магазина Женина мама). У меня разболелось горло, озабоченная мама наложила запрет на мои дневные и ночные гулянки и вызвала врача на дом.

Детский врач Лимаренко — в то время модно было называть всех — учителей, врачей, даже соседей — по фамилии, — была полная вялая женщина с волосами цвета соломы, их мне почему-то хотелось собрать в один пучок и с хрустом наломать, как мама ломала макароны перед тем, как бросить их в кипящую воду. Эта Лимаренко прописала мне суровый постельный режим.

 Недельку тебе придется полежать. Пить будешь вот это. А горло полоскать вот этим, – вырывала она из книжечки рецептик за рецептиком. – Больше теплого питья и никакой беготни.

Говорила она медленно, со снисходительными интонациями в голосе и всем своим видом показывала, что вылечить меня может только она, а всем остальным – мне, маме, друзьям и соседям – следует неукоснительно исполнять наложенные ею предписания.

Неделю мама от меня не отходила. Строго по расписанию появлялась в комнате с таблетками, водой, чтобы их запить, и стаканом с мутным полосканием. Я исправно пил жаропонижающее — вечером у меня повышалась температура, был вял и раздражителен, и усердно полоскал больное горло. Днем я чувствовал себя лучше и сердился, что меня не выпускают из дома. Скучая возле окна — мама его захлопывала, чтобы на меня не дуло, — я вспоминал Женю, наши проказы в саду и порывался вскочить и помчаться к тайной дыре в заборе. Он был высок, выкрашен зеленой краской, и однажды за завтраком я поинтересовался, кто его построил, а потом каждый год красит.

— Ратнеры, конечно, — пожала плечами мама. — Когда мы приехали, они здесь уже жили. Иван Юльевич поставил этот забор, он же его и красит. Конечно, не он лично — все-таки Иван Юльевич инженер и занимает высокую должность. Этим занимаются его подчиненные, они приезжают сюда каждую весну. Рабочие наводят в саду порядок, красят и ремонтируют забор, а Екатерина Федоровна ими руководит.

Екатерина Федоровна не работает, и по социальному статусу

она — домохозяйка. Я решил, что, вероятно, управляет она рабочими с таким же хладнокровием, как и живет повседневной жизнью, спокойной и умиротворенной. Казалось, ничего на свете ей не нужно; тихим своим бескорыстием она вызывала робкую, похожую на жалость, симпатию. Ко всему происходящему относилась она спокойно, даже равнодушно, и так же равнодушно угостила меня и Женю злополучным мороженым, из-за которого у меня разболелось горло. Здоровалась она со всеми точно так же, как и жила, — невозмутимо, с серьезным и приветливым лицом. Меня приводила в недоумение ее слоновья отрешенность: неужели ничем нельзя прошибить ее холодную невозмутимость, думал я? Должно же быть в мире хоть что-то, что ее волнует! Но нет: сколько я знал ее, Екатерина Федоровна всегда была одинакова, всегда на своей волне.

Впрочем, все эти психологические тонкости едва меня задевали – детство и отрочество не лучшее время для анализа. Их занимают житейская отчетливость и полнота, а не тайные пружины человеческих побуждений. Всё тонкое и неуловимое мелькало и исчезало. И если всплывало в памяти, то лишь много времени спустя в форме какого-нибудь совершенного вида: в первой половине жизни мы собираем ощущения, а во второй их формулируем...

Я с ужасом представил, как следующей весной приехавшие для работы в саду рабочие обнаружат в заборе оторванную доску и мигом ее заколотят! И больше я не смогу с Женей встречаться! Попасть к Ратнерам можно будет только через парадные ворота, минуя застекленную веранду, где просиживал кто-нибудь из Жениных домашних, а я стеснялся показываться им на глаза. То Екатерина Федоровна сушит на веранде разложенный на столе чеснок и лук, то развешивает на веревке связки нарезанных дольками для сушки яблок. Этими сушками Ратнеры сдабривают зимою чай, и мне он казался очень вкусным, такой он был пахучий. Сушки можно было есть и просто так – мы с Женей охотно их грызли, когда я приходил к ним в гости в день рождения Жени в октябре или на новогоднее чаепитие. А летом на веранде сиживал по вечерам мой отец, приходивший по воскресеньям в гости к Ивану Юльевичу. Они играли в карты, иногда – в шахматы, эту игру особенно любил Иван Юльевич, и папа шутливо вскидывал руки после каждого проигрыша:

– Вам, технарям, сам Бог велел выигрывать!

Они играли, азартно дымя папиросами и сидя за шахматной доской допоздна. Над лампой со стеклянной тарелкой вместо абажура вились ночные бабочки, мы с Женей наблюдали эту картину из темного сада. Удивительно было смотреть со стороны на ходивших, сидевших и разговаривавших на веранде, при тусклом свете лампы, взрос-

лых, даже не догадывавшихся о нашем таинственном присутствии. Их позднее сидение, чай, беседы о чем-то сложном позволяли нам не спешить — у них своя, малоинтересная, жизнь, а у нас с Женей — своя. Неизмеримо прекраснее и загадочнее. Ночные наши созерцания наводили на мысли о Боге — должно быть, точно так же Он смотрит из своей лучезарной темноты на всё, что происходит на Земле, не испытывая ни радости, ни огорчения, одно лишь тихое сочувствие...

Меня жизнь взрослых, их повседневное копошение и малопонятные преодоления, почему-то напрягала. И оскорбляло, что моя дружба с Женей, маленькой дамой Клуэ, возможна лишь при столь чужеродных условиях. Дошло до того, что каждое утро перед завтраком я прибегал в сад, чтобы проверить: не заколочена ли спасительная дыра, — так мне хотелось увидеть Женю без взрослого присутствия. Так что моя ангина представлялась сущим наказанием, самой настоящей пыткой. Не посылать же маму каждый раз проверить, цела дыра в заборе или нет? И когда я выздоровел, первым делом помчался в густые садовые заросли, чтобы удостовериться, что оторванная доска висит на обычном месте...

Однажды мы с Женей сидели, болтая ногами, на лавке в конце сада, где уже начинались хозяйственные постройки соседей, и я брякнул:

– Если я заболею и умру, что ты будешь делать?

Женя опешила, на лице ее отразилось недоумение. Как-то странно она съежилась и промолчала. Я был разочарован: слез и клятвенных уверений, что она этого не переживет, не последовало. Я не подал вида, что огорчен, и сосредоточенно пинал носком ботинка притворившегося мертвым садового жука. А Женя... Погруженный в мстительную печаль, я не обратил внимания, как она поднялась и ушла...

А в субботу произошло то, что я никогда не забуду.

Было раннее утро, конец июля. Семь часов, а солнце уже жарит немилосердно. Ночью я спал плохо: кусали комары, было душно, и простыня, которой я укрывался, стала липкой от пота. Спросонья я вышел в сад: тишина, солнце, запах мяты и цветущей липы... Побродил по песчаным дорожкам, заглянул через дыру в заборе: вдруг увижу Женю? У меня было плохое настроение, я ждал какойто беды, и не знал, куда себя деть.

 $\rm U-я$ ее увидел. Она сбежала в сад по ступенькам веранды, грызя яблоко. Женя любила всё маленькое: мелкие яблоки, конфеты, игрушки; однажды я поразился, увидев ее новую игрушку — миниатюрную карету Золушки, запряженную крохотными лошадьми и с таким же крохотным кучером. В карете светилось миниатюрное

личико героини, и вся эта прелесть умещалась в шелковом носовом платочке. Женя достала его из кармана сарафана, и мы любовались искусно выполненной миниатюрой. На этот раз она тоже была в сарафане, только простеньком, дневном. Светлые волосики заплетены в две короткие косички, подвязанные синей лентой.

Хочешь? – предложила она яблоко. – «Белый налив», мои любимые.

Я нехотя откусил. Яблоко было кислое, я такие не люблю.

- Тебе не спится?
- Я всегда сплю, а сегодня не знаю... Голова болит, соврал я.
- Не успел вылечиться и снова заболел?
- Тебе смешно?!
- Что ты! Я дала слово: когда вырасту, я стану врачом. И буду всех лечить. Тебя тоже. Хочешь у меня лечиться?

Я пожал плечами:

- Не знаю. Я не хочу болеть.
- Никому не хочется, назидательно сказала Женя. Но приходится. Все болеют, даже взрослые. Тебе тоже придется, потому что я хочу стать врачом из-за тебя.
 - Но я здоров, самонадеянно проговорил я.
 - Это нужно проверить!
 - Как?!
- Раздевайся. Я доктор, а ты мой пациент! Разденься совсем. Вот так...

Она сбросила сарафанчик и стояла передо мной нагая, с едва заметными припухлостями вместо грудей и с лишенной растительности полоской между ног. Была она так простодушна, что я молча ей подчинился: стащил с себя брючки, рубашку... Долго, с нескрываемым интересом она разглядывала мои гениталии. Взяла их в руки и держала до тех пор, пока они не стали увеличиваться, что вызвало у «врача» неподдельный восторг.

- Теперь нужно так...

Мы легли в траву под старой вишней, и она потянула меня на себя...

Юные Адам и Ева, мы легко и целомудренно совершили то, на что у иных уходят годы раздумий, сомнений, сопротивления и слез.

— Ну вот, — важно сказала Женя, когда мы оторвались друг от друга, — теперь мы с тобой муж и жена. Обещай, что ты никогда меня не оставишь. Как и я тебя...

Я обещал, плохо понимая, что же со мной, с нами, произошло. Женя еще раз повторила свою просьбу. Я согласился, но на самом деле ничего такого мне не хотелось. Женя вдруг стала страшно

чужой, и только ночью, когда я засыпал, чувство любви пронзило меня, и я заплакал.

6

...Знатоки утверждают, что астма у Пруста развилась из-за вдыхания им цветочной пыльцы на летнем лугу в отцовском поместье. Целыми днями я читал летом в саду, в окружении цветов. Напоминал героя Анатоля Франса, посвятившего себя этрускам и отдавшего этому занятию всю жизнь. До Жени кроме этрусков – цветов – у меня не было ничего...

Что касается астмы, моя душа спокойна: до конца жизни я обеспечен собственным недугом. Приятно сознавать, что я такой исключительный, и мысленно веду долгие беседы с Женей на самые разнообразные темы – от любви до строения Вселенной. Теперь, когда прошло столько лет, я плохо ее помню. Вот мне и представляется, что она похожа на одну из дам Франсуа Клуэ – что-то некрасивое и светленькое, с нехорошим выражением лица. Ну да, она была нехороша собой, я это запомнил сразу, а молодой Генрих жадно целовал край ее платья. Или сарафана. Нарумяненное личико Марго было похоже на свежий персик на фарфоре. А иногда цвет ее лица напоминал королевские лилии, но Генрих не придавал этому значения. Во время торжественной процессии в день ее рождения простолюдины становились перед ней на колени, и он думал, что он тоже, как простолюдин, стоит на коленях перед памятью о ней, и стояние его будет вечным. То есть оно будет продолжаться до тех пор, пока он жив... Но очень скоро этому караулу наступит конец, что для него уже не имело значения. Для любви красота и благородные черты лица вовсе не обязательны, как и многие мужские черты характера или облика, которые ему не нравились. И он не знал, обладает он ими или нет, – такие мелочи его не интересовали. Биография не так важна в стране, где народонаселение без устали пишет автобиографии для различных учреждений. Когда папа устраивался на работу в книжный магазин «Светоч», он тоже написал автобиографию, ее следовало приложить к заявлению, и оба документа после подписи вышестоящих руководителей уходили в архив. А мама заявление с автобиографией написала, когда устраивалась на работу в музыкальное училище. Но в жизни отца и матери эти документы не сыграли никакой роли. Мне важно, что они чувствовали, и я думаю, что в этом они и были теми, кого я безмерно люблю и почитаю. И еще Женю и Марселя...

Воспоминания о Марселе, наши вымышленные беседы, приносили мне ощущение полноты жизни. Я чувствовал, что расту, как посаженный вблизи огромного дуба маленький, беззащитный саженец.

Только что он казался сухой веткой, беспомощным стебельком. Но при первых лучах весеннего солнца зазеленел и выпустил липкие листочки.

Вечером с работы приходила мама. Она справлялась о моем здоровье и спрашивала о впечатлении от прочитанных книг. Подняв утомленные чтением глаза, я отвечал ей таким сложным языком, какого вчера еще не знал.

 Ты становишься непростым мальчиком, – улыбалась мама, она была довольна своим юным стебельком.

Меня приводила в уныние ее постоянная печаль, она была заметна даже в ее улыбке. Как будто ей было грустно оттого, что я меняюсь, становлюсь не то чтобы взрослым — взрослые редко испытывают печаль, им по душе яркие и сильные чувства, — но мудрее, чем положено мне по возрасту.

- Скоро с тобой нелегко будет беседовать, - вздыхала мама.

Но и это признание приносило мне не радость, а печаль.

Мама поставила на стол тарелку с только что сорванными абрикосами, последними в этом сезоне, и тень заботы окутала ее лицо.

Обычная смена настроения, вызванная тем, что рано или поздно она оставит меня одного. Кто же тогда принесет ее единственному сыну тарелку спелых, золотистых фруктов и порадуется, видя его наслаждение от еды?

- Это хорошо или плохо?
- Не знаю, сын, уклонилась от ответа мама. Всё зависит от обстоятельств.

Мне не хотелось видеть в моей предполагаемой сложности признаки добра или зла. Но мама, очевидно, думала иначе, потому что в следующую минуту она произнесла небольшую речь.

- Простым или сложным стать невозможно, им надо родиться, присела она на стул и сложила руки на коленях. Она сказала это так просто и ясно, так ясно и твердо посмотрела мне в глаза, как будто долго думала и наконец нашла ответ. Мы рождаемся теми или иными и соответственно формулируем свои мысли. В раннем возрасте делаем это неумело и научаемся выражать себя, лишь став значительно старше. Запомни, сын: чем сложнее человек, тем проще он выражает свои мысли. Цель жизни не в том, чтобы выглядеть сложным, но чтобы быть понятым... Думаю, ты и сам об этом догадываешься, сказала она, глядя, как я поглощаю переспелые абрикосы, размышляя над сказанным ею.
- Ты хочешь сказать, что человек движется от сложного к простому? спросил я. Меня мучила моя витиеватость, напоминавшая косноязычие юродивых, и я не знал, понимает ли меня мама.
 - Именно так, сказала она. Произнесла это так спокойно, как

будто сказанное ею было аксиомой, а мне представлялось ужасающе сложной теоремой. — В жизни всё происходит само по себе, но ты этого даже не замечаешь. Ощущение полноты будет напоминать о себе постоянно до тех пор, пока ты не остановишься.

- Остановка обязательна? Неизбежна? Или она индивидуальна?
- Думаю, что она индивидуальна. Можно остановиться в молодости. А можно и в старости. Но ты можешь и не остановиться вовсе, как река у Будды.
 - Что значит: река у Будды?
 - Река это жизнь. А жизнь неостановима, как водный поток.
- То есть, если меня не будет, я останусь рекой? Потоком?
 Жизнью...
- Именно так, засмеялась мама, вставая. Как утверждает герой Ремарка, у тебя замечательные представления о конце...

Разговоры с мамой на свободные темы – она говорила: «вольные мысли» – начались после того, как я обрел... наследство. Этим папиным выражением называлась большая комната в конце коридора, первые попытки наведаться в которую я предпринял, когда мне было еще лет одиннадцать. Из того, что я почувствовал, запомнился страх перед невообразимой длиной и пугавшей меня до холодного пота сумеречной загадочностью полутемного коридора. Только сейчас понастоящему я понял, как велик и мрачен наш дом. К осознанию его величины прибавлялось смутное сопротивление: для чего мне, нам, нужна такая огромность, неужели значительность чего-либо так важна? Для счастья нужно совсем немного, достаточно было бы двухтрех комнат. Прихоть папы при покупке дома – маму из этого процесса я исключил, так как ее представления о величии были иного свойства – меня изумила. Но потом мне пришло в голову, что мы с папой следуем разными путями. Кто знает, как я поведу себя спустя несколько дней, месяцев, лет и какие предпочтения воцарятся в моей душе. И в каком таинственном месте вибрируют эти невнятные импульсы? Еще вчера я любил цветы на клумбах и резвую беготню с Женей в саду, а сегодня спокойно отношусь к цветам и играм. Вчера боялся мыслей о коридоре, разделившем дом на комнаты-коробки – у каждой свое предназначение и свой смысл, - а ныне меня гложет искушение исследовать таинственную, редко упоминаемую родителями комнату. Одну, пока что одну, где хранится мое загадочное наследство. В воображении я рисовал широкими мазками груды накопленного золота и драгоценных камней. И раскрытый сундук с червонцами, как на рисунке со Скупым рыцарем: «Я царствую!.. Какой волшебный блеск!» Эту книжку папа подарил мне на день рождения, и сказочный сундук сиял, полный драгоценностей, как раззолоченные храмы ацтеков...

Какими же были мое волнение и любопытство, когда я докатил в коляске до конца пресловутого коридора! Дрожащими руками отпер ключом дверь... Она заскрипела и подалась. В полутьме я нащупал на стене выключатель. Вспыхнул свет, пахнуло затхлым запахом трубочного табака и брызнуло с полок ослепительное сияние книжных корешков. Это и было папино «золото», ставшее теперь моим. Стройными рядами новенькие книги теснились по периметру комнаты от пола до самого потолка. В углу поблескивал лаком журнальный столик, и на нем массивная пепельница с лежащим по ее ободу пятнистым гипсовым догом. Папа набивал трубку пахучим болгарским табаком, обычно он курил ее в одиночестве в библиотеке или – иногда – у Ратнеров на веранде, когда они играли в шахматы. Днем же он предпочитал папиросы, а потом обычные сигареты с фильтром – дневная суета не способствует необходимому для курения трубки молчанию и сосредоточенности. Эту его привычку я оценил многие годы спустя, когда папы уже не было с нами. Она им была позаимствована у Ильи Эренбурга, из его серии новелл «Тринадцать трубок», - из книги, которую мне, некурящему, хочется бесконечно цитировать, как будто я веду нескончаемый диалог с папой гденибудь поблизости от табачного магазина «Шик Паризьен»... Воображение уносит меня вместе с новоприобретенной трубкой, влажно поблескивающей в кармане пиджака, в «страну Марселя Пруста». Ее границы широко и небрежно очерчены Аллеей акаций в Булонском лесу, старинной улицей Фош и площадью Рон-Пуан. Дорогой мне встречается маленький странник, большой ценитель истории этого города, мой соплеменник Эмиль Эрзог. Прошлое Парижа вызывает у него бесконечную радость и изумление, а настоящее он стремится не замечать. Я записал его в свои друзья, но он оказался, увы, слишком вульгарным. Оправданием могла бы послужить его невероятная образованность, но по моим подозрениям, она-то и сделала его вульгарным. Мы перестали с ним встречаться после того, как, остановившись со мной поболтать и рассказывая о давней любовной неудаче, он обронил: «счастье – это цветы, которые нельзя срывать». Напиши он эту фразу в романе для читательниц в России, он мог бы иметь успех, но он произнес эту пошлость в моем присутствии. После истории с Женей Ратнер я признал правоту моего друга Эмиля, но способ ее выражения мне неприятен и по сей день. Красота Парижа не совпадает с внутренним содержанием населяющего его люда. Она требует строгости, даже пуризма, что французам совсем не свойственно. Отношение к любви у них точно такое же легкомысленное, и для меня было откровением, что они избегают сильных чувств. Платона наставлял Сократ, а меня уму-разуму учил Анатоль Франс, он-то и преподал мне французское истолкование нелюбви к любви. Подлинная любовь аскетична, и любящий теряет всё — свободу, развлечения, удовольствия, светлое и радостное отношение к жизни, вплоть до потери ее смысла. Жизнь такого страдальца превращается в дистиллированный напиток, невкусный и бесполезный. Лучше легкий, ни к чему не обязывающий флирт, примиряющий с прочими человеческими потребностями. Глубокие чувства вредны, лишь отдельные личности, вроде вашего слуги, требуют их от вертихвостки-судьбы. Мне хочется думать, что, запираясь по вечерам в библиотеке, папа размышлял и об этих вещах тоже. Мне хочется от него глубины — странное желание инвалида, оставшегося, ко всему прочему, еще и без отца. Когда я стал старше, мы с мамой много говорили на эту тему.

– У папы было множество романов, и они были достаточно глубоки, – со вздохом сообщила она. – Наш брак несколько раз оказывался под угрозой разрыва.

Поводом для маминых признаний послужила пачка старых фотографий, оставленных ею по рассеянности на столе в гостиной; она их просматривала перед сном и ушла к себе, не заперев в баре, приспособленном после ареста папы для домашних документов. Здесь хранились аккуратно уложенные в папки счета на уплату коммунальных услуг, какие-то квитанции, копии писем с жалобами на протекавшую крышу, неисправную водопроводную трубу; петиции в Горгаз по поводу установки новой газовой плиты или огромного водонагревательного котла. Всю эту макулатуру мама бережно хранила, потому что, как она туманно выражалась, «случись что-нибудь неприятное, никто не поверит, что мы сообщали и предупреждали...»

Фотографии своих возлюбленных отец хранил отдельно, так, чтобы мама не могла их найти, иначе сцен ревности было не избежать. Возможно, он прятал их в библиотеке, среди огромного количества книг, и, оставшись со своими дамами наедине, вел с ними нескончаемый диалог. Спокойный и безутешный, как у тех, кому уже нечего терять, — всё, что можно, ими уже утеряно.

Фото некоторых папиных пассий были желтоваты от времени, другие выглядели как новые, и мама объяснила, что дело не в возрасте, а в химическом составе фотопленки. Пленка желтого цвета изготовлена на золотой основе, а яркая и холодновато-светлая — на серебре. Фотоконверт, в который они аккуратно были уложены, сразу привлек мое внимание. Я был очарован красотой изображенных на снимках женщин. Почти все снимки сопровождались дарственной надписью со словами нежной благодарности «дорогому Якову за любовь». На меня эти молодые, очаровательные существа взирали с любовью и нежностью, и я кожей чувствовал глубину их привязанности к отцу. Они

смотрели на меня, а видели перед собой молодого обольстителя с высоким лбом, красивыми темными глазами и узким, изящным лицом, волей случая оказавшегося моим отцом. Глаза женщин лучились отсветом былого наслаждения, и я испытывал зависть к отцу, потому что ни одна женщина в мире не посмотрит на меня с такой же любовью...

— Да, их у него было множество, — подтвердила мама, не выразив по этому случаю беспокойства или плохо скрываемой горечи. — Но я нисколько к ним не ревную! Благодаря этим дамам я получила Якова таким, каким они его сотворили. Если можно так сказать, они подготовили его к встрече со мной, молодой и неопытной. И со мной, в отличие от них, папа никогда не расставался, даже на один день. Всё, что ты видишь у нас в доме, — повела она рукой, — и то, чего ты никогда уже не увидишь, что унесли, ограбив нас дочиста, следователи, было присмотрено, собрано, доставлено и расставлено в нужном порядке твоим отцом ради нас — тебя и меня.

Папины женщины и его любовь к сидению в библиотеке долго занимали мое воображение. Я чувствовал глубокую связь между ними и мной. Мама приносила папе в библиотеку кофе, случалось это обычно после ужина, когда я чистил зубы и умывался, готовясь ко сну. Я никогда не видел, как папа входит в библиотеку, как он засиживается там допоздна с книгами и фотографиями, потому что к тому времени я уже спал без задних ног.

- Сынок, всё достаточно просто, - улыбнулась мама, когда я поделился с ней соображениями по поводу ночных бдений отца. -Папа уходил в библиотеку, когда дом затихал. Сначала засыпал ты, потом ложилась я. Он прихватывал кисет с табаком, уже без меня заваривал вторую и третью чашку кофе – он любил пить его с коньяком и без сахара – и до глубокой ночи сидел среди своих богатств. Разве не является прошлое – будь то прошлые любови или прошедшая жизнь целых стран и народов – богатством, которому нет цены? Так что ты и не мог ничего видеть. Книги, библиотека были для него местом и антуражем отдыха. Отрешения от дневных забот и неприятностей. Не забывай: твоего отца звали Яков и, как библейский Иаков, наш родич, был он «человек кроткий, живущий в шатрах». Библиотека и была для него таким шатром близ Беэр-лахай-рои... Я даже не знаю, читал ли он собранные им книги, – продолжала мама. – Никогда не видела у него на столе тома с заложенной между страниц закладкой. Ни одной книжки, лежащей на столе раскрытой, как у заядлых книгочеев. Человек зачитается, устанет; сон вот-вот его одолеет... нет у него сил встать, протянуть руку и поставить книгу на место – кладешь ее на стол как есть, иногда в развернутом виде, страницами вниз... Скорее, скорее бы добраться до постели!..

— Но у папы всё было не так. Мне кажется, — подумав, покачала головой мама, — что книги были для него только поводом. Его мучили какие-то мысли, их я, к сожалению, не знаю, он ничего мне об этом не говорил. Я читаю по-английски, ты же знаешь, — поднимала она виновато глаза: — И у Конан-Дойля вычитала фразу, которая помогла хотя бы приблизительно, хоть на вершок понять характер папы: «there comes a time when for every addition of knowledge you forget something that you knew before». Наш папа, как мне кажется, мучился неизбежностью этого.

И еще мама любила повторять слова Маргерит Юрсенар, возвышенные и казавшиеся непонятными: «В книгах нет жизни, в них только ее пепел. Это и есть то, что называют жизненным опытом».

- У папы были неприятности?
- Неприятности бывают у всех взрослых, улыбнулась мама. –
 Кто работает, у того всегда случаются неприятности.
- Зачем тогда работать? недоумевал я. Разве нельзя жить, не испытывая неприятностей?
 - У людей, сынок, так жить не получается.
 - Кто же тогда я? Ведь я живу без проблем.
- Тебе только кажется, лукаво улыбнулась мама. Или ты забыл Женю Ратнер?

Оказывается, мама всё знала! Или догадывалась? Что с того, что с тех пор прошло пятнадцать лет и Женя Ратнер давно уехала из нашего города. Она продолжала маячить на моем горизонте — да и на мамином тоже — как Александрийский столп, всех к себе притягивая и никого не отпуская.

7

Не знаю, как приступить к дальнейшему рассказу. Как описать девушку, молодую женщину, чтобы она предстала перед вами в обаянии ее светлых волос, круглого лица и толстоватой, коротконогой фигуры. Да-да, именно так: некрасивой, толстоватой и — обаятельной! Да еще с белоснежным лицом Марго, спокойным и ясным. Маленькому Генриху она обещала показать свои ноги — в то время увидеть обнаженные ноги избранницы представлялось великим, недосягаемым счастьем. Минимализм возможностей воспитывает высокие чувства. Я был бы не я, если бы мои физические интересы отличались от возможностей моих сверстников, но в пору, о которой идет речь, я вовсе не помышлял о ногах Жени. Довольно было и того, что она разделяла мои детские, а потом и подростковые увлечения. Мы охотились на жучков и бабочек, затевали разбойничьи игры и придумывали приключения в духе капитана Блада и его возлюблен-

ной Арабеллы Бишоп. Кто знает, какие чувства обуревали ее маленькую, аккуратно причесанную головку с одним или двумя воздушными бантиками синего, голубого, алого, желтого или оранжевого цвета. Особенности ее натуры становились для меня всё очевиднее, и я терялся от обилия ее возможностей. Теперь-то я знаю, что чувства Жени, в отличие от моих, были вполне взрослые. Как и все девочки, опережая в развитии мальчиков, она была разумнее меня и больше значения придавала женскому началу, нежели я – мужскому. Можно спросить: при чем здесь разум, разве он диктует женщине, девушке нормы ее поведения? – И да, и нет, у них это удивительным образом сочетается, сливается в гармоничную структуру. Рассудок женщины не только не противоречит влечению, но является его основанием и поддержкой. Считаю счастьем, что мужчину во мне разбудила Женя. Она избавила меня от сложностей и трудностей любовных перипетий, сваливающихся на голову каждого юноши, заставила почувствовать то, что выразила французская писательница: «его плоть была одухотворена индивидуальностью».

Даже природа казалась частью меня самого. Я чувствовал возвращение, реинкарнацию моего духа так остро, как будто уже переживал ее. Вижу свое детство и Женю воочию, как в первый раз. Мне хочется описать клумбу в саду под окнами гостиной – той самой, где за большим, покрытым белой скатертью столом, отмечались дни моего рождения. Описать гостей – их приглашала мама со своей стороны, а папа – со своей, – и каждый приходил с подарками, один занимательнее другого. Это были всевозможные конструкторы, с которыми я никак не мог справиться, так что потерявшая терпение мама просила папу «помочь ребенку». Папа пыхтел, ворчал, растерянно почесывал переносицу и наконец сдавался. Звонил Ивану Юльевичу: «Ваня, помогай! Ты инженер и должен это знать!» Толстый, сопящий «Ваня» в пенсне и с короткими пальцами пытался приспособить одну деталь конструктора к другой, чтобы получился башенный кран в переплетениях железных растяжек. Вдвоем с папой, взявшим на себя обязанности подсобного рабочего, они ползали по полу, азартно спорили и, забыв обо мне, предлагали самые немыслимые варианты сборки. Мне становилось скучно, и я незаметно исчезал. За полночь, когда злополучный кран бывал собран, а мама дремала в кресле, меня находили в моей комнате: я спал, скрючившись, на диване вместе со своим приятелем, маленьким плюшевым медвежонком...

Иногда взрослые дарили мне цветные карандаши и пластилин для лепки, иной раз детские книги. Помню, как оживлялся я при одном только виде больших, в ламинированных переплетах и с цветными иллюстрациями, книг о Незнайке, старике Хоттабыче, от сбор-

ников восточных или немецких сказок... Можно сказать, с раннего возраста праздничными подношениями гостей меня готовили к принятию папиного наследства. Обо всем этом я думаю с не меньшим, а, может, и с большим наслаждением, чем в детстве, когда каждый день рождения становился ступенькой к утонченности души.

На второй день торжества приходили поздравлять соседские дети, но события этого дня меня уже не волновали. Со сверстниками мне было скучно. Они тоже приходили с подарками — унылой, незамысловатой мелочью: рисунками собственного изготовления — улица, дом, сад; большие красные звезды на двух симметричных сталинских многоэтажках — в одной из них был книжный магазин, где работал папа, а во второй располагался универсам, куда любила захаживать мама в поисках модной шубки для себя или плаща и новой шляпы для папы.

Однажды — дело было зимой — мы с мамой пришли к папе на работу. Обычно мы никогда этого не делали, но в тот раз вместо привычной прогулки мама вдруг повела меня в универсальный магазин: «Всего на минутку, сын!» Мы с ней долго бродили по длинным, величественным залам огромного магазина. «Ах, какая прелесть! — восхищалась мама, примеряя перед зеркалом светло-коричневую шляпку, похожую на котелок, с искусственной чайной розой сбоку. — Надо купить на весну! Жаль, что мы не захватили с собой деньги, зайдем к папе, попросим у него!» Мне не хотелось, я устал.

- Пойдем домой, я кушать хочу, хныкал я.
- Погоди, увещевала меня мама. Ты же не хочешь, чтобы мама плакала, нет? Тогда тебе придется потерпеть.
- С папой я никогда не терплю. С папой мне интересно... Я дулся на нее и обиженно сопел.

Мы обогнули книжный магазин и вошли в него со двора. Двое мужчин в телогрейках, дыша морозным паром, выгружали из синего фургона тяжелые упаковки книг.

 Яков Моисеевич у себя, – махнула в сторону распахнутой двери руководившая выгрузкой женщина в синем халате поверх пальто.

Мы прошли по тесному, полутемному коридору, заставленному такими же пакетами. Папа – он тоже был в синем халате, делавшем его чужим и простоватым, – с кем-то разговаривал по телефону.

- Я же тебя просил, раздельно сказал он маме, положив трубку на рычаг. Никогда. Не приходи. Ко мне. На работу!
 - Яша, мне нужны деньги, робея, заговорила мама.
 - Я выделяю тебе достаточно.

Волнуясь и робея, мама лепетала о случайности, о непредвиденных расходах...

– Яков, я тебя умоляю... – шептала она, не отпуская мою руку.

 Первый и последний раз, – сухо сказал папа. – Что подумают о нас люди…

Он встал из-за стола и, прикрыв дверь, подошел к массивному, выкрашенному в бежевый цвет сейфу. Достал пачку денег, отсчитал несколько бумажек...

- Теперь ступайте, мне нужно работать.

И, вытащив из стола кипу бумаг, с сосредоточенным видом стал их перелистывать, делая карандашные пометки. Он так глубоко ушел в свое занятие, что даже не поднял головы, когда мы тихонько вышли, скрипнув дверью...

Об этом сейфе и тихо шуршащих в папиных руках бумажках я вспоминал всякий раз, когда видел маму в новом черном платье с ниткой мутного жемчуга на длинной шее или когда папа приносил мне подарок ко дню рождения. В подарках он был непредсказуем, и я с нетерпением ждал от него очередного сюрприза. Один раз это было приведшее меня в неописуемый восторг детское двуствольное ружье. Утром я прихватил его с собой на прогулку в городской сквер. Вокруг чаши фонтана, из которой нескончаемым потоком стекала вода, замерли, хищно ощерив клыкастые пасти, два длиннющих, выкрашенных зеленой краской цементных крокодила. Они выглядели так ужасно и натуралистично, что, глядя на них, я испытывал холодный ужас.

Папа, можно я убью их? – спросил я.

Утро после ночного дождя было свежее, и крокодилы без жары и потоков льющейся на них прохладной воды скучали и злились. Мне не было их жаль — напротив, хотелось отомстить им за мой страх перед ними. Мне стало не по себе от моей внезапно пробудившейся агрессивности, и я ждал, как отреагирует на мое желание папа.

— Отчего же, — равнодушно пожал плечами он. — Если они тебе мешают, ты можешь их убить. Убийство хищных зверей не считается преступлением. — И добавил с улыбкой: — Они ничем не лучше некоторых людей.

Эту фразу я пропустил мимо ушей, но впоследствии много раз ее вспоминал. К оружию я испытывал глубочайшее отвращение. Как и ко всему грубому и животному, что приходилось мне видеть. Но ненависти к ним — нет, не испытывал. После истории с Женей и последовавшего вскоре за этим несчастья я окончательно пал духом. Не мог даже пришлепнуть муравья, ползущего по моей ноге. Теперь, когда у меня вовсе не осталось возможности активной жизни, мне доставляют радость воспоминания о ней, о скудных эпизодах из прошлого, и я волнуюсь запоздалым, растянувшимся на десятилетия волнением.

Но оттого, что многие люди, жившие задолго до меня, испытывали те же проблемы, мне становится легче. Что ж, думаю я, ты не один такой. Мы думаем, вспоминаем и наслаждаемся новизной всего далекого, ранее с нами бывшего и угасшего навсегда. Или, точнее, увядшего, — в эти минуты я вновь думаю о цветах из нашего сада. Снова мне «хочется ощутить аромат каждого цветка (в букетах, стоявших в хрустальных вазах на именинном столе), словно это лето для меня — последнее...» (А. Жид. «Страницы из дневника»).

8

Стоит отвлечься от тягостных мыслей о близящемся конце, как воспоминания оживают во всей их свежести. И колодец жизни снова кажется неисчерпаемым, полным чистой воды. Женя приходит ко мне словно наяву. Снова я вижу летний цветник, разбитый перед фасадом металлургического техникума, — там в одиночестве я проводил все дни лета среди желтого бузульника, алых настурций и розовых гортензий. Его окаймляли кусты волчьей ягоды с плотной блестящей листвой, отражавшей летнее солнце тысячами мелких зеркал. Здесь обитали мириады мошек, кружили в вальяжном полете толстые, пресыщенные нектаром пчелы и стремительно проносились юркие, импульсивные ящерицы. Зеленый оазис, отделенный витым чугунным забором от пыльной, некрасивой улицы, плавно переходил в наш сад, а от него — к Жене, ее первому, а потом и к последнему в нем появлению.

После нашей истории она исчезла надолго — мама говорила, что Женя заболела. Я страшно волновался, воображал себе Бог знает что и винил себя. Я представлял ее мучения, меня охватывал ужас — казалось, она вот-вот умрет, а перед смертью обо всем расскажет Екатерине Федоровне, и та, конечно, решит, что в болезни Жени повинен я. И пожалуется на меня маме. Я не перенесу, если наша противозаконная любовь (со смертельным исходом!) станет всеобщим достоянием; меня, разумеется, отправят в тюрьму и всю жизнь я проведу в камере-одиночке. Днем суровые конвоиры с винтовками будут сопровождать меня на работу в токарные мастерские на Красноармейской улице, где располагалась городская тюрьма, а вечером — опять в тюрьму. Когда мама брала меня с собою на рынок, мы шли по этой улице, и меня охватывал страх: вдруг нам навстречу выйдут жестокие тюремщики и мигом свяжут меня...

Мастерские, принадлежавшие тюрьме, были длинные, на весь квартал. Изнутри доносились тяжелые гудящие звуки и, если прильнуть сплющенным носом к окну, можно было увидеть грязное помещение, уставленное сложными механизмами. И грязных людей в заса-

ленных кепках и комбинезонах, с угрюмым видом вращавших колеса и вертевших блестящие ручки. Мне представлялось, что это я их вращаю и кручу, такой же грязный и несчастный, и мысли мои точно так же вращались вокруг Жени, виновницы моего унижения и посрамления. Но чем больше я чувствовал себя изгоем, тем сильнее ее любил.

Когда холодной ветреной ночью суровые, неприветливые люди пришли за папой, а не за мной, я вздрогнул, пораженный странным предчувствием: ведь тюремщики с винтовками мерещились мне едва ли не каждый день. Но у настоящих, сидевших в гостиной тюремщиков винтовок не было. Они были немолоды, неразговорчивы и хорошо одеты. Молча увели папу, показав маме какую-то бумажку и дав ему десять минут на сборы. «Он даже слова не успел произнести, — рассказывала мама много лет спустя. — Будто он их ждал...» К концу жизни для нее это стало главным занятием — рассказывать о «последних днях папы» и смешивать для себя молочную окрошку, ничего другого она уже не ела.

– Знал бы ты, что я тогда пережила! Когда его увели, я выла как волчица, - всхлипывала она, кроша хлеб в тарелку с подогретым молоком; при этом ее седые букли по-старушечьи тряслись, – ...но им было всё равно, этим сталинским выкормышам без сердца и души. Папа мне не сказал ни слова и только у выхода обернулся и посмотрел на меня. Как будто прощался навсегда и просил у меня прощения. А за что извиняться, – всхлипнула мама. – Я ведь и так всё знала. Знала, чем это всё закончится. Через папу проходила дефицитная книжная подписка, и он сам решал, на кого ее оформить. Обычно это были состоятельные люди и работники партаппарата. В то время поступили в подписку первые тома «Проклятых королей» Мориса Дрюона – ты не представляешь, какой в обществе поднялся ажиотаж! Папе обрывали телефон выдающиеся люди! Конечно, на этом он хорошо зарабатывал, ведь на одну зарплату дом не превратится, как в сказке, в полную чашу. Но последний талон на «Королей» папа не продал, а подарил зубному технику Нестеренко, частным образом он ставил папе золотые коронки и попросил его о таком одолжении. А я обещала Дрюона Алле Алексеевне Крапивиной, второму секретарю горкома партии и моей старой приятельнице, мы учились с ней в школе в одном классе. Папа только покачал головой: «Поздно, я отдал подписку Кириллу Сергеевичу...» Алла рассвирепела: «Штернфельд, – когда она сердилась, она обращалась ко мне по девичьей фамилии. – Штернфельд, твой муж, кажется, забыл, благодаря кому он держится на своей должности! Так мы ему напомним. И припомним все его грехи!» Если эти люди, сынок, в тебя въелись, они уже не отстанут. После истории с Дрюоном папины «высокие друзья» поставили на нем крест – промахов партаппаратчики не прощали никому. Приговор папе был окончательный и обжалованию не подлежащий. Они, видите ли, решили, что он их обманывает. Ну и что?! В жизни все и всех обманывают, святых нет. Человеку нужно кормить семью, а не думать о морали. Так поступают все мужчины, а не рассказывают сказки о чести и справедливости. Такой была жизнь в то время. Да и в нынешнее она не лучше, – вздыхала мама. – Просто одним в жизни везет, а нашему папе не повезло. Жизнь выбросила его на обочину без видимой причины. Вот что он хотел мне сказать, когда, уходя, остановился в дверях. Ты этого не видел, сынок, – ты в это время крепко спал...

Проснулся я от маминого крика: «Нет! Не может быть! Куда вы его уводите?! Яша, скажи им, что это неправда! Ты не виноват!..»

Сжавшись комочком в постели, я обмирал от маминых воплей и от страшных предчувствий. Казалось, земля под моей кроватью разверзлась, и я лечу в чудовищную пропасть. Мне не за что было ухватиться, я как будто оцепенел. Мое тело онемело, налилось тяжестью. Руки повисли, я перестал их чувствовать, и в голове звенел душераздирающий крик мамы: «Яша, не бросай меня!»

Мама с тех пор часто плакала, особенно по ночам. Мне, как всегда, не спалось. Я лежал с открытыми глазами и слушал тишину. Оно было не совсем тихим, это странное ночное безмолвие. Чуть слышно потрескивали на стенах рассыхающиеся обои, в темноте возилась в углу проказница-мышь. Но я делал вид, что ничего не слышу. Да и мышь не горела желанием продлить нашу встречу — пошуршит себе в темноте и умолкнет.

Я лежал и думал: хорошо бы мне выздороветь и отправиться с папой и мамой в далекое-далекое путешествие. В самолете или на океанском лайнере, большом и белом. В автомобиле я путешествовать не хочу, боюсь. Перед глазами то и дело всплывает моя первая и последняя поездка с папой в деревню, и настроение у меня портится. Нет, мы замечательно провели время в деревне: несмотря на почти ежедневные дожди, тихие, будто осенние, мы гуляли в лесу, охотились за грибами. «Дождливое лето, – смеялся папа, – к обильным грибам.» Когда дождь переставал, мы купались в реке Молочной и папа рассказывал о Еленовке, где жил его младший брат Аркадий, врач в сельской больнице, о соседях, которых давно уже нет, - одни умерли, другие уехали в город. После дождя в лесу было тихо и прохладно. Река белела и дымилась, как парное молоко. Глядя на речку, на белесый, чуть колышущийся пар от нее, я понимал, почему у реки такое название. И радовался меткости воображения и чувству красоты у земляков дяди Аркадия. Значит и папа тоже наблюдательный, наделенный умением всё в мире подмечать и чувствовать, как они. Тем летом он раскрылся передо мной во всей своей красоте и доброте, и мне хотелось остаться с ним в деревне навсегда.

По утрам вместе вставали и вместе укладывались на ночь. Если не было дождя, купались в реке или отправлялись пешком в соседнюю деревню Касьяновку. Дорогой папа рассказывал смешные истории из своей жизни. Меня поражало, сколько человеческих судеб прошло перед ним! Он и на флоте служил, и строителем работал, пока в финансово-экономический институт не поступил.

- Ты столько знаешь, восхищенно крутил я головой, столько видел!
- Видел много, усмехался папа, а знаю, сынок, мало. Чем дольше живешь, тем меньше знаешь.
- Как это? Ты же говорил, что жизнь это накопление опыта.
 Опыт и знание разве не одно и то же?
- Накопление да, верно. Но знания и опыт разные вещи. Горка грибов у тебя в лукошке не означает, что ты всё знаешь о грибах. Разве не так? Вот и я говорю: опыт отдельно, а знания отдельно. Мы видим и чувствуем многое, но объяснить не можем. Для этого существуют книги. Читай, сопоставляй и поймешь загадку жизни...

Ужинали мы при свете каганца. Света в деревне не было, где-то случилась авария, подстанция была далеко, один телефон на всю деревню был только в запертом сельсовете, и лесная деревушка равнодушно ждала, когда исчезнувший свет «отремонтируется сам». Так говорила тетя Катя... За ужином папа выпивал рюмку мутного самогона и закусывал квашеной капустой, отдающей яблоками и дубовой бочкой. В комнате стоял дух ржаного хлеба; тетя Катя, жена дяди Аркадия, вносила огромную сковороду, шипящую яичницей с салом, и мы принимались уписывать за обе щеки. В такие дни и вечера никто, кроме папы, мне не был нужен...

Дядя Аркадий, крепкий, моложавый человек с ясным лицом и мальчишеской челкой на лбу, просыпался рано и, зажав прищепками широченные брюки, мчался на допотопном велосипеде в район, «решать вопросы» по своей больнице.

Спал я на застеленном овчинами топчане у низенького оконца. Свет в избу просачивался сквозь него сырой, предутренний. Белесый, как река и пар над рекою, переходивший в плотный синеватый туман. И пар, и туман наплывали после дождя и таяли, когда из-за леса тяжело и величаво поднималось мокрое солнце. На высоких березах со скошенными туманом верхушками галдели потревоженные вороны, их гвалт был по-утреннему звонок и отдавался эхом. Я выскакивал на пустой двор и, звякая колодезной цепью, вытаскивал из черной преисподней плещущее ледяной водой ведро. Залпом выливал ее на

себя, обмирая от холода, и растирал тело суровым полотенцем, пока грудь и спина не начинали гореть. В хлеву тяжело мычала корова Пятнушка, брякало пустое ведро, и раздавался тугой звук брызгавшего в него молока — тетя Катя занималась утренней дойкой, что-то тихо наговаривая корове — нежное и умиротворяющее...

Завтракал я теплым пятнушкиным молоком с огромным ломтем ржаного хлеба, а потом бродил по двору в ожидании, когда проснется папа.

В день, когда мы уезжали, папа проснулся рано. После вчерашних проводов с самогоном и жареной зайчатиной он чувствовал себя плохо, и припухший после вечернего пиршества дядя Аркадий, почесав небритую щетину, подбадривал: «Яша, выпей стопку, тебе полегчает!»

- Не могу, я за рулем.
- Брось, тут за сто километров ни одного инспектора!

Поколебавшись, папа крякнул и опрокинул мутно-синий стаканчик. Покрутил головой:

- Не идет!
- Да всё, смеялся дядя Аркадий. Уже пошла!

Улыбающаяся и темноликая, как цыганка, тетя Катя подала завтрак — под вторую и третью рюмку: «Бог Троицу любит!» — грибки в маринаде, жареную картошку. И папа повеселел...

9

...Все трое — вежливые, предупредительные. Один — в тонкой рубашке с галстуком — поднял голову и с любопытством окинул меня взглядом. Не столько меня, конечно, сколько массивную никелированную коляску, из которой торчали мои худосочные, неподвижные ноги, — две заросшие юношеским пухом палки с некрасивыми крупными ступнями. Удивленно хмыкнул и, спохватившись, продолжил писать. Двое других, с тяжелыми, неприятными лицами, просматривали бумаги. Когда я въехал в комнату — полусонный, встревоженный, с темными нечесаными патлами, — они с недоумением переглянулись:

- Ваш сын?

Мама кивнула и вытерла платком глаза.

Пробудившись от чужих голосов, в первые минуты я ничего не понимал. Мне померещилось, что в доме грабители.

Дом, который я так любил, показался мне чужим.

- Вот акт, подпишите, вежливо пододвинул бумаги человек в тонкой рубашке. И копия описи имущества.
 - Зачем это? шмыгнула носом мама.
 - Я же вам объяснял: имущество, принадлежащее Панчешникову

Якову Моисеевичу, движимое и недвижимое, подлежит конфискации. Опись – часть уголовного дела. Так сказать, вещественное доказательство.

- Когда будете изымать? Прямо сейчас?
- Зачем же, снисходительно пожал он плечами. Это дело небыстрое.
- Мама, что происходит? встревоженно заговорил я. Кто эти люди, что они здесь делают?
- Вам, молодой человек, лучше уйти. То есть, спохватился следователь, уехать. Мы разберемся без вас...

Яркий свет люстры слепил мне глаза, наворачивались слезы — как будто наступил последний день моей жизни. В доме, в нашей семье случилось что-то страшное. Мир изменился, принял отвратительные формы. Я чувствовал свою слабость и бессилие. И лихорадочно соображал: как мне уцелеть в этом мире, не пропасть. Но что бы я ни придумывал, не было главного: поддержки папы.

Милиционеры ушли, оставив грязные следы на ковре, запах дешевого табака и гору окурков в пепельнице. Мама, бледная, высохшая, сидела как изваяние, подперев голову кулаками. И упорно, сосредоточенно смотрела в одну точку. Мне стало страшно. Я боялся, что она сойдет с ума. Или уже сошла.

Острая жалость охватила меня.

- Мама, подкатил я к ней и уткнулся лицом ей в плечо. Что с нами будет?
- Они хотят, чтобы все жили одинаково, сухо сказала она, как будто отвечала на свои собственные, а не мои, вопросы. А папа не хотел быть, как все. Он и не был, как все. Тонкая, деликатная натура таким нет места. Их жизнь никому не нужна. Я знала, что рано или поздно они за ним придут. Он ни в чем не виноват, кроме того, что он думал о себе. Но это же не преступление?! Чем больше он читал и размышлял, тем безнадежнее становилось его положение. И нарушения на работе он совершал ради того, чтобы быть самим собой. Ты понимаешь? подняла она мутные, невидящие глаза.

Столько горя было в маминых глазах, что не понять ее было невозможно. В тот день я впервые стал размышлять о родителях.

Вот я выкатываюсь в длинный полутемный коридор и с быощимся сердцем принимаюсь исследовать помещение за помещением. Все тайны дома похоронены в полуживых, редко посещаемых и тщательно запиравшихся на ключ комнатах. Они тянулись вдоль длинного, узкого коридора, освещаемого двумя люстрами с лампочками малой мощности. Папа рассказывал, что подобным образом устроены номера в гостиницах. Комнаты казались заброшенными в своей многолетней паутине, превращенными в склад ненужных вещей, апартаментами средневекового замка, в которых никто не живет. Хозяева мертвы, наследников нет. И только папа по какой-то причине решился на покупку этих развалин. Но если жилую часть дома семья содержала в полном порядке, то глухую его часть родители не трогали вовсе. Что свидетельствовало о некоем разочаровании, отказе от первоначального плана. «Зачем приобретать дом, в котором добрая половина площади не нужна?» — спрашивал я себя, катясь в коляске по длинному коридору и робко поглядывая на запертые двери. Они были со старинными ручками из белой кости, превратившимися со временем в грязно-желтые оттого, что к ним не прикасалась человеческая рука, не протирала мокрая тряпица. Конструкция дверей тоже была вызывающе старомодна.

- Папа любил всё старинное, вспоминала спустя годы мама. Когда мы покупали дом, он представлял его старинной барской усадьбой с парком, прудом и павильонами для отдыха. Чем-то вроде дома Лаврецкого или усадьбы в окрестностях Комбре. А тебя он видел маленьким Марселем. В старости папа намеревался жить среди всего подлинного, как он выражался. Поэтому в доме так много серебра и хрусталя. Редких книг и дорогой мебели. Всё, что эти, презрительно пожала плечом мама, конфисковали, когда его упекли в тюрьму. И я перестала получать от него известия...
- Знаешь, слабая улыбка тронула ее потрескавшиеся губы, когда мы с папой пришли присмотреться и прицениться, в доме обитала только одна жилица. Одна из многих, населявших его когда-то. Сухонькая девяностолетняя старушка с молодыми глазами и саркастической усмешкой. Она была дочерью первого владельца дома, Ивана Ивановича Якушева, члена городской Думы, известного в городе промышленника и мецената, вскоре после революции уехавшего во Францию и канувшего там бесследно. Для нужд народа он построил две больницы – одну на окраине, для инфекционных больных, другую, позднее, – для раненых в Первую мировую войну. Город с тех пор сильно разросся, но больницы и по сей день исправно принимают пациентов... «Марья Ивановна, – спрашиваю я старушку, - как получилось, что ваш отец уехал, а вы остались в городе, в России?» Мы сидели в маленькой, похожей на чулан, комнатушке и беседовали с хозяйкой за чаем. Она без конца курила. В открытое окно заглядывала ветка цветущей черешни, и комнату наполняло тонкое дуновение – аромат весны и цветов. Запах табака становился неслышным. В комнате было полно старых книг, это придавало ей волнующее очарование, - на что и обратил внимание папа, и это стало решающим в выборе дома.

Книги Марьи Ивановны размещались на нескольких этажерках из тонкого, покрытого темным лаком дерева, и, насколько я помню, все – дореволюционного издания, современной литературы я у нее не видела. И это тоже понравилось папе, не выносившему советскую словесность, - он уже тогда подумывал оставить службу и поступить на работу в книжный магазин. Он служил на машиностроительном заводе в экономическом отделе и неплохо зарабатывал. Но его тяготила техника и что-то еще, о чем он не говорил. Жаловался, что ему не на что тратить заработанные деньги. Более чем странно для взрослого человека – мужчины, заботящегося о благополучии семьи. Со временем я поняла, что он имел в виду, ведь я и сама испытывала жажду подобного рода. Но мне было легче, потому что я – музыкант. Я играла Шопена и Листа, Рахманинова и Прокофьева. Папа шутил, что я нахожусь при нем, как Шопен при Жорж Санд. К тому времени он уже устроился в Горпромторг, а потом его назначили директором книжного магазина «Светоч». Можно сказать, что он добился своей цели. Так у нас в доме стали появляться редкие книги и все остальное...

После конфискации имущества книги нам оставили, так как маме удалось доказать, что они были законно приобретены ею. Но наши комнаты осиротели. В помещении должны находиться вещи, много вещей, без них дом стареет и умирает. После ареста папы дом принял голый, сиротливый вид, словно уютный особняк превратился в тюремную дежурку с одним столом, разбитыми стульями и деревянным топчаном. Из опустевшей спальни мама переселилась в бывшую гостиную: «Здесь я ближе к тебе».

Из мебели уцелело еще и мамино фортепиано. Комната, где молчаливо обитал черный полированный инструмент, стояла полуоткрытой. Я украдкой в нее заглядывал, остановив коляску у дверей, – проехать внутрь было невозможно из-за необычно высокого порога. Эта комната – мамина рабочая. Тяжелая гардина на широком окне, волнуемая ветром из распахнутой форточки, темный неполированный шкаф, избежавший реквизиции в силу своей ветхости и убогости. Он битком набит партитурами опер в тяжелых переплетах, потрепанными книгами по истории музыки; фортепиано, если смотреть на него сбоку, напоминало фигурную скобку. На крышке лежали ноты – широкой и тонкой, со скрученной по краям трубочкой книги, на титульном листе которой можно было увидеть красивое лицо Чайковского, нежный лик Шопена и стриженную бобриком голову Рахманинова... В сумерках я думал о грустной душе мамы, прятавшейся за ее всегдашней озабоченностью моим здоровьем и папиными проблемами. По характеру музыки, которую играла мама, было понятно, о какой жизни она мечтала. Ее меланхолия совпадала с моей: моя жизнь выглядела такой же безнадежной, как и у мамы. Чтобы утешить меня и приободриться, она рассказывала о Марье Ивановне. Матери она лишилась еще в детстве: та умерла от туберкулеза в двадцать два года, когда дочь только-только научилась ходить. До революции Марья Ивановна успела поработать в школе для детей бедняков — попечителем школы тоже, кажется, был ее отец. Уезжать за границу она отказалась. Замуж не вышла. Говорила, что недаром она зовется Марьей, — как толстовская княжна Марья, она была отнюдь не красавица. И, как все безнадежно засидевшиеся девицы, мечтала о семейном счастье. А если не мечтать, то ничего и не получится.

Она мечтала, но у нее не получилось. В конце концов, Марья Ивановна смирилась со своим положением и даже гордилась им: ее удел – жить с отцом и о нем заботиться. Но произошла революция. После многодневных ссор, убеждений и уговоров рассерженный Иван Иванович «хлопнул дверью» и умчался во Францию: «не хочу гнить в этой стране!» Марья Ивановна проявила неожиданное упорство, которое отец называл не иначе, как упрямством. А ей было стыдно признаться, что страшно оказаться в чужой стране; страшно менять привычный образ жизни... И вот она осталась одна. «Было ощущение, - покачивала она головой с жидкими бесцветными волосиками, которые она кое-как приглаживала, чтобы не отпугнуть затрапезным своим видом приходивших осматривать выставленный на продажу дом, – у меня было чувство, – повторяла она, – что отца у меня никогда и не было. Мы жили в одном доме; он ел, спал, ходил по праздникам в Свято-Николаевскую церковь – в ней венчались мои родители и в ней же меня крестили... Читал вслух по вечерам любимые книги. Мы беседовали о книгах, о моих делах в школе или о живших в Таганроге маминых родственниках со странной и смешной фамилией Алексопуло – они были состоятельные греки, дальние родственники поэта Николая Щербины. Папа гордился родством с поэтом-классиком и, когда у нас бывали гости и за ужином заводились разговоры о политике, о будущем России, папа ругал всё русское и цитировал Щербину: 'У нас чужая голова, / И убежденья сердца хрупки. / Мы – европейские слова / И азиатские поступки'.

Помню поездки с папой к родственникам в Таганрог. Хозяйка дома, Дора Федоровна, тучная гречанка, шепеляво произносившая звук «ф» и без конца поминавшая какого-то двоюродного дядю Христоса, угощала меня тяжелым и сладким греческим лакомством — то ли засахаренной тыквой, то ли пирогами с тыквой, уже не помню, и называла меня «бедный деточка». Папа много ел, громко смеялся и производил впечатление человека, которому находиться за столом и вообще в жизни очень хорошо и приятно. Как хорошо и приятно ему

было и дома, и у себя в конторе, - жизнь казалась созданной специально для него. Он вечно куда-то спешил, вытаскивал из жилетки на круглом животике массивные часы на серебряной цепочке и проверял время. С радостной улыбкой ездил в клуб, с довольным видом – на заседание правления или собрание акционеров; жил полнокровной жизнью занятого приятными делами человека. Не забывая, впрочем, и о моих делах. Он справлялся о них, одеваясь утром в прихожей, – да так равнодушно, как будто заранее знал ответ. Я обижалась на простоту и легкость, с какими он говорил обо мне, и мечтала о каком-то особенном к себе внимании. Но потом я поняла, что интерес к жизни, людям утрачивается с течением времени так же стремительно, как седеет наша голова. И теперь я думаю об отце с благодарностью. Вы спросите – за что? А я и сама не знаю, – засмеялась Марья Ивановна. – За то, что я его любила, – это был единственный доступный мне род любви. А он меня – нет. И это тоже было, как у всех женщин. Ведь нет женщины, которая не испытывала бы чувство ненужности и мучительной неразделенной любви. А когда жизнь прожита, испытываешь тихое и праздное удовлетворение. Ты пережила всё: и любовь, и предательство, и надежду. Надежда превратилась в воспоминание о ней. В старости это теплое и отрадное чувство, оно создает иллюзию вечно длящейся жизни...»

Марья Ивановна, вспоминала мама, с первой же встречи за чашкой чая показалась ей анахореткой.

- Возможно, я ошибаюсь, и такое представление у меня сложилось от ее старости, ведь в старости человеку действительно ничего не нужно. Молодость эгоистична, живет для себя, жадничает, хватает, что ни попадя. В зрелости, поостыв, живешь уже для людей, и каждый терпеливо несет свою ношу. А в старости мы живем для Бога, отказываясь от всего, что смущало и соблазняло. Мы встречались с Марьей Ивановной еще несколько раз, пока обсуждали и примеривались к покупке дома. Потом она тихо жила у нас – мы оставили ей ее комнату до конца жизни. Изредка по вечерам я заходила к ней, там было сухо и пахло старыми книгами, старческим телом и засушенными ромашками – Марья Ивановна их использовала вместо книжных закладок. Мы пили чай, говорили о житейских пустяках, она наизусть читала Пушкина – в последние месяцы жизни она ничего другого уже не читала. «Пушкин, - усмехалась она сухими губами, – меня омолаживает. У него нет тоски, жалобы и забвения...» Умерла она тихо, во сне, и я нашла ее мертвой не сразу. Только на следующий день, когда она не вышла утром поздороваться и виновато улыбнуться милой, застенчивой улыбкой. Она никого не звала перед смертью и ни на что в жизни не рассчитывала...

О папе Марья Ивановна отзывалась хорошо. В глазах ее, таких же бесцветных, как ее волосы, сквозило тихое, улыбчивое понимание...

10

Постоянные размышления и переживания — точнее, воспоминания о былых переживаниях, — привели к тому, что мне уже было безразлично, увижу я когда-нибудь еще Женю Ратнер или она исчезла из моей жизни навсегда. Она потеряла ко мне всякий интерес. Но, возможно, ее нежелание видеться со мной вызвано иными, неведомыми причинами, как и моя стыдливость, не позволившая восстановить нашу дружбу.

Иной раз мельком я мог видеть ее из окна, пробегающей по улице то с голубенькой авоськой в руках, то с ученическим портфелем. Она была красива в строгом школьном платье, коричневом, с белым кружевным воротничком. Поверх платья Женя носила взросливший ее черный атласный передник. Вся эта архаическая, напоминавшая былую гимназическую, школьная одежда была ей к лицу – блондинкам идут темные вещи. Она выглядела такой взрослой и целомудренной, что я не верил своим глазам: передо мной была совсем другая Женя! Что-то в ней изменилось, засияло внутренней красотой, — не берусь уточнять определенно, потому что окончательно запутаюсь...

И всё же мне не хотелось развивать с нею отношения. Как и ей со мной. Да это стало и бесполезно после случившегося со мной. Когда я пришел в себя после автомобильной катастрофы, теплое равнодушие раз и навсегда поселилось в моей душе. Наблюдать за Женей в редкие дни и минуты, когда она вспыхивала, подобно настурции в моем окне, казалось несравнимо приятнее. По крайней мере это чувство не требовало моего утомительного соучастия в ее жизни, а ее — в моей, довольно тягостной. Всё это я понял позже. А пока что надолго забыл о Жене...

Мы жили по соседству, но учились в разных школах. Мама определила меня в школу номер один, самую старую в городе. Раньше здесь располагалось то самое епархиальное училище, которое окончила незабвенная Марья Ивановна Якушева. Маме хотелось продолжить эту традицию: наша семья просто обязана связать себя с этим учебным заведением. И совершила обряд посвящения, записав в эту школу меня, а потом и сама устроилась туда же на полставки учительницей музыки и пения. В музыкальном классе поставили расстроенное пианино, и три раза в неделю мама разучивала с детьми рекомендуемые министерством образования песни патриотической направленности. До ее прихода эту приятную обязанность исполнял

Семен Ильич Лемешко, худющий, хриплоголосый человек, бывший фронтовик-десантник. Из-за его героического прошлого из школы Семена Ильича не изгоняли, несмотря на неисправимый алкоголизм и закрытую форму туберкулеза. Пропуски занятий, случавшиеся у него довольно часто, объясняли тяжелой болезнью. Любимым музыкальным сочинением старого десантника была песня «Россия» композитора Вано Мурадели. Проиграв на аккордеоне коротенькое вступление, он с чувством выводил слова запева — и дружно, всем классом, мы вступали в припеве: «Россия, Россия, родные, вольные края...» На словах «родные, вольные края» лицо Семена Ильича перекашивала страдальческая судорога, глаза увлажнялись, голос его срывался.

А потом Семен Ильич умер. Просто не пришел на занятия. На квартиру, где он жил, послали завхоза Фаину Федоровну, спокойную толстенькую женщину с темными усиками.

— Нема Ильича. Помер! — выдохнула она, распахивая дверь в учительскую. И, заплакав, перекрестилась: — Незлой был человек. Настрадался. Царствие ему небесное...

Мама привнесла в преподавание музыки новые черты. Фортепиано, даже расстроенное, звучало не в пример благороднее аккордеона Семена Ильича, и песни звучали прекраснее и печальнее.

Кроме занятий в двух школах, общеобразовательной и музыкальной, по пятницам и воскресеньям мама еще принимала дома учеников. Когда начинались занятия, я прикрывал дверь в комнату, чтобы звуки неумелой игры меня не раздражали. Когда же ученики, собрав ноты, вежливо прощались: «До свидания, Марта Михайловна!», проходя на цыпочках через пустую, холодную веранду, пахнущую сушеным чесноком, мама долго не выходила из классной комнаты. Я слышал, как поскрипывает в полутьме дверца тяжелого шкафа, где хранились ноты, и шаркают мамины шаги, — это она прошла в кухню и вернулась со стаканом горячего чая, в стакане мелодично позванивала чайная ложечка. Несколько минут тишины, пока мама пьет чай, и вот... Тонкий нежный звук высокой ноты нарушал тишину дремлющего дома. Музыка, бурная и счастливая, печальная и безысходная, — она заставляла меня плакать.

Мне было в ту пору совсем немного лет, и я мало что видел в жизни. Но я уже понимал, что жизнь состоит из удовольствий и разочарований, радостей и огорчений, празднеств и дней скорби. Вдохновения, любострастия, гнева, прощения и непрощения, греха и святости, здоровья и нездоровья. Отсутствует в ней только одно — счастье. Оно — нечто большее, чем событие или состояние. Скорее, представление о том, что мы хотели бы получить и оставить в своем владении навсегда. Но не получаем, не оставляем...

11

...Когда мы выехали из ворот усадьбы дяди Аркадия, снова пошел дождь. Утро было не раннее, но такое тоскливое, что, казалось, наступила осень. Вороны яростно галдели в верхушках мокрых берез. Они взлетали, возникая из туманившихся поутру листьев черной неопределенной стаей, перелетали на другое дерево и, усевшись на ветках, поднимали такой же оглушительный гам.

– Вы их с утра переполошили, – усмехнулся накрывший голову старым мешком от дождя и провожавший нас до ворот дядя Аркадий. – Уедете, и они угомонятся...

Мы с ним обнялись, расцеловались, простились. Дядя долго стоял у зеленой калитки с мокрым капюшоном на голове, глядя нам вслед. Отвернулся, безнадежно махнул рукой, и больше я никогда его не видел...

Мы долго ковыляли по размокшей и раскисшей деревенской улице. Проваливались, хлюпая, в залитые водой колеи в пузырьках мелкого, сеющего дождя. «Дворник» на ветровом стекле «жигулей» смахивал дождевые капли. Но они снова и снова заливали стекло серой, струящейся мутью — упрямо, однообразно... Было холодно. Я зябко ежился в летней куртке, она совсем меня не грела. Папа сидел за рулем непривычно прямо, и лицо у него было сердитое: возвращение домой превращалась в тяжелое, неприятное путешествие, и вся поездка от этого казалась фальшивой и ненужной.

– Приедем домой, станет веселее, – сказал папа, чтобы меня ободрить. Я ему не верил: был убежден, что дождь и хмурое, низкое небо будут сопровождать нас до самого дома.

Напрасно мы приехали в эту гнусную деревушку, думал я. Никто не обрадовался нашему приезду. В душе не радовались ему и мы с папой. Чему тут радоваться? Бесконечным ледяным дождям? Унылому серому небу? Крикливым воронам и почти полному безлюдью? Дватри древних старика, живших со своими старухами в черных от дождя избах, глядели во все глаза, куда бы мы ни направлялись. И за всё время ни разу не подошли, не произнесли ни слова. Вид у них был жалкий, как у крепостных крестьян из школьного учебника истории. И жизнь, наверное, такая же тупая и беспросветная. Вся эта страна такая, подумал я с не покидавшей меня тоской. Люди, природа, климат — всё пропитано отвращением, ненавистью ко всему живому, так что хочется плакать. Плакать от бессилия. Потому что ничего нельзя изменить в этой стране или исправить, только умереть... Хорошо бы мне умереть, подумал я, чтобы не видеть ничего, — ни этих людей, ни дождя, ни бесконечной дороги из ниоткуда в никуда...

Папа поводил рулем с мрачным, сосредоточенным видом, как

будто думал о том же. Как мы далеки друг от друга! Почему люди так враждебны друг другу? Даже одинаковые мысли их не спасают, не делают ближе. А что нужно сделать, чтобы сблизиться? Бог его знает... Разговоры нас отдаляют, молчание настораживает. Может быть – любовь? – пришло в голову. Я вспомнил историю с Женей. Да была ли она? Мне хотелось, чтобы была, потому что я всё время думал о Жене. Ну, не то чтобы каждый день. И не то чтобы с утра до ночи. Но бывает, в разгар какого-нибудь дела или за чтением книги она являлась мне – и целый день от этого наваждения не избавиться. Оно давало ощущение единства. Что я и она – одно целое. И что я смотрю на нее, как на себя, и почему-то меня это волнует. Вроде, это единственная стоящая цель. Да, несмотря на то, что с каждым днем она становилась в воображении всё неяснее и размытее...

На левой стороне ветрового стекла отказал «дворник», и вместо леса мы видели мутно-серую полоску, слезящуюся дождем. Да изредка силуэты проносившихся мимо автомобилей.

- Черт, - выругался папа. - Совсем ничего не видно! Угораздило же... - он не договорил, заерзал и закричал: - Че-ерт! Куда он несется?!

Из-за авто, мчавшегося по встречке, вынырнул тяжелый фургон и стремительно летел на нас...

...Так вот, о Жене. Еще раз она явилась мне, когда я лежал в коме, а потом стала приходить каждый день. Первые ее слова были: «Вот и я. Ты меня ждал – я пришла!» И исчезала. Меня ее появление не радовало. Как и известие о моем чудесном спасении. Мне о нем рассказывали – сначала мама, она ночевала в палате первую неделю моего пребывания в больнице. А потом во всех подробностях – папа. Он судорожно крутил руль, чтобы вывернуть машину и избежать столкновения с фургоном. Маневр у него почти получился: фура, мчавшаяся с бешеной скоростью, зацепила нас лишь краем бампера. Удар пришелся по той части «жигулей», где сидел я, и был он такой силы, что машина завертелась на мокром шоссе как юла, и перевернулась.

— Не понимаю, как я уцелел, — с недоумением покачивал головой папа, до сих пор не веря своей удаче. — При столкновении с фурой меня вышвырнуло из кабины, и я ударился головой об асфальт. Но всё было цело — руки, ноги...

Часть кабины, где я сидел, была смята, и когда с ближайшего поста примчалась машина ГАИ, меня с трудом вытащили из обломков. Я был без сознания. Всё дальнейшее тоже прошло мимо моего сознания. Со мной обращались, как с неживым: перекладывали, возили на больничной каталке, обмывали и пеленали. Делали уколы и капельницы. И никого не волновало, что я не подаю признаков жизни, словно

всем было интересно со мной возиться! Наверняка в ординаторской бушевали страсти и заключались пари: выживу я или меня пора собирать в дорогу в тот самый Эдем, что приуготовлен мне априори ввиду моей бесхребетности и полной неспособности сотворить хотя бы маленькое зло. Что, по их логике, должно было избавить меня от раскаленного котла, где плавятся мерзавцы. Или не мерзавцы? У меня на этот счет нет определенного мнения. По крайней мере, ни одного негодяя я не встречал, когда находился в коме. Я не капризничал, не стонал, не причитал, ничего особенного не требовал и не истязал окружающих безумными просьбами: «Хочу ананасов и шампанского!» или: «Позовите священника!» Сначала священник, а потом шампанское, если двигаться от низшего к высшему... Исповедь – процедура короткая и неутомительная. Каяться мне почти не в чем: два-три грубых слова в адрес мамы. Глупости в летнем саду с Женей Ратнер. Ворованные персики... Негусто. Я вообразил удивленную, скучающую мину священника – прощать грехи такому ничтожеству!

Было бы замечательно открыть, к радости родных, затуманенные страданием глаза и прошептать: «Бокал холодного шампанского!» Сделать изящный глоток и выдохнуть, не поднимая головы: *ich sterbe*, я умираю... И чтобы в эту трагическую минуту у постели вместе с мамой, громко плачущей в батистовый платочек, вытирала бы слезы Женя... Чтоб сидела она у меня в изголовье, поцеловала бы меня в лоб и зарыдала... На самом деле я ничего не помнил. И состояние, которое я называю сном, всё длится и длится. С теми же подробностями. Или еще раньше – когда был еще жив и не представлял, что меня ждет: кресло-каталка, папин арест, вечерние беседы с мамой. Всё перепуталось, реальность и нереальность, явь и подтекст, и временами меня одолевала оторопь: свою ли жизнь я рассматриваю так пристально, как священник осмысливает ее на исповеди? Жени в ней было слишком мало – так же мало, как и при жизни. Я знаю, как ее судьба сложилась без меня, помимо меня, - она погрузилась в нее с облегчением и радостью, как в теплую-теплую ванну после ледникового периода. Ее избранник стал ее спасением; спасение носило имя Григория Фельдмана, преподавателя черчения в школе, где заканчивалось ее детство. Она вышла за него замуж сразу после выпускного вечера, и на следующий день они уехали в Тюмень, на нефтяные промыслы, где можно было заработать большие деньги и забыть прошлое.

Когда я лежал в больнице, ненадолго приходя в сознание, я ждал, что она ко мне наведается. Впорхнет в палату дуновением летнего ветра, вздувавшего гардину в форме ее силуэта. Придет хотя бы на десять минут, чтобы справиться о моем здоровье. Но она не пришла. Вместо нее приходили две соседки, жившие в нашем квартале, – в

короткие минуты просветления, когда жизнь, говоря словами Пруста, возвращалась ко мне вместе с капельницей. Две сестры, две старые девы, не знаю, что они во мне нашли, чем я возбудил у них нешуточную любовь. Худая, улыбчивая и приветливая Мария и ее сестра Соня, грубым лицом, кривыми ногами и грязными руками походившая на их отца. Фамилия сестер была Трандафиловы; их отец при царе был богатым человеком, сделавшим состояние на торговле водой. С водой в нашем засушливом крае плохо, колодцы редки, подземных источников мало. Знатоки находили их с трудом в безжизненной окружавшей город степи. Старый Трандафилов не прогадал, упорно, год за годом, развивая свою торговлю, - по мере того, как город разрастался и становился многолюднее. Со временем вся городская система водоснабжения оказалась у него в руках, и только приход советской власти остановил рост могущества и влияния этого молчаливого, с тяжелым, неприятным лицом человека. Он не уехал в эмиграцию, не закапывал накопленные богатства в землю, всю наличность и недвижимость передал новой власти, как будто тяготился нажитым за долгие годы. Работал простым слесарем на водонапорной станции и умер прямо на работе от сердечного приступа. Две его дочери стали путейскими работницами на железной дороге и жили в небольшом флигеле, доставшемся им от отца, - новая власть флигель не отобрала, милостиво оставив их жить.

Вот эти две женщины, две Мойры, добровольно ухаживают за мною и до сих пор, заменяя покойницу-мать. Наведываются ко мне два раза в неделю: убирают в пустых комнатах, где не осталось ничего, кроме пыли и теней прошлого. Делают влажную уборку в моей комнатушке, и когда приходит весна, распахивают настежь окна в наш сад, и я снова, как в детстве, вижу зеленый шелк первой травы, крохотные листочки распускающегося дуба, алое сияние высаженных мамой ко дню рождения папы голландских тюльпанов... И мне кажется, что пройдет совсем немного времени, и на лужайке возле клумбы с тюльпанами и ирисами я увижу маленькую некрасивую девочку в пестром платьице и с вопрошающим взглядом серых прищуренных глаз.

- Ты кто? спросит она у меня, глядя несколько озадаченно.
- Алик...
- Почему я не видела тебя раньше?
- Ты меня видела. Много-много лет назад. Я охотился за ящерицей в кустах волчьей ягоды, а ты пришла и позвала меня с собой.
 - Да, я тебя вспомнила! радостно вспыхнет она.
- Вот я и пришел. Я пришел! скажу я ей, и мы оба заплачем мне хочется думать, от счастья...

Мариуполь

Каринэ Арутюнова

Где твой ковчег

ГОВОРЯТ, НАМ ДАЛИ ОТСРОЧКУ

Говорят, нам дали отсрочку. Поиграйте, говорят, попляшите. Порезвитесь на воле. Воздуху, что ли, вдохните.

Оторвитесь, ребята, по полной, Пока не протрезвели, Не расползлись, не осели. В общем, увидимся, как-нибудь, Уже после... Там, говорят, всего вдоволь. Кроме того, что отдирают с кровью. Но вы уж не помните, как. Как это было. Уже не больно. А, главное, уже не вспомнить, зачем. А сейчас – пляшите, покуда сердце не лопнет. Топчите землю, взбивайте ее, трамбуйте. Пока не заклеили, не забили, пока крест-накрест не обметали. Не прошили канвой. Чу! Послышалось слово – конвой. Нет. Еще не оно. Не верьте. Лучше вот так, на бегу. Убит, говорят, при попытке к бегству. Пусть.

БЛЮЗ

Всё, что не убивает нас Сразу, Настигает потом. Укрытые зноем поля, Стрелы дорог. Чай, подстаканник. Сахарный бог, Забравшись с ногами на полку, Раскладывает пасьянс. Терпи, говорит, после Уже не больно. Будет долгое «ля», Вопль машиниста, Полуденный жар. Asta la vista, дружок. Воздух, точно застывший сфинкс. Белых ночей истома. Балкон, накренившись, Смотрит вниз. Взлетают окурки. Им вторят окна. Сахарный бог, Свернувшись в клубок, Спит на окраине города. Глоток, обжигая рот, Подтверждает, Это не обморок. Это всего лишь Блюз.

ВРЕМЯ ПЛЫВЕТ ПО РЕКЕ

Школьное платье висит. В кармашках его – мечты. В швах его крошки. Контурных карт узор. Как тянуло в плечах, помнишь? Будто в линзе калейдоскопа -Гараж, голубятня, двор. Под свинцовой пылью Прогибаются полки. Время взбивает перину. Долгот перспективу. Протяженность Широт. Чай еще не остыл. В ранце дробятся счёты. Время плывет по реке, Вёсла отбросив.

Дремлет у печки кошкой.
Снег за окном, ангина.
Говорят, дети растут во сне.
Летают и падают,
Падают и взлетают,
Будто у них есть крылья.
Время играет с нами,
То, обгоняя, мчится,
То, обмирая, ждет.
Словно влюбленная школьница.
Тень от ресниц, ключицы.
В руке крошится мелок.

ВОТ И ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО

Взрослые мальчики, читающие нараспев, Живущие как попало. Женшины. У окон слепых неспящие. Вот и вершится история, Вечность множится, Повторяя сюжет, Но никогда – лица. Ну же, Узнаем друг друга Наощупь, Пока эта ночь длится. Огни по реке, ветер. На турнике мальчишка. Пока важны только бицепсы, голос немецкой волны из Кельна, сигареты Из папиного бардачка. Ну, и чтобы она посмотрела. Не то чтобы явно, но вскользь, Из-под косо срезанной челки.

Бежит по ночному городу Пока только дочь. Не жена, Не любовница. 155

Метро закрывают в полночь. А так бы – дышала, пела, Не наблюдая времён. В папке – Бетховен. В походке – Равель. Бежит, стуча каблуками, В платье из жатого ситца Невеста чужая, Саломея, Юдифь, Рахель. Ветер качает фонарь. Для жизни нужна отвага И много терпения, Говорила ей мама. Для жизни нужна лёгкость. Она же неопытность. Время, вздыхает старик, пуская кораблик бумажный, -Время играет с нами. Вот и закончилось лето. Люди в плащах суровы. Где этот мальчик с бицепсами. Где эта девочка с нотами.

БУДЬТЕ КАК ДЕТИ

Другие.

Видишь? Дальние дали. Мы их только что проплывали. Отталкиваясь От берега, плыли... Короче говоря, мы были. Там голоса звенели, воды текли. Птицы щелкали, порхая с ветки на ветку. Будьте, как дети, шептали нам горные перевалы. Будьте, как будто весь мир сначала. Баюкайте вашу печаль. Нежьте нежность. Грустите, будто ни разу горя не знали. И горы нам вторили – там, вдали, Моря и дальние страны, Сны и яви, Дороги и поезда. Там, за руки взявшись, по шпалам бредут

Это всё те же вы, Но вчерашние. Смотритесь друг в друга, Пока резь в глазах не уймется. Пока речь не прорежется. Пока не прервется нить

ГДЕ ТВОЙ КОВЧЕГ

Вот Ной. Он разбирает дом. Крышу, чердак, сарай. Постой, – кричит Сатеник. Что ж ты, старик? Где твой ковчег? Где твое море, Ксанф? Неужто придется вот так, Жилы вздувая, – перины, узлы, Всё тащить на себе?

Вот и гранаты поспели, Каждый размером с кулак, Сладких зёрен полны. Посмотри, - кричит Сатеник, -Ногти мои черны. Закрома набиты землей. Помнишь мой сон, Ной? Львы, куропатки, волы. Каждой твари по паре. Кобылицы в тумане Из теплого молока. Воют шакалы. Охваченный заревом Сал. В нем зреет гранат, черный От крови.

Ной собирает скарб. Двери, окна, полы. Погоди, – кряхтит Сатеник, Спускаясь в подвал. Ты забыл? Зима будет долгой. Неблизким путь. В дорогу нужен кизил. Вдруг захворает дитя. Урц*, самовар, инжир, Засахаренный миндаль. Как же в пути без огня? Нужен горячий тонир**. Носки из овечьей шерсти. Едкий, точно земля, сыр.

Вот Ной. Он разбирает дом,
Лишенный кровли, замков и дверей.
Скатывает, точно старинный ковер,
Землю, деревья, пасущихся лошадей...
Постой, – говорит Сатеник, придерживая живот.
Дом еще не остыл, погоди.
Мне не впервой носить в себе жизнь.
Мне не впервой толкать ее впереди.
А вид из окна он будет искать всегда.
И однажды, раскалывая гранат,
вспомнит сад. Туман.
Бегущих следом собак.

ТАК НАЧИНАЛСЯ ДЕНЬ

Всё, что случилось,
Уже потом.
Гул, обвал, тишина.
Дом, погруженный во тьму,
Вспыхнул огнем.
Это был явный знак —
Тем, кто снаружи.
Мы живы. Мы есть.
Шорох, треск патефонной иглы,
Всплеск весла по воде.
Так начинался день.
В стаи сбиваясь, мы шли на восток.
Каждый нес то, что мог унести, — книгу, огрызок свечи.
Женщины древний лик, письмена морщин.
Будто роспись храма.

Обними, заклинает она, примеряя саван.

^{*}Урц – чабрец, его заваривают как чай (арм.)

^{**}Тонир – печь, в которой пекут лаваш (арм.)

Чья-то жена, дочь. У нее на груди имя отца или сына. Что-то еще... Помню, нас было много, Мы шли, покидая тех, кто уже не мог. Или они покидали нас, не суть. Погруженный во тьму, дом молчал. Он всё помнил, каждым проемом, окном, Всех, кто в нем жил, и тех, кто, ушел, И тех, кто наперекор всему, Шел (оставаясь на месте), И, точно жук скарабей, тащил этот груз, На плечах, на спине... Но что было потом. Хоть убей, я не помню. Ночь. Вокзал. Циферблат. Вагон качало. Поезд шел на восток. Каждый, в ладони зажав, Нес связку ключей. И это был знак.

ЭЙНШТЕЙН, ИОСИФ, СААК

То, что казалось Основательным, Уходящим вглубь, Рушится безоглядно. Такой долгий звук пустоты, В ней стены, кренясь, ведут перекличку.

Он, как и положено армянину, Строил дом. Дом на гиблом болоте. В безликом микрорайоне, На улице имени коммуниста и стукача. Имя которого столь же безлико, Как и местность сама.

Он строил дом, укрепляя стены коврами.. Книжными полками возводя линию обороны. Справа – снимок Эйнштейна. Слева – деда Саака. Который, конечно же, был недоволен. Вместо журчания «джур» вода из безродного крана. Все относительно, — улыбается человек справа. Впрочем, прадед Саак стоит на своем. Эйнштейн, пробуя пальцем смычок, говорит: Не всё ли равно, где будет разрушен дом? Разве не так? — спросит он. И Саак, не улыбаясь в ответ, лишь приподнимет бровь. Впрочем, был еще один дед. Его снимка нет на стене. Его домом была комната в коммуналке. Его домом станет сырая земля Где-то под Плоцком. Рядовой Иосиф. Последнее, что успел, — Запомниться.

Так и сидим за столом. Шабат. Эйнштейн, Иосиф, Саак. Отец со стены приподнимет бровь. Последнее слово за ним. Но в ответ тишина, И долгий, как обещанье, Звук.

Где-то журчит родник. Высятся горы, Развертываются ковры.

Если что-то и важно... Слово «джур», его сладость. Нежный профиль Тамары, Чрево ее, золотое руно. Неподкупная бровь Саака. Иосифа ускользающий лик.

Дом на фундаменте хлипком. (Лучше, чем ничего) Улица имени никого. Блеклый пейзаж. Его чужеродность Как данность Прими.

Евгений Вольперт

Карантинные стихи

ФЕВРАЛЬ

Объявлен список жертв грядущих эпидемий. Соседи счет ведут своим последним дням, решают чем занять оставшееся время и смотрят из окна печально на меня.

А я пока живу без страха и заботы. В окне моем зима, хлопочут снегири и целый день снуют по небу вертолеты с несчастным Коби Брайантом внутри.

MAPT

вот небо вот земля стучится дождь в окно гляжу на мир в окно младенчески невинен земля полна червей а небо птиц полно а я всегда хожу посередине

дождь льет и льет и льет сметает всё окрест крошит и месит землю с небесами и птицы оземь валятся с небес а черви лезут вверх и в небе зависают

а вот о двух ногах без перьев почтальон по улице моей идет сквозь ливень торчу весь день в окне младенчески невинен на двух своих ногах бредет куда-то он

АПРЕЛЬ

на улице привычный карнавал — прохожий в маске лениво тычет пальцем в телефоне — солнце светит — во дворе за домом собаки роют землю у сарая — ветер свищет — перед домом пожилые китаянки

всё утро из тай-чи показывают запрещенные приемы — цветет сирень — собаки во дворе грызутся —

солнце светит — за углом на перекрестке стервятники слетаются на падаль — флаги на ветру трепещут как некогда под Геттисбергом — ветер свищет — штукатурка ползет со стен — по стенам муравьи ползут из трещин — из-под сарая на собак шипит сурок —

цветет сирень – ползут по стенам шеренги муравьев – выходят звери и отшельники из леса – мой древний опыт первомайских демонстраций здесь никому не будет интересен

МАЙ

вышел на улицу
на улице жарко
деревья шевелят ветвями
белки падают с веток
соседи жгут мусор
лают собаки
люди куда-то бегут и бьют окна в машинах
праздник какой-то
помню с Галльской войны император с триумфом вернулся
пленных галлов вели мимо нашего дома
дети кидали в них камни
и тоже окно мне в машине разбили

РОЖДЕСТВО В НЬЮ-ДЖЕРСИ

на Рождество именинник веселится с друзьями

а старые боги впадают в спячку или же бродят по улицам с потерянным видом пока сердобольный прохожий не отведет их в полицейский участок

в участке они часами сидят на скамье в коридоре

полицейские приносят им горячий кофе в бумажных стаканах старые боги не умеют пить кофе кофе обжигает им пальцы, обжигает им губы

над участком собираются тучи

ПОЭЗИЯ 163

где-то в глубинах подвала лопаются водопроводные трубы хищные птицы ломятся в окна в кабинете у лейтенанта по стенам ползает ящер

старые боги мнутся у стены в коридоре

вокруг участка деревья стоят в гирляндах в предместьях дети сдирают с подарков оберточную бумагу на федеральных дорогах падаль встает с асфальта

гневные толпы ходят за именинником по заснеженному Нью-Йорку

2021

Александр Беляев

ЧЕТЫРЕ СТРОЧКИ ИЗ ЛУ Ю

...запью противную таблетку большим количеством воды, затем тетрадь раскрою в клетку и обнаружу в ней следы того, как в несколько заходов сидел-вымучивал статью, и вдруг — сперва не узнаю — среди отрывков переводов — четыре строчки из Лу Ю:

...никто меня не навещает, года проходят в тишине, и, облегченье обещая, ложится снег на плечи мне.

* * *

Абхазец в домике проветренном Напоминающем корзинку И черный дрозд под рододендроном Слагаются в одну картинку

Считай почти тысячелетие Прокуковал под виноградом Под разноцветием-соцветием Высокогорным снегопадом

Скребутся ягодные проволочки Играя роль оконной шторы Сегодня небо было облачным Назавтра проступили горы

Морская мерная риторика Всё время что-то говорила Речная мелкая моторика Разбрасывалась и сорила

ПОЭЗИЯ 165

Силен порыв в одно движение Умять и лодочку и пиццу Распространяя предложение На человека и на птицу

КАРАМЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ

карамель театральная с несдираемым фантиком и машинка стиральная с нестираемым бантиком

что свело их по случаю кроме авторской прихоти ради рифмы-созвучия

у театра при выходе ждал попутчик попутчика

снег искрился на лавочке

мальчик шел на «щелкунчика» вместе с мамой и бабушкой

из постиранной памяти как проснувшийся шмель развернулись все фантики размотались все бантики потекла карамель

* * *

конкурс запредельных неудач фестиваль упущенных возможностей из разряда сенька бери мяч но с предельной братец осторожностью проводи как следует манёвр мяч предмет повышенной опасности ща мы отдохнем и ка-а-а-ак рванем в пас играем в пас и-и —

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Елена Дубровина

«Я странником пришел на краткий час»

Поэт Владимир Диксон (1900–1929) и его окружение*

Всё, что есть от Бога прекрасного, дано ему было. *А. Ремизов*

«И БОГ ОДИН, И ЦЕЛЬ ЯСНА»

Каждый раз по возвращении в Париж из многочисленных командировок Владимир Диксон окунался с головой в литературную жизнь города. После Первой мировой войны сюда хлынула волна тех, кто мечтал погрузиться в творческую атмосферу, забыть ужас пережитого. Первая мировая война унесла много молодых и талантливых литераторов – погибли такие французские писатели, как Ален-Фурнье, Эрнест Психари, Шарль Пеги; известный французский прозаик и поэт-сюрреалист Гийом Аполлинер был смертельно ранен и скончался осенью 1918 года; писатель и редактор одного из самых влиятельных французских журналов «La Nouvelle Revue Française» Жак Ривьер, близкий друг Алена-Фурнье, был тяжело ранен, попал в плен, после войны прожил недолго – он умер в 1925 году от брюшного тифа. Литературный критик Юрий Мандельштам в одной из статей отмечал, что на войне погибли не только его сверстники, соратники по перу, «но и та чудесная атмосфера подлинного религиозного возрождения в искусстве», которая их окружала, «на редкость пленительная и духовно насыщенная». В романе Хемингуэя «Прощай, оружие» молодой солдат Фредерик Генри говорит, что после войны такие «абстрактные слова, как честь, мужество, вера, считались непристойными». И всё же многие из тех, кто выжил, сохранили не только свою творческую личность, но и вынесли из огня войны значительные литературные произведения.

В поисках смысла жизни молодое послевоенное поколение обратилось к искусству, которое помогало забыть вызванные войной стра-

^{*} Окончание. Начало см. НЖ, № 306, 2022.

дания, хаос, потерю веры. Творчество возвращало их к жизни. «Вокруг нас шумел, цвел, безумствовал послевоенный Париж, 'грохочущие' двадцатые годы, вошедшие в историю западного мира, как 'морепоколенная' эпоха. Послевоенное поколение буйствовало», — так описывает Париж 20-х Нина Берберова в книге «Курсив мой» Париж стал символом литературного возрождения, домом, в котором нашло приют поколение новых интеллектуалов.

К 1924 году эмиграция в Париж не только русских, но и американских литераторов достигла своей наивысшей точки. Они собираются под гостеприимной крышей магазина «Шекспир и компания»*. В книге «Сильвия Бич и потерянное поколение» автор описывает причину миграции культурной прослойки в Париж: «Как Генри Джеймс приехал в Париж, чтобы познакомиться с Флобером, Ж. Санд, Мопассаном, Золя и Тургеневым, так и молодые писатели двадцатых приехали в Париж, чтобы встретиться с П. Валери, Пикассо, Стравинским и Джойсом. Одной из главных причин было наличие читателя. Литературный центр сосредоточился в Париже: издательства, выпускавшие новейшую литературу, небольшие рецензии на последние поэтические сборники, а также книжный магазин и библиотека, где можно было ознакомиться с этими новыми поступлениями»². О том, с каким уважением относились к С. Бич именитые писатели, говорит такой факт: в 1927 году американский издатель Самуэль Рот переиздает в Америке джойсовского «Улисса» без разрешения «Шекспира и компании» и автора романа, при этом нарушив копирайт и значительно исказив сам текст произведения. Сильвия Бич пишет Роту письмо протеста. В поддержку Сильвии письмо подписали более 150 известных деятелей науки и культуры, включая А. Эйнштейна, А. Жида, Т.С. Элиота, Т. Манна, С. Моэма и многих других. Среди русских писателей свою подпись поставили И.Бунин, А. Куприн, М. Арцыбашев и Д. Мережковский.

В 1921 году эмигрантка из Польши (до революции — часть Российской империи) Франсуаза Френкель³ вместе с мужем, Симоном Райхенштейном, эмигрантом из Могилева⁴, открыла первый в Берлине «Дом французской книги» — книжный магазин и библиотеку французской литературы. Подобно магазину «Шекспир и компания», в нем собиралась интеллектуальная элита — дипломаты, художники, поэты, артисты, включая эмигрантов из России и других стран. Одним из посетителей «Дома французский книги» был Владимир Набоков. Не этот ли магазин он упоминает в своем романе «Дар»? — «В русском книжном магазине был еще свет, — там выдавали

^{*} См. об этом подробнее начало статьи в № 306, март 2022.

книжки ночным шоферам, и сквозь желтоватую муть стекла он заметил силуэт Миши Березовского, протягивавший кому-то черный атлас Петри»... Историю создания магазина Ф. Френкель описала в книге «Rien où poser sa tête» (1945)⁵. В 1939 году в связи с закрытием бизнесов, принадлежавших еврейскому населению, магазин перестал существовать. Возможно, что Владимир Диксон, часто бывавший в Берлине по делам компании «Зингер», был одним из посетителей этого уникального магазина.

По возвращении домой в Париж из длительных командировок Вл. Диксон встречался с друзьями и проводил время с женой и сыном. Страстный любитель классической музыки, Владимир часто играет на рояле. К тому же он почти регулярно бывает в книжном магазине Сильвии Бич «Шекспир и компания», где собирается весь цвет музыкального Парижа. По воскресеньям и по праздникам он с женой посещает службу в соборе Александра Невского на рю Дарю (священник которого крестил его сына Ивана). Здесь он наслаждается храмовым хоровым пением. С 1922 года – с момента учреждения митрополитом Евлогием епископской кафедры в Париже – собор был центром духовной и общественной жизни русского рассеяния.

Значительным событием в жизни Владимира Диксона стало знакомство с князем Дмитрием Шаховским, тогда еще студентом Лувенского университета, – поэтом, взявшим псевдоним Странник⁶. По всей вероятности, знакомство произошло именно в соборе Александра Невского, который посещали многие русские литераторы. Благодаря встрече с Дмитрием Шаховским Владимир Диксон, наконец, становится участником русской литературной жизни. Объединяла этих двух молодых людей не только поэзия, но и глубокая вера в Бога: князь Шаховской впоследствии стал архиепископом Сан-Францисским и Западно-Американским. Узнав, что Дм. Шаховской уезжает на Афон для принятия иноческого пострига, Владимир пишет ему 2 июля 1926 г. нежное письмо: «Как я рад за Вас, что Вы будете в Церкви. Вне Христа – гибель... Я сам томлюсь ужасно: но нет во мне благодати, чтоб отречься от всего, чем спутан. И неправы Вы, говоря, что уходите от 'литературы по слабости', – по благодати уходите. Не бегство – а исход. И Вы мне теперь сразу стали очень близки, и я Вас очень полюбил... В наши дни (всегда, но в наши дни особенно – я чувствую) Дух Святой веет над Россией...»⁷

Князь знакомит Диксона со своей сестрой, поэтессой Зинаидой Шаховской. Шаховская вспоминает, как, впервые увидев Владимира Диксона, была поражена его внешностью и его застенчивостью: «Владимир Диксон, американец, родившийся в России, как я узнала потом, был необычайно красив и, что смутило меня еще больше, он

был прекрасно одет, а π – во что добрые люди послали. Но, несмотря на некоторую разницу наших лет и абсолютную разницу нашего материального состояния, Диксон, видимо, был не менее застенчив, чем я, и мы мирно сидели на наших стульях, безгласные, не глядя друг на друга, слушая, как хрипят часы с кукушкой, висящие на стене» 9 .

Но Владимир поразил не только княжну; среди тех, кто отметил его внешность, был прозаик и литературовед Константин Мочульский¹⁰, который, по словам Ремизова, буквально влюбился в молодого человека, чем раздражал Диксона. А поэт Юрий Иваск¹¹ оставил в 1938 году в дневнике такую запись: «Диксон был необыкновенно красив, так что даже страшно было на него глядеть – ангел!»

Однако во всей суетной парижской жизни Владимир особенно скучает по родителям, брату и сестре, которые находятся в Америке, — он пишет им нежные письма. При всей своей занятости он внимательно следит за развитием авангардных течений в музыке, литературе и изобразительном искусстве. В эти годы он живет творчеством — из-под его пера выходят новые стихи и проза. Жизнь кажется безоблачной и счастливой. Но что-то мучает поэта, и тогда в своей поэзии он обращается к Богу.

В грехе, где так больно и низко Раскинулись дни пустоты, — С тобою я вечно и близко, Я ближе, чем думаешь Ты.

Диксон начал переводить русских поэтов на английский язык, среди них — своего любимого Александра Блока. Он жаждет познакомить новых англоязычных друзей с русской поэзией. Занимается он и переводами на русский язык «Гамлета», «Фауста», Вильяма Блэйка, а также создает собственную интерпретацию на русском языке нескольких псалмов из Евангелия от Иоанна.

17 августа 1925 года, вскоре после женитьбы на Ваните Вагнер, он пишет Дм. Шаховскому: «...Если будете опять в Париже – очень хотел бы Вас повидать. У меня к Вам просьба: разрешите перевести на английский что-нибудь из 'Песни без слов'. Меня просят дать заметку в один американский журнал [нрзб.] о молодых русских поэтах – с переводами. Перевожу я почти дословно – как переводил на английский Пушкина дворянин Панин¹². Искать рифмы на чужом языке нельзя, но можно сохранить музыку. Р.S.: Недели через две уезжаю в Лозанну – месяца на два или больше»¹³.

Д. Шаховской пригласил Диксона принять участие в готовив-

шемся к изданию в Брюсселе журнале «Благонамеренный». В письме к другу Диксон выражает свое одобрение на открытие этого издания; позднейшим решением закрыть его¹⁴ он явно огорчен и предлагает князю свою помощь: «Нельзя ли как-нибудь устроить, чтоб 'Благонамеренный' не исчез? Ведь одними 'Современными Записками' человек сыт быть не может. Нет ли таких людей, бескорыстных и достаточных, которые бы приняли на себя денежную часть журнала? Может быть хоть по отдельным номерам выпускать — не как равномерно периодическое издание, а как неравномерно периодическое? Если думаете, что могу Вам помочь поисками, напишите мне; было бы уж очень нехорошо, если бы пришлось остановиться на двух первых книгах»¹⁵.

В первом номере журнала наряду с такими известными поэтами, как Г. Адамович, А. Гингер, Г. Иванов, И. Одоевцева, М. Цветаева и другие, были опубликованы два стихотворения молодого Владимира Диксона: «Зимой и летом одиноко / И в тайном холоде живу», и «В прямых чертах оконной рамы / Плетется облачная сеть», — последнее заканчивалось словами, которыми можно подытожить не только всё поэтическое творчество Диксона, но и его короткую жизнь: «И Богодин, и цель ясна».

Для Диксона — Бог есть любовь; цель — творчество, самообразование. Владимир много читает, знакомится не только с европейской и американской литературой, но и с произведениями писателей русской диаспоры. Впервые прочитав в 1924 году рассказы Ремизова, Владимир Диксон высоко оценил творчество писателя, о чем поведал в одном из писем к родителям, с которыми часто делился своими мыслями. Видимо, тогда и появилось у него желание познакомиться с самим автором, живущим в Париже.

«ПИЧКАЛ ДИКСОНА ПРОСТОКВАШЕЙ»

Многие находили ремизовский стиль манерным и трудным для восприятия из-за изобилия религиозной и диалектной лексики и архаизмов. Нередко его произведения базировались на житиях святых и апокрифических повествованиях. Что касается знающего читателя, то для него Ремизов отнюдь не упрощал сложные тексты, а только усложнял их, употребляя забытые синтаксические конструкции, а порой и комбинируя в одном тексте сразу несколько сюжетов. Ремизов как бы приглашал своего читателя окунуться вместе с ним в сложные перипетии древней истории, не скрывая при этом первоисточников, а наоборот, пытаясь указать на документальность повествования. В 1928 году в небольшой неподписанной заметке в газете

«Возрождение» так охарактеризовано творчество писателя: «Загадочен и смел литературный прием Ремизова, этого выискивателя древних, полузабытых слов, жутких и, вместе с тем, по-детски простых, сказочных символов. В 'Иродиаде' ему удался совершенно исключительный сплав из порой бредовых и кошмарных сцен. Тут и русская сказка (бел-терем, ведьмы, медведи, тын, усаженный черепами и ограждающий место Иродова пиршества), тут и трогательные моменты священного сказания, и роковая, знойная эротика, так крепко, со времен Уайльда, связавшаяся с этим сюжетом. Ремизов очаровал звуком слова. Из слов он умеет подбирать гирлянды свистящие, каркающие, журчащие» 16. Надо отметить, что одной из сторон творческого метода Ремизова было использование фонетического звучания слова и словосочетаний, что приблизило его стиль, наряду с другими приемами, к европейским модернистам, в частности, к Джеймсу Джойсу.

Вскоре Владимир Диксон становится частым посетителем дома любимого писателя. Возможно, что именно Дмитрий Шаховской познакомил Диксона со многими русскими писателями-эмигрантами, в их числе – с Алексеем Ремизовым, Дмитрием Святополк-Мирским и Владимиром Сириным-Набоковым. По одним источникам, Дм. Шаховской, часто бывавший в гостеприимном доме четы Ремизовых, привел к ним двадцатичетырехлетнего поэта, который произвел впечатление и на Алексея Михайловича, и на его жену Серафиму Павловну не только своей привлекательной внешностью, но и душевными качествами. Неожиданно Ремизов стал близким другом и своеобразным опекуном Диксона. Для Владимира, начинающего литератора и большого поклонника произведений Джойса и Ремизова, знакомство с Алексеем Михайловичем, без сомнения, стало одним из решающих событий в его жизни и творчестве.

Однако и в обыденной жизни самих Ремизовых эта встреча оставила заметный след. Поэт и мемуарист Наталья Резникова ¹⁷ вспоминает, как в 1924 году в квартире Ремизовых «появился начинающий писатель Владимир Васильевич Диксон. Он занял большое место в жизни Ремизовых тех лет» ¹⁸.

По другим источникам, в дом Ремизова Владимира Диксона привел Г. Г. Шклявер 19, сотрудник издательства «Алатас». Судя по письмам Ремизова, Шклявер часто бывал в его доме 20. Можно также предположить, что познакомить Диксона с Ремизовым мог и князь Д. Святополк-Мирский — частый гость в доме писателя и его жены. Каждый раз по приезде в Париж из Лондона, где Мирский был профессором в Королевском колледже и преподавал славистику, он навещал чету Ремизовых.

Посетив в 1924 году Ремизова в его парижской квартире, англий-

ский писатель Стефан Грэм, считавший Ремизова «одним из несомненных гениев современной России», тепло нарисовал портрет писателя, обстановку его жилья и его жену, «полную даму с розовыми щеками и блестящими глазами, похожую на огромную куклу»²¹. Сама студия показалась ему странным местом, загроможденным книгами, украшенным картами и разбросанными повсюду игрушками. На кушетке лежала белая подушка, на которой сидел кукольный человечек с длинными усами – единственная игрушка, привезенная Ремизовым из России. Особой ценностью была для писателя маленькая коробочка, в которой хранил он «русскую землю».

Когда читаешь воспоминания Юрия Павловича Анненкова о Ремизове, бросается в глаза деталь, подмеченная зорким глазом художника: «У Ремизова была особая манера говорить: он, в сущности, не говорил, а щебетал. Он щебетал также, забавно улыбаясь изпод очков»²². Тем не менее, Ремизов часто выступал именно в роли чтеца — и не только своих рассказов. Например, в газете «Возрождение» автор небольшой заметки о вечере Ремизова характеризирует его чтение таким образом: «Ремизов не только писатель, но и прекрасный чтец. Как никто передает он богатство и глубину русской речи, ее ритмы — особенно прозаические»²³. И сейчас, просматривая письма Ремизова, почему-то четко слышишь его речь, некое манерное «щебетание», в котором была и своя прелесть.

В уютной квартире Ремизовы встретили Владимира Диксона радушно. «Из всех, кого встречал я в Париже, он по душе мне был самый близкий. Какою любовью сияли его глаза, когда он переступал порог нашей двери, и как жгуче было мое чувство, когда я взял его за руку – и рука его безразлично упала ему на грудь, глаза его не на меня, а в себя», – писал Алексей Михайлович в 1926 году жене, лечившейся в это время в санатории в Виши²⁴. Ремизов увидел в Диксоне своего литературного ученика и помощника в финансовых и домашних делах, а что касается Серафимы Павловны, то появление этого юноши в их доме вызвало у нее целый спектр чувств – и дружеские, и материнские, которые «переплетаются с некоторой даже влюбленностью»²⁵. Наталья Резникова вспоминает, что Серафима Павловна воспринимала свои отношения с Диксоном в «эмоциональном и символико-мистическом плане», так как молодой человек был очень хорош собой. В одном из писем Серафима Павловна признается юноше, как «крепко» она по нему скучает, и журит, что не приходит; в другом – приглашает тихо посидеть, когда дома никого не будет.

Посетив однажды Ремизовых со своей американской подругой, будущей женой, Владимир вызвал недовольство влюбленной Серафимы Павловны. «Если бы Вы пришли без американки²⁶, Вы бы

так не сделали, Вы бы поняли тот трепет, с которым я просила не брать негативы. Я всю ночь не спала, и у меня сердце болит, и я не могла лекции читать», – пишет она едва разборчивым почерком (см. Приложение к данной статье). Здесь речь идет о каких-то фотографиях, которые она умоляет его ей вернуть. Юрий Иваск сделал в своем дневнике в 1938 году такую запись, вспоминая: «Заговорили о Диксоне, рано умершем поэте. Он Ремизовых обожал и помогал им. Серафима Павловна его будто бы просватала, а когда он женился – выгнала». Действительно, нескоро было разрешено Владимиру Диксону появляться в доме Ремизовых, но приходил он теперь уже без жены.

Со дня знакомства с Ремизовыми Диксон стал их постоянным гостем и корреспондентом, о чем нам говорят письма четы, где имя юноши упоминается довольно часто. Как писатель, Ремизов оставил после себя огромное наследие, включая переписку с друзьями-литераторами, в которой он дает Диксону очень меткую характеристику: «Всё, что есть от Бога прекрасного, дано ему было». Старший по возрасту, Ремизов был привязан к молодому поэту душевно и даже слегка мистически, в своем, ремизовском, духе: по словам Ремизова, Диксон даже участвовал в его сновидениях: «Сколько раз случалось, как мне было открыто, — хотя бы случай с В. В. Диксоном; во время его болезни я видел в моих снах подробности его смерти. И что будет дальше. Я убежден в действии мертвых на судьбу живых»²⁷.

Алексею Ремизову и Серафиме Павловне Владимир Диксон был предан почти как сын, а дружбу их ценил очень высоко, как и творчество самого писателя. Может быть, они каким-то образом смогли заменить ему родителей, которые жили в это время в Америке, или Ремизов стал ему творческим наставником? О преданности Диксона говорит такой факт: когда в 1926 году поэт Вл. Злобин²⁸ опубликовал в журнале «Новый дом»²⁹ рецензию на журнал «Версты»³⁰, где раскритиковал публикацию Ремизова – отрывок из «Николая Чудотворца», – Владимир Диксон настолько негодовал, что готов был вызвать Злобина на дуэль, чтобы отстоять честь писателя. Дуэль эта, конечно, по настоянию Серафимы Павловны не состоялась.

Чем еще мог так привлечь молодой человек чету Ремизовых, взявших юношу под свою опеку, — талантом, внешностью или его материальным благополучием? По воспоминаниям современников, Алексей Михайлович любил людей и очаровывал всех тех, кто попадал в его доме в атмосферу искусства, веселых шуток, необычайного оживления. 24-летний Владимир Диксон, чувствовавший себя одиноко в чужом городе, неожиданно находит здесь теплое гостеприимство и обширный круг новых знакомых. У Ремизова часто за столом соби-

ралось до 30 литераторов. В 20-х годах, по воспоминаниям Василия Яновского, Ремизов был кумиром молодежи, «вначале обязательно влюблявшиеся» в него, потом постепенно разочаровывавшиеся, а «иные даже кончали подлинной ненавистью, не вынося этой ложно-классической атмосферы» («Поля Елисейские»³¹). Василий Яновский с присущей ему иронией описывает, что раздражало его в личности Алексея Михайловича больше всего: «Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. По существу, и литература его не была лишена манерной, цирковой клоунады, несмотря на все пронзительно-искренние выкрики от боли. В этом доме царила сплошная претенциозность... Вечные намеки на несуществующие, подразумеваемые обиды и гонения». Возможно, скромный, застенчивый, несколько наивный юноша, неожиданно попавший в дом известного литератора, всего этого не замечал. Владимир Диксон окружил Ремизовых вниманием, оказывал услуги.

Наталья Резникова, которая неоднократно встречала Вл. Диксона у Ремизовых, позже вспоминала: «С детства он тянулся ко всему русскому, говорил и писал по-русски, увлекался Блоком. С. П. (Серафима Павловна. – E. \mathcal{I} .) рассказывала ему о России, о Блоке; замечательно, как она одна умела, читала на память стихи. Диксон стал частым гостем у Ремизовых и сблизился с ними, особенно с С. П., которая приобрела огромное влияние на этого слабого характером, мало мужественного молодого человека. Диксон обоготворял С. П., преклонялся перед нею духовно. Он окружал Ремизовых заботами и вниманием, оказывал многочисленные услуги. Ремизов более реально и прагматично оценивал возникшие дружеские контакты, рассматривая этого поэта, начинавшего писать также и прозу, как своего, во многом еще только потенциального ученика, который также был готов помогать своему учителю в житейских вопросах»³². Не исключено, что Наталья Резникова имела в виду именно материальную помощь, когда писала, что Диксон «готов был помогать своему учителю в житейских вопросах». Но и саму Н. Резникову, часто посещавшую их гостеприимный дом, Ремизов не оставлял без дела – то она ему «штаны чинила», то всё в порядок приводила.

Надо заметить, что с 1925 года материальное положение четы Ремизовых ухудшилось. И хотя Алексей Михайлович глубоко жалел своих бедствующих друзей-эмигрантов, по словам Н. Резниковой, он «выделял себя, рисуя черную картину своей жизни». И – как подтверждение — читаем у Ремизова от 20 февраля 1925 года: «Опять был в банке и опять попусту. Напишу Диксону», — рассчитывая, конечно же, на материальную помощь. Берберова, описывая жизнь Ремизовых, обращает внимание на то, как «мифологизировал» и

«разукрашивал» свою бедность Алексей Михайлович, «преувеличивая ее и питаясь ею»; однако на премьере И. Стравинского он сидит в первом ряду, ссылаясь на расточительность жены.

В письме к жене от 21 августа 1925 года Ремизов расскажет: «Поздно вечером (в час) ушел Диксон. Долго мы с ним возились: отвинчивали гайку — всё зря. Зажег лампадку. Посветлело и кротче стало, а то из всех углов исподлобья и моя нелюдимость. Он всё съел, что ты оставила: и виноград, и шоколад, и твой 'хворост'... Забыл я про черный хлеб, а то, как 'повеленное', он и хлеб бы кончил. Читали Библию — для объяснения 'Рва львиного'»³³.

И еще письмо об очередном посещении юношей дома Ремизовых: «Приходил Диксон. Показал, где о нем в 'Современных записках', — не знаю, должно быть, доволен, очень покраснел³⁴. А принес он мне перушков, не писчих, а птичьих. В ящиках так и нет полок, пил нет. Хоть бы догадался принести доски. Вызову Оболенского, он сделает». 16 июля 1926 года Ремизов пишет Серафиме Павловне, что Диксон должен прийти и поставить полки и ящики — и еще: «Диксон принес красные розы. Еще два пакетика сушек и черный хлеб. Хлеб я попробовал: много солода. А доски для полок забыл. И нарочно ездил за ними. Я их выкрасил красным. Высохло. Поставили книги. Надо шторки и тогда будет чисто»³⁵.

В одном из писем, от 19 ноября 1929 года, за месяц до смерти поэта, Ремизов дает ему указания по поводу переиздания его книги «Оля» как приложения к «Иллюстрированной России» — чтобы он написал Бреннеру, владельцу книжного магазина³⁶, и сделал подсчет и денежные расчеты на «Олю». («Так узнаете, каков мыший корм — количество экземпляров») (см. Приложение к статье). В книге «Курсив мой» Нина Берберова вспоминает, что Ремизов любил пюдей, любивших его, помогавших ему, «ограждавших его от жизни заботами о нем», — тех, «которые с благоговением слушали его бредни о чертенятах, обезьяньих палатах³⁷, все его фантазии…»³⁸

«Диксон не уехал и не едет. Можно ему прийти в субботу часов в 9-ть? Чего мне ему 'велеть'?» – письмо от 14 июля 1926 года. Слова «чего мне ему велеть» дают нам ясную картину отношения Ремизовых к молодому человеку, всегда готовому оказать услугу этой странной чете. «Пичкал Диксона простоквашей. И, хотя 'велено', больше одного горшочка не одолел. Правда, простокваша стояла крепкая, ведь я не ем». (Письмо от 3 июля 1926 г.). Думаю, что комментировать эти и другие приводимые ниже письма нет надобности; при всей своей привязанности, Ремизовы часто по-деловому, а иногда даже иждивенчески, подходили к дружбе с юношей, у которого было не только чистое и доброе сердце, но и искреннее желание

помочь всем тем, кто нуждался. И только в одном из писем к Серафиме Павловне мы находим фразу об отношении Ремизова к творчеству Диксона: «О его стихах. Он стихов не будет писать, отстанет понемногу, но проза — это его. Описание 'стола' и 'кресла' — это настоящее» (22 августа 1926 года).

В этой же переписке Ремизов упоминает Владимира Перцова, друга Диксона по Гарварду и «Кружку Живой Этики», делая акцент на материальном благополучии Перцова и как бы укоряя Диксона за женитьбу на небогатой американке: «Перцов женился на очень богатой (Нью-Йорк). Мне чего-то жалко не Перцова, а Диксона. Разговор без значения о журналах и изданиях. Ходил с ним гулять до станции 'Мuette', а когда возвращались у дверей — звонит Балтамол-Лоллий³⁹. Диксона я представил 'сын Andre Gide'а'. И говорил с ним по-французски. Лоллию он очень понравился 'какой красивый мальчик и, должно быть, очень богатый'»⁴⁰. (Позже Ремизов намекнет жене, что жена Лоллия Львова, Нина Григорьевна, была неравнодушна к молодому человеку).

Диксон, живя в Париже, не прекратил дружбу с Вл. Перцовым. В 1927 году в своем издательстве «Вол» Диксон издал книгу стихов и прозы Перцова «Человек и дух», сам перепечатав весь манускрипт друга, который сегодня хранится в Русском архиве Amherst College. В рецензии на книгу Перцова А. Волгин писал: «Вся его лирика устремлена к России, к прошлому и к Богу, но не отвлеченному и абстрактному Богу, а к Богу православному, сросшемуся с 'дальней русской стариной', со странниками, со святыми войнами…»⁴¹ Неудивительно, что Диксон напечатал стихи Перцова в своем издательстве «Вол». Они близки ему по духу; в поэзии и того, и другого отсутствовала личная тема, у них почти нет стихов о любви, и вся лирика устремлена к Богу и России.

Дружба между Ремизовым и Диксоном принесла писателю и свои плоды: в 1927 году Владимир Диксон напечатал на свои деньги в издательстве «Вол» книгу Ремизова «Оля», в основу которой легли рассказы Серафимы Павловны о ее детстве и юности. Роман, или как его называли «повесть», привлекла Диксона теплотой повествования о жизни в предреволюционной России. В то же время, по просьбе самого Ремизова Вл. Диксон переводит роман на английский язык. Тогда же Ремизов попросил английского переводчика Алека Брауна доработать рукопись Диксона. Браун согласился ознакомиться с черновиком, но встречно предложил, чтобы ему самому были предоставлены права на перевод, так как он (кстати, как и Вл. Диксон) уже работал над переводами некоторых произведений писателя. Однако перевод Брауна остался незаконченным, а о переводе Диксона стало

известно лишь позже из переписки самого Брауна. Тем не менее, Ремизов продолжал ассоциировать Диксона с переводом книги, надписав экземпляр, хранящийся сейчас в Амхерстском Центре русской культуры: «Владимиру Васильевичу Диксону, без которого эта книга не появилась бы. 23.7.27. Париж. Скромно датировано. Алексей Ремизов».

Всё выше сказанное, пожалуй, можно подытожить словами Василия Яновского: «В доме Ремизова старались каждого посетителя немедленно использовать: хоть шерсти клок. Переводчик? Пускай даром переводит. Сотрудник 'Последних новостей'? Пусть поговорит с Павлом Николаевичем, объяснит, что Ремизова мало печатают. Богатый купец?.. Пожалуй, купит книгу, рукопись, картинку. Энергичный человек? Будет продавать билеты на вечер чтения. Молодежь, поэты? Помогут найти новую квартиру и перевезут мебель... В самом деле, ни к одному из своих современников он не отнесся с участием»⁴².

Между четой Ремизовых и их молодым другом случались и разногласия – в отличие от Диксона, Ремизов с неудовлетворением и некой насмешкой относился к учению Николая Рериха, которого боготворил Владимир Диксон. Ремизов считал, что Рериха-старшего интересует не тайна мира, а деньги. В одном из писем он советует Диксону относиться к Рериху проще, а вернее – циничнее, хотя именно Николай Рерих оказал в свое время Алексею Ремизову и Серафиме Павловне нужную дружескую поддержку после их приезда в Париж, принял активное участие в издании в 1924 году в Париже его первой книги под названием «Звенигород Окликанный». И хотя Ремизов сохранял теплые отношения в переписке с Н. Рерихом, но в письмах к жене он всё же отзывался о нем недоброжелательно. Такая двойственность указывает нам еще раз на неоднозначность и практичность характера писателя. Любил он и посплетничать, а в некоторых случаях давал посетителям своего «гнездышка» - тем, кто часто помогал ему, - насмешливые прозвища; так, Диксона он величал в письме к жене «Шляпа», Лоллия Львова – «Балтамол», Розанова – «Козел», Мочульского, который неоднократно писал рецензии на книги Ремизова, – «Караим», писателя-юмориста В. В. Клетовского – «бездарным болваном» и т. д.

Однако надо отдать должное Ремизову: после смерти Владимира Диксона, будто осознав, что рядом с ним находился одаренный юноша, Алексей Михайлович аккуратно собрал его архив, переписал многие стихи своим разборчивым почерком и в 1930 году издал с помощью друзей (Джеймса Джойса и Макса Джейкоба) посмертную книгу Диксона «Стихи и проза», написав к ней предисловие. В статье

«Памяти Владимира Диксона» Ремизов четко (но не совсем точно) обозначил, что объединяло его с молодым поэтом — Россия, книги, Бретонские легенды и православная Византия. «Нас соединяла Россия и книги. Все часы после службы он посвящал ученью. Бретонские легенды и Византия, мне близкое, занимали его, и наши свидания заполнялись кельтами и византийскими веками. Пытливость и жажда знания меня трогала в нем, а и еще — его сердце. В первый раз, когда он пришел к нам, я подумал, глядя на его глаза: 'вестник с опущенными крыльями!'»⁴³, — писал Ремизов после кончины поэта.

Какие были еще причины того, что взяли Ремизовы под свое «крылышко» начинающего литератора? Как и Владимир Диксон, Ремизов был с детства необыкновенно одаренным ребенком: он обладал великолепной памятью, у него были способности к математике и естествознанию, страсть к чтению и рисованию, музыкальные способности – и постоянное чувство сострадания к бедствующим людям и животным, – а главное, был он человеком глубоко верующим. В предисловии к последней книге стихов Диксона Ремизов скажет: «Диксон был религиозный – верующий и сознающий всю ответственность своей веры». Было ли это важно для Ремизова? Да, несомненно. По всей вероятности, их все-таки связывало одинаковое отношение к религии, к Богу, России, а еще - к литературе. Отказаться от России Ремизовым было очень тяжело: одно время они даже мечтали о возвращении, считая, что, покинув родину, они «утратили почву» и сделали большую ошибку, о чем Серафима Павловна писала своей подруге Зинаиде Гиппиус. Живя вне родины, Ремизов навсегда оставался глубоко русским писателем, почти каждое произведение его было проникнуто любовью к России. Мучился ностальгией и Владимир Диксон, хотя он прожил в России всего 17 лет. Это чувство тоски легко прослеживается в его поэзии, хотя возвращаться в страну своего детства он не стремился.

Так было в сказочной России: Пушистый снег, холодный час, О вечера мои родные, Сегодня вспоминаю вас.

И всё же, думается, что не только вышесказанное привлекало чету Ремизовых в Диксоне. Восхищение молодого человека Ремизовым-писателем, которому ко времени их знакомства было уже под пятьдесят, а его талант так и не стал общепризнанным, было немаловажно для Алексея Михайловича. При этом посильная

помощь, которую Владимир оказывал чете Ремизовых, возможно даже и некая материальная, была оценена Серафимой Павловной по достоинству, - как и другие качества молодого человека, о чем Ремизов написал в предисловии к последней книге Диксона: «Мне хочется говорить о свете – о дарах света, когда я думаю и вспоминаю В. Диксона. Всё, что есть от Бога прекрасного, дано ему было. Мне хочется словами повторить взгляд человека, отмеченного светом. И я ищу это слово, что может быть прекраснее в мире, – и вспоминаю: что может быть прекраснее музыки и книги, хотя это понятно очень немногим, или те редкие минуты обрадованности и благословения, когда вдруг нахлынет... или еще – молитва, соединяющая покинутого человека с Богом. И если подумать о жизни, какая она есть с ее трудом, бедой и страхом, и со всякими ухищрениями победить страх и обойти беду, и если с гоголевскою отчетливостью представить себе мир – 'Господи Боже мой! – повторяя за Гоголем, – как много всякой дряни на свете! - встреча с человеком, отмеченным светом, неизгладима и память до последней минуты жизни».

Алексей Ремизов еще долго считался в литературе фигурой весьма противоречивой. Его символика не всегда была доступна для понимания читателя, хотя сам автор говорил, что его произведения – это не описание событий, «а дуновение, отсвет, который выражается в снах». Жизнь и сон переплетались в его сознании и его книгах. Сам он так писал в предисловии к книге «Мартын Задека. Сонник» (1954): «Как помню себя, всегда мне снились сны... Ночь без сновидения для меня, как пропащий день. После необходимых пробуждений в день, я в жизни только брожу полусонный: в памяти всегда клочки сна – бахрома на моей дневной одежде». В рецензии на книгу рассказов Ремизова поэт Игорь Воинов, 44 рассматривая его творчество, пишет: «Писателю удается на протяжении всей книги держать читателя в сладостном напряжении и, перелистывая страницу за страницей, словно уходишь далеко от жизни настоящего к тому 'вчера', которое, несмотря ни на какие вихревые годы, всегда будет манящею далью для русского сердца»⁴⁵. Однако один из рецензентов на очередной номер «Современных записок», в котором был напечатан рассказ Ремизова, выразил сомнение в искренности его повествований: «Ремизовские сны заставляют читателя подозревать, что автор просто его дурачит, ведь таких снов можно с легкостью придумать целые тома. Ремизов мимоходом вспоминает, что Л. Толстой с необычайной яркостью изображал сновидения, но у Л. Толстого никогда не было безудержного нагромождения нелепостей сновидений»⁴⁶.

Ремизов верил в загробную жизнь и в потусторонний мир. Тема «снов» глубоко его интересовала; он писал, что сам видит пророче-

ские сны, как, например, в случае с Владимиром Диксоном, незадолго до смерти юноши. В 1933 году на французском языке вышла небольшая книга Ремизова «Тургенев-сновидец»⁴⁷, в которой он высказывает мысль, что сны связаны со всем, что есть в жизни таинственного, чем и объясняются пророческие сны. Он рассматривает отношение к снам не только Тургенева, но и Гоголя, по всей вероятности, ассоциируя себя с обоими писателями. «Тургенев, по мнению Ремизова, не только рассказывает нам о снах: он воссоздает в своих произведениях особую сонную логику. Эту способность он унаследовал от Гоголя. Подобно последнему, Тургенев видит в снах скрытую сущность жизни, ее жестокость, власть человека над человеком. В этом смысле творчество его является как бы продолжением 'Мертвых душ'», – пишет Юрий Мандельштам в небольшой рецензии на книгу Ремизова⁴⁸. Мысль Алексея Ремизова о тайнах сновидения эхом отдается в поэзии Диксона:

Мы – не люди, мы – тени, мы – веянья, Мы – дыханье тлетворных времен; Нами правит неправдой взлелеянный Иступленный, блуждающий сон.

В эмигрантской прессе изредка, наряду с критическими, появлялись хвалебные рецензии. Ремизов же работал, стараясь не поддаваться ни хуле, ни похвале, и, кроме написания пьес, рассказов, романов, занимался еще переводами, внимательно следя за литературой авангарда. В России после эмиграции Ремизова практически забыли, в Париже — до конца не оценили, называли «заумным человеком», не всегда понимая его творчество. И всё же жизнь Ремизова была особенной; о себе Алексей Михайлович писал, что прожил он богатую, полную жизнь, окруженный пламенной любовью: «Что еще надо человеку?.. И всю мою писательскую жизнь с той же игрой судьбы, как и в моей житейской жизни, у меня была одна цель и единственное намерение: исполнить словесные вещи, как музыкант исполняет музыку на своем инструменте... А слово люблю, первозвук слова и сочетание звуков»⁴⁹.

Неудивительно, что и Ремизов, и Диксон были увлечены книгами Джеймса Джойса и американского поэта-модерниста Эзры Паунда, ценили их как мастеров слова. Ведь недаром Ремизова называли русским Джойсом.

В свою очередь, Джеймс Джойс дружил с Эзрой Паундом, который жил в Париже с 1920-го по 1925 год и был частым посетителем магазина Сильвии Бич «Шекспир и компания» на улице Одеон, в

Латинском квартале. И здесь снова странным образом переплетаются судьбы американского поэта Эзры Паунда и русского поэта Владимира Диксона⁵⁰. Однако разговор на этот раз пойдет о музыке.

«ГЕОМЕТРИЯ» МУЗЫКИ

Новое модернистское течение в музыке, представленное композитором Игорем Стравинским, стало событием в театральной жизни Парижа. Вместе с женой Диксон ходит на его концерты и на спектакли Русского балета Сергея Дягилева. Несмотря на то, что Диксон много путешествует, он внимательно следит не только за литературной жизнью диаспоры, но и жадно читает выходящие на других языках журналы авангардистов.

В ноябре 1924 года в американском журнале «Transatlantic Review» в разделе«Musical Supplement» (Музыкальное приложение) Владимир Диксон обратил внимание на необычное письмо американского поэта Эзры Паунда, касающееся теории музыки. С этого письма и завязывается переписка двух поэтов. Однако началась она не с разговора о поэзии, а как раз в контексте музыкальных экспериментов и тяги творческой личности к модернизму во всех областях искусства.

Но прежде чем перейти к содержанию письма, несколько слов о самом Эрзе Паунде, ибо его человеческие качества и его творческая направленность отразились на переписке двух поэтов — русского и американского. Ничего в жизни не бывает случайным, как и знакомство этих двух одаренных людей.

Эзра Паунд был личностью незаурядной, одним из основоположников американского и европейского модернизма, течения имажизма. Он изучал романские языки, переводил поэзию с итальянского, китайского и др.; в 1914 году, согласно американским источникам, выпустил антологию поэзии «Des Imagistes» («Имажисты»)⁵¹, которая и стала выражением теории имажизма. Джеймс Джойс называл его «непредсказуемым пучком энергии», которая явно била у него через край. Одновременно с публикацией своих произведений Паунд выступал в печати как критик, анализируя творчество своих современников -Т.С.Элиота, Джеймса Джойса, Роберта Фроста, Д.Г. Лоуренса и Эрнеста Хемингуэя, и, конечно, писал стихи. В предисловии к своей книге «Литературные эссе об Эзре Паунде» поэт-модернист Т.С. Элиот провозгласил: он «больше, чем кто-либо другой, ответственен за революцию 20-го века в поэзии». В окружении Эзры Паунда были и эмигранты из Российской империи, сокурсники по Пенсильванскому университету в Филадельфии: Джон Курнос (1881, Житомир, – 1966, Нью-Йорк) — журналист, писатель, поэт-имажист, переводчик русских писателей на английский язык, и Генри Слонимский (1884, Любавичи, — 1970, Нью-Йорк) — философ и литератор. Это Паунд ввел их по приезде в Лондон в 1912 году в круг своих лондонских друзей, англо-американских имажистов. Интеллект молодых людей произвел на англичан глубокое впечатление, о чем позже писал Ричард Олдингтон — поэт-имажист, литературный критик и главный литературный редактор популярного журнала «Эгоист». Однако всё же при жизни у Эзры Паунда не было широкой аудитории, а его усовершенствования в языке поэзии, использование нетрадиционного «материала» порой удивляло даже поклонников его творчества.

Жизнь Эзры Паунда сложилась иначе, чем жизнь Владимира Диксона. За поддержку Муссолини во время войны он был осужден, сидел в тюрьме, а с 1945 по 1948 гг. находился в лагере для военнопленных в Пизе. В 1948 году Паунд был отправлен в Вашингтон и отдан под суд за пропаганду фашизма; однако его поместили в вашингтонскую психиатрическую больницу Св. Елизаветы, так как еще будучи в лагере, Эзра Паунд стал будто бы терять память и «странно себя вести» (его экстраординарная личность, отрицающая общепринятые нормы, всегда вызывала у обывателей реакцию отторжения). И всё же даже в больнице он продолжал работать – писать, переводить. В 1958 году стараниями друзей поэт был выпущен на свободу и уехал в Италию, где он и скончался в возрасте 87 лет. Несмотря на его политические убеждения, он получал от литературного сообщества ведущие награды; в частности, его лидирующую роль в современной литературе четко обозначил Эрнест Хемингуэй в своей Нобелевской речи. Надолго исчез Эзра Паунд из поля зрения Сильвии Бич, с которой до войны находился в дружеских отношениях. И только в июне 1955 года, после смерти Адриенны Монье, она получила небольшую записку от Эзры Паунда, бывшего в то время на лечении: «Sorry you have lost your friend» (Соболезную в потере Вашего друга).

Для Эзры Паунда поэзия была прежде всего искусством, перед которым он ставил определенные задачи. В письме к Гарриет Монро, редактору поэтического журнала, он спрашивает, правильно ли она понимает возложенные на нее задачи: «Можете ли Вы научить американского поэта понимать, что поэзия — это искусство, искусство с приложением техники; искусство, которое должно быть в постоянном движении, в постоянном изменении? Можете ли Вы научить его, что это не пентаметрическое* эхо социологической дог-

.

^{*} Пятистопное

мы, напечатанной в прошлогоднем журнале? Я могу быть близоруким, но во время моего последнего мучительного визита в Америку я не нашел ни одного писателя, кроме одного рецензента, у которого было хоть какое-то достойное представление о поэзии»⁵².

И хотя Диксон не считал себя поэтом-модернистом (скорее, новое направление отразилось в его прозе), между этими двумя поэтами было много общего. Оба были эмигрантами – из тех, кто никогда не забывал своего происхождения, никогда не отступал от своих убеждений и, в частности, от того, что новое направление в искусстве имеет мировое значение. Достижение совершенства и обучение ради совершенства стали их жизненными принципами, от которых ни один из них никогда не отрекся. Преданность литературе была огромной и у Паунда, и у Диксона, а чувство юмора давало жизненные силы и поддерживало в трудные минуты. Однако здесь можно снова вспомнить и Джеймса Джойса, который был другом Эзры Паунда и его корреспондентом. Это о Джойсе Паунд сказал, что он является «без исключения одним из самых значительных молодых прозаиков». Когда Джойс переехал с семьей в Париж, Эзра Паунд был уже там. Он помог Джойсу материально устроиться на новом месте и... представил его Сильвии Бич, будущему издателю его «Улисса». Но и на этом круг общения творческих личностей не замыкается...

Новое модернистское течение охватило многие виды искусства. В музыкальном мире Парижа 1920—30-х годов наблюдался радикальный пересмотр теории музыки. Шел спор о трансформации музыкальной формы. В 1919 году, когда Эзре Паунду было 34 года, он начал сочинять музыку, написав, в частном порядке, что он намерен восстать против импрессионистической музыки Клода Дебюсси. Паунд назвал свой метод работы «улучшением системы, не подчиняющейся всем нынешним законам». Его опера Le Testament de Villon и музыкальные композиции были представлены в Лондоне и Париже. Премьера оперы Le Testament de Villon состоялась в июле 1926 года в Salle Pleyel.

Молодой американский композитор Жорж Антейл⁵³ назвал Эзру Паунда «самым выдающимся первооткрывателем мировых гениев». Жизнь и творчество Жоржа Антейла оказались непосредственно связанными с Э. Паундом, Д. Джойсом и с хозяйкой книжного магазина «Шекспир и компания». Жорж Антейл, как и Сильвия Бич, был уроженцем Нью-Джерси: его отец владел в Трентоне обувным магазином, в который часто заходила Сильвия Бич. Она прониклась особой симпатией к молодому композитору, который, наряду с другими уже известными музыкантами, стал постоянным посетителем ее магазина в Париже. Жорж обладал определенным шармом, выглядел очень молодо и своим видом вызвал у Сильвии Бич такое сочувствие, что

она сдала ему маленькую комнату над своим магазином. В трудную для него минуту молодой композитор однажды оставил Сильвии Бич такую записку: «Ты мой единственный друг в Париже, и я не хочу тебя терять». В автобиографии, изданной в 1945 году, Ж. Антейл писал, что эта комната стала для него настоящим домом, какого у него потом никогда не было. Сильвия позже познакомила его с Хемингуэем, Джойсом и Паундом.

За два года до знакомства с молодым композитором Эзра Паунд опубликовал тезисы о музыкальной теории Жоржа Антейла – «Трактат по гармонии», однако в «Трактате» содержались в основном тезисы самого Паунда, а не Антейла. Заявление Паунда, что «ритм – это форма, вкрапленная во время, поскольку сам дизайн определяется пространством», отличалось от теории музыки того времени и музыки его друга Жоржа Антейла, ищущего чистую абстракцию. Самая известная работа Антейла, «Механический балет» был написан в 1924 году и исполнен в июне 1926 года в Париже. В зале присутствовали Эзра Паунд, Сильвия Бич и, по всей вероятности, Владимир Диксон, в библиотеке которого среди других бумаг были найдены программа спектакля и другие проспекты об исполнении музыки Жоржа Антейла в Париже. Согласно дневниковым записям самого Диксона от 19 июня 1926 года, ясно, что в это время он как раз находился в городе.

Круг общения между литераторами и музыкантами на этом не замыкается, как и переплетение странных связующих нитей. Жорж Антейл и Владимир Диксон были одногодками. У Э. Паунда, американского поэта-имажиста и модерниста, было достаточно причин почувствовать в молодом русском поэте такую же родственную душу, какую он нашел в молодом американском композиторе. Антейл вращался в том же артистическом кругу, что и Диксон, Джойс, Ремизов, Поль Леон, Дм. Шаховской. Он дружил со Стравинским, Кокто, Пикассо, Хемингуэем и другими – именно с теми, кто часто посещал книжный магазин Сильвии Бич. Ж. Антейл также планировал написать оперу по роману Джойса «Улисс», которую собирался назвать «Блум и Циклопы». В этом начинании его поддерживал сам писатель – правда, в результате композитор подготовил только скетчи. Написанное вносило настолько радикальные изменения и отхождение от музыкальных норм, что, казалось, даже сам Паунд был этим возмущен.

Но вернемся к письму Эзры Паунда, напечатанному в музыкальном приложении к журналу «Transatlantic Review», где он обращается к «серьезному другу», который помог бы разъяснить ему, что такое «геометрия» музыки. Он пишет: «Я не вижу ни одной причины, поче-

му приложение геометрии строго и исключительно к компонентам музыки не может быть наводящим на размышления и, в конечном счете, столь же полезным, как построения Евклида и Декарта. Как мне известно, такая геометрия, возможно, уже существует. И я буду бесконечно благодарен, если кто-то просветит меня касательно ее статуса и места. Музыкальная форма воспринимается органами чувств; о музыкальной форме люди рассуждают веками. Странно, что математики никогда не пытались проанализировать этот факт и не шли дальше арифметики»⁵⁴.

Кто лучше Диксона мог помочь Эзре Паунду разобраться в этом вопросе – ведь именно он был тем человеком, который обладал обширными знаниями не только в музыке, но и в математике?! «Диксон был хороший математик, мысль его изощрилась на отвлеченном. В передаче этого сцепа – толчеи мысли, в которой отражаются и с которой движутся вещи, была бы его сила», – писал А. Ремизов в предисловии к посмертной книге Диксона. Диксон – выпускник Гарварда, его учителем физики был известный профессор Перси Вильямс Бридгман, получивший в 1946 году Нобелевскую премию по физике. К тому же, Диксон был хорошо знаком с публикациями на интересующую Паунда тему о взаимодействии геометрии и музыки, поэтому он мог легко объяснить американскому поэту предполагаемую связь. Итак, произошел обмен письмами двух поэтов, двух интеллектуалов, которые, возможно, так никогда и не встретились – ведь к моменту обмена корреспонденцией Паунд уже уехал из Парижа и поселился в Италии.

Диксон ответил Эзре Паунду письмом, в котором сделал вывод, что связь между геометрией и музыкой действительно существует, однако подход Эзры Паунда к этому вопросу он считает ошибочным: «Такая геометрия существует в действительности. Множество исследований было предпринято в этой области, но, к сожалению, многие из них не были и не будут изданы. Интересная работа была опубликована профессором Казанского университета Самойловым⁵⁵, где он разбирает музыкальные интервалы в пространстве; статью эту прилагаю к письму для Вашего ознакомления; помимо других вещей, Вы найдете там ссылки на книги по этой теме»⁵⁶. Такой подробный ответ отправляет Владимир Диксон Э. Паунду.

Статью Самойлова, по всей вероятности, Диксон перевел для Паунда на английский язык. Паунд в ответной записке благодарит Диксона за статью, которая «с первого взгляда показалась ему очень интересной» и предлагает прислать Диксону свои заметки на ту же тему. В статье Самойлова Э. Паунда вполне могла заинтересовать теория русского ученого, в которой тот утверждал, что от «прямоли-

нейной концепции» музыкального интервала следует отказаться в пользу пространственного представления. Самойлов пришел к выводу, что «система музыкальных интервалов» следует тем же принципам пространственного расположения, что и химические кристаллы. Кстати, Диксон добавил в этом же послании о Самойлове, что его два сына учились в Гарварде, а сам Самойлов «жил в крайней нищете». В дальнейшей переписке они обсуждают возможность публикации статьи Самойлова в американской периодике и проблемы копирайта.

Отсылка к работам Самойлова говорит о том, как широко Диксон был осведомлен в вопросах теории музыки и как серьезно относился он к новым подходам ее изучения. А. Самойлов был именно тем человеком, который мог бы дать ответы на поставленные Паундом вопросы. В своем письме Диксон также указывает на допущенные Паундом ошибки в характеристике связей геометрии с музыкальным произведением. Он считает, что единственный верный способ сравнить музыку с наукой – это применить методы термодинамики и эзотерики, с которыми он был хорошо знаком: «Если использовать метод термодинамики, - пишет он, - то, я верю, будет возможно представить музыку в рамках квантовой физики. Тогда останется только изучить музыку с точки зрения ее эзотерического значения и формы, – учение, за которое взялись люди, в этом вопросе не смыслящие. Единственный человек, который обладает достаточным знанием, чтобы говорить об этом аспекте в музыке, является Рудольф Штейнер»⁵⁷.

Ссылка на антропософа Рудольфа Штейнера – результат серьезного изучения Диксоном теософии и антропософии в кружке Юрия Рериха. Он считает, что Штейнер – тот единственный человек, который может помочь решить проблему. В свою очередь, знания философии Штейнера важны для понимания поэзии самого Диксона. В этом же письме он также отсылает Паунда к работам Андрея Белого, с которыми Диксон был хорошо знаком. Для Белого были важны пространственно-временные измерения поэтической и музыкальной композиции и новые средства передачи поэтичности (музыкальности). Работы Андрея Белого явно заинтересовали американского поэта. В ответном письме Э. Паунд пишет: «Я не знаком ни с какими переводами Белого. Не знаете ли Вы кого-нибудь, кто бы хотел перевести его на английский язык?» В поэзии Белый (который изучал в Берлине философию Рудольфа Штейнера) пытался войти в пределы недосягаемого посредством обращения к музыке, что могло бы оказаться действительно близким Э. Паунду.

Во втором письме Диксон ссылается на работы своего дяди Виктора Мамонтова⁵⁸, семья которого, по его словам, сыграла вид-

ную роль в русской культуре: «Вы также спросили меня, что я имел в виду, когда писал, что исследования на тему геометрия и музыка никогда не были напечатаны. И вот причина: было несколько человек — и среди них мой дядя, Виктор Мамонтов, который до войны жил в Москве. Какова судьба этих людей — я не знаю, мой дядя умер в Нью-Йорке прошлой весной, мне кажется, что он оставил после смерти свои рукописи по музыке, но я их не видел...»⁵⁹

И далее Диксон подробно описывает теорию Виктора Мамонтова. Письмо молодого человека указало на его глубокое знание предмета и вызвало огромной интерес, восхищение и любопытство Эзры Паунда к личности адресата. Завязавшаяся переписка между двумя поэтами велась от начала до конца в крайне уважительных тонах. Письма Вл. Диксона по своему стилю, как и письмо, подражавшее манере Джойса, содержали элементы юмора и были несколько экзальтированными.

В Диксоне Эзра Паунд, по всей вероятности, нашел того человека, которому были интересны и близки те же темы и проблемы современного творчества, которые оказались близки и ему самому. Однако страстью Диксона была не музыка, а русская поэзия. В ответ на последнее письмо Паунда Владимир Диксон отправил ему только что напечатанную книгу своих стихов и прозы. Паунд был озадачен, так как русский язык был ему незнаком и учить его он не намеревался, а посему прочитать книгу В. Диксона не мог, на что и указал в письме к другу. На этом переписка двух поэтов — Эзры Паунда и Владимира Диксона — прекратилась⁶⁰.

«И В ОГНЕ ДУША БЫЛА ЧИСТА...»

Для Владимира Диксона главной целью жизни было творчество. Видимо поэтому открыл он в Париже собственное издательство «Вол», в котором напечатал две свои книги: «Ступени» (1924) и «Листья» (1927) с предисловием Алексея Ремизова. В 1930 году стараниями близких и друзей Владимира, при участии А. Ремизова, Дж. Джойса и Макса Жакоба был выпущен сборник «Стихи и проза» Диксона с предисловием того же Ремизова.

У молодого автора было много планов: издавать переводы, ежемесячный литературный журнал. Диксон обработал и переложил на современный русский язык легенды о бретонских святых и жития русских праведников, писал рассказы-миниатюры о своем детстве, задумал перевести на английский своего любимого Блока. Но этим планам не суждено было сбыться.

Несмотря на постоянные переезды из страны в страну, из города

в город, всё свободное время Владимир Диксон отдает сочинительству. Он много пишет, печатается в таких периодических изданиях, как «Русский студент» (Нью-Йорк), «Воля России» (Прага), «Благонамеренный» (Брюссель), «Вестник Русского христианского движения» (Париж). Там же публикуются и его критические и литературоведческие статьи, например, «Родина в русской поэзии. Блок. Гумилев, Белый». И хотя Диксон не успел вырасти в большого поэта, на его первую книгу стихов сразу же обратил внимание Г. Адамович: «В книге Диксона заметно влияние Бальмонта и Блока, скорей второго. От Блока у него текучесть стиха и та 'весенняя', молодая безотчетная умиленность, которая была в 'Нечаянной радости'»⁶¹.

Владимир Набоков в одной из рецензий писал, что у Диксона есть свой «поэтический голос», «образный, чистый язык». В другой статье он не выразил особого энтузиазма по поводу его поэзии, но похвалил прозу: «Такими бесцельными, скучными, хотя вполне грамотными, стихами наполнен сборник Владимира Диксона. Изредка скажешь: недурно ('Земля, где я родился, земля, где я умру'... или 'О том, как люди погибают, нельзя живущим говорить...'), но ни один стих не заставит улыбнуться от удовольствия, ни один не вызовет холодка восхищения. Погрешностей особых нет, но нет и прелести. Поэт жалуется, негодует, грустит, скучает, обращается к Богу – и в памяти у читателя не остается ничего. (Зато совсем хороши три маленьких рассказа в том же сборнике. Прекрасный язык, образная простота)»⁶².

Склонность Диксона к фантастике и сказочности в прозе напоминает ремизовскую. Последняя проза Диксона – это вполне сознательная разработка методов Ремизова. В последней книге помещены два рассказа – «Стол» и «Стул» – из начатого им цикла «Описание обстановки». Здесь Диксон, как бы отталкиваясь от произвольных ассоциаций, постоянно переходит из внешнего мира во внутренний и обратно, имитируя, таким образом, прозу Ремизова, который сказал об этих опытах: «толчея мыслей, в которой отражаются и в которой движутся вещи». Недаром Надежда Городецкая⁶³, посетив однажды дом Алексея Ремизова. заметила, что «спросить Алексея Михайловича о милых вещах – всё равно, что осведомиться о близких ему людях... С вещами связан он был личной связью»64. Такой подход, в какой-то мере основанный на опытах описания потока сознания по Джойсу, как и своеобразность прозы Диксона, отметил Адамович: «...она интересна, она не лишена прелести и даже в кропотливом психологизме своем прусто-джойсовского толка остается своеобразной»65. В рецензии на посмертную книгу стихов Диксона снова была отмечена его проза: «Проза В. Диксона показывает, что молодая зарубежная литература потеряла в нем очень интересного и сулившего многое в будущем прозаика»⁶⁶.

И всё же поэзия занимала в жизни Владимира Диксона место особое. Только в ней мог он открыть душу, вести разговор с незримым собеседником — Богом. «Глубокая религиозность: Господь, Христос, Богородица — почти в каждом стихотворении. Как бы предчувствие ранней кончины...», — писал о нем в газете «Возрождение» поэт и критик Петр Бобринской⁶⁷.

В поэзии Диксон ищет ответы на вопросы о вере, о людских страданиях, о смерти. Понятие страдания является весьма важным в религии. Он — человек глубоко верующий — находит в православии созвучие своим переживаниям и не может пройти мимо страдания других:

По путям далеким, снежным, Тихим странником ступай. Будь торжественным и нежным. Заступайся и страдай.

В стихах Диксон сумел запечатлеть свой духовный опыт, как бы рассказывая о заключенном им мистическом союзе с Богом, который открыл ему тайны христианского учения. Будучи человеком, прекрасно знавшим Библию, он убежден, что через страдание Господь учит верующего и очищает душу и тело его от грехов — для того, чтобы сделать его праведным:

Я узнал – и был мне свет отраден, И в огне душа была чиста – Всякий путь не нужен и неладен, Если нету на пути Христа.

Для Владимира Диксона познание страдания – не только философская проблема, а нечто глубоко личное и эмоциональное.

Лежу живым на смертном ложе Среди столпившихся людей... За что меня ты выбрал, Боже, За что воскрес я в жизни сей?

Разгромную рецензию на сборник стихов Диксона «Листья» дал Юрий Терапиано, ругая поэта за то, что он «как будто взялся рассуждать в стихах на заданную тему, хочет найти где-то на стороне слова и чувства для нее. Он подсчитывает, протоколирует свои мысли, не будучи в состоянии уловить целостный интуитивный образ: он лишь

внешне прилепляется к волнующим его темам — родина, Христос, проблема добра и зла...» ⁶⁸ И всё же Терапиано, будучи сам прекрасным поэтом и блестящим литературным критиком, на этот раз ошибался. У Диксона была определенно прекрасно развита поэтическая интуиция, а умение глубоко чувствовать и оценивать свое внутренне состояние и передавать его в поэтических строках не было расчетом или искусственным «прикреплением» к темам, его волнующим. Судя по оригиналам, которые хранятся в архивах, стихи выливались у него одним цельным интуитивным потоком, почти без исправлений или помарок. Если бы не ранняя смерть, можно с уверенностью сказать, что Владимир Диксон мог стать тем поэтом, стихи которого тот же Терапиано высоко оценил бы.

Несмотря на свое происхождение, Владимир Диксон считал себя поэтом русским. Тоска по России, тоска по родине — его центральные темы. Память о детстве, проведенном в России, становится стержнем его поэзии. Глеб Струве отметил, что «этот русский американец... остро чувствовал и любил свою 'Русь васильковую'». И действительно, родиной поэта была Россия, которую он часто вспоминал в своих стихах.

Это вечное слово – «Россия» – Словно ангельский свет для меня, Словно совести зовы простые, Словно вихри снегов и огня.

Выдающийся философ и богослов Иван Ильин признавался, что ни у одного из современных поэтов он не находил такого глубокого и тонкого чутья духовной трагедии России, как у Диксона. В обширной статье «Поэзия наших дней», опубликованной под псевдонимом Антон Крайний, Зинаида Гиппиус, сделав обзор стихотворных сборников молодых поэтов, вошедших в литературу в эмиграции, упомянула и В. Диксона, выделяя его на фоне сверстников: «Несколько живее, новее Диксон, Холчев, даже Перцов, особенно Диксон. Из него мне очень хочется привести несколько цитат, и если я удержусь, то лишь помня, что и это мое отступление в сторону юных эмигрантских поэтов — незаконно»⁶⁹. Георгий Адамович, критик серьезный и придирчивый, писал о том, что поэзия Диксона хоть и слабовата, но «привлекает своей напряженной человечностью, пробивающейся сквозь вялую литературную оболочку»⁷⁰.

Владимир Диксон был ярким представителем метафизического направления поэзии Русского Зарубежья. Творчество Диксона находится в неразрывном единстве личного мистического опыта и обще-

го вектора развития эмигрантской литературы в целом. Духовная неуспокоенность, страдания, блуждания в поисках покоя, Бога и себя самого, отличающие поэзию Диксона, были характерны для поэтов русской диаспоры первой волны эмиграции. Его душа – ищущая, одинокая – стала центром его поэзии.

Ты душа моя безрассудная, В многолюдье живешь одна; Тяжела суета непробудная, И забудет меня весна.

Поэт Петр Бобринской в рецензии на второй сборник стихов В.Диксона «Листья» заметил: «Стихи Владимира Диксона отличаются эгоцентризмом. Из тридцати одного стихотворения, составившего его второй сборник стихов, в двадцати пяти он говорит от первого лица», – и заключает: «чистая, непосредственная лирика чужда Диксону. Его стихи умные, с определенным стремлением к объективизации: их предмет – мысли, а не чувства»⁷¹. Однако ровно через год после смерти Диксона Бобринской в рецензии на посмертный сборник стихов и прозы писал: «Волнует глубокая человечность стихов»⁷². Действительно, все стихи поэта строились вокруг переживаний его лирического героя. В стихах Диксона есть не только глубокие умозаключения, но и напряженная эмоция человека, ищущего свою истину, свою правду в чужом для него мире, – ведь поэт, особенно поэт-эмигрант, есть жертва времени и поэтому он крайне чувственно и тяжело переживает происходящее. Николай Бердяев писал, что поэзия XX века была поэзией «заката, конца целой эпохи, с сильным элементом упадничества». Владимир Диксон выразил суть страданий русского поэта такими строчками:

Давно без Родины живем, Забыты там, и здесь – чужие, Горим невидимым огнем, Не мертвые и не живые.

Эмоциональная и мыслительная ткань его поэзии односпектральна, доминанта его стихов — взаимоотношения души и Бога. Жизненный путь Диксона был, как и у многих его друзей по перу, цепью трагических событий: русская революция, Первая мировая война, отъезд из России — всё это наложило тяжелый отпечаток на душевное состояние и положило начало глубокому осмыслению жизни и формированию нового мировоззрения. В душе поэта постепенно назревал «высочайший кризис». Жизнь в творчестве Диксона

неизбежно вступает в единоборство со смертью. И если в поэзии побеждает жизнь, то в жизни его побеждает смерть.

В душе порывы и горенья, Но есть какой-то дальний страх: Придет ли снова вдохновенье – Иль только смерть в ночных лучах.

1918

Диксон – поэт-фаталист, и фатализм его связан с интуицией глубоко чувствующего человека. Он видит будущее как что-то неизбежное, как нечто заранее предначертанное ему Богом. Он идет по этой дороге, доверяясь Богу, навстречу неизвестности, в конце которой – смерть. Эта вера в предначертание, в судьбу становится, в конечном итоге, доминантной. Как и у многих поэтов, у В. Диксона были развиты поэтическая интуиция и предчувствие смерти; так, незадолго до своей кончины он написал следующие строки:

А на земле останется за мною Лишь слабый свет моих немногих слов, Как снег, упавший тонкой пеленою В прозрачной дали долгих вечеров...

1929

В душе поэта шел процесс самоидентификации не только в творческом плане, но и в плане становления личности. При том, что Владимир Диксон был человеком глубоко верующим, видимо, в этом сложном процессе приспособления к миру не всегда на его пути попадались люди, внушавшие эмпатию. Часто в строчках его стихов звучат ноты недоверия, нелюбви к людям — эта мизантропия точно выражена французским писателем Анри де Монтерланом: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей».

Я сам, как зверь, блуждаю слепо, Я только ветру в мире рад; Жилье людское хуже склепа, Слова людские — смертный яд.

Владимир Диксон не входил ни в какие поэтические кружки, объединения, не выступал на поэтических вечерах, но направление его поэзии было созвучно общему потоку русской зарубежной литературы. История становления поэзии первой волны эмиграции – одна из наиболее драматических страниц литературы русскоязычной диас-

поры. Тема «я не люблю людей» стала неким лейтмотивом эмигрантской поэзии того времени. Подобные мысли высказывали и рано ушедший из жизни Илья Британ, и любимец русской диаспоры поэт Владимир Смоленский, и живший в Абиссинии поэт Павел Булыгин. В одном из четверостиший Булыгин восклицает: «Нет, нет, я не люблю людей!» Творчество как бы сопровождалось «умерщвлением» положительных эмоций. Поэт замыкался в себе, осмысляя в одиночку пережитое.

И одиночество мне – свет, И одиночество мне – мука. Как дам я Господу ответ, Когда придет с грехом разлука?

Темы мизантропии и одиночества неоднократно звучали в поэзии русской диаспоры. Поэзию Диксона порой пронизывают и нигилистические настроения – презрение к людям, к новизне окружающего. Нигилизм основан на отрицании веры, метафизического мира и Бога. Однако в поэзии Владимира Диксона, наперекор логике, Бог есть единственный спаситель, который выведет его из состояния одиночества. Известный немецкий философ Эрих Фромм писал, что «...человека страшит одиночество. А из всех видов одиночества страшнее всего одиночество душевное». Мы знаем, что душа человека мистична, загадочна и сверхъестественна. Таким образом, душевное одиночество могло стать для Диксона тем толчком, который помог ему заново познать себя, обрести понимание метафизической ценности в отношениях с людьми и окружающим миром, с Богом.

И только вращение в литературных кругах, творчески ему близких, само творчество, – не ненависть, а любовь – и не только к «ближнему своему», – смогли помочь ему выйти из состояния отрицания, из замкнутого пространства, в котором он оказался волею судьбы. Возможно, что переломным моментом его жизни стала встреча с будущей женой и, затем, рождение сына. Еще Николай Бердяев писал о том, что личность есть духовное начало, предполагающее наличие другой личности и их общение; личность не может быть постоянно замкнута в себе, она «по существу предполагает другие личности». Таким образом, нигилизм есть величина временная.

У нас не такие дороги. Совсем иные пути: Вся наша надежда – в Боге, Больше некуда нам идти. К концу жизни поэзия Владимира Диксона засветилась новым светом, стала сложнее, эмоциональнее, глубже, в ней появились интонации человека, познавшего новые аспекты жизни. Однако в мире, в котором он жил, зло и добро были сплетены в один клубок, распутать который мог только человек высокой веры.

Язык людской мне опостылел, Как неотвязчивый напев, Тоску на злое сердце вылил, Беспомощный, ненужный гнев.

Сознание пустоты и бессмысленности жизни, постоянная тоска часто отражаются в стихах Диксона как предчувствие конца его земного существования, словно пророческий дух Лермонтова витает и в поэзии Владимира Диксона. В 1926 году Д. Святополк-Мирский справедливо заметил: «В пророческой же природе современной русской поэзии сомневаться уж нельзя — слишком она очевидна. И дело, конечно, не в отдельных 'поразительных предсказаниях' (вроде прославленного и затасканного лермонтовского 'Настанет год, России черный год'), в конце концов, случайных и лишенных необходимости, а в том, что в наши дни русские поэты снова стали чувствилищем народной души, в которой события совершаются раньше, чем в мире событий гражданских. Флаг поэзии взвивается раньше, чем приходит в движение поверхность народного моря»⁷³.

Русская поэзия всегда отличалась своим пророческим характером. Она обладала каким-то особым даром тайновиденья — или тайнослышанья. Поэты межвоенной эмиграции несли на себе тяжелый груз изгойства, жизни на чужой земле, что обостряло ощущения действительного зла и предчувствия будущей катастрофы — как личной, так и мировой. И когда в душе поэта наступает мрак, ему кажется, что погибло всё: любовь, вера, жизнь.

Погибло всё: любовь к молитве И тишина, и колдовство: В глазах, привыкших к вечной битве, Блеснуло с дьяволом родство.

О люди, люди, к землям нашим Губами грешными прильнем, Чтоб испросить у древних пашен Покой, обещанный Христом.

Эта сосредоточенность на собственной судьбе, вера в предначертанность и скорую смерть были характерны не только для Диксона, но и для целого ряда поэтов первой волны, — вспомним хотя бы Илью Британа, Юрия Джанумова, Ирину Кнорринг, Юрия Мандельштама, Владимира Смоленского и многих других. Тот ангел, что жил в поэзии Диксона, не расправил над ним крылья, когда внезапно пришла смерть, но, взяв его за руку, указал дорогу в другой, лучший мир, ведь Владимир Диксон знал, что смерть — это тот путь, который ведет к бессмертию.

Смотрю на синий небосвод И вижу: в облаках небесных – Там ангел за руку ведет Меня по краю туч отвесных.

«СТОЮ НА ГРАНИ, ЖИЗНЬ БЛАГОСЛОВЛЯЯ...»

В 1928 году вышел роман французского писателя Джорджа Бернаноса под названием «Свет сатаны», то есть черный свет, который светит вокруг и невидимыми лучами проникает в жизнь. Тот Божий свет, которым был одарен Владимир Диксон, не смог спасти его от «света сатаны» – от смерти.

Незадолго до своей кончины Владимир Диксон написал письмозавещание, адресованное «Моему сыну». Оно было написано перед его первым полетом на аэроплане из Женевы в Париж. Диксон также оставил завещание и письмо жене. Все три документа он отправил в свой офис в Париже на свое имя. Только через полтора года после смерти Диксона сотрудник нашел эти письма и передал семье.

30/5/29 Женева

Мой сын. Ваня.

Прости меня за всё. Где бы я ни был, я всегда буду просить Бога оберегать тебя и быть с тобой.

Люби свою мать.

Люби ту землю, которая будет твоей, и думай часто с благодарностью о моей несчастной земле — России.

Будь честным и преданным, люби ближнего своего. Всегда помогай тем, кто страдает.

Да поможет тебе Бог, мой любимый Сынок.

Твой отеп74

Это напутственное письмо сыну, в котором столько любви и мудрости, написано 29-летним поэтом. Некоторые предсмертные послания поэтов русской диаспоры, оставленные родным, дошли до нас через поколения: это письмо Ильи Британа — сыну, Бориса Вильде — жене (оба письма написаны перед расстрелом), письма Юрия Мандельштама, адресованные будущему читателю, — незадолго до гибели в Освенциме. И в каждом из этих обращений ощущается мужество, мудрость и любовь к ближним своим, к России и Богу.

В мае-июне 1928-го, в своем дневнике, испещренным мелким, витиеватым почерком, Вл. Диксон постоянно жалуется на боль в спине — например, запись от 5 июня: «Сегодня холодный день. Я почти весь день лежу в постели. Болит спина». 8 июня Диксон снова жалуется на боль в спине, предполагая, что это от долгого сидения за письменным столом прошлой ночью. Записи в дневнике заканчиваются 18 июня 1928 года.

В последнем письме к жене, ровно за месяц до смерти, 17 ноября 1929 года он пишет ей из Бухареста: «...Правда, уже несколько дней я чувствовал себя не очень хорошо, но сейчас снова всё идет на поправку. На следующей неделе, когда я буду дома, мне нужно просто отдохнуть» (см. Приложение к статье). По приезде домой, 6 декабря, ему стало совсем плохо, и Диксона срочно кладут в госпиталь — на операцию аппендицита. Уже предчувствуя близкий конец, Владимир Диксон пишет в тот же день:

...Я благодарен за всё, чем верно Был жив, чем радовался и скорбел — За слово правды, за путь вечерний, За цепь великих и мелких дел — За то, что русское ведаю слово, За то, что Пасха цветет весной. Боюсь, что душа моя не готова Покинуть дали земли родной. И без боязни, но с сожаленьем Земле оставлю бренную плоть. Да будет милостив ко мне Господь.

6 декабря 1929, Американский госпиталь

17 декабря Владимира Диксона не стало. Он умер после неудачной операции, от эмболии. Похоронили его в американском городе

Плейнфилд, штат Иллинойс, где жили родители поэта. Парижская газета «Последние новости» поместила 22 декабря 1929 года некролог памяти Владимира Диксона, где назвала его «значительным, истинно русским поэтом с особым, глубоким даром проникновения».

Ванита оставалась одна до конца жизни. Она умерла в октябре 1987 года. Сын Иван вспоминает, что в госпитале, за день до смерти матери, он спросил ее, девяностолетнюю, после вместе проведенной молитвы: «Как ты думаешь, что будет, когда ты встретишь там своего 29-летнего мужа Владимира?» – «О, – сказала она, – уж там мы с ним разберемся»⁷⁵.

Владимир Диксон не успел стать большим поэтом, но его поэзия, его личность, духовно богатая, оставили глубокий след и добрую память как в русской, так и в мировой литературе межвоенного периода. В предисловии к посмертной книге поэта Алексей Ремизов выразил чувства тех, кто знал Владимира Диксона, и тех, кто сейчас, почти через 90 лет после его смерти, узнает об этом удивительном, одаренном Богом человеке: «Мне хочется говорить о сокровищах человеческого духа – о книгах, когда я думаю и вспоминаю В. Диксона. Любить книгу – это дар. Мне хочется говорить о свете – о дарах света, когда я думаю и вспоминаю В. Диксона. Всё, что есть от Бога прекрасного, дано ему было. Мне хочется словами повторить взгляд человека, отмеченного светом...»

Если сегодня в последний раз Вижу солнце и звезды и сына, И не обрадует жадных глаз Родной земли скупая равнина... Что на дорогу могу сказать? Прошу прощенья у оскорбленных, У всех обиженных, раненных мной, Прошу прощенья у далей зеленых, У далей снежных земли родной.

(Стихи написаны за 10 дней до смерти)

В некрологе Алексей Ремизов писал, что в гроб Владимиру Диксону положили лепестки розы из посмертного венка А. А. Блока, его любимого поэта. И горсть земли – с родины его матери, где он родился, вырос и «вырастил в себе такую горячую любовь к Ролине».

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. Берберова, Нина. Курсив мой. Автобиография / М.: АСТ. 2014. С. 280.
- 2. *Fitch, Noel Riley.* Sylvia Beach and the Lost Generation. A History of Literary Paris in the Twenties and Thirties. / NY: W.W. Norton and Company, Inc. 1983. P. 163. (Перевод цитаты с англ. Е. Д.)
- 3. Френкель Франсуаза (1889 1975, Ницца), автор единственной книги «Rien où poser sa tête» («Некуда приклонить голову», на фр.). Франсуаза приехала в Париж в 1914 году, учила французский в Сорбонне, стажировалась в большом книжном магазине на улице Гей-Люссак в Латинском квартале. В 1921-м уезжает вместе с мужем в Берлин, где открывает первый в Германии «Дом французской книги». В 1939 году, в связи с гонениями на еврейское население в Германии, переехала в Париж.
- 4. В 1933 году Семен Райхенштейн уехал в Париж. 24 августа 1942 г. он был переправлен из Дранси в Освенцим, где и погиб.
- 5. Книга впервые вышла в швейцарском издательстве «Jeheber». Мемуары были изданы лимитированным тиражом в 1945 году. В последующие годы книга считалась утерянной, пока через 60 лет не нашлась на одной из распродаж во Франции. В английском переводе носит название «A Bookshop in Berlin» («Книжный магазин в Берлине»).
- 6. Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Иоанн (князь Шаховской Дмитрий Алексеевич, литературный псевдоним Странник, 1902—1990). Родился в Москве, учился в Императорском Александровском лицее. Покинул Россию в 1920 году, завершил образование в Париже и в Бельгии. Постригся на Афоне в 1926 году. Был настоятелем Свято-Владимирского храма в Берлине в 1932—1945 гг.; во время Второй мировой войны вел миссионерскую работу среди русских военнопленных. Посвящен в епископы в 1947 году, а в 1950 году возведен в сан архиепископа Сан-Францисского. Кроме философско-богословских трудов, автор нескольких поэтических сборников и литературно-критических статей.
- 7. *Шаховской*, *Иоанн*, архиепископ. Биография юности / Париж: УМСА-Press. 1977.
- 8. Зинаида Алексеевна Шаховская, княгиня (1906–2001), поэтесса, русская и французская писательница. В 1920 году через Константинополь покинула Россию и поселилась в Париже. Была главным редактором «Русской мысли» (1968–1978). Кавалер французского Ордена почетного легиона.
- 9. *Шаховская, Зинаида*. Отражения / Париж: УМСА-Press. 1975. С. 14.
- 10. Константин Васильевич Мочульский (1892–1948, Атлантические Пиренеи), филолог, писатель, историк литературы, литературный критик. Окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского университета. В 1920-м эмигрировал в Болгарию. Преподавал в Софийском университете. В 1922-м приехал в Париж. В 1923-м вошел в Комитет Лиги борьбы с антисемитизмом. Читал лекции о русской литературе в Парижском универ-

ситете (1924–1939). Выступал с докладами по программе «Беседы по русской культуре» в Русском народном университете (1928–1930, 1940). В 1941-м был арестован и помещен в лагерь Компьень, освобожден через несколько месяцев. Организовал помощь российским заключенным в лагере Компьень. В марте 1945-го участвовал в работе учредительного собрания Объединения русской эмиграции для сближения с СССР. В 1946-м переехал в Камбо. Широко печатался в зарубежной прессе. Автор книг на русском и французском языках.

- 11. Юрий (Георгий) Павлович Иваск (1907, Москва, 1986, Амхерст, США), поэт, литературовед, критик. В 1920-м уехал с родителями в Эстонию. Окончил юридический факультет университета в Тарту. Участник «Цеха поэтов» в Таллинне. В 1938-м приезжал в Париж, встречался с Г. Адамовичем, Г. Ивановым, Д. Мережковским, З. Гиппиус, М. Цветаевой. В 1944-м переехал в Германию. В 1946–1949 гг. изучал славянскую филологию, русскую литературу и философию в Гамбургском университете. В 1949-м переехал в США. В 1954 году в Гарвардском университете защитил докторскую диссертацию. Преподавал русскую литературу в американских университетах. Печатался в русской зарубежной периодике. Автор ряда книг.
- 12. Иван Панин эмигрировал в США в 1878 году из-за преследований за революционную деятельность. В 1888 г. вышла книга его переводов А. С. Пушкина на английский язык «Poems by A. Pushkin».
- 13. Шаховской, Иоанн, архиепископ. Биография юности. / Указ. издание. С большой долей вероятности речь идет о ведущем американском журнале поэзии «Poetry, а Magazine of Verses», выпускаемом Гарриет Монро (Harriet Monroe, 1860–1936), известной американской женщиной-издателем, поэтом, лит. критиком. Гарриет Монро играла ту же роль, что и Сильвия Бич в Париже, стараясь превратить журнал в интернациональный центр поэзии. Она публиковала поэтов разных стран, в частности Сергея Есенина (1925). Переводы В. Диксона не обнаружены, возможно, он просто не успел осуществить свой замысел. Судя по всему, в книге Шаховского якобы название журнала «This hartev» (такого журнала не было) следует читать как «thitherto» (untill that time, to that point, к данному моменту). Благодарю М. Адамович за указанные ею уточнения в данном вопросе.
- 14. Вышло всего два номера журнала «Благонамеренный» (1926).
- 15. Шаховской, Иоанн, архиепископ. Биография юности. / Указ. издание.
- 16. «Возрождение». 29 апреля. № 1062, 1928.
- 17. Наталья Викторовна Резникова (урожд. Чернова, 1903—1992), литератор, переводчица, критик, приемная дочь лидера эсеровской партии В. М. Чернова, помощница, доверенное лицо и душеприказчица Ремизова, ухаживавшая за ним в последние годы его жизни. После смерти А. М. Ремизова Н. В. Резникова унаследовала значительную часть архива писателя. Ее книга «Огненная память», одно из главных мемуарных свидетельств о Ремизове, впервые издана в Беркли в 1980 году.

- 18. *Резникова, Наталья*. Огненная память. Воспоминания об Алексее Ремизове / Подг. текста, вступ. статья, аннот. именной указ. А. М. Грачевой // СПб.: 2013. С. 74.
- 19. Георгий Гаврилович Шклявер (1897, С.-Петербург, 1970, Париж), поручик Русской Императорской армии, юрист, деятель культуры, масон, участник Первой мировой войны. Эмигрировал во Францию. Читал лекции в Институте высших международных знаний. В 1929-м защитил и опубликовал диссертацию «Le Droit international dans ses rapports avec la philosophie du droit» («Международное право в контексте философии права»). Занимался оформлением «Пакта Рериха» (международного соглашения для охраны памятников искусства) в Европе. Составил «Catalogue méthodique du fonds russe de la Bibliothèque du Musée de la Guerre» («Предметный каталог русского фонда библиотеки Военного музея») (1932). Со времени основания в 1929 году генеральный секретарь Общества друзей музея имени Н. К. Рериха. Представлял в Европе Музей Н. К. Рериха в Нью-Йорке; член редколлегии журнала «Оккультизм и йога». Издательство «Аlatas» (Белый камень) было основано Н. К. Рерихом и Г. Д. Гребенщиковым в 1924 году.
- 20. Предположение о том, что именно Шклявер привел Диксона в дом Ремизова, сделала Е. Оботнина. См.: Этюды к творческой биографии Ремизова. // «Литературный факт». № 4. 2019. С. 20. Однако в статье произошла ошибка в инициалах. Шклявер был не Б. Г., а Георгий Гаврилович.
- 21. *Grahm, Stephan*. The Dividing Line of Europe / NY: D. Appleton & Company. 1925. P. 311.
- 22. Анненков, Юрий. Дневник моих встреч / М: Художественная литература. 1991. С. 213.
- 23. «Возрождение». 3 июня. № 4134, 1938.
- 24. *Ремизов, А. М.* Петербургский буерак. IX. / Ремизов, А. М. Собрание сочинений в 10 томах// М.: Русская книга. 2000–2003. Т. 10. Сс. 380-381.
- 25. Дневниковые записи, оставленные Серафимой Павловной после смерти Владимира Диксона, отражают ее сложное отношение к нему, в них любовные переживания сливаются с неиспытанными до того материнскими чувствами (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. № 1073).
- 26. После смерти Вл. Диксона его вдова, Ванита Вагнер-Диксон, наняла адвоката и потребовала выплатить ей доход от продажи книг Ремизова, напечатанных в издательстве «Вол». Ремизовы оказались в очень неприятном положении. Трагическая смерть адвоката, который вел дело (выходя из вагона метро, он попал под колеса), положила конец тяжбе. Ремизов был убежден, что «...это вышло неслучайно. Воля Диксона с того света подтолкнула враждебного адвоката, чтобы нас защитить».
- 27. *Ремизов*, *А*. Памяти Владимира Васильевича Диксона. Некролог // «Последние новости» (Париж). 22 декабря. № 3196, 1929. С. 2.
- 28. Владимир Ананьевич Злобин (1894, С.-Петербург, 1967, Париж), поэт,

- критик. Учился в С.-Петербургском университете. Секретарь З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. Вместе с ними в 1920-м эмигрировал в Польшу, затем во Францию. Учился в Сорбонне. С 1927-го секретарь литературного салона «Зеленая лампа», выступал с докладами и чтением своих стихов. Сотрудничал с журналом «Звено». Один их редакторов парижского журнала «Новый корабль». Написал книгу о З. Н. Гиппиус «Тяжелая душа» (Вашингтон, 1970). 29. Журнал «Новый дом» издавался в Париже с 1926 по 1927 гг. Вышло всего три номера журнала.
- 30. Журнал «Версты» издавался в Париже в1926—1928 гг. под редакцией Д.П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского, С. Я. Эфрона и при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова.
- 31. *Яновский, Василий*. Поля Елисейские. Книга Памяти / М.: «Гудьял-Пресс». 2000. С. 364.
- 32. Резникова, Наталья. Огненная память / Указ. издание. С. 74.
- 33. «Литературный факт». No 1 (15), 2020. С. 63.
- 34. Скорее всего, Диксон покраснел от огорчения, так как в «Современных записках» Федор Степун раскритиковал Диксона за его хвалебную рецензию, напечатанную в «Благонамеренном» (1926. № 2. С. 167) на книгу Святополк-Мирского «История современной русской литературы» (Нью-Йорк. 1926). Степун назвал его статью «ребусом» и сопроводил ремаркой: «Право, я не могу понять, почему Вл. Диксон хвалит Святополк-Мирского за то, что он своей английской книгой усилил в Англии впечатление о России как о медведе, ходящем на задних лапах…» («Современные записки». 1926. Кн. XXVIII. С. 486). Святополк-Мирский после рецензии Диксона окончательно записал молодого критика в литературные бездарности.
- 35. «Литературный факт», № 4 (18), 2020. С. 56.
- 36. Евгений Александрович Бреннер (1895, Москва, 1954, Париж). Работал в Москве в издательстве. В 1917 году эмигрировал в Берлин, работал библиотекарем и издателем. В 1926-м переехал во Францию, жил в Париже. Член правления «Товарищества Н. П. Карбасникова» (вышел из состава в 1929-м). Владелец книжного магазина и издательства «Москва» в Париже (9, гие Dupuytren, 6-е) в 1920-х нач. 1930-х. Держал оптовый склад. В 1934-м уехал в Рабат. Вернулся в 1953 году в Париж.
- 37. «Обезьянья Великая и Вольная Палата» или «Обезвелволпал» литературная игра А. М. Ремизова, была воплощением символистской идеи жизнетворчества. Обезьянья Палата, созданная в 1908 году, выражала мифотворческий потенциал Серебряного века и реализовалась как игровое осмысление идеологических и эстетических концептов Ремизова. В нее входило ок. 320 писателей. Вл. Диксон носил титул Кавалера обезьяньего знака.
- 38. Берберова, Нина. Курсив мой. Автобиография / М.: АСТ. 2014. С. 280.
- 39. Речь идет о Лоллии Ивановиче Львове (1888, Москва, 1967, Мюнхен), поэте, прозаике, историке литературы, литературном и художественном кри-

тике, журналисте. Львов окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1919-м эмигрировал в Финляндию, жил в Гельсингфорсе. Сотрудничал в газете «Новая русская жизнь» (1919–1922). В 1920–1922 гг. жил в Эстонии, затем в Софии, Праге, Берлине. В 1924 году обосновался в Париже. В годы Второй мировой войны сотрудничал в пронацистских изданиях. Служил переводчиком в армии генерала А.А. Власова. С 1945-го жил в Мюнхене. Работал на радио «Свобода» и в Институте по изучению истории и культуры СССР. В Париже издал книги: «Сто лет смерти Пушкина. Парижские отклики в 1837 г.» (1937), сборник стихов «Венок» (1938), поэму «Отъезд в Венесуэлу» (1939).

- 40. «Литературный факт», № 4 (18), 2020. С. 56.
- 41. «Возрождение». 29 сентября. № 849, 1927. Волгин Александр Борисович (1903, Херсон, 1976, Ницца), журналист, писатель, астролог. В эмиграции во Франции. Редактировал «Revue Française d'Astrologie» (1927). В 1929 секретарь Кружка русских масонов на юге Франции. Автор многочисленных работ по символизму и астрологии на французском языке. В 1938 основал журнал «Les Cahiers Astrologiques», выходил до 1983 г. с перерывом во время Второй мировой войны. Участвовал в движении Сопротивления, был депортирован в лагерь Маутхаузен. После войны занимался журналистикой.
- 42. Яновский, В. «Поля Елисейские» / Указ. издание. С. 364.
- 43. Цитата из предисловия к последней книге стихов и прозы В. Диксона.
- 44. Игорь Владимирович Воинов (Войнов, 1885—1942, Париж), прозаик, поэт. Был секретарем Вел. князя Дмитрия Павловича. Казак Усть-Быстрянской станицы Войска Донского. Участник Гражданской войны. В 1920-м эмигрировал в Финляндию. С 1923 года жил в Париже.
- 45. Воинов, И. Рассказы А. Ремизова. / «Возрождение». 10 января. № 1318, 1929.
- 46. *Кульман*, *H*. Зачем молодиться? / «Возрождение». 14 октября. № 499, 1926.
- 47. Remizoff, A. Tourgueneff, poet edureve / Paris: «Hipocrate», 1933.
- 48. «Возрождение», 25 января. № 3159, 1934.
- 49. *Резникова, Наталья*. А. М. Ремизов о себе. / Дальние берега. Портреты писателей эмигрантов // Сост. В. Крейд / М.: Республика. 1994. С. 93.
- 50. Об этом см. первую часть публикации: НЖ, №306, 2022.
- 51. Поэтическая антология «Des Imagistes» была подготовлена и издана Эрзой Паундом в 1914 году и стала яркой демонстрацией одного из модернистских движений в англоязычных литературах имажизма. Сначала публикация появилась в американском журнале «The Glebe» в феврале, затем последовала книга, ставшая одной из пяти антологий имажистов. Но только в этой книге были представлены стихи самого Паунда. Среди участников антологий были также Ричард Олдингтон, Хильда Дулиттл, Эми Лоуэлл, Фрэнк С. Флинт, Дэвид Г. Лоуренс и др.
- 52. Selected letters 1907–1941 of Ezra Pound / NY: New Direction Publishing Corporation. 1971. P. V. (перевод цитаты с англ. Е.Д.)

- 53. Джордж Антейл (George Antheil, 1900–1959), американский композитор, пианист, изобретатель. Учился фортепианному искусству в Филадельфии, затем в Нью-Йорке у Эрнеста Блоха, у которого получил и начатки композиции. В 1923-м перебрался в Париж. Сблизился со Стравинским, Эриком Сати, Кокто, Пикассо, Джойсом, Эзрой Паундом, Хемингуэем, Натали Барни.
- 54. Письмо напечатано в «James Joyce Quarterly», vol. 29, #3. Pp. 533-534. (Перевод с англ. Е.Д.)
- 55. Александр Филиппович Самойлов (Абрам Фишеливич Шмуль, 1867–1930) профессор Казанского университета, ученый биолог, физиолог и кардиолог. В 1884 г. поступил на естественно-историческое отделение физико-математического факультета Новороссийского университета (Одесса). Проявил блестящие способности в области математики. Уделял много времени изучению теории музыки, читал лекции музыкантам. С 1917 года преподавал в Восточной Казанской консерватории.
- 56. Полностью переписка опубликована в «James Joyce Quarterly», vol. 29, #3. (пер. писем с англ. ЕД.)
- 57. James Joyce Quarterly. Vol. 29. №3, 1992. Р. 540. Рудольф Штейнер (Rudolf Steiner; 1861–1925), австрийский и немецкий философ-мистик, эзотерик, литературный критик, общественный деятель, основатель духовного движения антропософии.
- 58. Виктор Мамонтов (Victor Mamontoff, ок. 1878 17 апреля, 1924, New York).
- 59. *James Joyce Quarterly*. № 58, February 17, 2021. Рукописи Виктора Мамонтова хранятся в Русском архиве в Amherst College.
- 60. James Joyce Quarterly. Vol. 29. № 3, 1992. Cc. 533-556.
- 61. *Адамович, Георгий*. [Рец. на «Ступени»] / «Звено». № 108. 23 февр., 1924. С. 2.
- 62. Набоков, Вл. Новые поэты. / «Руль». 1927. 31 августа.
- 63. *Адамович, Георгий*. Литературные заметки. Книга 1 / СПб: Алитейя. 2002. С. 70.
- 64. Надежда Городецкая (1901–1985), прозаик, журналист, литературовед, публицист, доктор философии, профессор. Печаталась на русском, французском и английском языках. Уехала из России в 1919 году. Жила во Франции и Англии. 65. Городецкая, Надежда. В гостях у Ремизова / «Возрождение». 1930. 30 декабря. № 2037.
- 66. «Числа». № 4, 1930/31. С. 270.
- 67. «Возрождение». 18 авг. № 807, 1927. Петр Бобринской/(ий), граф (1893, С.-Петербург, — 1962, Нейи-сюр-Сен, под Парижем), поэт, писатель, журналист, масон. Окончил Пажеский корпус. Учился в Петроградском политехническом институте. В 1915 году издал сборник стихов «Пандора». Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1919-м служил в Отряде особого назначения по охране лиц Императорской семьи. В 1920-м эвакуировался в Константинополь, затем переехал в Париж. Участник группы поэтов

«Перекресток». Публиковался в «Иллюстрированной России» и «Числах». Выступал с докладами о поэзии. Автор книги «Старчик Григорий Сковорода: жизнь и учение» (Париж, 1929). Участник французского Сопротивления. В 1941-м арестован и помещен в лагерь Компьень. После Второй мировой войны — постоянный сотрудник журнала «Возрождение». Работал техническим директором радиогенетической лаборатории в Париже. Когда через семь лет после его смерти вдова Мария Юрьевна (урожд. княжна Трубецкая) издала в Париже его «Стихи», Г. В. Адамович написал предисловие к сборнику.

- 68. *Терапиано, Юрий*. [Рец. на «Листья»] / «Новый корабль». №2, 1927. Сс. 52-53.
- 69. *Крайний, Антон*. Поэзия наших дней / «Последние новости». № 1482, 22 февр., 1925. С. 2.
- 70. *Адамович, Георгий*. Литературные заметки. Книга 1 / СПб: Алитейя. 2002. С. 70.
- 71. *Бобринской*, *Петр*. [Рец. на «Листья»] / «Возрождение». 18 авг. № 807, 1927.
- 72. *Бобринской, Петр.* [Рец. на «Стихи и проза»] / «Возрождение». 25 декабря. № 2032, 1930.
- 73. *Святополк-Мирский, Д*. Поэты и Россия // «Версты». № 1. 1926. С. 144.
- 74. Письмо было впервые напечатано в журнале «James Joyce Quarterly», vol. 29. # 3. С. 485. (Перевод цитаты с англ. Е.Д.)
- 75. Валтер Диксон, отец поэта, умер в 1935 году; мать Людмила Ивановна в 1955-м; сын, Иван Диксон, в декабре 2002 года.
- 76. Из предисловия к посмертной книге Владимира Диксона «Стихи и проза» / Париж: Изд-во «Вол». 1930.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ВЛАДИМИРА ДИКСОНА ЖЕНЕ

17 ноября 1929 Бухарест

Дорогая,

Это будет мое последнее письмо; возможно, оно придет, когда я уже буду дома.

У меня нет никаких новостей. Правда, уже несколько дней я чув-

Письма В. Диксона см.: Amherst Center for Russian Culture, Vladimir Dixon Papers. Series 1, Correspondence, 1909–1980. Subseries 1, General Correspondence. Публикатор благодарит Amherst Center for Russian Culture, Amherst College, за предоставленные материалы из архива В. Диксона, а также М. Адамович за помощь в расшифровке отдельных фрагментов писем Ремизовых.

ствовал себя не очень хорошо, но сейчас снова всё идет на поправку. На следующей неделе, когда я буду дома, мне нужно просто отдохнуть — теперь уже осталось меньше одного дня. Здесь стало очень холодно, и я боюсь, что скоро будет снег. Если это случится, то мой отъезд задержится, так как поезд «Восточный экспресс» всегда дожидается поезда из Констанцы¹, на Черном море, а путь от моря в Бухарест открыт для снежных заносов.

Сегодня я видел на расстоянии, примерно 200 км, свечение на солнце Карпатских гор — они казались очень далекими и загадочными: там стоит ужасный смеющийся всадник, о котором пишет Гоголь в «Ужасной мести». Когда-нибудь я бы хотел увидеть эти горы. Они полны легенд и колдовства.

Ну, дорогая, я буду скоро дома. Будь осторожна. Я не могу дождаться, когда снова увижу тебя и нашего дорогого Норби... 2

Пусть Бог благословит Вас обоих, Вова

Перевод письма с английского – Е.Д.

СЕРАФИМА РЕМИЗОВА-ДОВГЕЛЛО К ВЛАДИМИРУ ДИКСОНУ

Четверг

Владимир Васильевич,

Если бы Вы пришли без американки, Вы бы так не сделали, Вы бы поняли тот трепет, с которым я просила не брать негативы. Я всю ночь не спала, и у меня сердце болит, и я не могла лекции читать. Вы лишь не говорите правду, и потому всё приходит в голову. Я Вас прошу во имя всего святого, пришлите лишь все мои карточки и все мои негативы. Я сама уничтожу и порву со временем. Я, наверно, не буду спать до того, пока получу всё. Я Вас умоляю.

C.

Пятница

Владимир Васильевич, какая досада. Единственный день на этой неделе, когда я должна выйти, это сегодня. Все вечера была дома в

^{1.} Крупный морской порт в Румынии.

^{2.} Уменьшительное от Nordbert, имя Святого Норберта, почитаемого католиками и протестантами. Скорее всего речь идет о сыне В. Диксона, получившем при крещении в Православной Церкви имя Иван.

тишине. Приходите завтра в субботу вечером, уйдет ученица (в 4 часа), и, если придете в то время (у нее грипп), посидим тихо.

Итак, до завтра.

Христос с Вами.

С. Ремизова

Дата этих записок неизвестна. Скорее всего, 1926 год.

2 февраля 1925

Когда вы уже придете, Владимир Васильевич? Я соскучилась крепко. Сегодня лишь думалось, что вы придете, я вам так много хотела рассказать: и о том, как здесь трудно, и что было, и как одна дама — Судейкина¹ — из Петербурга приехала, и я с ней целый вечер провела, и что она рассказывала.

Из вашего письма только одно место мне неясно, уж очень Вы затемнили; в общем, я, кажется, понятливая, а тут и не поняла. Я знаю, что Вы очень добрый, и еще знаю, что Вы настоящий, и еще многое знаю. Я знаю, что Вы всё по правде написали, и у Вас душа широкая, а здесь грубая душа, а куда им? Помните, как Блок, обращаясь ко всем иностранцам, сказал: «Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит, — забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит». Блок, когда умер, совсем на себя не стал похож, а скорее на [Аню ликом²] — так она говорит. Он очень мучился последние дни, прохожие мимо дома не могли проходить, было тогда очень пустынно на улице и тихо.

Я теперь Вам про Блока всё расскажу, когда мы с Вами будем разговаривать. Я никогда над Вами не могу смеяться, что Вы? Да я думаю, Вы и сами не думаете, так в горькую минуту у Вас вырвалось. Мы с Вами будем говорить друг другу, а не отгадывать. Отгадывать – не всегда отгадаешь, и трудно. Я не поняла то место, где Вы (Зачеркнуто: свободу теряете) про свободу, которую теряете, пишете. А Петербург, она говорила мне, еще красивее стал: после наводнения все поправили, теперь большевики желают перед иностранцами хвастать, и внешний вид исправили, и пустынно в городе, и фабрик нет, нет ни пыли, ни дыму, и Зимний дворец выкрашен в голубой цвет с белым, и Публичная библиотека в серый с белым – всё, как было при Александре І. Очень, говорит, красив. Я бы хоть на день хотела туда, чтобы погулять. Она говорит, что единственный способ безопасно побывать, если бы какой-нибудь иностранец взял с собою, а иначе прямо в че-ку. Недавно из Москвы и Петербурга 20000 студентов и курсантов в Соловки выслали - кого за что, кого за дворянское или буржуазное происхождение, кого за то, что отсутствует «массовая психология», а одну барышню за то, что она на вечеринке с меньшевиком танцевала; меньшевика для изводу оставили – смотреть, с кем еще будет танцевать, а барышню-то и сослали. Ну, не буду больше писать об этом. Да, если бы могла поехать в Россию, хорошо было бы, но это теперь невозможно. Теперь везде для души плеть – и там, и тут. Там так люди боятся друг друга, я так и думала. Никаких поручений [имя нрзб.] нельзя давать, всякий его за шпиона примет.

Знаете что, Владимир Васильевич, милый, напишите мне рассказ, не отвлеченный, а на тему из Вашей жизни и принесите мне. Ладно? Я здесь только с Вами и говорю без всяких, что хочу, что на ум идет и на душу. А так я больше молчу или говорю незначительное, и потому меня тяготит быть с людьми. Вчера были «нашествия». Вот уже сколько времени я Вас перед сном вижу. Крещу мысленно — а Вы это чувствуете? Вы не мучайтесь так, Владимир Васильевич, я могу Вам легче сделать. Вы отвечайте на мои вопросы, а то Вы мимо вроде, как мои родные, мимо вопроса. А как Вы там живете и кого видите, и что делаете? Ну, до свидания, напишите, когда приедете. Я Вам снилась когда-нибудь? Кто духовно связан, тот непременно хочет встретиться в другой жизни, а всё остальное может кануть. До свидания.

С. Ремизова-Довгелло

1 ноября 1929

Владимир Васильевич, я не знала, куда Вам писать, а Вы пропали, поэтому пишу на Singer. Я – больна, у меня кашель, насморк, должно быть, грипп, пока небольшой, сегодня первый день температура не особенно высокая. Я, увы, так берегусь, чтобы опять не захворать очень, так как мой организм не отдохнул, а ослабел, всё к нему и пристает, это лишь объяснила докторше же, что была в Роскове¹. Мне снился сон будто я – в России, нелегально, но как – неизвестно. Я иду по дороге, вижу издали купола, и думаю, как я буду рассказывать о России А.М.² и Вам. Ко мне присоединились 2 крестьянских девушки, и мы вместе шли, шли и попали в избу чьюто; [нрзб.] я рассматриваю, вижу 4 иконы висят в избе рядом, думаю

^{1.} Речь идет об Ольге Глебовой-Судейкиной (1885–1945), эмигрировавшей в 1924 году и в 1925 году приехавшей в Париж.

^{2.} Крайне неразборчивые слова о том, на кого стал похож А. Блок на смертном одре, по предположению М. Адамович, читаются как «на Аню ликом», что, учитывая особые отношения Судейкиной с Анной Ахматовой, вполне ложится в контекст.

опять, как буду рассказывать А.М. и Вам. Потом пришли какие-то люди, разговаривают, как и раньше. Я опять думаю, как буду рассказывать. И вдруг я вижу, они смотрят на мои руки так внимательно. Я думаю: они по рукам узнают, что я — не простая, а тут еще были девушки, и я не знаю, что скажут обо мне и, может быть, совсем не то, что я скажу о себе. И тогда я пропала, и тогда рассказывать не придется. Тут и проснулась. И вот заболела. Всё пить, пить хочется.

Приехала Кролик³ после долгого путешествия, была в Белграде и Виши. А знаете, в «Записках охотника» есть очень хорошие рассказы. Видела свою крестницу, она очень хорошая и очень толстая, уже сидит. Когда же Вы приедете?

Христос с Вами.

 $C.\Pi.$

- 1. Роскофф старинный город на севере Франции.
- 2. А.М. Алексей Михайлович Ремизов.
- 3. Возможно, что это прозвище кого-то из посетителей Ремизовых.

ПИСЬМА АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА К ВЛАДИМИРУ ДИКСОНУ

12 июля 1926

Дорогой Владимир Васильевич,

говорил вчера Лоллию Львову 1 о Домострое 2 , и М. Струве 3 ; они знают, стоит действительно 1 долар. Напишите, не забудьте. Не хочется упускать случая.

Когда приедете, позвоните 3 раза. Извещайте. Позвоните С.П. 4 о Шартре. Я был у Аитова 5 . С неделю надо покой. Меньше двигаться и говорить поменьше. Надо скоротать время. А потом уж и мне ехать.

Если вернетесь в пятницу, пойдемте вместе и купим всё, что нужно С.П. Встречать ее не надо. С.П. надо всё приготовить. Говорил вчера со Струве. Такая книга, как «Ров львиный», теперь стоит 6½ тысяч франков, 200 стр., и «Оля» приблизительно столько же. У меня страницы не обозначены. Видите, как я пишу, это сердце бьется.

А. Ремизов

^{1.} Львов Лоллий Иванович(1888–1967, Мюнхен), филолог, историк, публицист, поэт, писатель, литературный критик. Подробнее см. Примечания к статье, № 39.

^{2.} Речь идет о переиздании «Домостроя». Ремизов заказал Диксону купить ему книгу (в письмо жене от 11.07.1926 он пишет: «Дал Dixon'y 30 frs, чтобы купил 'Домострой'»), однако приобрести издание не удалось — оно было уже продано.

- 3. Струве Михаил Александрович (1890–1949), поэт, прозаик, критик, редактор. Окончил С.-Петербургский университет. Печатался с 1906 года, выпустил книжку стихов «Стая». В эмиграции с 1920-го, жил в Париже. Член Парижского Союза русских писателей и журналистов (до 1947). Печатался в эмигрантской периодике.
- 4. Серафима Павловна, жена А. Ремизова.
- 5. Аитов Владимир Давидович (1879, Париж, 1963, Париж), доктор медицины, кардиолог, общественный деятель, масон, спортсмен. Занимался регби. Получил золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (1900). В 1904-м приехал в Россию. Заведовал терапевтическим отделением французской больницы в С.-Петербурге. Участник Первой мировой войны. В 1918-м вернулся во Францию. В 1920-м один из создателей Организационного комитета помощи беженцам при Красном Кресте. Член правления Общества русских врачей имени Мечникова, член правления Объединения русских врачей за границей. Во время оккупации Франции был депортирован в лагерь Бухенвальд. Освобожден в 1945 году. Член Временного правления Содружества русских участников Сопротивления. Награжден орденом Почетного легиона и Военным крестом. 12 июля 1926 г. Ремизов пишет жене: «Для твоего успокоения ходил к В. Д. Аитову, чтобы выслушал сердце. Он нашел, что это временное невроз, а так всё и давление, и пульс хорошие».

6 июня 1928 Париж

> Дорогой Владимир Васильевич, Что случилось, что Вас нет, и на Троицу ждал, и на Духов день. Не захворал ли? А. [Ремизов]

6.6.1928 Париж

Дорогой Владимир Васильевич,

Сегодня С.П. вернется очень поздно. Приходите завтра в пятницу вечером, когда хотите (с 7 часов).

A. [Ремизов]

19 октября 1929 г. Париж

> Дорогой Владимир Васильевич, Узнал, что «В поле блакитном» по-хорватски, изд. «Св. Иеро

нима». Будете [если], достаньте. Вчера был у Бренера¹ в «Москве»². Говорил о «Оле»³. Он думает, что можно будет предложить в «Ил. Рос.»⁴ [Миронову]⁵ взять для приложения, конечно, по пониженной цене. Я думаю, что надо согласиться. Книга лежит, мышей разводит.

Если вы согласны (что надо ликвидировать), напишите Бренеру, чтобы он сделал подсчет и денежные расчеты на «Олю». (Так узнаете, каков мыший корм – количество экземпляров).

А чтобы не замедлять дела, давайте так устроим:

- 1. Все денежные расчеты вы сами сделаете с Бренером, когда будете в Париже, всё равно как (и если устроится) с получением денег от продажи «Ил. России».
- 2. А мне дайте письмо, из которого видно, что Вы уполномочиваете меня на переговоры с Бренером (или Бреннером?) Евгением Александровичем о продаже «Оли» М. П. Миронову для приложения к «Иллюстр. России». Так мне сказал Бренер.

Я пишу Бренеру, чтобы он Вам сделал подсчет и расчет. И мне письмо Ваше:

Уполномочиваю А. М. Ремизова вести переговоры с

Е. М. Бренером о продаже книги «Оля» М. П. Миронову для приложения к «Иллюстрированной России».

В. Диксон

Наверное, так. Это ясно или еще что-нибудь прибавить? Я могу разговаривать:

- 1. Сколько сделают экземпляров?
- 2. Возьму круглую цифру (остаток могу себе взять).
- 3. За сколько он может отдать Миронову?
- 4. На комисс[ию]: Бреннеру?
- 5. Когда получить с него деньги (срок)?

Холод у нас, не топят. А одни комнаты мало греют.

И еще десять дней.

А. Ремизов

^{1.} Бреннер Евгений Александрович(1895, Москва, — 1954, Париж), владелец книжного магазина. Подробнее см. Примечания к статье, № 36. Ремизов пишет фамилию «Бреннер» как с одним «н», так и с двумя.

^{2.} Название издательства, которое основал Е. Бреннер.

^{3.} В 1926 г. Владимир Диксон издал ремизовскую «Олю» в своем издательстве «Вол» на свои деньги. По всей вероятности, он сохранил копирайт на книгу.

^{4. «}Иллюстрированная Россия» (1924–1939), еженедельный литературноиллюстрированный журнал. Издавался в Париже М. П. Мироновым на русском языке. С 1924-го по 1925 гг. журнал выходил один раз в две недели, с

1926-го и до прекращения издания – один раз в неделю. С 1929 года журнал был организатором конкурсов красоты «Мисс Россия» в Париже.

6. Миронов (наст.: Иппе) Мирон Петрович (1892, Вильно, — 1935, Париж), журналист. Работал в московской газете «Русское слово», в С.-Петербурге в газете «День». В 1918—1919 гг. в Киеве — редактор газеты «Наш путь». С 1920-го жил в Париже. Работал в газете «Последние новости» со дня ее основания. Член правления Союза русских писателей и журналистов (с 1921), секретарь Союза (с 1923). В 1924-м — основатель и редактор журнала «Иллюстрированная Россия». В 1931-м передал редактирование журнала А.И. Куприну. Награжден орденом Почетного легиона (1934). С 1934 года — редактор еженедельной литературной газеты «Семь дней».

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОВ

* * *

И одиночество мне – свет, И одиночество мне – мука. Как дам я Господу ответ, Когда придет с грехом разлука?

Где голову я преклоню, И где мой дом, мое жилище? Иду один, иду к огню, Иду слепой, иду, как нищий.

И одного теперь хочу — Чтоб в жизни грозной, доле душной Несла зажженную свечу Душа рабынею послушной.

* * *

Снова тронулись, двинулись реки, Просыпается темный лес — Всё записано, всё — вовеки, Вечной тайнописью небес.

Вижу: крест у святыни сорван И в святую землю зарыт. Вижу: кружится черный ворон – Я горюю, сердце горит.

Было горе и горе будет, Силен дух, но немощна плоть. И не в этой, а в той рассудит В жизни будущей – нас – Господь.

И для сердца — чтоб легче было, Чтоб скорей увидеть зарю, Чтоб собрать усталые силы, Свой завет опять повторю:

«Нынче душу свою и тело Отдаю Тебе навсегда», Ибо так душе повелела, Приказала в небе звезда.

ВИЗАНТИЯ

Если в глухой вологодской деревне Свечка горит пред иконой святой — Не от тебя ли, сильной и древней, Веру мы приняли, свет и покой.

Если Христос нашу землю скупую Милостью многою благословил — Разве не ты принесла нам святую Весть о спасении, радости пыл?

Темные лики на древних иконах — Твердая сила в ненастных годах; Трудно читали мы в книгах ученых, Ясно мы видели в светлых сердцах.

Свет передавшая нам Византия, Наших исканий духовная мать — Всё мы забудем, лики святые Будем с любовью душой вспоминать.

* * *

Выхожу, поднявши ворот, В беспощадную метель. В снеге скрылся черный город – Камню белая постель.

Переулки мне знакомы, Ветер за руку ведет, Строит новые хоромы, Синий снег и синий лед.

Где дорога, где ограда?.. Упаду – не поднимусь; Снег взовьется, и не надо Звать развеянную Русь.

Как ребенка, спеленает Снег упавшего в постель... Поминай меня, родная, В белоглазую метель. Париж

* * *

Всю ночь продумав и проплакав, И вопрошая тишину, Пошел стареющий Иаков За хлебом в чуждую страну.

Свой незавидный жребий бросив, Он в мире ничего не ждал — Но вот опять пред ним Иосиф Из мертвых радостно восстал.

Так я – проплакав и продумав Часы и годы напролет, От голосов и злобных шумов Иду за хлебом в трудный год.

И где — под солнцем, под луною, В какой неслыханной глуши Из мертвых встанет предо мною Иосиф — сон моей души.

Париж

* * *

Я прошел за грань греха и блуда, Не оглядываясь, не дрожа, И узнал – какие в мире люди, И какая у меня душа.

Звездный путь вернее и короче, Но прошел я на земных путях – И узнал, что есть такие ночи, От которых слезы на глазах.

Я узнал, как в зеркале бесстрастном Мутный взор себя не узнает, И с каким волнением напрасным Гордый дух себя не узнает.

Я узнал – всего не перечислить, Не поведать, не пересказать – Я узнал – от слякоти очистить Может в мире только благодать.

Я узнал – и был мне свет отраден, И в огне душа была чиста – Всякий путь не нужен и неладен, Если нету на пути Христа.

* * *

Любовь – и крылья за спиной, Войду ли в дом, где сердце бъется? Не от небес – и не земной – В пустыне жажду у колодца.

Но крыльев нет – и нет любви, И призрак здесь, и призрак – рядом. Лицо холодное в крови, И рожь в полях побита градом.

Мои следы во всех краях: Прошел землей и плавал морем; И всюду – неотвязный страх Преследует огнем и горем.

И крыльям тесно на земле, И крылья вырасти не могут – В тумане, в безответной мгле Тревогой – в тень навеки вогнут... * * *

Чужому не растолковать, Чем сердце ты околдовала, И тот, кто в духе видит мало, Твою не вскроет благодать.

Ты – всех земель благословенней, И всех таинственней вовек (смерть призывает дровосек, но смерть идет, и жизнь блаженней).

Кто не родился в тех краях, Кто дивной речью не баюкан, Не будет в жизненных путях Тебе – родным, а только – другом.

И только русская любовь В пути заплачет Ярославной О том, что льется братьев кровь Над горем веры Православной.

Тише, тише, сердце, бейся, Голосам небес внимай; На земное не надейся, О земном не вспоминай.

* * *

С немерцающей звездою Тайный разговор веди; Убегающей тропою В даль холодную иди.

По путям далеким, снежным, Тихим странником ступай. Будь торжественным и нежным. Заступайся и страдай.

Тише бейся, глубже ведай, В мире благостно живи Немерцающей победой Всеобъемлюшей любви.

 Π убликация, текстология, комментарий — E. Дубровина

Владимир Хазан

«Шикарный европейский солдат»

Владимир Сосинский в годы войны

Среди многочисленных литературных деятелей русской эмиграции, труды и дни которых всё шире и глубже открываются в последние годы, Владимир (Бронислав) Брониславович Сосинский (1900–1987) – типичный «знакомый незнакомец». С одной стороны, его имя давно и прочно внесено в многочисленные энциклопедии, биобиблиографические словари, справочники, именные указатели и пр. полезно-познавательный разряд научной литературы; информация о нем доступна во всезнающем интернете; нет недостатка – в том числе с помощью того же интернета - в его мемуарных текстах, в основу которых легли устные рассказы-выступления в людном зале ЦДЛ и других хорошо прослушиваемых заинтересованными органами аудиториях - то немногое, что после его возвращения из эмиграции на родину дозволяло ему советское идеологическое начальство. Однако, с другой стороны, кроме двух книг, которые составили рассказы и воспоминания этого талантливого человека, чья судьба и круг общения с людьми, которых он встречал на своем долгом жизненном пути, был близко знаком, приятельствовал или водил дружбу, с которыми переписывался или о которых писал – А. Ахматова и М.Цветаева, Б. Пастернак и И. Бабель, А. Ремизов и Н. Бердяев, Н.Гончарова и М. Ларионов, Е. Пешкова и К. Чуковский (перечислять можно еще и еще), – не существует ничего другого, по крайней мере, в жанре старомодных «бумажных скрижалей», что хранило и охраняло бы память о нем. Первая из книг, собранная и изданная стараниями его сыновей Алексея Владимировича (составитель и комментатор) и Сергея Владимировича (автор вступительной статьи), вышедшая два десятилетия назад1, и вторая, недавняя2, ставили своей главной

Автор сердечно благодарит Алексея Владимировича Сосинского, сына Владимира Сосинского, за неоценимую помощь в ходе подготовки данной публикации и предоставленную возможность работать с семейным архивом; искренних слов благодарности заслуживает также сотрудник Института мировой литературы (Москва) Лариса Жуховицкая, оказавшая ощутимое практическое содействие в достижении труднодоступных материалов.

целью познакомить читателя с этим увлекательным мемуаристом, непревзойденным рассказчиком и искусным новеллистом. Тексты Сосинского, рождавшиеся как свидетельство его уникальной судьбы, позволяют увидеть бурную историю двадцатого столетия не из какогото единственного, а из разных пунктов обзора – и глазами эмигрантаизгоя, и участника литературы в изгнании, и ратника Второй мировой войны на стороне la France combattante (Сражающейся Франции), и работника аппарата ООН, и «возвращенца», прожившего в Москве до перестроечной эпохи. При этом сам образ рассказчика у Сосинского, оставаясь единым и неизменным, приобретает в водовороте исторических событий многочисленные и разнообразные социальные статусы и маски. Возможно поэтому Сосинский пользовался хотя и не новым, но неизменно эффективным литературным приемом отделения собственного «я» от условного рассказчика-персонажа, которому еще в 20-е годы дал имя Владимира Григорьевича Устирсына, в одних случаях играющего роль писательского alter ego, а в других расколотого и амбивалентного, хотя не абстрактного, а вполне персонифицированного авторского сознания.

В Гражданскую войну Сосинский сражался на стороне белых³ и позднее, в зависимости от того, кому адресовал свою «повесть о пережитом», он по-разному акцентировал итоги тогдашнего политического и, в сущности, главного жизненного выбора. В автобиографии, написанной в советские годы (10 марта 1964), читаем: «...дрался не за правое дело и вот почему был наказан сорокалетним изгнанием — с июня 1920 по 10 мая 1960 г.»⁴. А в узком кругу, указывая на портрет Ленина, говорил: «Я очень благодарен этому человеку: он подарил мне лучшие сорок лет моей жизни».

Эмигрировав, Сосинский проделал обычный для своего поколения путь кочевника по многим странам и весям, перепробовал десятки профессий и прошел, что называется, огонь, воду и медные трубы: жил в Константинополе, где работал «хамалом» (портовым грузчиком) и шахтером и учился там в Русском лицее, соблазнившись жильем и питанием, которые получали великовозрастные ученики; потом в болгарском Шумене окончил Русскую гимназию, учился в Софийском и Берлинском университетах и, наконец, в парижской Сорбонне, не завершив образования ни в одном из них. Поселившись в Берлине, стал членом группы «Четыре плюс один», которую, кроме него, дебютировавшего своими первыми рецензиями⁵ и мечтавшего о громкой литературной славе, составили поэты Вадим Андреев, Георгий Венус, Семен Либерман и Анна Присманова. В Париже, куда он затем переехал, Сосинский работал слесарем-прокатчиком на автомобильном заводе «Рено», картографом в Hachette (французское

акционерное общество по изданию, рекламе и распространению книг и периодической печати), рисовал куклы на фабрике игрушек, устроился в фотоателье к известному фотографу П. Шумову, раскрашивал шелковые платки в красильной мастерской. В 1926 году Сосинского взяли в издательский отдел Торгпредства СССР в Париже, а оттуда он перекочевал во Франко-Славянскую типографию, с которой, по существу, связана вся его предвоенная жизнь во Франции: сначала в качестве простого наборщика, а затем ее директора. Причем достиг он в этой области высот профессионального искусства – см., например, в письме М. Слонима к жившей в США поэтессе Р. Чеквер, основательнице и владелице парижского издательства «Рифма», в котором он пишет о недостатках обложки коллективного поэтического сборника «Эстафета» (1948) и советует показать ее Сосинскому как специалисту по типографскому делу⁷.

Творческий труд Сосинского, новеллиста и, главным образом, литературного критика, шел как бы параллельным курсом. Рассказы, им написанные, такие, как «Последний экзамен» («Благонамеренный». 1926. № 1), «Ita Vita» («Воля России». 1926. № 4), «Устирсын» («Своими путями». 1926. 12/13), «Трус» («Воля России». 1930. № 10), «Пан Станислав» («Числа». 1931. № 2/3), и др., не выделялись какими-то заметными художественными достижениями и не выдвинули его в разряд ярких молодых эмигрантских писателей. И все-таки литературную жизнь русского Парижа 20-30-х гг. трудно представить без этого имени. Главной, однако, его «специализацией» была, без сомнения, литературная критика – здесь Сосинский чувствовал себя наиболее уверенно и «в своей тарелке», отзываясь рецензиями или краткими аналитическими обзорами на появлявшиеся в печати книги и журнальные новинки. Его деятельность как критика до нынешнего дня не изучена; рецензии, разбросанные по различным эмигрантским периодическим изданиям (в большинстве своем в «Воле России», а также в журналах «Своими путями», «Русские записки», «Числа» и в немалой степени – в переводе на сербский язык – в белградском журнале «Руски архив»8), не собраны воедино, и его роль как одного из организаторов литературного процесса (секретарь чрезвычайно важного и значимого в истории русской зарубежной культуры 1920–30-х гг. журнала «Воля России») по достоинству не оценена.

Даже в серьезных научных изданиях в отношении Сосинского царит путаница и, вопреки, так сказать, действительной литературной квалификации (прозаик, литературный критик), его ошибочно причисляют к цеху поэтов⁹. Что уж говорить о сочинениях, переполненных ошибками, ложными утверждениями и громадным количеством неточностей, в которых сообщаются факты, заведомо недосто-

верные и не имеющие никакой связи с истиной: например, то, что подлинной фамилией Сосинского была Оболенский¹⁰.

Биографическая канва Сосинского – с различной степенью подробностей – излагалась не раз и по многочисленным поводам. В общем виде она сводится к следующему.

Володя Сосинский, или, как его называли в детстве, Брунчик, родился 21 августа (по н.ст.) 1900 г. в Луганске, в семье инженера Бронислава Эдуардовича Сосинского (1863–1937), который в силу неуживчивого характера часто менял не только виды работы, но места обитания. Семья вслед за ним вынуждена была колесить по всей России и перебираться из одного города в другой; ребенком, а потом и юношей, Сосинский поменял немало учебных заведений: сначала учился в Луганске, затем в Боровицком (Новгородская губерния), 1-м Петроградском, Венёвском (Тульская губерния), Бердянском реальных училищах. В последнем его застал революционный Октябрь 1917 года.

Сосинский-старший был дважды женат: первой его женой, матерью Володи, была Анна Шёнберг, умершая при родах. Старший из детей, Константин, погиб в годы Первой мировой войны; сестра Анна умерла от туберкулеза в 1919 г. в Бердянске, а Евгений Брониславович, которого А. Ремизов, склонный к карнавальным забавам, в том числе и ономастическим, перекрестил в Комарова¹¹ (1895–1958)¹², начав эмигрантскую жизнь в Париже с широко распространенной в русской беженской среде профессии таксиста, открыл со временем свой гараж, где занимался ремонтом и прокатом машин¹³.

После смерти первой жены отец Сосинского взял в дом в качестве Эмму Августовну Семихат (урожд. Ассмани; 1873-1947). В свое время она приехала в Россию из Швейцарии с целью устроиться в какой-нибудь состоятельной семье, но была похищена в пути неким Григорием Семихатом, который, сразу же в нее влюбившись, забыл о своих темных, грабительских намерениях и предложил стать его женой. В их браке родился будущий сводный брат Сосинского Борис. Что стало с отцом Бориса, когда Эмма попала в дом Сосинских, неизвестно, но все факты говорят за то, что она овладела сердцем овдовевшего Бронислава Сосинского, которого смущало лишь одно: может ли он, потомственный дворянин, жениться на женщине, стоящей ниже него на социальной лестнице, - по существу, на собственной прислуге? Допустим ли сей мезальянс в глазах окружающих, да и собственной семьи? Проблему эту Сосинский-старший разрешил, однако, очень просто: он уравнял себя с будущей супругой тем, что объединил две их фамилии в одну: Сосинский-Семихат.

В свидетельстве о рождении Сосинского-младшего, выданном

после заключения второго брака отца, он значится как Бронислав Владимир Рейнгольд Сосинский-Семихат (формально Бронислав Эдуардович позиционировал себя в качестве лютеранина, хотя был атеистом, и, как принято у протестантов, давал своим детям несколько имен). Когда на основании этого свидетельства Владимир Брониславович получал во Франции нансеновский паспорт, он был записан как Bruno Sossinsky-Semikhat, а годы спустя в советском — Бронислав Брониславович Сосинский-Семихат. В то же время для своего близкого — родственного, дружеского, приятельского — окружения он был Володей, в официальной обстановке — Владимиром Брониславовичем, то же — «Владимир Брониславович Сосинский-Семихат» — выбито на его могильном камне¹⁴.

Для старшего поколения Сосинских немецкий язык был родным, поэтому дети наряду с русским знали его безупречно.

Из детских лет Володи-Брунчика-Бронислава нам известно не очень много, поэтому каждый новый штрих представляется здесь и интересным, и важным. Как, например, беглый наплыв памяти, которым уже повзрослевший Сосинский делится в публикуемом ниже письме к жене, Ариадне Викторовне, написанном 21 декабря 1939 г. из военного лагеря Баркарес:

Да, о хождении из угла в угол. Помню эту привычку за папой. И помню, как мы, дети, шептали с мистическим уважением: «Папа ходит, папа выдумывает новую машину». И мама усиливала эффект: «Тише, дети, не мешайте папе думать».

С упомянутым сводным братом Борисом Сосинский отплыл в 1920 г. из Крыма в долгое эмигрантское странствие. До этого он был ранен в боях на Перекопе, попал в симферопольский госпиталь, где переболел тифом, – там его случайно и нашел Борис.

Об этом периоде своей жизни Сосинский рассказывал так:

Борис тогда был матросом первого класса на пассажирском небольшом, но очень элегантном, пароходе «Князь Александр Михайлович». Курсировал он между Константинополем и Севастополем. Занимался (не пароход, а Борис) контрабандой турецкого табака. Я сам ходил с ним по магазинам Севастополя, где он загонял этот табак. Будучи сыном разбойника на больших дорогах между Ташкентом и Самаркандом, он был прирожденным авантюристом, и даже став в начале тридцатых годов ведущим архитектором Буэнос-Айреса, превращался то в миллионера, то в нищего, проигрывая все деньги на бирже или в рулетку.

Поместил он меня на своем пароходе в котельной. Помню этот жуткий переход Черного моря. Жарился я два дня и две ночи, как на сковородке в аду, задыхался и терял сознание. А выйти на палубу нельзя было: заяц и при этом дезертир.

В Константинополе, которым правили тогда победители Турции — союзники, Борис купил мне документы и, чтобы они не выдали меня обратно Врангелю, не на мое имя, а на имя Владимира Григорьевича Семихата, на этот раз единственного, родного, а не сводного брата Бориса Семихата¹⁵.

В Константинополе дороги братьев разошлись: во второй половине 20-х гг. Борис Григорьевич Семихат оказался в Праге, откуда не позднее октября 1930 г. переселился в Аргентину, где, судя по всему, завершил свои дни. В архиве Сосинского сохранилось несколько его писем, свидетельствующих о том, что, разлучившись и пойдя каждый своей жизненной дорогой, братья поддерживали связь. Их отец, родной Владимира и отчим Бориса, остался с женой в России, при советской власти был преподавателем ПТУ в провинциальном городке Дружковка Донецкой области; Владимир Брониславович будет получать в Париже письма от своей приемной матери.

В Константинополе Сосинский познакомился и близко сошелся с Вадимом Андреевым и Даниилом Резниковым («Додой») — дружба «трех мушкетеров» не только продлится до конца их дней, но и превратится в родственную связь, когда все трое женятся на трех сестрах Черновых — двух приемных и одной родной — известного политического деятеля, идеолога эсеровской партии, бывшего председателя разогнанного большевиками Учредительного собрания В. М. Чернова. Турция же станет памятным знаком их молодости и своего рода многоговорящим топосом в летописи жизненных странствий — сравним в публикуемом ниже письме Сосинского Андрееву от 5 ноября 1939 г., где новая, военная, реальность, опрощенная и освобожденная от домашнего комфорта и уюта, ассоциируется с годами их давнего обитания на турецкой земле:

Запасись средствами против блох, клопов, а бывает и худшее. Не ленись захватить возможно больше теплого. Особенно береги желудок, зубы и ноги. Помни о днях, когда вещи приобретают неповторимую ценность.

В большой семейный клан Сосинских—Андреевых—Резниковых— Черновых, члены которого так или иначе вовлечены в ниже публикуемую переписку или упоминаются в ней, входили:

- Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова (урожд. Колбасина; 1885–1964), писательница, журналистка, общественный деятель, мать трех сестер Ольги, Наталии и Ариадны (жены Сосинского); домашние называли ее Меу так она и именуется в публикуемых ниже письмах;
- поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист Вадим Леонидович Андреев (1902/1903—1976), сын известного русского писателя Л. Н. Андреева, и его жена, художница Ольга Викторовна ([Митрофановна], урожд. Федорова; после удочерения Чернова¹⁶; 1903—1979), дочь от первого брака О. Е. Колбасиной-Черновой и художника М. С. Федорова¹⁷, приемная дочь В. М. Чернова; их дети: Оля (1930) и Саша (1937—2016);
- сестра-близнец Ольги Викторовны Наталья Викторовна Резникова (1903–1992) и ее муж, литератор и издатель Даниил Георгиевич Резников (1904–1970) и их сыновья: Андрей (1930) и Егор (1938);
- жена Сосинского Ариадна Викторовна Чернова (1908–1974) и их сыновья Алеша (1937) и Сергей (1944–2004).

Письма, отобранные для настоящей публикации, относятся к той поре в биографии Сосинского, когда ему пришлось отказаться от относительно налаженного быта, пусть по-эмигрантски и неустойчивого, и вспомнить боевую молодость: Вторая мировая война вновь превратила Владимира Брониславовича в солдата. Точнее, он превратился в него сам, поскольку никакой иной труд, кроме ратного, не казался ему приличествующим мужчине в эпоху мировых военных потрясений. Не подлежа по возрасту мобилизации, он, тем не менее, пытался вступить во французский Иностранный легион, «подходивший его романтическому темпераменту», как впоследствии снайперски точно выразилась его племянница¹⁸. Как мы узнаем из публикуемого ниже письма (от 22 октября 1939), от этой акции его отговаривали даже близкие люди, в частности, друг и свояк Вадим Андреев («'сохрани тебя Бог' подписывать контракт в Иностранный Легион!»). Кстати сказать, поначалу от услуг Сосинского отказались, но, в конце концов, его настойчивость взяла верх: под именем Bruno Sossinsky он был зачислен в 4-й Маршевый полк иностранцев-добровольцев. При этом не новичок в воинской профессии, глотнувший гари Гражданской войны у себя на родине, он был почти сразу после зачисления произведен в капралы – младшее офицерское звание во французской армии.

Письма Сосинского, включенные в публикуемую подборку, написаны главным образом из учебного лагеря Баркарес (Le Barcarès), расположенного на юге Франции, в департаменте Восточные Пиренеи, имеющем выход к Средиземному морю. В письме, датиро-

ванном 18 марта 1940 г. и адресованном Ольге Андреевой, сестре своей жены и жене Вадима Андреева, он писал:

Жаль, что вы, и детишки особенно, не могут видеть меня в обновках: какие штаны-гольф, какие ботинки — и в полной амуниции — в каске и газовой маске и со всеми сумками — шикарный европейский солдат!

В одном из будущих боев «шикарный европейский солдат» был тяжело ранен и взят в плен. Много лет спустя он так описывал свое ранение в письме к К. Симонову (первая половина 1970-х), который прилагал немалые усилия, чтобы роман Сосинского «Битва за Францию» был опубликован в Советском Союзе¹⁹:

Я был ранен под деревней Домреми, где родилась Жанна д'Арк. Осколки от разорвавшегося снаряда коснулись моего виска, разорвали пополам каску — поцарапали локоть правой руки, лежащей на походном дневнике, вонзились в ноги сидящего на корточках писателя²⁰. Тем же снарядом был убит мой пулеметчик капрал Керн (!) из Сорбонны и превращен в комок раздавленного железа FM (модель 1934) — гордость нашего взвода²¹.

В немецком лагере для французских солдат, расположенном под Потсдамом, когда он попал в плен, Сосинский, в совершенстве владевший немецким языком, выполнял роль секретаря начальника лагеря. Почти неправдоподобный сюжет его освобождения из лагеря заслуживает особого рассказа. Вкратце эта невероятная, но реально произошедшая история сводится к тому, что ему удалось подделать письмо якобы от немецкого командования, требующее его освобождения из плена. Так он, солдат Иностранного легиона, «самоосвободился» из немецкого заключения и в 1943 г. вернулся во Францию.

Из Парижа Сосинский отправился на Олерон²², где к тому времени собралось всё немалое семейство, перечисленное выше. Там, на Олероне, с ноября 1943-го по январь 1945-го, он принимал участие в партизанском движении, и хотя этот исторический эпизод Второй мировой войны, в целом, и как героический кусок биографии Сосинского, в частности, отчасти освещен в соответствующей литературе²³, его полномасштабное описание, в том числе отложившееся в архиве Владимира Брониславовича, еще только ожидает своего часа.

За проявленное «в битве за Францию» мужество Сосинский впоследствии был награжден Военным крестом с мечами и получил из рук французского правительства шесть медалей, а вернувшись в 1960 году на родину, — медаль «За отвагу». Если к этому прибавить упоминавшийся выше орден Николая Чудотворца, врученный ему лично генералом П. Н. Врангелем, нельзя не согласиться с сыном обладателя всех этих знаков отличия воинской доблести, связанных со столь разнообразными военными событиями и странами, который пишет, что «вряд ли можно найти многих людей в истории с таким же набором наград»²⁴.

С марта 1947-го по март 1960-го Сосинский работал в ООН редактором стенографических отчетов Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Комитета по разоружению. 10 мая 1960 г., вместе с женой и младшим сыном Сергеем, он вернулся на родину (старший сын Алексей приехал в Москву на три года раньше).

До этого Сосинские посещали Советский Союз дважды — в 1955 и в 1957 годах. 12 мая 1955 года Н. В. Резникова в письме своему кузену, известному эсеру, писателю и переводчику В. В. Сухомлину, примкнувшему к одной из первых групп послевоенных советских «возвращенцев», сообщала о том, что

...получила письмо Ауки²⁵, трепещущее от радости: home leave ее заветная мечта. З месяца каникулов на родине! Кто что и чем и чему, а она радуется возможности в родном лесу послушать пенье и чириканье настоящих «своих» птиц—и не моря-океаны и не выставки-музеи ее привлекают. Они довольно скоро поедут— Володя всё еще на конференции по разоружению в Лондоне— его любят, и он на хорошем счету: потому так всё хорошо вышло. Я еще совсем не знаю, как осуществится их поездка,— куда они поедут сначала и где будут жить. Она ничего не пишет мне, и ее короткое письмо радостное чириканье²⁶.

Приехав в Россию летом 1955 года и остановившись в поселке Кратово (Московско-Рязанской железной дороги), Сосинские письменно предложили Борису Пастернаку встретиться и познакомиться визуально. 14 июля поэт отвечал им:

Благодарю Вас, милые Ариадна Викторовна и Бронислав Брониславович, за Ваши добрые чувства и пожелания, но сейчас от мысли о встрече придется отказаться и отложить ее исполнение на большой срок, до будущего вашего приезда, — я очень занят.

Это не слова, я действительно долгое время был отвлечен работой, печатного осуществления которой я, наверное, не увижу. Писанием романа в прозе «Доктор Живаго», вещи неактуальной и едва ли кому нужной, которую я подвожу к концу и должен закончить, потому что она задерживает другие мои занятия, более

насущные и неотложные, вызванные несколькими недавними и срочными театральными предложениями.

Что я не преувеличиваю степени своего недосуга, заключите вот из чего. В планы Гослитиздата включен выпуск избранного собрания моих стихотворений, и я не заключаю на них договора и всячески оттягиваю реализацию этого предположения за недостатком времени (и слабостью желания).

Наверное, мне не только приятно было бы познакомиться с Вами, но, может быть, Вы даже могли бы сообщить мне чтонибудь интересное, имеющее ко мне отношение, из того, чего я, правду говоря, о себе совершенно не знаю, и вот я временно и от такого соблазна вынужден отказаться. Так не сердитесь же и не обижайтесь. До следующего, более счастливого обмена вестями. Всего лучшего Вам обоим.

Ваш Б. Пастернак²⁷

Однако новый, советский, этап в жизни бывшего эмигранта Сосинского – это уже тема другого, совершенно отдельного рассказа из многочастной, многостраничной и насыщенной бурными событиями жизненной эпопеи этого человека.

Публикуемые письма любопытны во многих отношениях. Написанные Сосинским из лагеря Баркарес, в котором готовили солдат к подвигам на поле брани, однако в котором по условиям drôle du guerre («Странной войны») шла полувоенная-полумирная жизнь, эти письма интересны как описание быта и нравов разнонациональной человеческой массы. Несколько последующих были отправлены уже непосредственно с поля боя. В тех и других в особенности примечательным является то, что «любитель буквенных линий», как его довольно точно охарактеризовала одна из знакомых²⁸, Сосинский к своим письмам жене относился, судя по всему, не только как к беседе с самым близким и родным ему человеком, но и, сверх того, сугубо пописательски – в качестве возможности запечатлеть на бумаге течение военных будней. Частные письма как бы изначально содержали в себе интенцию поведать историческую повесть о пережитом. Недаром эта, если можно так выразиться, «двойная функциональность» его эпистолярных повествований послужит впоследствии основой некоторых сцен и описаний в романе «Битва за Францию»: он будет вставлять в романный текст целые куски из собственных писем, достигая тем самым как бы идеального «эффекта присутствия», ненадуманной детальной фактографии и живого свидетельства от первого лица. Творческая ангажированность эпистолярного нарратива Сосинского в этом случае окажется в особенности прозрачной; он озвучил его с непосредственной откровенностью: «Я решил, начиная с сегодняшнего дня, записывать в свой дневник лишь вещи, которые неудобно посылать вам, — всё остальное я буду сообщать тебе — и ты эти письма сохранишь для моей будущей книги» (Письмо № 1, от 22 октября 1939). Поскольку письма Ариадне Викторовне писались им ежедневно, из поля зрения почти ничего не исчезало, и в них тщательно воспроизводилась любая мелочь. Такая организация эпистолярного материала, в соответствии со своего рода законами романной композиции, подчеркивалась еще и строгой нумераций каждого письма как отдельного фрагмента текстового корпуса будущей книги, название которой он сообщает жене в том же письме — «Записки легионера».

Можно было бы, конечно, ограничить нашу публикаторскую задачу перепиской супругов Сосинских 1939—1940 гг., тем более что она сохранилась почти в идеальном состоянии. Однако, во-первых, писем такое количество, что они не могут быть вмещены в ограниченные рамки журнальной публикации и требуют для своей целостной презентации более широкого и объемного формата — в идеале книжного, а во-вторых, более заманчивой, нежели эпистолярный диалог супругов, оказалась перспектива эпистолярного полилога (или, если быть более точным, полуполилога, поскольку автором публикуемых писем, исключая лишь двух его корреспондентов — Б. Вильде и А. Каффи, — является сам Сосинский).

Краткая биографическая справка А. Каффи дана в примечании к его письму Сосинскому (см. № 19, от 6 мая 1943). Представлять же казненного нацистами одного из легендарных героев французского Сопротивления, русского эмигранта, поэта, лингвиста и ученогоэтнографа Бориса Владимировича Вильде (1908–1942), как кажется, нет особой необходимости — его имя сегодня широко и повсеместно известно. Тем интереснее установить связь главного героя настоящей публикации с еще одним персонажем, входившим в его достаточно масштабное и разноликое *milieu*.

Письма печатаются в соответствии с современными грамматическими нормами. Излюбленный синтаксический знак Сосинского — энергичное тире, выражавшее его активную эмоциональную жизнь и заменявшее, как правило, запятые, оставлено по умолчанию лишь в тех случаях, где его присутствие можно хоть как-то объяснить.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сосинский, Владимир. Рассказы и публицистика / М.: Российский Архив, 2002 (далее: Сосинский. 2002).

- 2. *Дувакин, В. Д.* Беседы с Ариадной и Владимиром Сосинскими. Воспоминания о Ремизове, Махно, Цветаевой и других / Коммент. В. В. Радзишевского // М.: Common place; Устная история, 2020.
- 3. «Я умел ездить и на английском седле, при рыси облегчаясь, и трястись в седле, как донской казак или техасский ковбой, стоя на стременах», писал он, оглядываясь назад, на минувшие годы (Сосинский. 2002. С. 39). За свою воинскую доблесть, а не только, надо полагать, за молодцеватую осанку и искусное сидение в седле Сосинский был награжден орденом Святителя Николая Чудотворца, которым обычно отмечались «выдающиеся воинские подвиги, проявленные в борьбе с большевиками».
- 4. РГАЛИ. Ф. 2505. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
- 5. Первые критические опыты Сосинского (под псевдонимом Б.С.) появились в литературном приложении к сменовеховскому «Накануне» в 1924 году см., например, рецензии на № 20 ковенского журнала «Эхо» за 1923 (1924. № 11 (528). 12 января. С. 7); на сборник «Очерки по поэтике Пушкина» (Берлин: Эпоха, 1923, в № 22 (539). 27 января. С. 7); на книги Р.Роллана «Махатма Ганди» (№ 28 (545). 3 февраля. С. 6) и Н. Гумилева «Французские народные песни» (Берлин: Петрополис, 1924, в № 40 (557). 17 февраля. С. 7).
- 6. Ср. в автобиографической прозе (1927): «Я же, друзья мои, переменив много специальностей от забойщика в турецких шахтах до фотографа, попрежнему все дни занимаюсь не своей специальностью, но до сих пор изредка посещаю Сорбонну» (Сосинский. 2002. С. 31).
- 7. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture, Columbia University. Ms. R. Checkver Collection, Box 2.
- 8. См. их перечень в кн.: *Грујић, Драгана; Ђоковић, Гордана*. Руски архив, 1928–1937: Библиографија / Београд: Институт за књижевност и уметност, 2012. Сс. 80-81.
- 9. Smith, G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii, 1922—31 / University of Birmingham, 1995 (Birmingham Slavonic Monographs). Р. 198; Цветаева, М. Неизданное. Сводные тетради / Подг. текста, предисл. и прим. Е. Б. Коркиной и И. Д. Шепеленко / М.: Эллис Лак, 1997. С. 607; Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Под общ. ред. Н. П. Челышева и А. Я. Дегтярева; гл. ред. Ю. В. Мухачев // М.: Парад, 2006. С. 493; Российское зарубежье во Франции, 1919—2000: Биографический словарь: в 3-х томах. Т.3 / Под общ. ред. Л. Мнухина <et al.> // М.: Наука; Дом-музей М. Цветаевой, 2010. С. 182 и др. Между тем, кроме поэмы «Бог и Человек», написанной юным Сосинским, учащимся бердянского реального училища, неизвестны, как кажется, никакие другие его поэтические опыты.
- 10. *Glad, John*. Russia Abroad: Writers, History, Politics / Tenafly, NJ: Hermitage & Birchbark Press, 1999. Р. 719. Там же сообщается неверная дата смерти Сосинского 1983 год. (Р. 599). Нашу рецензию на это сочинение, изоби-

- лующее немыслимым количеством ошибок, неточностей и ложных утверждений, см.: From the Other Shore: Russian Writers Abroad, Past and Present (Toronto). 2001. Vol. 1. Pp. 147-151.
- 11. Ср. в Дневнике Сосинского: «Для того, чтоб братьев не путали, Алексей Ремизов перекрестил моего Евгения на Комарова» / Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом). Р. І. Оп. 25. Ед. хр. 591. Л. 368.
- 12. Год рождения, указанный в бумагах из семейного архива Сосинских; в биографическом словаре «Российское зарубежье во Франции, 1919—2000» значится как 1892-й, см.: Российское зарубежье во Франции: в 3-х томах. Т. 1 / Под общ. ред. Л. Мнухина <et al.> // М.: Наука; Дом-Музей Марины Цветаевой, 2008. С. 719.
- 13. Странную ошибку допускает Е. Р. Обатнина, автор ценного исследования об Обезьяньей Великой и Вольной Палате созданного А. Ремизовым смехового ордена творческой интеллигенции, определяя Е. Комарова не как брата Сосинского, к тому же старшего, а как его сына (*Обатнина*, *Е. Р.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах / СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 360).
- 14. Следует заметить, что вариативность имени Сосинского порождает в научной литературе забавные прецеденты двойничества. См., к примеру, в сборнике статей «Литературное зарубежье как культурный феномен» (М.: ИНИОН РАН, 2017), где в индексе имен появляются Б. Б. и В. Б. Сосинский как две разные персоны (С. 276).
- 15. Сосинский. 2002. С. 40.
- 16. Строго говоря, Ольга и ее сестра Наталья официально не были зарегистрированы как Черновы, поскольку брак В. М. Чернова с их матерью О. Е. Колбасиной остался неоформленным.
- 17. См. о нем: Художник Митрофан Федоров, 1870—1941 / Сост. М. С. Шендорова, Л. Е. Шендорова // Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2013.
- 18. Андреева-Карлайл, Ольга. Остров на всю жизнь: Воспоминания детства: Олерон во время нацистской оккупации / Пер. Л. Е. Шендеровой-Фок; Послесл. Н. А. Громовой // М.: Изд-во АСТ: Редакция Е. Шубиной, 2021. С. 31 (далее: Андреева-Карлайл. 2021).
- 19. Все эти старания, в конце концов, оказались напрасными: советская идеологическая машина и выработанная ею эстетика социалистического реализма чутко улавливала «чужой» тон в самой технике литературного повествования бывшего писателя-эмигранта.
- 20. Прим. Б. Сосинского: «Моя последняя фраза в этом дневнике примерно звучала так: 'Весь горизонт усеян темными или сверкающими точками это идут на нас танки Гудериана. Сейчас будем сниматься и... драпать дальше'. (В историю эти бои вошли под термином: Bataille de France.)»
- 21. РГАЛИ. Ф. 1814. Оп. 9. Ед. хр. 2248. Л. 20-20 об.

- 22. Именно туда адресовано одно из двух писем А. Каффи, завершающих данную публикацию.
- 23. Андреев, В., Сосинский, В., Прокша, Л. Герои Олерона / Минск: Беларусь, 1965; Андреев, Вадим. История одного путешествия / М.: Советский писатель, 1974 (завершающая часть 3-й книги, «Через двадцать лет»); Андреева-Карлайл. 2021 (1-е, английское, изд.: Carlisle, Olga. Island in Time: A Memoir of Childhood / New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980); см. также художественное изображение олеронских событий в рассказе Сосинского «Срубленная ель» («Новоселье». 1947. № 31/32. Январь-февраль. Сс. 40-80) и др.
- 24. Сосинский. 2002. С. 13.
- 25. С легкой руки А. М. Ремизова, Ариадну Викторовну Чернову-Сосинскую, любившую лес, в доме называли Аукой от «аукать»: перекликаться в лесу. 26. ОР РГБ. Ф. 543. Карт. 18. Ед. хр. 43. Л. 54.
- 27. РГАЛИ. Ф. 2505. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 13-13 об. Встреча Сосинских с Пастернаком произошла уже в их следующий приезд в СССР в 1957 году.
- 28. *Козловская, Галина*. Шахерезада: Тысяча и одно воспоминание / М.: Издво АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. С. 265.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ДРЗ – Дом русского зарубежья им. А. Солженицына (Москва)

ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва)

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

HIA – Hoover Institution on War, Revolution and Peace (Stanford University, USA)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – АРИАДНЕ СОСИНСКОЙ

Баркарес – Олерон 22 октября 1939

Camp du Barcarès, Dimanche 22 octobre 1939

После принесения присяги французскому знамени – в Bar America наша рота поет веселые испанские песни, аккомпанируя ложками и

вилками. Особенным успехом пользуется *Серената*: каждый может быть запевалой; он подымает руку и поет свой куплет, хор подхватывает последний слог каждой строки – а когда куплет закончен (обязательно с юмором – тип наших частушек) – хор в 150 глоток поет «серенату» (не путать с серенадой!)¹.

...Только что получил письма от Mey² и Вадима [Андреева] – пишут по-русски. Попробую и я – для меня это колоссальное облегчение. Но я боюсь, что письма на иностранных языках идут дольше. Ты сообщишь мне, пришло ли 26-ое письмо позже других (я пишу каждый день)³.

* * *

Сегодня воскресенье. Я думаю, что удастся написать тебе больше, чем обычно. Но я боюсь, не слишком ли я тебя бомбардирую письмами, отчего они теряют свою ценность. Впрочем, лейтенант меня назначил в школу капоралов, и с понедельника до обеда я буду «преподавать», после обеда меня будут учить, — буду занят вдвойне! Придется писать тебе реже — предположим, раз в два дня. Ты не будешь сердиться?

Мне было нерадостно читать письмо Вадима, где он предупреждает меня не делать двух безумств (письмо, конечно, адресовано на Château⁴): не записываться волонтером (они *не* получают пособия на семью) и – «сохрани тебя Бог» подписывать контракт в Иностранный Легион! Я был в полковом бюро, где мне еще раз подтвердили обратное, и факт выдачи мне сертификата прибытия в полк тоже говорит об обратном. Сообщи мне немедленно, что сказал тебе мэр Олерона по этому поводу. Все испанцы вошли в Легион, чтобы помочь своим семьям, – другие национальности руководились, кроме других, именно этими соображениями. Такой общий обман *невозможен* в силу солидарности, существующей в военной среде.

Меу пишет о моей болезни и передает совет Маргариты Николаевны⁵ оперироваться в военном госпитале⁶. Мое общее состояние настолько улучшилось [в сравнении] с парижским, что внешне моя болезнь не видна. Местная медицинская комиссия, как я тебе уже писал, реформирует легионеров по пустякам. На эту часть тела (так же, как на ноги) здесь обращают особое внимание... Но я тебе обещаю — после первых двух-трех дел на фронте, когда я особенно утомлюсь — выписаться в госпиталь. Впрочем, обо всем этом мы еще поговорим в дни моего первого отпуска.

На случай беды – я сегодня же напишу Борису в Аргентину – подготовлю к тому, что, быть может, понадобится его помощь 7 . Маленькую помощь обещал оказывать тебе Женя 8 . На худой конец обращусь к тому же источнику, который помогал мне уже много раз.

* * *

Беспокоят меня и ближайшие дни: 14-го октября у вас было всего 250 фр[анков], 200 вы получаете от vendange⁹, 100 послал я — сколько можно прожить с 500 фр[анками]? Жду с нетерпением ответа на все эти вопросы. Не бойся меня огорчить, пиши абсолютную правду. Ты не уменьшишь этим мой здоровый пыл бойца!

События в нашей полковой жизни идут за событиями — мне не угнаться за ними с длинными описаниями... Я решил, начиная с сегодняшнего дня, записывать в свой дневник лишь вещи, которые неудобно посылать вам, — всё остальное я буду сообщать тебе — и ты эти письма сохранишь для моей будущей книги («Записки легионера»!). Кстати, если Меу надумает из того, что я уже послал, сделать репортаж в какую-нибудь французскую газету — я, конечно, буду только приветствовать такую идею. Я даже помышляю «предложиться» «Последним новостям» — буде на их художественных четырех страницах для этого найдется место¹⁰. Ибо — у нас всех — сейчас на первом месте должен стоять денежный вопрос — наши дети!

* * *

Второй день – дикий северный ветер – все мои легионеры с насморком (*кроме их капрала* – лишний свидетель моего здоровья!)

Чтобы ты лучше разбиралась в военной жизни – вот тебе отрывок из таблицы, нарисованной мною и висящей на стене нашего барака (это наш первый урок)¹¹:

Soldat 1ère classe $^{12}-1$ gallon en laine rouge 13

Caporal¹⁴ – 2 gallons en laine rouge¹⁵

Caporal Chef – 2 gallons en laine; en plus 1 gal[lon] en or¹⁶

Sergent – 1 gallon en or¹⁷

Sergent Carrière – 2 gal[llons] en or

Sergent Chef 3 gal[llons] en or

После этого идут: Adjudant, Adjudant-Chef, Sous-Lieutenant, Lieutenant и т. д. Ты поняла мои изображения? Это рукава мундира.

В настоящее время я исполняю функции caporal-chef'a, но я, конечно, еще не вправе носить галлоны. (Это будет в недалеком будущем!)

Вчера на рапорте было объявлено, что сержант нашей секции (взвода) назначается исполняющим обязанности adjudant'a. Это повышение меня радует, т. к. он очень благоволит ко мне, здоровается за руку и дважды в местной кантине угостил меня вином. Как видишь, я за короткий срок целиком втянулся в военные интриги. Но – увы! – моя детка – я сразу понял, что здесь человека интелли-

гентного, не любящего скандалов и драк — от всего этого оберегает не чин! В Бордо мне говорили, что в Легионе очень трудно продвигаться, ибо в нем слишком много стреляных птиц и вообще военных спецов. Я же вижу обратное: одно владение языком делает уже карьеру, в то время когда во французских полках никогда иностранцу (во всяком случае, менее охотно) не предлагают командовать французами.

* * *

Вчера получил первый номер «Последних новостей» от среды 28-го.

(продолжение письма отсутствует)

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 22.

- 1. Песенный жанр, возникший в народном испанском искусстве в 18 веке; серенатой обычно называют песни нерелигиозного содержания на балладный или драматический сюжет, сложенный в честь какого-либо события или лица.
- 2. О том, что Меу было домашнее имя О. Е. Колбасиной-Черновой, см. во вступительной статье.
- 3. После начала Второй мировой войны, письма, по требованию военной цензуры, писались по-французски, и в первое время Сосинский подчинялся данному правилу. Однако, начиная с этого, он переходит в своих письмах на русский язык. О его отношении к собственным посланиям Ариадне Викторовне как отчасти к литературной повести о пережитом см. во вступительной статье. 4. Лето 1939 г. Сосинские провели в городке Пелегрю (Pellegrue) в департаменте Жиронда (Geronde), на юго-западе Франции, известном, кроме прочего, своим средневековым замком (Le château du Puch de Gensac). Супруги отправились туда, взяв полуторагодовалого Алешу. По-видимому, с наступлением осени Ариадна Викторовна с ребенком вернулись домой в Plessis-Robinson, а Сосинский остался там и, чтобы заработать немного денег, предложил свои услуги в качестве садовника, (именно туда и пришло сообщение о его зачислении в Иностранный легион). В письме, написанном из Пелегрю 28 июля 1939 г. и адресованном всему фамильному клану (оно начинается с обращения «Милые дети, девочки и старики»), Сосинский так описывал замок Puch de Gensac:

<...> замок расположен на краю длинного холма, отвесно, под прямым углом падающего на широкую долину (что совершенно не видно на открытке, вообще ничего от замка не передающей). Вокруг необычайно изящно изогнутые холмы, обступающие эту самую долину — покрытую и покрытые виноградниками, пшеничными полями и маисом... Эти последние чередуют-

ПИСЬМА 233

ся с небольшими рощицами, прудами (река Дордонь далеко – клм 15!), фермами и, конечно, главное – «изюминка» нашего пейзажа – кипарисами!

Замок в превосходном состоянии — привести его в такой вид стоило немало денег. Всё это (я говорю про башни и внешние стены) большого калибра — очень интересно и требует изучения не меньшего, чем Ваше Сluny*. Но сады и огороды в порядочно запущенном виде — и мне хватило бы работы на целый год, если бы я даже и был садовником. <...> В хорошем состоянии лишь бассейны с форелью, где хитроумная водная система служит предметом наших ежедневных ссор с Бытей**, которого с этого места никуда в другое не переманишь (ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 21).

- 5. Речь идет о Маргарите Николаевне Лебедевой (урожд. баронесса Спенглер; 1880–1958), дочери известного в России инженера-путейца и жене крупного политического и общественного деятеля, журналиста, литературного критика, публициста, члена партии социалистов-революционеров В. И. Лебедева. Медик по образованию (окончила медицинский факультет Женевского университета), она также была членом ПСР и входила в военную эсеровскую организацию (подпольная кличка «Герцогиня»). См. ее некролог: Слоним, Марк. Памяти М. Н. Лебедевой // «Новое русское слово». 1958. №16321. 5 марта. Сс. 3-4.
- 6. Вероятней всего, речь идет о болях в желудке, которые испытывал Сосинский, см. в письме Ариадны к нему (№ 5, от 10 декабря 1939), также его письмо Андрееву (№ 12, от 3 марта 1940).
- 7. О сводном брате Сосинского, Борисе Сосинском-Семихате, см. вступительную статью.
- 8. О старшем брате Сосинского, Евгении Брониславовиче Комарове (Сосинском), см. упоминание во вступительной статье.
- 9. Vendange урожай винограда (ϕp .). Живя на Олероне без мужей, сестры Черновы («Чернушки») пополняли свой бюджет тем, что работали на сборе винограда.
- 10. Военные репортажи Сосинского, подписанные его именем, в парижской эмигрантской газете «Последние новости» не появлялись. Однако там печатались безымянные заметки, в разных аспектах касающиеся жизни и деятельности Иностранного легиона. Имеются поэтому вполне законные основания предположить, что какая-то часть из них является плодом пера Сосинского. Так, например, в одной из них, названной «Офицеры в Иностранном легионе» («Последние новости». 1939. № 6819. 28 ноября. С. 4), говорилось:

^{*} По-видимому, Сосинский имеет в виду город Клюни в Верхней Бургундии, возникший вокруг бывшего одноименного бенедиктинского аббатства.

^{**} Бытя – домашнее имя первенца Сосинских Алеши.

В «Журналь Офисьель» опубликован вчера декрет, на основании которого офицеры-иностранцы, допущенные в Иностранный легион в чине офицера или унтер-офицера, могут при соблюдении условий, которые будут определены декретом, получить разрешение служить в колониальных войсках, расположенных в колониях и в Северной Африке, и в частях воздушной армии.

Другой декрет, опубликованный в том же номере «Журналь Офисьель», изменяет существовавшие до сих пор правила о поступлении в Иностранный легион.

В мирное время иностранцы допускались в Иностранный легион, как правило, в качестве простых солдат. Производство они могли получить лишь по службе и с соблюдением требований, установленных французским законом.

На время войны офицеры, принадлежавшие к иностранной армии, могут допускаться в Иностранный легион в качестве офицеров, но в чине низшем, чем тот, какой они имели у себя на родине, а высшие офицеры, во всяком случае, в чине не выше капитана.

Су-лейтенанты должны пройти в качестве сержантов стаж сроком минимум в один год, по окончании которого будут допускаться к экзамену. Выдержавшие экзамен будут производиться в чин су-лейтенант-иностранец, причем производство будет считаться со дня приема в Иностранный легион.

Лица, признанные не годными к офицерскому званию, будут исключаться из списков. Эти лица могут, если пожелают, вновь записываться в Иностранный легион, но на общих условиях, и в этом случае будут приниматься в качестве капралов.

- 11. Далее тщательно-дотошный Сосинский, не лишенный рисовальных способностей, не только описывает знаки воинских чинов, но и сопровождает их визуальным изображением.
- 12. Soldat 1ère classe изображена нашивка с одной полоской (ϕp .)
- 13. 1 gallon en laine rouge 1 красный шерстяной галлон (ϕp .)
- 14. Caporal капрал (изображены две полоски) (ϕp .)
- 15. 2 gallons en laine rouge 2 красных шерстяных галлона (ϕp .)
- 16. 2 gallons en laine; en plus 1 gal[lon] en or два (красных) шерстяных и один золотой галлон (ϕp .)
- 17. 1 gallon en or один золотой галлон (ϕp .)

№ 2 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – ВАДИМУ АНДРЕЕВУ

Баркарес – Париж 5 ноября 1939¹

Expéditeur: Sossinsky 297, 2-ème Compagnie 1er Régiment de marche Camp du Barcarès (P.O.)

> M[onsieu]r Wadim Andreiew chez Mme Lebedeff 18 bis, Denfer-Rochereau Paris (5-e)

5 ноября 1939

Дорогой мой Вадим,

из воскресного моего письма к Тебе ничего не получается, но поскольку я обещал – шлю несколько слов.

Итак, теперь уже нет сомнений, что allocation² семьи добровольцев-иностранцев получают. Кроме того, на фронте мы будем дополнительно получать 10 фр[анков] в день.

Вкратце для тебя³: представь себе Селимье (которое ты не знаешь, но о котором догадываешься)⁴, вспомни Кулуглу⁵ и Таксим⁶... (Пишу не только по опыту Баркареса, но и по письму Доды⁷: «мне было 17 лет, а теперь 36; голова слишком тяжела».) Запасись средствами против блох, клопов, а бывает и худшее. Не ленись захватить возможно больше теплого. Особенно береги желудок, зубы и ноги. Помни о днях, когда вещи приобретают неповторимую ценность.

Забудь, что ты Андреев, перевоплотись в номер (которым ты так меня стыдил) – будь сдержан до предела, но создай вокруг друзей; третьего дня я дал впервые наказание одному испанцу-интеллигенту; он сжал зубы от обиды – приучи себя проглатывать такие вещи. Не ищи справедливости: дисциплина – вещь суровая. А главное – помни, что не 17 [лет].

Продумай всё – и реши свою судьбу.

Советовать здесь нельзя.

На письма, которые Ты мне писал, я больше не сержусь...⁸ Твой брат и друг.

В[олодя]

(на полях:) Когда в далеком походе мы впервые, проходя город,

увидели красивые женские лица, у нас закружились головы, и мы еле-еле держали равнение.

Печатается по автографу: HIA. Coll. Number 2000C60.

- 1. Написано на почтовой открытке.
- 2. Allocation пособие (ϕp .)
- 3. Сосинский инструктирует Андреева, колебавшегося в принятии решения о вступлении в Иностранный легион. Далее, в свойственной ему ироничной манере, он перечисляет какие-то говоряще-узнаваемые для обоих приметы того турецкого *couleur locale*, где и когда они впервые встретились и познакомились друг с другом.
- 4. Селимие (Selimiye) небольшой приморский городок в Турции, памятный Сосинскому с тех времен, когда он оказался там, судя по всему, вдвоем с Д.Резниковым, см. фрагмент из его воспоминаний, приводимый в прим. 1 к № 16, от 15 апреля 1940 года (отсюда, вероятно: «которое ты не знаешь, но о котором догадываешься»).
- 5. Кулуглу на улице Кулуглу в Стамбуле находилась Русская константинопольская гимназия, где учились Сосинский и Андреев. См. *Андреев, Вадим.* История одного путешествия. URL: https://biography.wikireading.ru/19059
- 6. Таксим (Taksim) одна из центральных площадей Стамбула в одноименном районе, где сосредоточена торговая и развлекательная индустрия.
- 7. Д. Г. Резников.
- 8. По-видимому, Сосинский имеет в виду письма Андреева, в которых последний отговаривал его от намерения вступить в Иностранный легион.

№ 3 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – ВАДИМУ АНДРЕЕВУ

Баркарес – Коломб (предместье Парижа) 23 ноября 1939¹

Sossinsky, N 297, 2ème Compagnie 1er Régiment de marche de Volontaires Camp du Barcarès (P. O.)

Monsieur W. Andreieff Chez M. Kafian 242 bis, rue Nanterre Colombes (Seine)²

23 nov[ember] 1939

Мой дорогой Вадим, Я прочел с интересом Твое большое письмо. (При Твоей тяжелой

работе, как Ты ухитрился столько времени отдать мне? Спасибо, детка.) Первая половина Твоего прекрасного послания еп gras³ напомнила мне о наших стародавних счетах, как это вдруг теперь обнаружилось, не приведенных в порядок еще со времен Кулуглу⁴. Да, да — и я, и Дода всегда слегка свысока относились к Твоим «кубанским похождениям»⁵. Как смешно писать об этом теперь, чуть ли не четверть века спустя, перед событиями, быть может, более серьезными, чем родная Кубань или Селимье...⁶ Я вспоминаю наши тогдашние взаимоотношения, главным образом основанные на... зависти (сын Андреева, успех у женщин, берлинское счастье: Белый, даже Саша Черный). Отсюда детские поиски нашего превосходства в другом: в «глубине» переживаний, в послужном списке авантюр!

Ну, конечно, милый, мы прошли *одну и ту же* суровую школу: войны, революции, лагерей, казармы. И я, базируясь на *своем* прошлом, хотел Тебе напомнить, что эта школа в 39 лет (в чем мы с Тобой согласны) проходится труднее... В 17 лет я не писал бы Тебе о зубах, ногах и желудке. И я знаю великолепно, как и ты сам, — что *это* Тебя не остановит и что не личную свою судьбу Ты кладешь на весы тех или иных решений. И это я (а не Ты сам) сделал неудачную попытку заставить Тебя подумать и об этой стороне дела.

Запутано, но понятно?

Фразу же твою, удивившую меня, о «шпане» я расцениваю как последнюю «отрыжку» наших константинопольских счетов.

Как брат (в тройном смысле!) 7 я жму Тебе руку (если ты физически выдержишь такую благодарность) за каждый франк, что Ты посылаешь на Олерон – и для меня это навсегда останется большой и явственно ценной жертвой с Твоей стороны. (Теперь нам нечего бояться слов.)

Не сердись, что пишу открытки, но они у меня (пример налицо) стоят писем.

Можешь адресоваться ко мне как к капралу, но спеши, т. к. имею идею вскоре стать сержантом.

Поцелуй Кристи⁸ и напомни ему, что это не грех написать мне письмецо.

Целую.

Твой Вололя

Печатается по автографу: HIA. Coll. Number 2000C60.

- 1. Написано на почтовой открытке.
- 2. Коломб (Colombes) город в регионе Hauts-de-Seine, неподалеку от Парижа. В это время Андреев, работавший на парижской резиновой фабрике, жил у своего близкого приятеля Х. Г. Кафьяна, с которым его, кроме прочего, сближали масонские узы (см. о нем прим. 8).

- 3. En gras жирным шрифтом; подчеркнуто. (ϕp .)
- 4. См. прим. 5 к предыдущему письму.
- 5. Под «кубанскими похождениями» Сосинский имеет в виду эпизод из биографии Андреева, когда он из Марселя пробрался через Константинополь в Грузию и в марте 1921 г. примкнул к находившимся там к кубанским самостийникам, намеревавшимся воевать за свободную Кубань. Это предприятие, названное самим Андреевым «не только безумным, но и бессмысленным», будет позднее описано им в книге «История одного путешествия».
- 6. См. прим. 4 к предыдущему письму.
- 7. Под «тройным» братством Сосинский, вероятно, подразумевает их дружеские отношения, давно переросшие в братские, братство по родству (мужья сестер) и масонское братство.
- 8. Имеется в виду Христофор (Кристи) Гаврилович (Габриэлович) Кафьян (1900—1981), инженер-электротехник, поэт и музыкант, член масонской ложи «Северная звезда», в которую он был посвящен 7 мая 1936 г. (2 апреля 1937) по рекомендации Андреева, М. Осоргина и А. Каффи (*Серков, А.И.* М. А. Осоргин и его масонское наследие / М.: Ганга, 2018. С. 103).

№ 4 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – АРИАДНЕ СОСИНСКОЙ

Баркарес – Олерон 30 ноября 1939

Camp du Barcarès 30 ноября 1939

Ну вот, Котик, я вступаю в исполнение своих новых обязанностей. Странная вещь — жизнь! Думал ли я в хоромах мистрис Кван — в своих переживаниях одинокого садовника¹, что через полтора месяца я буду caporal d'ordinaire 1200 солдат! (а три недели тому назад я был ответственен лишь за 24 порции). Судьба играет человеком...

Как говорят, выбор капитана пал на меня за честные, красивые глаза, за успехи, проявленные на посту chef de Chambre² — вообще за мою серьезность и энергию во всей моей работе! Как говорят, полковник советовал назначить на эту должность француза из активной службы, но капитан настоял на своем выборе.

Я когда-нибудь расскажу тебе о свирепой ревности, существующей между ротами, о всех волнениях, сопровождавших мое назначение. Я оставил за собою три дня, прежде чем дать согласие капитану. Я присматривался к моей будущей работе — и, наконец, заинтересовался ею

(впрочем, как ты знаешь, я заинтересовываюсь всякой работой, что выпадает на мою долю).

Я покидаю свой барак («галеру № 12») и перехожу в отдельный, где буду спать в одиночестве, – среди консервных ящиков, мешков с рисом, среди шоколада, бисквитов, конденсированного молока, банок с вареньем и винных бочек. Я запираю этот барак на ключ, когда ухожу, и я никому не могу доверить моего богатства, за которое я один несу ответственность. Кроме этого барака, в моем ведении еще 4 других: кухня и шесть столовых. В кухне – шеф и 20 поваров! Кроме того, для чистки картофеля, для мойки посуды, для стирки белья каждый день мы получаем различные согvéer³ со стороны.

Когда искали волонтеров-поваров, треть роты подняла руки. Вот уже два дня как меня все ловят за рукав: возьми туда-сюда, возьми в Перпиньян⁴, а наивные Белда и Марко просятся даже в денщики.

Я твердо решил (скрепив это решение ** клятвой⁵) никому не делать исключений, никакого компанейства, никому ни одного «кара» вина вне обычной нормы, никому лишней порции грюэра⁶ – вот где широкая арена показать справедливость и беспристрастие!

Кроме того, мы с капитаном и сержантом решили разнообразить меню, увеличить количество овощей и навести максимум чистоты. (Капитан обещал полдня проводить со мною.) У меня возникала идея, чтобы использовать горы кухонных остатков, завести дюжину свиней! И вообще я весь полон идеями – большими и малыми.

Итак, с этого письма начинается моя новая серия писем, заполненная новыми для нас предметами, которые прежде не фигурировали в нашей переписке: бычачьи туши кисти Рембрандта, фламандские натюр-морты из овощей и рыб, горы хлеба, вагоны ящиков!

Я уже начинаю чувствовать на своих плечах эту *тяжесть*, от которой гнутся столы... и смею Тебя заверить, что я согласился взвалить всё это на себя, узнав, что это только на один месяц!

* * *

Сегодня после обеда (я, конечно, остался в строю и по-прежнему шеф группы; шефом же казармы я оставил Пьерро, он знает оба языка) начались в нашей школе экзамены в присутствии высшего начальства. До меня очередь не дошла, но я экзаменов теперь не боюсь: я серьезно подготовлен...

Получил Твои две открыточки, наспех посвященные Доде, которому я завидую до отчаянной ревности⁷. (Форма и у меня на днях будет хорошая! Вот! А Алеша⁸ будет разгуливать в каскетке с... золотым галлоном!)

Меу прислала два Sanogyl'a9, купленные Матильдочкой10 (моей

официальной marriaine!¹¹), мятные конфеты и «Cosaque»¹² против блох. И в тот же день вечером я получил из Биотерапии 4 коробки! В настоящее время у меня их 7! Вот что называется плохой caporal d'ordinaire! (Два промаха разом.)

...С грустью склоняюсь к столу: я не увижу ни Тебя, ни Алешу, ни весь мой царственный гарем — ни до Рождества, ни в Рождество, а лишь в Новом году (предположительная дата моей очереди — первые дни января). А я так мечтал! Я, как Бытя¹³, всё грезил матросской шапочкой — и этой минутой, когда я короновал бы ею его головку. И я так мечтал сохранить свою верность Тебе до дня свидания, но теперь я этими поездками в Перпиньян, с этими поставщиками, которые меня будут соблазнять вином и женщинами (все-таки как-никак покупатель на 10 000 фр[анков] в день!), я боюсь явиться перед твои ясные очи сильно потрепанным!

Впрочем, поживем – увидим.

* * *

Вечера мои частично отнимает Николай Александрович Табура (эстонская фамилия натурализовавшегося Чернова!), автор заметки «Иностранный Легион» в «П[оследних] Н[овостях]» 14 и мой литературный поклонник. Даже сегодня он притащился со 2-го полка, несмотря на песочную бурю. Принес «Новый Град» № 14^{15} и плитку шоколада.

Но о нем и о многом другом в ближайшее воскресенье. В[олодя]

Передай Наташе [Резниковой] (я получил ее милую открытку), что я очень тронут, что в *такие* дни она не забывает обо мне и, еще не остыв от Додиных объятий (прости за неприличие образа), бросается в мои. Что значит быть любимцем всех!

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 23.

^{1.} См. прим. 4 к № 1 от 22 октября 1939 года.

^{2.} Chef de Chambre – здесь: дежурный по казарме (ϕp .)

^{3.} Corvéer — наряд на работу; дежурство; трудовая обязанность (повинность). (ϕp .)

^{4.} Перпиньян (Perpignan) — административный центр департамента Восточные Пиренеи, близ которого был расположен лагерь Баркарес. Сосинский постоянно ездил туда для закупки необходимых товаров и продовольствия.

^{5.} Вместо выражения «масонская клятва» Сосинский использует тайный масонский знак – три точки, образующие треугольник.

- 6. Gruyère швейцарский сыр. (ϕp .)
- 7. Д. Г. Резников в это время был мобилизован во французскую армию. По наступлении боевых действий воевал на северо-востоке Франции. Был ранен в ногу, но плена избежал, выскочив, по счастью, из немецкого окружения. Ему повезло больше, чем Сосинскому: с помощью французских медицинских сестер он оказался в санитарном поезде, доставившем его в неоккупированную юго-западную зону Франции, неподалеку от Биаррица, где он некоторое время провел в госпитале, а оттуда перебрался в Париж.
- 8. Алеша сын Сосинских.
- 9. Sanogyl сорт зубной пасты
- 10. Близкая знакомая О. Е. Колбасиной-Черновой и через нее всей «коммуны» Сосинских-Андреевых-Резниковых.
- 11. Маггіаіпе крестная мать; см. также прим. 27 к № 7, от 22 декабря 1939 года. (ϕp .)
- 12. Название биокрема.
- 13. См. прим. 4 к № 1.
- 14. Имеется в виду заметка «День у добровольцев-иностранцев», подписанная инициалами Н. Т. («Последние новости». 1939. № 6806. 15 ноября. С. 2). 15. «Новый град» религиозно-философский журнал, выходивший в Париже с 1931-го по 1939-й под ред. И. И. Фондаминского, Ф. А. Степуна и Г. П. Федотова.

№ 5 АРИАДНА СОСИНСКАЯ – ВЛАДИМИРУ СОСИНСКОМУ

Олерон – Баркарес 10 декабря 1939

10 Dec[ember] 1939

Дорогой Володя,

Получила твое письмо с фотографией и перечислением твоих обязанностей и рассказом о твоей работе.

Как твой желудок теперь? Продолжаешь ли ты следить и лечиться, легче ли тебе?

Удалось ли послать корреспонденцию в «Посл[едние] Нов[ости]»? Жаль, если пропустится такая возможность¹. Что касается шляпки Алеше, то здесь негде купить – в St. Denis лавок мало – это ведь совсем маленькая дыра. Можно бы попытаться поехать на велосипеде в столицу Олерона St. Pierre – но нет уверенности, что там найдется, что надо. Попробуй найти в Perpignan'e. Если ты уже выслал нам 50 [франков], я тебе пошлю то, что надо на покупку

шляпки. Сейчас у нас деньги есть, а эти 50 [франков] думаю употребить на шляпку, елочное баловство и покупку Алеше теплых ночных туфелек.

Сейчас мама ему прислала калоши – подарок Матильдочки², когда будут комнатные туфли, Бытя наш будет прекрасно обут.

Сейчас он, бедный, себя неважно чувствует. Горит одна щечка, и плачет по ночам, десна очень распухла, но зуба еще не видать. Я очень измучилась и думаю с грустью, что еще четыре зуба — четыре мученья. Опять у него появились корочки под подбородком — чего здесь с приезда не было. И, кроме того, на одном пальчике сделался маленький нарывчик, очень его беспокоящий. Лечу его всё той же Іпоѕерт'ой, сегодня уже лучше. Он очень добрый и милый, дает делать перевязку и ходит в перчаточке. Понимает, что это нужно и не протестует.

Кончаю письмо, чтобы вовремя отправить.

Целую нежно.

Али

Напиши, как ты решил с матросской шапочкой?

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 48.

- 1. См. прим. 10 к № 1, от 22 октября 1939 года.
- 2. См. прим. 10 к предыдущему письму.

№ 6 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – АРИАДНЕ СОСИНСКОЙ

Баркарес – Олерон 21 декабря 1939

Camp du Barcarès 21-12-[19]39

Вернувшись из Перпиньяна, нашел поджидавшее меня Кошкино письмо 1 – с приложением от Тебя...

Ну, конечно, Котик, мы все также возмущены вопросом о permission' e^2 , как и Ты. Вот вкратце история этой чехарды:

Официально (если не считать системы D.Т.3) имеются отпуска на 24 ч[аса], на 48 ч[асов], на 4 дня и на 8. Последние, самые серьезные, даются прослужившим более 4 месяцев — или, точнее, в году имеются два периода: с 1-го ноября по 1-е марта, и я не знаю, какой другой период, когда каждый солдат имеет право на 8 дней отдыха

ПИСЬМА 243

(permission de détente⁴). Никто на Баркаресе до сих пор не получал такие отпуска, и мы нескоро его получим. (Имеются еще «агрикольные» отпуска⁵, но они даются лишь «активистам»).

На очереди стоит 4-х дневный отпуск, в принципе даваемый лишь в редких, специальных случаях (свадьба, смерть близкого — причем на похороны, напр[имер], брата можно поехать лишь в том случае, если он пал на поле брани!) Бывают и наградные 4 дня, но они обычно прибавляются к 8-ми. Наш полковник начал хлопоты перед Деладье⁶, чтобы получить рождественские или новогодние четыре дня, и вот почему на рапорте нам рекомендовали на всякий случай запастись нужными сертификатами. До сих пор ответа нет, и наши надежды с каждым днем уменьшаются.

О себе я знаю, что я по окончании «ординара» получу свои четыре дня — в виде наградных, и использую их тотчас же — для этого я в достаточно хороших отношениях с капитаном.

Понятно? Отпуск в 24 ч[аса] или 48 [часов] я могу взять в любую минуту, но, во-первых, нужно заплатить ¼ билета, а во-вторых, больно (хотя и соблазнительно) провести с вами всего два-три часа. (И еще надо хорошенько высчитать время пути.)

Как демердируется Дода? Для меня это тайна (три отпуска за три месяца — привилегия особая — что ж вы хотите — 137-ой ударный!) А может быть, система D.T., пущенная в ход если не самим Додой, то его начальством. Нас же держат — как я пишу ему — в черном теле.

Это – практика. Всё остальное – слухи, болтовня и надежды. Есть еще отпуска: съездить домой за музыкальным инструментом (у нас составляется оркестр) или по другим делам. Один из нас сговорился с женой, она ему бацнула телеграмму – «серьезна больна, приезжай», сжалились над ним, дали 4 дня. Но я к таким вещам пока прибегать не намерен.

Теперь всё ясно?

* * *

Если Ты думаешь, что наша переписка о Бытиной шапочке закончилась, то ты жестоко ошибаешься. Она только теперь принимает особо оживленный характер.

В Перпиньяне (морском, вернее, полуморском городе) масса матросских шапочек и очень кокетливых (таких, от которых вы с Наташей умирали в «дни молодости»), но для детей я так и не нашел. Прибегать к берету мне не хочется, ибо важно в этом деле не только Бытино удовлетворение, но и наше! Один шапочник предложил мне приготовить по особому заказу — у меня было с собой не много денег, и я решил подождать (35 фр[анков] дорого?) Впрочем, я у тебя советов не спра-

шиваю — я взял это дело в свои руки и доведу его до триумфального конца. Можешь быть спокойна: без шапочки Ты меня не увидишь...

Я начал с мысли, что нам суждено еще долго переписываться на эту тему. Но к концу передумал. Поставим на этом месте точку – величиной в помпончик! С'est vu?8

* * *

Забавно, я лишь недавно познакомился с системой D. (которую мы называем здесь D.T.). И вот вдруг разворачиваю черносотенный листок «Наше дело», который мне кто-то регулярно посылает. Статейка (правда, неинтересная) под заглавием «Система D.». А я вчера еще писал Тебе о ней. «D» производится от «Débrouillard», но, по-моему, наше D.Т. («Demerde-Toi» сильнее и, пожалуй, носит масштаб несколько более узкий, но зато более живописный.

Присмотрелся к другим статейкам. Любопытные письма с фронта. Смехотворный стишок Юрия Мандельштама 11 . Нежная заметка о Марии Ивановне... 12

Решил послать вам два последних номера для семейного чтения (поскольку у вас мало что читать).

* * *

Хохотал над статьей милейшего Вольского (любимца Меу) о Кусковой (Твоей любимицы). Прочти обязательно. Особенно конец примечателен (в «П[оследних] Н[овостях]» от 18-го декабря)¹³.

* * *

Как Тебе нравится гибель «Адмирала графа Шпее?» 14 Легче стало дышать... А самоубийство капитана 215 По-видимому, на море еще остались живы подлинные традиции и настоящие характеры.

Мы с Тобой никогда не делимся друг с другом событиями в[о] внешнем мире. И правильно делаем. Во-первых, грустно. Чего стоит одно нападение на Финляндию! 16 Полжизни я отдал бы за то, чтоб финны наклали нашим зарвавшимся бандитам. (Не правда ли, как странно складываются понятия о родине и чести. Между тем ощущаю всем сердцем: правда во мне; ни одной секунды сомнения. И всё сие пошло от Риббентропа! 17) Во-вторых, если начать болтать на эти темы — то для наших «трогательных» писем останется мало места... Поэтому оставим всё это до нашей встречи.

* * *

Появилась у меня твоя привычка, которую, мне кажется, мы раньше не замечали за Володей.

ПИСЬМА 245

Когда никого нет в моем складе, люблю ходить, заложив руки назад – из угла в угол. Особенно после ругани с кем-нибудь или так, пишучи Тебе письмо. Кстати сказать, о ругани... Ты знаешь мой характер, я спокоен и так, в принципе. Но стоит мне где-нибудь усмотреть несправедливость или узреть ненавистное мне хамство – я загораюсь пламенем и становлюсь, по мнению моих друзей, страшным! И представь себе – по сей день – всё вокруг стихало, когда наступала такая минута. Дисциплина? Мое звание всесильного сарогаl d'ordinaire? Или действительно мой характер? Или просто везло? Но меня уважают и боятся.

Да, о хождении из угла в угол. Помню эту привычку за папой. И помню, как мы, дети, шептали с мистическим уважением: «Папа ходит, папа выдумывает новую машину». И мама усиливала эффект: «Тише, дети, не мешайте папе думать».

Быть может, наступит время, когда и Ты это же самое будешь говорить Алеше?

* * *

Вокруг елки – с детишками и мамами – я буду с вами. У нас тоже будет елка и будут подарки – и в этот час я особенно нежно буду думать о Вас. Согласна?

В[олодя]

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 24.

- 1. Кошка домашнее прозвище Ольги Викторовны Андреевой, единоутробной сестры Ариадны и жены Вадима Андреева.
- 2. permission военный отпуск (ϕp .)
- 3. Объяснение этой сленговой аббревиатуре см. ниже.
- 4. Permission de détente букв.: «позволение на расслабление», т. е. разрешение на отпуск. (ϕp .)
- 5. agricole связанный с сельскохозяйственными работами (ϕp .)
- 6. Эдуард Даладье (Édouard Daladier, 1884–1970), французский политик, государственный деятель, премьер-министр Франции в 1933, 1934, 1938–1940 гг.
- 7. démerde изворотливость, оборотистость (ϕp .); т. е.: как умудряется Дода получить отпуск? (о том, что Д. Г. Резников находился в это время во французской армии, см. прим. 7 к № 4, от 30 ноября 1939).
- 8. C'est vu? ясно? не так ли? (ϕp .)
- 9. Débrouillard расторопный, шустрый, сметливый. $(\phi p.)$
- 10. Demerde-Toi букв.: «извернись», «выкрутись», «вывернись наружу»; вульг.: «трахни себя!»; здесь: «добейся своего». (ϕp .)
- 11. Юрий Владимирович Мандельштам (1908–1943), эмигрантский поэт и литературный критик; погиб в Аушвице. Подробно о нем см. статьи

Е.Дубровиной, НЖ, №№ 282, 2016; 285-287, 2016—2017; также: *Мандельштам, Юрий*. Статьи и сочинения. В 3 тт. / Сост. Е. Дубровина, М. Стравинская // М.: «Юрайт». 2018.

- 12. Имеется в виду Марина Ивановна Цветаева (1892–1941), с которой Сосинских сближали многолетние дружеские отношения, нашедшие свое выражение и в литературно-критических текстах обоих супругов на цветаевские произведения, и в их переписке с поэтессой, и в воспоминаниях о ней.
- 13. Речь идет о статье публициста Николая Владиславовича Вольского, более известного под псевдонимом Валентинов (1880–1964), «70-летие Е. Д. Кусковой» («Последние новости». 1939. № 6836. 15 декабря. С. 3), посвященной политическому и общественному деятелю Екатерине Дмитриевне Кусковой (урожд. Есипова; по второму браку Прокопович; 1869–1958) и подписанной другим псевдонимом автора Е. Юрьевский. Финал статьи, который Сосинский называет особенно примечательным, звучал так:

А кем, по сути дела, ей нужно бы быть в свободной, раскрепощенной России, не пойди она ленинско-сталинским фарватером? Несомненно: министром народного просвещения, народного воспитания. Предвижу возражение. Не видел Е[катерину] Д[митриевну] уже 20 лет. Не знаю, продолжает ли она, как в Москве, на Спасо-Песковском переулке, носить часы на какойто длиннющей цепочке, с которой ее пальцы, в зависимости от настроения, производили разнообразную гимнастику. Например, когда Е[катерина] Д[митриевна] на что-нибудь раздражалась или чему-нибудь удивлялась, пальцы схватывали цепочку у самого верха и быстро по ней съезжали вниз, потом поднимались тихо вверх и опять быстро вниз. Обычно этому движению соответствовало восклицание баском: «какая чепуха!» Если цепочка на прежнем месте, возможно, что, прочтя в Женеве мою статью, она и теперь произведет прежнюю гимнастику и скажет:

– Юрьевский пишет чепуху! Никогда не собиралась, никогда не претендовала быть министром народного просвещения.

Я и не говорю, что «претендовала» или «собиралась». Я лишь глубочайше убежден, что Е. Д. Кускова с ее подлинной, настоящей культурой, широтой социального кругозора, человечностью, отзывчивостью и чуткостью, широким практическим даром организации, желанием и умением вникнуть в так называемые «мелочи жизни», была бы самым идеальным министром народного просвещения свободной, демократической России. Этот чудесный человек — чудесный садовник социальной и общей культуры...

- 14. Получив 17 декабря 1939 г. сильные повреждения в бою с английской эскадрой у берегов Латинской Америки, немецкий крейсер «Адмирал граф Шпее» был затоплен по приказу капитана Г. Лангсдорфа.
- 15. Когда команда «Адмирала графа Шпее» сошла на берег и была интернирована в нейтральной Аргентине, Г. Лангсдорф 20 декабря застрелился.

ПИСЬМА 247

16. Советские войска вторглись на территорию Финляндии 30 ноября 1939 года. 17. Договор о ненападении между СССР и Германией, т. н. Пакт Молотова—Риббентропа, был подписан 23 августа 1939 года.

№ 7 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – АРИАДНЕ СОСИНСКОЙ

Баркарес – Олерон 22 декабря 1939

Camp du Barcarès 22 Déc[embre] 1939

Предпраздничная суета!

Наш капитан делает чудеса, чтобы волонтеры отпраздновали Рождество на славу. Как капитан д'ординар он организует шикарный réveillon¹ для всего батальона. Вот меню на воскресенье вечером: Saucisson sec². – Винегрет с анчоусами. – Choucroute³ с сосисками и салом. – Ветчина! – Апельсины. – Пол-литра белого вина и пол-литра красного. Печенье. Pain d'épice⁴. – В понедельник утром в 7 ч[асов] – саfé-crème, а в 9 [часов]: горячий будэн⁵. – Crème de gruyere⁶ и пол-литра белого вина. В 12 – хороший обед.

Мой склад ломится от соблазнительных продуктов! Я сказал «соблазнительных» – между тем странная вещь: вот уже 22 дня, что я здесь, и совсем – ни разу – не тянуло меня съесть что-нибудь из казенного. Когда никому не позволяещь, и у самого рука не подымается. Правда, я, по праву, ем здесь лучше и больше, чем в строю (как говорится, поправляюсь на казенных хлебах!) Но в чем сказывается «лучше»? Это стараются мои повара. Напр[имер], привозят целого быка; как известно из Ларусса – в каждом быке имеются более вкусные части и менее. Всё это режется на куски и бросается в общий котел (вернее, казан), – так вот для нас, как и для себя, повара выбирают кусочек получше и жарят отдельно. Или вместо обычной картошки делают фриты. И т. д.

А вот ко всему остальному на складе у меня «душа не лежит». Тут и шоколад, и crème de marron(s), и молоко, и сардинки, и даже thon, и figues, и dattes, и biscuits 7 – ничем не интересуюсь и удивляюсь, когда этим так живо интересуются другие.

А вот зато халву и черный хлеб, полученный от сестер 8 , слопал с восторгом! Странно...

Кроме того, отбивает аппетит (когда уже начинаешь есть, он снова появляется) наша кухня, о которой, наверное, писал Данте! Когда

какой-нибудь наш черномазый мешает огромными вилами в дымящемся котле куски мяса (рагу!), то ему не хватает лишь хвоста — да и то часто его товарищи, такие же черномазые, привязывают ему сзади огромный бычачий хвост. Так что вообще уже не сходства ищешь, а отличия с общеизвестным учреждением! И я борюсь, как могу, за это отличие... Выпросил в интендантстве каждому из поваров второе $tenu(e)^{10}$ — придумал еще небывалое в батальоне $corv\acute{e}^{11}$ (составленное из punis¹²) по стирке белья для них (у них действительно нет времени), но чтобы мои бесята запорхали ангелами, а кухня превратилась в другой том «Божественной комедии» track 13 — до этого далеко. Один лишь Клюн, на удивление всего лагеря, щеголяет белизною своих риз. Но то Клюн — недаром немец.

Но вернемся к нашему капитану... О его поведении с волонтерами, о его личных качествах я как-нибудь поговорю в другой раз. Сейчас лишь несколько слов о нем в связи с Рождеством.

Материально он человек независимый (директор крупного банка) и имеет большие связи. Он написал сотню писем своим клиентам и получил в ответ больше 200 различных подарков для роты (есть и ценные: фотографические аппараты, часы и пр.) Будет устроена беспроигрышная лотерея! Кроме того, он раздобыл для нас огромное количество сладостей – хватит на несколько дней праздников (орехи, варенье, конфеты, раіп d'épice¹⁴, nougat...¹⁵). Правда, здорово?

Мой Ника Астериадис вот уже два дня на седьмом небе! Достал комнату в Баркаресе, выпросил ежедневные permission'ы на 10 дней, достал у кого-то велосипед, брюки и обмотки хаки, а сегодня получил телеграмму, что *она* наверняка приедет в воскресенье!

Усталый от хлопот, поет:

Si tu ne veux pas, Que ta femme t'embette (be-tte), — Te marie pas, Te marie pas!..¹⁶

Я угрожаю рассказать об этой песне его жене – он меня успокаивает: она привыкла к этой песне!

И вот я спешу писать тебе последнее большущее письмо: рассчитывать на Нику как на работника в ближайшие дни не приходится...

* * *

Давно Тебе хотел написать, но всё скромничаю. Я нашел себе подарок! Но т. к. я не люблю получать подарки и особенно напрашиваться на них, то я поручаю Тебе это дело (?!)

Ты знаешь, что такое plaque d'identité?¹⁷ Носится он на цепочке в виде браслета. Ты мне сделаешь это удовольствие, но при одном условии: дарителем не должен быть член нашей коммуны. Можно надоумить или Матильдочку¹⁸, или даже Слуцкую¹⁹ (ведь это не к спеху) – вообще пораскиньте мозгами, вы в этом деле люди бывалые!

Перед уходом на фронт нам выдадут plaques d'identité казенные, но мне хотелось бы иметь уже теперь и... из серебра (не серебряные, но белого металла, в Перпиньяне стоит, начиная с 6-ти фр[анков]). Не думаю, чтобы серебряный стоил очень дорого. (Может быть, 20, плюс гравировка.)

Вид он должен иметь такой²⁰:

Через три месяца мы получаем право носить ленточку от «ордена engagé volontaire» 21 — так что к тому времени мой внешний декорум будет иметь законченный вид.

Илет? Au travail?!22

* * *

Я забыл Тебе в свое время рассказать о том, как трем испанцам я дал трех marraines...²³ Одного из них Ты знаешь – Артур Канделла (ты посылала его жене письмо – так ответа и не было?) Слыхала ли Ты про моего клиента д-ра Флексера (который мне вырвал в свое время два зуба «веселыми газами»)[?] У него имеется очаровательная дочурка лет 18. Завязалась у них переписка с Канделлой. Надо Тебе сказать, что Канделла – книжник, спирит, графолог и вообще человек с претензиями. Они уже успели два раза поссориться в письмах, а посылку, что она ему прислала – богатейшую! – он отослал назад: скромный волонтер не нуждается в предметах роскоши и, кроме того, не ищет материальных выгод от marraine. Дурак, не правда ли?

Имеется у меня в секции красивый испанец с усиками, которого я прозвал Дон-Жуаном (Дон-Хуаном) за то, что на походах он «строил глазки» всем девицам. Ему я дал... Ольгу Кедрову²⁴. Она пишет ему милые письма, и он всякий раз разыскивает меня и с сияющими глазами передает мне ее письмо. Я надоумил его попросить фотографию. Кажется, всё идет благополучно.

Но самое замечательное явление — это Дорис Нилес, известная танцовщица, которой я печатал программы для Salle Pleyel!²⁵ Вот повезло третьему испанцу, как никому в роте. Она чуть не каждый день шлет ему посылки, у него целая дюжина ее фотографий в различных танцевальных костюмах — он без ума от нее. А ее письма! Сплошная нежность, забота и апология Испании! Мой бедный Ганзалес ходит потерянный.

* * *

Я только что послал письмо Варшавскому — недели две-три не отвечал ему; между тем я снова перечитал его послание — надо поддерживать с ним связь — он стоит того 26 . Писал ли я Тебе о его последнем письме? Если повторюсь, прости — я ничего не помню, что было до болезни 27 .

Вот несколько цитат, ясно рисующих Варшавского:

...«У меня здесь совсем нету таких людей, как у вас. Но материала для наблюдений много, правда, не над отдельными красочными личностями, а скорее, над тем, из чего сделан 'средний человек'. Так как здесь яснее видна работа разных химических механизмов, из которых составлен человек на своей 'обобществленной' поверхности, – и я, собственно, в первый раз в жизни, встретился, не знаю, как это сказать, с 'народом'... Но я вообще ничего, кроме писем, здесь не пишу, хотя и смотрю на всё, как если бы я был писателем...»

...«Я очень рад за тебя, что ты переживаешь возвращение молодости и физическое возрождение. Я тоже, всё, что многим кажется здесь трудным, переношу легко, но côté²⁸ 'подслеповатого интеллигента' в очках все-таки во мне еще чувствуется, и это меня раздражает. Особенно мне не хватает инициативы, сообразительности, быстроты рефлексов, всего, что так нужно пехотинцу.»

Дальше он рассказывает о провинциальной болтовне русских, которые имеются в его роте: «Мне это грустно, т. к. для меня эта война идеологическая, мне необходимо общение с людьми, так же, как и я, считающими, что правда на нашей стороне, что мы действительно защищаем человеческую личность, демократию, культуру. Не знаю, читал ли ты в 'H[овой] Р[оссии]' статью Бердяева — из всего она больше всего отвечает моему настроению»²⁹. (Эта статья, как и большая статья в «Новом Граде» «Испанская трагедия перед судом христианской

совести», очень близка и мне³⁰.) «Дорогой Володя, играет труба, и мне пора идти в мой амбар. Но мне очень хотелось бы, чтобы наша переписка не оборвалась. Я знаю, как трудно писать в наших условиях, но если у тебя будет свободная минута, пиши хоть немного, хоть открытки... Передай, пожалуйста, от меня привет всему вашему семейству.»

* * *

Ворвался как угорелый Ника Астериадис!

«Salutes! Они напутали телеграммы! Она ждет меня на Rivasalles с 10-ти утра!»

Сейчас 12. Я сбегал к капитану за permission'ом для него – он за велосипедом, и вот прошло 10 минут – он уже мчится где-то по дороге в Rivasalles...

Счастливый!

А я? Я вынужден сократить мое письмо, которым я собирался на Рождество поразить Твое воображение (конечно, только объемом, а не содержанием!) А я? Когда я Тебя увижу? Тут хлопочешь о чужом счастье — а сам лишен времени даже писать письмо собственной жене.

Несправедливое негодование! Все эти дни, если я писал Тебе, то только благодаря Нике: он всё делал за меня. Праздники у меня буду хлопотливы – так что буду слать Тебе лишь открытки!

Сегодня перемена программы в синема, приглашены все унтерофицеры, как же мне теперь – после отъезда Ники – успеть смотаться. Вот беда!

В[олодя]

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 24.

- 1. Réveillon ночь в канун Рождества (ϕp .)
- 2. Saucisson sec сырокопченая или сыровяленая колбаса (ϕp .)
- 3. Choucroute кислая капуста (ϕp .)
- 4. Pain d'épice имбирный пряник (ϕp .)
- 5. Boudin толстая сосиска (ϕp .)
- 6. Crème de gruyere сорт сыра, см. прим. 6 к п. 4, от 30 ноября 1939 года. (фр.)
- 7. Crème de marrons каштановый джем; Thon тунец; Figues инжир; Dattes финики; Biscuits печенье. $(\phi p.)$
- 8. От сестер Ариадны Ольги Андреевой и Натальи Резниковой.
- 9. Судя по всему, Сосинский имеет в виду параллель бесов, варящих в котлах грешников и не дающих им всплывать на поверхность, с поварами в «Божественной комедии» Данте (Ад. Песнь 21. Ст. 55-57):

Так повара следят, чтобы их служки Топили мясо вилками в котле И не давали плавать по верхушке.

(Пер. М. Лозинского)

- 10. Тепие одежда, облаченье (ϕp .)
- 11. См. прим. 3 к п. 4, от 30 ноября 1939 года.
- 12. Punis провинившихся, «штрафников». (фр.)
- 13. Т. е. «Чистилище» или «Рай».
- 14. См. прим. 4.
- 15. Nougat кондитерское изделие, изготовляемое из сахара или меда и жареных орехов. $(\phi p.)$
- 16. Если ты не хочешь, / Чтобы жена беспокоила тебя, / Не женись, / Не женись!.. (ϕp) .
- 17. Plague d'identité личный жетон; знак идентификации бойца. (фр.)
- 18. См. прим. 10 к № 4, от 30 ноября 1939 года.
- 19. Знакомая Сосинских.
- 20. Далее следует рисунок двух эллипсоидных окружностей, изображающих две стороны plaque d'identité; внутри первой написано:

Sossinsky Bruno 1938*

На другой:

1er R.M.V.E. 2éme Compagnie 297

- 24. По всей вероятности, танцовщица Ольга Константиновна Кедрова (1912–1978), дочь певца К. Н. Кедрова и актрисы Е. Л. Кедровой.
- 25. Дорис Нилес (1905–1998), американская танцовщица; работая во Франко-Русской типографии, Сосинский печатал программки ее гастрольных концертов в Париже. Salle Pleyel имел два помещения одно располагалось по адресу: 22, rue de Rochechouart (Paris 9-e), другое (Grande Salle, Salle Chopin et Salle Debussy): 252, rue du Fbg St.-Honoré (8-e).
- 26. Владимир Сергеевич Варшавский (1906—1978), прозаик. В 1920 г. вместе с семьей эмигрировал сначала в Константинополь, затем в Прагу и позднее в Париж. Автивно печатался в изданиях эмиграции. Автор известной биографической книги о своем поколении «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1956). В пору своего сближения с ним Сосинский писал жене 18 февраля 1929 г.:

^{*} Clame de recrutement (Комментарий Сосинского. — B.X.) — дата мобилизации ($\phi p.$).

^{21.} Engagé volontaire – волонтер (ϕp .)

^{22.} Au travail – букв.: «на работу»; здесь: «За работу?»; «По рукам?» (ϕp .)

^{23.} Marraines — букв.: крестные матери (см. прим. 11 к № 4, от 30 ноября 1939); те, кто берет шефство над кем-то; в годы Первой мировой войны так называли девушек и женщин, вступавших в переписку с французскими солдатами (этот термин сохранился и в годы Второй мировой войны).

Варшавский очень милый, очень славный – и не глупый, хотя путаный, как все неофиты в литературе, человек. С глубоким (буквально!) уважением относится ко мне и к моему «творчеству». Вообще, если говорить откровенно, бывает у нас из-за меня – быть может, оттого, что – главковерх этой «интриги» – Наташа [Резникова], всегда запирается с Додой и носа не кажет, Лисевна [О. Е. Колбасина-Чернова] с Б. Б. Б[ожневым], а об Оле [Андреевой] говорить не приходится. Вот...?!! (ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 10).

Во время Второй мировой войны Варшавский был мобилизован во французскую армию. В первых боях он, как и Сосинский, был ранен, попал в немецкий плен, в котором находился до конца войны. См. его оценку Сосинским в письме Андрееву, которое публикуется ниже (№ 11, от 12 января 1940). В письме жене, датированном 19 апреля 1940 г., Сосинский, касаясь личности Варшавского, писал:

Только что получил письмо Твое и Варшавского. Из последнего Ты узнаешь, что Володя пошел еще дальше, чем можно было бы предполагать... Его решение я вполне одобряю, хотя и не беру греха на свою душу. Я писал ему, чтобы он «перестал» считать себя никуда не годным «интеллигентом в пенсне», и напомнил ему опыт моего прошлого, где такие интеллигенты в огне вели себя достойнее кадровых офицеров (Рогоза, напр[имер], мой одноклассник). Еще один пример слабости его характера: он чуть ли (во всяком случае, так пишет, надо думать, были и другие факторы) не под влиянием моих слов, записался в corps franc. Он, действительно, впечатлительный, как дитя! (ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 28).

- 27. В Баркаресе Сосинский переболел дизентерией, см. ниже, в его письме Андрееву (п. 9, от 22 декабря 1939).
- 28. Côté сторона (фр.)
- 29. По всей видимости, имеется в виду статья Н. А. Бердяева «Роковой час европейской истории» («Новая Россия». 1939. № 71. 1 октября. Сс. 14-15). 30. Статья Н. А. Бердяева, на которую ссылается Сосинский, была напечатана в 14-й книжке журнала «Новый град» за 1939 год (Сс. 15-26).

№ 8 АРИАДНА СОСИНСКАЯ – ВЛАДИМИРУ СОСИНСКОМУ

Олерон – Баркарес Между 22 и 25 декабря 1939

[Между 22 и 25 декабря 1939]1

Дорогой Володенька, поздравляю тебя с праздниками. Как вы встречаете Рождество?

Будут ли песни и представления? Как собираетесь развлекаться и будут ли свободные дни? А отпуск? Ждем с нетерпением вестей о твоем приезде.

50 fr[ancs] получили, накупили свечечек и пустячков к елке и кучу сластей, орехов и мандаринов. Елки нам обещал привести Пьер (кузен Мишеля) из владений своего папаши, почтенного олеронского нотариуса².

Меучка³, увы, не приедет к сочельнику. У нее всё было готово к отъезду, но вышла заминка с sauf-conduit⁴, т. к. надо было иметь certificat de domicile⁵, которого office не мог выдать, т. к. у мамы не было официального разрешенья от имени Резниковых на пребывание в их квартире! Теперь всё уже сделано, но из-за этих формальностей бумага будет готова только 24-ого [декабря]. Ничего не поделаешь! Главные подарки детям привезет мама – постаралась Матильдочка⁶ и все друзья.

Мама привезет Наташино [Резниковой] радио — ждем его с трепетом. Сейчас мы очень отстаем от жизни: русские газеты приходят с запозданием, фр[анцузские] покупаем не очень аккуратно.

Мама должна привезти мои карточки – сейчас у меня нет ничего, кроме тех, что сняты в Puy de Gensac. Когда будут – пошлю тебе.

Что касается Mme Kwannis 7 , как говорит русская пословица: от сумы и от марэны 8 не отказывайся! 9

Я написала ей открытку-поздравление к празднику. До сих пор выдерживала характер. Но особенно ее обхаживать я бы не стала – потом трудно будет развязаться.

Сегодня я получила (пересланное из Puy [de Gensac]) от Коли Знаменского 10 извещенье (печатный faire-part 11) о смерти его брата Димитрия – от 20 ноября. Умер он в Louvain, после него осталась вдова и трое сыновей. Среди 16-ти семей, от имени которых составлено извешенье:

Mr et Mme Nicola Znamenski-Podgoursky et leurs enfants Tatiana et Vladimir – надо думать, что это твой крестник, новорожденный наследник Коли.

Собираюсь написать Тане.

Ты, кажется, хорошо знал брата Коли? Какая грустная судьба его братьев.

Что ваш Ноев ковчег — обсохли ли вы? здоров ли ты? Ну и повезло же вам с таким ливнем! У нас погода хорошая. Холодно, но не очень. Дуют сильные ветра — но дом наш очень теплый и хорошо защищен от ветров. Во всех комнатах хорошо и тепло — только угля идет многовато!

Алеша здоров, но спит еще неважно, хотя особо сильных криков

нет. Но я всё еще себя неважно чувствую – сегодня весь день болит голова. Потому и письма мои такие скучные.

В заключение диалог с Алешей:

- Мама, как называют луну? (подразумевается по-французски).
- La lune.
- А другую луну?
- Луна только одна и солнце одно, а звезд много.
- А как называют звезду?
- Etoile, а другую Venus, а другую Sirius.
- Нет, не Сириус. Нет, другую называют Ауканька!¹³ Каково загнул, хитрец?

Целую.

Ади

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 48.

- 1. Письмо не датировано. Примерная датировка устанавливается по контексту: в письме говорится о получении 50 франков, которые Сосинский отправил жене 21 декабря (об этом сказано в его письме к ней, написанном накануне, см.: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 24), а в письме от 25 декабря он описывал жене праздничную ночь с 24 на 25 декабря, т. е., по существу, отвечал на заданный ею вопрос о встрече Рождества (ibid.).
- 2. В своих беллетризованных воспоминаниях об Олероне, которые уже несколько раз упоминались выше, О. Андреева-Карлайл, чтобы скрыть идентичность олеронских жителей, заменяла подлинные имена и фамилии вымышленными. Так, повествуя о том, как О. Е. Колбасина-Чернова познакомилась с олеронским нотариусом, настоящая фамилия которого была Boutin, она называет его мэтром Лютеном. Сын последнего Пьер, о котором пишет Ариадна, будучи намного младше ее по возрасту, влюбился в нее, причем влюбился серьезно, на всю жизнь. Он недоучился на юриста, работал клерком в офисе отца, писал стихи, издал их отдельной книжкой за свой счет в одном из парижских издательств. Как поэт успеха не имел, в последние годы жил в полном затворничестве, выучил русский язык, увлекался поэзией Цветаевой. Сын Сосинских, Алексей Владимирович, сообщивший нам об этом, навестил Пьера Бутина во Франции в 1988-м или 1989-м и имел с ним продолжительную и увлекательную беседу.
- 3. Т. е. О. Е. Колбасина-Чернова.
- 4. Sauf-conduit пропускное свидетельство, разрешение на въезд. (ϕp .)
- 5. Certificat de domicile вид на жительство (ϕp .)
- 6. См. прим. 10 к № 4, от 30 ноября 1939 года.
- 7. Вероятно, имеется в виду квартирная хозяйка Сосинских, когда они жили в Пелегрю, см. упоминание «мистрис Кван» в № 4, от 30 ноября 1939 г., а также «Кванихи» в № 15, от 13 апреля 1940 года.

- 8. См. прим. 27 к предыдущему письму.
- 9. Сосинская иронично обыгрывает известную русскую пословицу «От сумы и тюрьмы не зарекайся».
- 10. Знакомый Сосинских.
- 11. Faire-part письмо-уведомление (ϕp .)
- 12. В одном из своих писем жене Сосинский описал мощный ливень, обрушившийся на Баркарес.
- 13. О домашнем прозвище Ариадны Викторовны Аука см. прим. 25 к статье.

№ 9 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – ВАДИМУ АНДРЕЕВУ

Баркарес – Коломб (предместье Парижа) 22 декабря 1939

22 déc[ember] 1939

Милый Вадим,

Дошли до меня слухи, что Ты пострадал на зубном фронте. Уж кто- $\lceil \kappa \rceil$ то – но я это дело знаю!

Наверное, и до Тебя дошли слухи, что я был очень серьезно болен -20 дней, из которых 5 в постели. Дизентерия с лихорадкой — «бархарат» — по месту происхождения.

Теперь я чувствую себя хорошо – даже лучше, чем до болезни.

Permission на Олерон думаю получить в начале января – на 4 дня.

Надеюсь получить от Тебя на P[ождест]во письмецо. Давно Ты мне не писал — знаю, что занят. Но почему Меу [не пишет]? Чемнибудь обижена?

...В связи с Финляндией часто вспоминаю о $Teбe^1$. Ты весь знаешь там каждый фьорд, каждую скалу. Как ты всё это переживаешь?

Да, война будет большой и долгой. Не спеши с уходом к нам³. В начинающемся мировом кораблекрушении на Тебя выпала тяжелая доля спасать наших жен и детей.

...При встрече с П. С. Ивановым⁴ (он послал мне 200 фр[анков] не так давно) поздравь его с P[ождеством] X[ристовым] (у меня затерялся его адрес).

Поцелуй Кристю⁵ (хотя он того и не стоит) и его семью.

Поздравляю и Тебя, мой старый друг.

В[олодя]

[на полях: Просил у Меу адрес Матильдочки, так и не получил... Шлю открытку Тебе.]

Печатается по автографу: HIA. Coll. Number 2000C60.

- 1. См. прим. 16 к № 6, от 21 декабря 1939 года.
- 2. В детстве Андреев жил в Ваммельсуу (Финляндия) в доме, построенном его отцом, известным русским писателем Л. Н. Андреевым.
- 3. Т. е. со вступлением в Иностранный легион.
- 4. Петр Семенович Иванов (1889–1962), земский деятель, художник, литератор, масон.
- 5. См. прим. 8 к № 3, от 23 ноября 1939 года.

№ 10 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – ОЛЬГЕ АНДРЕЕВОЙ-СТАРШЕЙ

Баркарес – Олерон 22 декабря 1939

Camp du Barcarès 22 déc[embre] 1939

У меня иногда складывается впечатление, что если сорганизуется на земле когда-нибудь настоящий рай, то он будет состоять из неверных жен и неверных мужей.

Как бы это выразиться, чтобы никого не обидеть?

Беру быка за рога! Я уверен, что Твои письма Вадиму менее талантливы — чем ко мне. Я почти уверен, что мои письма к Тебе или Наташе интереснее моих ежедневных рапортов Ариадне. Я с грустью утверждаю, что Адины письма различным хахалям были длиннее, чем земному ревнивому мужу.

О, я знаю возражения — со всех четырех сторон! И я отступаю на заранее приготовленные позиции, да, да, вы правы, я преувеличиваю — но имейте мужество признать, что какая-то доля правды имеется в моих пагубных для семейной морали измышлениях!

 ${\it W}$ вот сегодня — снова письмо от Кошки $^{\it l}$, еще одно доказательство моей теории...

Но не будем ссориться в преддверии Сочельника. Поболтаем о другом.

(Пью бессовестное количество черного кофе – единственная привилегия, которой я пользуюсь вовсю...)

...Ты своим потусторонним чувством учуяла, что Володя (ханская или, вернее, хамская привычка говорить о себе в третьем лице) частично «кривит душой» в смысле оптимизма. Но что Ты хочешь, милая Оля? Чтобы уберечь себя от баркаресного урагана (вроде потопа, который я описывал Аде), нужно не «немного кривить душой», а целиком ее, эту душу, перегнуть, свернуть и наново выправить. И

есть только одно лекарство, помогающее выправленью спинного хребта, – оптимизм!

Я честно говорю своим товарищам: [«]Не жалуйтесь, будет время, когда о Баркаресе все будете вспоминать с великой нежностью[»]. Как-то в припадке отчаяния один каменщик-португалец сказал мне: «Я не убил ни отца, ни мать — за что меня сослали [?..]» И мне удалось его успокоить. Чем? Тем же лекарством — и, пожалуй, еще тем, что я взял его в экип перпиньянских грузчиков²: жизнь его течет теперь разнообразнее. Как много нужно преодолеть в жизни, сколько Баркаресов нужно пройти, чтобы отдать себе отчет в великой ценности простых вещей и в особом значении слов, обладающих до сих пор древней магией символов. Прости за слишком литературный оборот фразы — но ты понимаешь мою мысль? Мой нынешний стимул жизни: гордость за то, что я полезен другим, удовлетворенье тем, что это спасает и меня — разве не этому мы учились с Вадимом на вечерних курсах нашего народного университета? (***)3

...Спасибо, милая Оля, за то, что в каждом Твоем письме я нахожу неизменно несколько слов об Алеше и Ауке. И я тебе верю на все сто! Верь и мне: я доволен пребыванием в Баркаресе.

Поздравляю Тебя, Олечку и Сашу с Р[ождеством] Х[ристовым]⁴. Знаю, что вокруг елки Вы будете вспоминать о законных мужьях и еще больше

о незаконных В[олодя]!

Печатается по автографу: HIA. Coll. Number 2000C60.

- 1. См. прим. 1 к № 6, от 21 декабря 1939 года.
- 2. См. прим. 4 к № 4, от 30 ноября 1939 года.
- 3. См. прим. 5 к № 4, от 30 ноября 1939 года.
- 4. Олечка (Ольга Вадимовна Андреева-Карлайл) и Саша (Александр Вадимович Андреев) дети Ольги и Вадима Андреевых, см. упоминание о них во вступительной статье.

№ 11 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – ВАДИМУ АНДРЕЕВУ

Баркарес – Коломб (предместье Парижа) 12 января 1940

Camp du Barcarès 12 janv[ier] 1940 Дорогой Вадим,

давно не писал Тебе, хотя часто о Тебе думаю (этому Ты можешь мне поверить и без всяких заверений).

Когда Ты ругался в письмах, у Тебя было больше времени, и Ты писал мне часто, а теперь Ты работаешь и вряд ли у Тебя хватает времени на письма Оле. И вот я мечтаю хотя бы о возврате «ругательных времен».

Я же лично, как Ты знаешь, аккуратный корреспондент, но стоит мне не получить ответа хоть на одну открытку, как я смолкаю. С Михаилом Андреевичем¹ переписываюсь всё время, очень бурно с олеронцами, безнадежно с Додой – и средне – со всеми остальными.

Совершенно особо должен Тебе сказать о письмах В. Варшавского. Молодчина! И подумать только, что мы сошлись с ним лишь в конце нашего 15-тилетнего знакомства! Я называю его «тяжелым мечтателем» (о всемирном братстве «человеческих» людей). Он необыкновенно вырос за это время – и я, когда у меня будет больше времени, обязательно ознакомлю Тебя с его изумительными письмами².

Абрам[у] Самойловичу³ на его ласковое письмо ответил длиннейшим, вложив в него всё мое «заветное» к нему отношение. Боюсь, что наговорил много глупостей — но писал искренно и с большим волнением.

Но я что-то рапортую Тебе о моих корреспондентских делах. Повидимому, несознательно желая Тебя уязвить: вот, мол, другие меня не забывают. Не пойми меня плохо: я знаю, что значит работать на заводе.

* * *

...Пишу Тебе накануне своей поездки на Олерон. Счастливые дни ожидаются... Тебе хорошо известна моя безмерная любовь к Аде и к Алеше – и Ты представляешь себе, в каких я чувствах теперь пребываю... Четыре месяца разлуки, и каких (их надо исчислять годами)! По возвращении обещаю Тебе написать обо всех олеронцах.

Жизнь в лагере утряслась. «Героические» времена прошли. Топим печи. Появилось электричество. Играю в бридж, в шахматы. Лучше едим. Лучше спим.

Часто мучают нас различными прививками, от которых по три дня трясемся в лихорадке. С удивлением отдаюсь строевой работе. Хорошо стреляю из пулемета-ружья. В настоящее время я, вследствие отъезда в отпуск нашего сержанта, командую секцией. Но до этой должности мне еще далеко. Официально я лишь шеф группы (11 волонтеров: капрал, пулеметчик, поставщики и стрелки). Но сейчас – основа современной войны не секция или рота, а именно группа. Но и до шефа группы я еще не дошел: это должность сержанта, и я лишь

fonctionnaire chef du groupe⁴. Если придут кадры из резервов, то я лишь буду в группе – caporal (помощник сержанта). Как видишь, еще надо многое сделать.

Носятся слухи, что мы вскоре покинем Баркарес в «неизв[естном] направлении».

Да, моя работа — батальонного caporal d'ordinaire длилась целый месяц и кончилась 1 янв[аря] с[его] г[ода] (получил кучу комплиментов: кормить 1000 чел[овек] — дело не легкое и интересное).

* * *

Умоляю Тебя разыскать в моих письмах (скорее всего, в пакете № 5 — не римская цифра, а арабская*) — все мои военные документы. Для поступления в сержантскую школу (капральскую я уже благополучно кончил) — мне это очень важно. Даю Тебе 10-тидневный срок!

Пиши мне о парижских делах и друзьях. Ты знаешь, как я живо всем интересуюсь. Итак — надеюсь, по возвращении в Бакарес — числа 28-го [января] — иметь что-нибудь от Тебя.

Твой верный В[олодя]

Поцелуй Кристи и всех, кого увидишь.

(* на полях: Или, скорее, в той папке, из которой вы мне прислали уже часть документов, т. е. в моем портфеле.)

Печатается по автографу: HIA. Coll. Number 2000C60.

1. Имеется в виду писатель, публицист, литературный критик и переводчик Михаил Андреевич Осоргин (1878–1942), ближайший друг и наставник Сосинского по масонскому братству. См., например: *Серков, Андрей*. М. А. Осоргин и его масонское наследие. – М.: Ганга, 2018 (по указателю имен). Когда Сосинский оказался в немецком плену, Осоргин и масон С. А. Луцкий делили расходы по отправке ему ежемесячных посылок. Эту помощь Осоргин в письме П. С. Иванову (см. в прим. 4 к № 9, от 22 декабря 1939) определял как

...самое наше большое удовольствие, как ни трудно добывать сладости и всякие консервы, всё то, чего сами для себя не видим. Отличные выходят посылки, пятикиловые. Он в лагере переводчиком, раньше был в деревне. Писать нам может лишь раз-два в год, а жене пишет. (Письма и статьи Михаила Осоргина / Публ. М.Г., Т. Осоргиной // Cahiers du Monde russe et soviétique, 1984. Vol. 25. No. 2/3. April-Septembre. – P. 324).

- 2. См. фрагменты из писем Варшавского, который Сосинский цитирует в послании к жене (№ 7, от 22 декабря 1939).
- 3. Речь идет об общественном и масонском деятеле Абраме Самойловиче Альперине (1881–1968). Письмо, написанное Сосинским Альперину уже

после возвращения в Советский Союз (датировано 1 марта 1961) и ответное письмо последнего от 10 марта, см. в кн.: Сосинский. 2002. – Сс. 187-189.

4. Fonctionnaire chef du groupe – старший офицер группы (ϕp .)

№ 12 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – ВАДИМУ АНДРЕЕВУ

Баркарес – Коломб (предместье Парижа) 3 марта 1940¹

Expéditeur:

Caporal B. Sossinsky 2-ème C[ompagn]-ie 21 R.M.V.E. Camp du Barcarès (P.O.)

M[onsieu]r W. Andreew Chez Kafian 242 bis, Rue Nanterre Colombes / Seine

3.III. [19]40

Милый Вадимчик,

Кошка мне писала 2 , что Тебе поручили дело с моим поясом-бондажем. Пишучи Тебе недавно открытку — я не хотел торопить — и вдруг на след[ующий] же день почувствовал боли на другой стороне. Д[окто]р — увы! — констатировал образование второй гадости. Смазал мне это место ёдом (sic) и настоятельно требует двойного бандажа. Освободил меня от занятий и походов.

Итак, надо спешить. Меня очень огорчает, что надо снова теребить того же человека. Неужели нельзя мобилизовать наших докторов?

Подумай об этом, мой милый Вадим, и сделай сие в ударном порядке.

Пиши мне чаще. Дни считаются.

Как Твой палец?3

Твой В[олодя]

P.S. Не тревожь олеронцев осложнением моей болезни. Я буду вести себя осторожно.

Печатается по автографу: HIA. Coll. Number 2000C60.

- 1. Написано на почтовой открытке.
- 2. Т. е. Ольга Андреева-старшая.
- 3. Дочь Андреева Ольга Андреева-Карлайл вспоминала в своей книге об Олероне:

Однажды вечером, когда мы с Андреем уже собирались ложиться спать, в дом вдруг вошел отец! На левой руке у него была повязка — оказалось, что на резиновой фабрике произошел несчастный случай: ему придавило какой-то железкой безымянный палец, и он получил небольшой отпуск от работы. Он не писал о происшествии, чтобы не потревожить маму, а вместо этого решил приехать нас повидать. У него было шесть дней, чтобы побыть с нами. Для меня эти шесть дней были равны целой жизни (Андреева-Карлайл. 2021. — С. 68).

№ 13 БОРИС ВИЛЬДЕ – ВЛАДИМИРУ СОСИНСКОМУ

483 RADCA — Баркарес 15 марта 1940

En russe

Brig.-Chef Vilde 483 RADCA [1] 64e groupe 185e Batterie S.P. 9560

le 15 mars 1940

Дорогой Сосинский,

спасибо за Ваше письмо. Я очень рад, что военная жизнь Вам пришлась по душе. Мне тоже жаловаться не приходится, несмотря на некоторое однообразие обстановки.

Зимой здесь было холодно и снежно. Сейчас — настоящая весна, солнце и, конечно, много действий. Мы сбили несколько немцев, хотя обычно они держатся на очень большой высоте.

Человеческий материал здесь, вероятно, менее любопытен, чем в RMVE², но и труднее. Вся дисциплина покоится на доверии подчиненных к начальству и начальства к подчиненным. Страхом наказаний на французов не повлияешь. Отсюда — большая свобода во всех отношениях. Со своими людьми у меня никогда не было историй, мы живем душа в душу, и я могу на них положиться. С начальством бывают стычки, но пока что без последствий.

Из русских здесь нас всего двое: я и некто Земш, человек очень милый, но абсолютно штатский (к его счастью, он сидит в бюро). Есть один поляк, славный парень, но безграмотный, довольно много

эльзасцев и все остальные – французы из разных провинций самого различного возраста: от 21 до 41 года! Со временем, вероятно, нас рассортируют и сформируют новые батареи.

С здешними жителями (наша деревня не эвакуирована) у нас самые лучшие отношения. Почти все солдаты живут у крестьян и спят в постелях (по крайней мере, одну ночь на три). У меня большая и светлая комната с освещением и отоплением, где я могу чувствовать себя «штатским» и спать в пижаме. Шутки в сторону, я страшно не люблю казармы. Боюсь, что скоро придется ночевать все дни на позиции.

Крепко жму Вашу руку и надеюсь получить от Вас ответ. Ваш Бор. Вильде

Печатается по автографу: Центральная научная библиотека Союза театральных деятелей РСФСР (Москва). Ф. 239а-К.

- 1. 483 RADCA Régiments d'artillerie de défense contre aéronefs 483-й зенит-но-артиллерийский полк.
- 2. RMVE (Régiments de Marche des Volontaires Étrangers) Маршевый полк иностранных легионеров, в котором служил Сосинский.

№ 14 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – ОЛЬГЕ АНДРЕЕВОЙ-СТАРШЕЙ

Баркарес – Олерон 18 марта 1940

18.III.40

Милая моя Кошка.

меня всякий раз Твои письма радуют по-особому. Я уже не буду повторяться о восторгах — чтобы они всем не надоели — скажу лишь, что их обычная свежесть, оживленность и остроумие дают мне много интересного об Олероне и Вашей жизни. И кроме того, они приходят обычно в дни, когда от Ауки ничего нет — чтобы не нарушать ничем «посторонним» их чтение и чтобы, конечно, одновременно освобождать и от корреспондентского corvée (эту Вашу хитрость я давно раскусил).

Поскольку Ты не так давно (т. е. Твое предыдущее письмо в Баркарес) уже писала мне обо всем, то на этот раз я освобождаю Тебя от необходимости повторяться. Но в конце марта это уже серьезно.

С одной стороны, Ты меня *забросила*, с другой стороны, угрожаешь *забросить* письмами. Потерпи (и я потерплю) до моего нового распоряжения.

Не совсем я понял насчет «паука» («стара, батюшка, стала; память отшибло»). Разъясни при случае или Аде дай разъяснить.

Насчет олеронских беженцев: я начинаю к ним привыкать — и даже нашелся между ними один, с которым я проболтал часа два. Полное совпадение душ: Ван Гог — величайший в мире художник, французская живопись XIX века — лучшая, и вообще, во всех деталях, прошли с ним по всем залам Лувра и даже провинц[иальных] музеев и частных коллекций. Душу отвел от

- «Качай воду, е. т. м.!»

* * *

Жаль, что вы, и детишки особенно, не могут видеть меня в обновках: какие штаны-гольф, какие ботинки – и в полной амуниции – в каске и газовой маске и со всеми сумками – шикарный европейский солдат!

Поэтому и парад, в присутствии известных генералов, был замечательный. Какое все-таки грандиозное впечатление от количества людей, одинаково одетых... штыки на солнце, мощные оркестры, знамена и колонны, колонны...

* * *

После шести месяцев бесцветного существования (но очень важных мне: Баркарес!) мир снова стоит на пороге исторических событий. Догадываетесь ли вы о том, что происходит в дипломатических сферах — вот уже почти месяц? У меня составлен целый провиденциальный план, и я теперь с трепетом слежу за развитием событий: угадаю ли я? Пока всё разворачивается по моему плану, что льстит моему самолюбию пророка, но приводит в уныние мою душу. Впрочем, надо еще подождать...

У Мамотки 1 и Алеши режутся зубки — а у меня они вырываются (вот где трагедия возраста!) — увы, сегодня после обеда у меня украдут два, а может быть, целых три зуба — по счастью, всё в глубине, так что вы и не заметите при встрече.

Нехорошо, что вы всё еще не привели в порядок свои болезни, — особенно это грустно, когда дело касается середняков и вообще детишек: бедные, сколько у вас хлопот!..

Удалось ли удовлетворить страстные мольбы [нрзб.]? И не будет ли вам это новой обузой? Будьте в этом смысле очень благоразумны и эгоистичны – увы, это знамения эпохи...

Если я на что-нибудь Тебе не ответил, прости, т. к. у меня под рукой нет Твоего письма (пишу на дежурстве).

Мало сейчас у нас времени, а событий много – так что скопирую Вашу хитрость и сегодня не напишу Ауке...

Вадим мне написал очень милое и остроумное письмо. Радует меня его «разносторонняя деятельность» по удовлетворению очередных нужд. Он ведь вообще молодец! (Хотя он и отбил у меня – в свое время – Кошку – единственное, что я не могу ему простить.)

Что Дода? Меу? (Итак, на днях всё напишет: знал бы раньше, что Меу так долго будет с Вами, написал бы десяток писем!) Наташа? Твой до гроба В[олодя]

Печатается по автографу: HIA. Coll. Number 2000C60.

1. Имеется в виду Ариадна.

№ 15 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – АРИАДНЕ СОСИНСКОЙ

Баркарес – Олерон 13 апреля 1940

Суббота, 13-ое апреля [1940]1

Нравится ли Тебе это? Мне очень. Я люблю именно такой английский юмор. В первую минуту кажется ерунда? Как наш родной Козьма Прутков (наш великолепный Козьма, конечно, совсем другой, я не сравниваю — просто влетело случайно в голову — лучше вспомнить Марка Твена), а потом видишь, как это тонко, человечно и как грустно, что хвастовство лошади разоблачено². Ведь в 1928 г. она сделала столько усилий, чтобы прийти первой, она так мечтала — и разве, в конце концов, важно, что кто-то на финише обогнал ее на полголовы? О, как я понимаю эту лошадь или того хвастуна — ее прототипа. А в целом: как хорошо и убедительно, т. е. совсем не кажется нелелым, что лошадь говорит по-человечески (как это часто чувствуется в детских книгах), хотя немного и удивляет, как того джентльмена.

* * *

Я как-то начал Тебе описывать мелочи моего личного быта, но что-то тогда меня прервало... Жаль, потому что Тебя (коли слово «нужно» во вчерашнем письме Ты прибавила не только для слога) должны интересовать такие пустяки больше, чем мои гамлетовские переживания в связи с переводом из роты в роту...³

Ты помнишь Лиабаста⁴ и мою эпопею vendange у него? От тех замечательных изобильных обедов и ужинов у меня до сих пор сохранилась одна привычка, которой раньше брезговал, а когда был у вас на Олероне, просто забыл о ней! Это класть в суп, какой бы он ни

был, кусочки хлеба (кстати, о хлебе: в вине брожара⁵ конечно нет, потому что он портит вкус – сам! – а в хлебе, говорят, есть). Хлеб у нас – увы! – почти всегда сухой (особенно сушат его – ветра!), а в супе он молодеет.

Тот же ветер страшно сушит табак, порою просто невозможно свернуть цигарку. И вот совсем недавно умные люди посоветовали мне класть в пачку кусочек... моркови – и, действительно, табак становится слегка влажным (как раз в меру) – и лучше на вкус. Каждый кэнзэн⁶ мы получаем три пачки табаку (или пять – папирос; табак для меня значительно выгоднее), на что идут мои карманные деньги: 20 дней в месяц курю на собственный счет (Женя⁷, Кваниха⁸, Союзы⁹)! Я ошибся, когда говорил, что после производства буду получать до 3 фр[анков] в день. Я получаю une solde journaliere¹⁰ вместо 50 с[антимов] – 70! И из этого еще вычитают табак. Une haute paye¹¹, которая варьируется от 1 fr[anc] 50 до 7 fr[ancs] 50 с[entimes] в день и которая существует в других гарнизонах, нас еще не коснулась. Вот почему мне сейчас так важно заработать сержантскую нашивку!

Единственное, в чем у меня кризис, — это в бумаге. Будучи по профессии типографом — я не в силах заставить себя *покупать* бумагу. Когда недавно в Баркаресе я купил за франк pachette 12 , я чуть не заболел с горя по этому франку. По различным форматам, по различным качествам бумаги в моих письмах — Ты видишь, что я до сих пор в течение шести месяцев пользовался «случайным материалом»...

* * *

Дождь. И как будто ветер утих. Надолго ли? Если завтра будет солнце, возьму карандаш и сделаю несколько набросков в баркаресных окрестностях. Это очень освежает сердце.

Завтра — шесть месяцев, как я на стремительном испанском грузовике въехал в баркаресный лагерь. Вроде юбилея. Постараюсь провести этот день наиболее содержательно. Дежурство мое кончилось.

В[олодя]

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 28.

- 1. Год определяется по содержанию.
- 2. Сосинский обсуждает приклеенную в левом верхнем углу письма газетную вырезку (по-видимому, из парижских «Последних новостей») следующего содержания:

На улице стоит повозка с молоком. Кучера нет — он зашел в дом раздавать товар. Мимо повозки проходит господин и слышит вдруг голос, который произносит:

– Хорошая погода, сэр!

Господин оглядывается — вокруг никого нет. Что за оказия! Между тем голос продолжает:

- В такую погоду хорошо на скачках.
- А вокруг всё никого. Тогда господин обращается к лошади:
- Это ты разговариваешь?
- Я. А вы бываете на скачках?
- Гм... Довольно часто.
- Тогда вы должны меня знать. В 1928 году я выиграл Дерби.
- В это время кучер выходит из дома.
- Она уже успела рассказать вам свою историю? обращается он к прохожему господину. Не верьте ей, в 1928 году она пришла второй.
- 3. В это время Сосинский перешел в роту, которой командовал Н. Н. Оболенский. Поэт, прозаик, общественный деятель князь Николай Николаевич Оболенский (1905—1993) был кузеном советского писателя Константина Симонова, который через много лет будет помогать Сосинскому издать в Советском Союзе его роман «Битва за Францию» (в этом романе, в частности, был изображен и Оболенский). Из этих стараний, однако, ничего не получилось роман так и не был издан. Посвящение, которым сопроводил его автор, гласило: «Моему взводному, герою битвы под Сант-Менульдом в Арденнах, Рюриковичу и сенсирцу*, лентенанту Николаю Николаевичу Оболенскому». В ответ на письмо Сосинского, в котором он ознакомил своего боевого товарища с этим посвящением, тот писал (15 января 1979):

«Никакого геройства я в сражении под Сент-Менульдом ('битва' – это совсем другой размах: Куликова битва, Курская битва в минувшую войну) не проявил. Спасибо за желание, которое меня искренне трогает, посвятить мне книгу, но только так: 'Моему взводному, другу и соратнику Николаю Николаевичу Оболенскому в память его ранения в сражении под Сент-Менульдом в Арденнах'» (РГАЛИ. Ф. 1814. Оп. 9. Ед. хр. 2248. Л. 30-30 об.)

^{*} Н. Н. Оболенский окончил французскую Военную школу Сен-Сир (1927).

^{4.} Неустановленное лицо.

^{5.} Сосинский использует форму слова, в русском языке неизвестную, но, судя по всему, восходящую к словам «брага», «бродить», «бражный», т. е. к производству винных и хлебных продуктов.

^{6.} От quinzaine – полумесяц (ϕp .)

^{7.} По-видимому, Сосинский имеет в виду брата Евгения (см. упоминание о нем во вступительной статье).

^{8.} См. прим. 7 к № 8 (между 22 и 25 декабря 1939).

^{9.} Смысл этих восклицательных перечислений – в связи с куревом – остается загадочным.

^{10.} Une solde journaliere – ежедневный баланс (ϕp .)

- 11. Une haute paye высокая оплата (ϕp .)
- 12. Pachette пакетик (фр.)

№ 16 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – АРИАДНЕ СОСИНСКОЙ

Баркарес – Олерон 15 апреля 1940

Понедельник, 15-ое апреля 1940

Без всяких оговорок принимаю характеристику «героя нашего времени» 1 . И его последнее письмо ничего не меняет в существе дела. Напрасно Ты на минуту усомнилась в своей правоте 2 .

Именно так! И признаюсь, мне до сего времени не приходилось слышать такой правильной (я хотел добавить «блестящей», но вспомнил, что Ты с удовольствием принимаешь лишь комплименты, относящиеся только к Твоим внешним достоинствам, и особенно к кокетству – а уж что касается комплиментов Твоему литературному таланту – то Ты боишься их, как огня или артиллерийской стрельбы!), такой верной оценки нашей молодежи. А Твои, приведенные для контраста, примеры людей (Прейсман³, Аронсон⁴) даже мне лично многое открыли, так же, как и финальная характеристика С. Я.5 («отсюда два шага до него»).

Конечно, так! Мне нечего прибавить — Твои четыре страницы я целиком включил в мой дневник — или будущую книгу, где я говорю на эту тему. Я прочел их и буду переписывать — с величайшим наслаждением.

Я всегда говорил, что Ты — умница, а Ты не верила! Теперь поневоле придется верить и почаще радовать такими pages d'essai 6 не менее умного Володяшку.

Очень рад тому, что я Тебя поймал на слове и вынудил на бумаге изложить свои мысли, которые ты уже считала изложенными.

А что касается активного движения, вдруг проявленного Володей, то не забудь, что он сделал это, потому что ему опостылела казарма (как и нам всем) — раз! А во-вторых, разве у Левы⁷ или Эйснера⁸ в жизни не было таких же движений? Нет, это ничего ни на йоту не меняет в Твоем настроении.

Вторник, 16-ое апреля

Когда я кончал вчера чтение Твоего прекрасного письма – в весен-

нем воздухе (у нас тоже выглянуло солнце, и стих двухнедельный ветер) зазвучал тонкий (такой серебристый) голосок Алеши (и он всё так же говорит или Ты слишком привыкла и уже не чувствуешь эту высокую трель, так поразившую меня в первый олеронский вечер?)

- Мама, ты добая? Сорви еще, у меня мало.

И это «забудки» и «лютики» вдруг так всполошили мое сердце, что я оторвался от чтения и, откинувшись назад, долго смотрел в небо...

Ах, как я люблю вас, моя милая парочка!

Я сидел на песке, прислонившись к стене барака... Небо – после серых туч, ушедших в море, – окрасилось в особо свежие краски, точно умытое дождем. Кое-где были разбросаны золотые пятна, как во французских миниатюрах XIV в.: легкой кисточкой – а само солнце уже закатилось за горы – этот виновник торжества!

И мне так захотелось расцеловать ваши мордочки!

...Хотя агентство Гавас еще 12-го апреля опубликовало грустную для нас лаконическую фразу: «Отпуски во французской армии временно прекращены», – как на грех, именно сегодня наши субтильные сердца (сердца, женихов, мужей и отцов) были взбаламучены ротной канцелярией: составлялись списки permissionnaires de détente9.

Правда, этим обычно занимаются задолго до начала реальных отпусков, но вот весь сегодняшний день только об этом и слышно. В этот четверг будет ровно три месяца, как я получил свой первый détente (эту дату тоже спрашивали). Есть у меня надежда, что в мае увижусь с вами.

* * *

Еще один образчик английского юмора:

«Особенное основание имела бояться Дания. Не только потому, что она — ближайшая и слабейшая соседка рейха, но еще и потому, что она недавно заключила с Германией договор, гарантирующий ее от вторжения» (Из речи Черчилля).

* * *

В последнем номере «Мatch» а кое-какие приятные ассоциации были вызваны во мне такой карикатурой:

Горничная открывает дверь господину (мужу? другу дома?) и говорит:

Madame est sortie!¹⁰

А на полу передней лежит знаменитая матросская шапочка с помпончиком...

* * *

Только что меня назначили в Porte de Garde. В перспективе – ночь, которую я проведу в работе над «Типами легионеров» (с которыми я Тебя уже частично ознакомил за 6 месяцев).

...Сегодня утром впервые (не выкупался – брр... холодно), но вымылся в море – с ног до головы. Чувствую себя свежо и молодо. Таким бы Ты, наверное, меня любила сильнее...

Насчет Перпиньяна — это табуровская¹¹ клевета — я и не собираюсь туда. Это он каждое воскресенье уезжает туда и довольствуется «десятифранковой» женщиной!

Не я! Не я! Это Бэкин!¹² В[олодя]

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 28.

1. Скорее всего, под «героем нашего времени» скрывается Д. Г. Резников, ср. в мемуарах Сосинского «Четыре плюс один»: после отъезда из Болгарии в Берлин одного из троицы друзей, Вадима Андреева,

...мы остались бедовать в нищете вдвоем: Дода и я.

Дода был всегда печален, мало говорил, еще меньше смеялся, особенно в обществе. Его можно было разбудить, лишь будучи один на один, тогда он мог проговорить всю ночь — как это было в Селимье, например, у нас с ним, или под звездным небом Борисовой Градины. Я его прозвал «Демоном нашего времени» (Сосинский. 2002. — С. 56).

- 2. К сожалению, письма Ариадны Викторовны, в котором она «усомнилась в своей правоте», разыскать не удалось, и поэтому расшифровка ряда дальнейших мест, в особенности связанных с называемыми Сосинским лицами, остается несколько предположительной. Однако поскольку речь, скорее всего, идет об именах литераторов-любителей, творческие опыты которых Сосинская, как следует думать, сравнивала со своими собственными, есть вероятность, что эти предположения являются вполне обоснованными.
- 3. Возможно, имеется в виду живший в парижском пригороде Кламаре преподаватель английского языка Василий Анисимович Прейсман (1900–1941).
- 4. Предположительно Анна Яковлевна Аронсон (урожд. Каплан; 1901–1967), жена писателя, поэта, журналиста и общественно-политического деятеля Г. Я. Аронсона. В 30-е гг. она жила с мужем в Плесси-Робинсоне, где открыла детский дом; возможно, именно там Сосинские с ними и познакомились.
- 5. По всей вероятности, имеется в виду литератор и советский агент Сергей Яковлевич Эфрон (1893–1941), муж Марины Цветаевой.
- 6. pages d'essai здесь: литературными этюдами (ϕp .)

- 7. Судя по всему, речь идет о поэте Льве Борисовиче Савинкове (1912—1987), сыне известного эсера-террориста, поэта и писателя Б. В. Савинкова и его гражданской жены Е. И. Зильберберг. Л. Савинков, как и называемый далее А. В. Эйснер, были участниками войны в Испании, на которую собирался попасть и Сосинский.
- 8. Алексей Владимирович Эйснер (1905–1884), поэт, прозаик, переводчик. В 1940 г. вернулся в Советский Союз, где был арестован и заключен в лагерь.
- 9. См. прим. 4 к № 6, от 21 декабря 1939 года.
- 10. Madame est sortie! Госпожа вышла; госпожи нет дома. (ϕp .)
- 11. См. № 4, от 30 ноября 1939 года.
- 12. Смысл фразы не совсем понятен; наверное, она имеет какой-то конвенционально-домашний смысл.

№ 17 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – АРИАДНЕ СОСИНСКОЙ

Сент-Менульд — Олерон 8 июня 1940

Écrit en Russe¹

Samedi², 8 Juin 1940

Второй день отдыха. Вчера все наши силы были мобилизованы на фронте сна. Спал я столько, что, проснувшись ночью, не мог уже больше спать, как ни силился. Переборщил! Всему есть пределы...

Валялся. Курил папиросы. И переговаривался со звездами... Поднялся и вылез из леса. Всё небо было пересечено лучами прожекторов. Они напоминали гигантские палки, прикрепленные к одному месту и падавшие то в одну сторону, то в другую — точно у их основания находились шарниры. В двух местах на горизонте пылало зарево — это горели фермы, подожженные нашей артиллерией. Воздух, как всегда по ночам, гудит от орудийных взрывов: всякий раз, когда наши батареи открывают огонь, сначала над тем местом освещается небо, через секунд пять доносится гул de «départ»³, через десять — свистят над нами снаряды, через 30-40 секунд доносится звук аrrivée⁴ — разрыв снаряда, напоминающий грохот одной доски, брошенной на другую.

Я чувствую невольное уважение к тем снарядам, которые приходят над нами с глухим, солидным свистом и которые не имеют ни звука départ, ни звука arrivée, ибо это «важные» особы, особы дальнего плаванья — калибра 320-го, бьющие на 30-40 километров. И потом они всегда «наши», ибо немцы в нашем районе таких орудий

не имеют. Вообще, мы бьем их раз в десять серьезнее, и я не хотел бы быть на их месте.

Эти зарева, эти прожектора, этот грохот и светящиеся ракеты, напоминающие кометы с дымовым хвостом, — это небо совсем не напоминало то, аустерлицкое, которое так много сказало Андрею Болконскому. В этом апокалипсисе звезды терялись и переставали вести беседу...⁵

* * *

С Нелидовым опять не без анекдотов⁶. Дал ему Н[иколай] Н[иколаевич Оболенский] нести свою офицерскую кожаную сумку — знаешь, такую, в которой помещаются карты и инструменты? В дороге, как всегда, Нелидов потерялся. Дело было ночью.

Подошел он к одной землянке и спрашивает, где находится такаято рота, такая-то секция. Ему указали. Он отошел шага два, прилег и слышит разговор в землянке:

– Ну и офицеры же бывают. Не знает, где его часть помещается, растяпа. И из кармана торчат грязные носки!

А Нелидов рад, что его приняли за офицера. Пошел дальше. Захотел курить. Попросил в другой землянке. Ему услужливо подали папиросы. И опять слышит:

- Для нас так у тебя нет папирос, для чужого лейтенанта, небось, нашлось, salout!
 - ...Рассказал мне это Нелидов и после долгой паузы вдруг выпалил:

«Бывают в жизни шутки», – Сказал петух, слезая с утки.

* * *

Поссорились сегодня Нелидов с Васильком. Дело дошло чуть ли не до драки.

Едят мясо.

<u>Нелидов</u>: Ну, теперь дай мне печенья.

Василек (молча дает еще кусок мяса).

<u>Н[елидов]</u>: (удивляется, но ест, съев) Теперь дай мне печенья. Дай всю порцию, и свою, а я тебе оставлю сардины.

В[асилек]: Ладно. Бери. (И снова дает еще один кусок мяса.)

<u>Н[елидов]</u>: (флегматично съедает и этот кусок) Ну, а печенье?

<u>В[асилек]</u>: Всё съел, и еще мало?! Нету больше печенья. Дал последний кусок.

<u>Н[елидов]</u>: Как так нету печенья?! Выдавали же утром. Что ты мне всё мясо суешь!

И т. д. В конце концов недоразумение выяснилось: «печенье» погалицки – мясо! А Нелидов просил бисквиты.

* * *

Начал писать для Меу: третий очерк «Адольф и Негрин»⁷. Пишу карандашом (чернил нету), на двух сторонах листа. И пошлю на Олерон – так? Вы там подправьте и перепишите.

...Не получил сегодня газеты, нет и писем – боюсь, что сегодняшняя почта или задержалась, или погибла. Зарядился терпеть до завтра. Твой В[олодя]

Изредка вкладывай в письма: конверты, папиросные бумажки и, если можно, камешек для зажигалки.

(на полях: Идем с Нелидовым за земляникой! Выспела!)

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 30.

- 1. Écrit en Russe написано по-русски (ϕp .)
- 2. Samedi суббота (фр.)
- 3. Départ вылет (фр.)
- 4. Arrivée прибытие (ϕp .)
- 5. Аллюзия на лермонтовский образ: «И звезда с звездою говорит» («Выхожу один я на дорогу...», 1841).
- 6. Андрей Нелидов доброволец Иностранного легиона, входивший в возглавляемую Сосинским группу. В письмах Сосинского жене он является одним из сквозных персонажей. В более раннем послании к ней (один из тех редких случаев, когда оно оказалось недатированным), относящемся по содержанию к началу 20-х чисел мая 1940 года, Сосинский, описывая Нелидова, рассказывает другой приключившимся с ним забавный случай:

Ночью были кой-какие треволнения... Но лучше о забавном. Значит о Нелидове. Спал он, подложив под голову мой бидон и буханок хлеба (общий). Ночью (так он рассказывает) упало ему на лоб нечто мягкое: понюхал — колбаса. (По-видимому, от вагонной тряски выскочила из какой-то подвешенной сумки.) Он, не раздумывая, отрезал кусок хлеба, съел колбасу и запил моим вином... И теперь весь день хвастается, как поужинал тремя чужими блюдами — вот, мол, какой везучий! (ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 28).

7. По всей видимости, Сосинский пытался в своем очерке сопоставить Гитлера и испанского политического деятеля, одного из лидеров испанской социалистической партии Хуана Негрина Лопеса (1892–1956), который был министром финансов (сентябрь 1936 – май 1937) в правительстве Ф. Ларго Кабальеро; в годы Гражданской войны в Испании возглавил правительство; 6 марта 1939 г. эмигрировал во Францию, позднее – в Великобританию; после Второй мировой войны переехал в Мексику.

№ 18 ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ – АРИАДНЕ СОСИНСКОЙ

Сент-Менульд – Олерон 9 июня 1940

Écrit en Russe

Воскресенье, 9-ое июня 1940

Ну и воскресенье! Ну и третий день отдыха! Единственно – воскресное – Твое письмецо с Меукой припиской – слава Богу, вновь соединилось всё женское население! В дополнение к Меуким рассказам о бомбардировках Парижа прочел в «П[оследних] Н[овостях]»: «из аптеки вышел весь облепленный пластырями А. М. Ремизов, раненный осколками стекла. Жена его тоже ранена»¹. Это краткое сообщение рассказало мне о Париже больше, чем все газетные репортажи. Если даже добрались до нашего тишайшего А[лексея] М[ихайловича] и потревожили в его берлоге – значит, было здорово жарко!

Запомни еще одну дату: ночь с 8-го на 9-ое июня! Несмотря на отдых, мою группу вместе с другой подняли на защиту батареи 75. Было это в часов 10 вечера. Только мы прибыли на место, как на всем фронте началось оживление. Появились авионы, гудящие (впервые услышал этот медный вой) сиренами, с первой линии понесся пулеметный тарарам, и начали свой реванш г-да немецкие артиллеристы, стрелявшие [в] эти дни довольно редко.

Мы были в кромешной тьме, и сумерки наступали быстро. Мы еще не успели в таком аду раскопать кротовых дыр, как вдруг снаряды стали бить по нашему участку.

В нашем полку были до сих пор потери, но еще ни разу они не касались так близко нас. Ломались деревья, окунуло нас в облако дыма, сыпался на нас песок, куски веток (наши каски – единственная защита), ибо мы все оказались на поверхности земли (что называется, повезло!) Воздух ударял нас в разные стороны – снаряды рвались повсюду, и вот я услышал первые крики раненых.

Нас (вместе с Н[иколаем] Н[иколаевичем Оболенским]) было 12 человек (а у меня и Нелидова при этом еще гранаты на брюхе) – после такого баража², длившегося довольно долго (думаю, что не меньше ¼ часа) – один оказался убитым (сержант Фернандо), а двое серьезно ранены. Первое нашей роты боевое крещение началось с нас (гордиться, конечно, нечем, но так, к слову). Вся ночь была тяже-

лой, но остальное время мы были уже в ямах и заняты делом. В отверстия землянок врывается лишь дым, сжатый воздух и песок. Нелидов всё держится за меня, веря в мою звезду (а я в его). Т. к. было темно, я помню, он держался за мою ногу, когда я переползал с места на место. Раз нас спас гигантский ствол дерева, за другой стороной которого взорвался снаряд (по счастью, калибр был мелкий). На рассвете я внимательно осмотрел «поле поединка» — вся земля была изрыта, высокие деревья сломаны посредине и поникли вниз верхушками (это делают большие осколки), всюду валялись куски и кусочки снарядов (кстати сказать, и тут эрзац: к стали примешан алюминий) — и огромные комья земли с травой. Буквально не было места целехонького — и уму непостижимо: куда мы ухитрились спрятаться?

Бомбардировали и авионы, трещали их пулеметы – и вообще всю ночь «творили дела»...

Но все атаки немцев были отбиты. И, кажется, по всему фронту. ...Писание этого письма, которым я занимался, сидя у входа в землянку, было прервано новой бомбардировкой. Несмотря на то, что я пулей юркнул в нору, — меня здорово обсыпало песком и щепками (одна даже до крови поцарапала руку). И, как видишь, две минуты спустя — уже вновь продолжаю Тебе писать на слегка смятом листе бумаги. Вот как привык!

Ты права, у нас огонь сильнее парижского... Фу ты, оказывается, какая-то щепка задела лоб – потрогал пальцем – кровь (вот, можно сказать, и первое ранение!)

Слышу голос Нелидова: «Капрал, всё благополучно?»

«А у тебя, Андрюша?»

Появляется Н[иколай] Н[иколаевич]. «Посмотрите, что у меня на ляжке?» Снял штаны — конечно, царапина, довольно большая, но крови мало.

Вот так и живем. Хорошо, что не теряем бодрости и вкуса к шут-кам.

* * *

Довольно болтать. Как Mey? Что рассказывает нового? Как ей нравится парочка: Леопольд – Де Ман?³ Если наступят дни затишья – на днях закончу два очерка и вышлю.

Вчера с земляникой было так: я нашел дюжину ягодок, Андрюша [Нелидов] – полный кар. Съели пополам – блаженство!

Царапинки свои и Н[иколая] Н[иколаевича] замазали иодом. Ерунда – завтра уже ничего не будет⁴.

В[олодя]

(на полях: Из Твоего сегодняшнего письма я вижу, что к вам на Олерон попали беженцы и от нас.)

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 30.

1. Сосинский цитирует заметку «После бомбардировки Парижа», напечатанную в «Последних новостях» (1940. № 7009. 5 июня. — С. 2). Впоследствии, в книге «В розовом блеске», сам писатель так описывал пережитую бомбардировку:

Две бомбы ухнули в соседний № 9, стеной к стене с нашим, а одну садануло в покинутую клинику, теперь госпиталь, в здание, где ютились монашки — как раз против наших окон. Слепые, остервенелые осколки, изрешетив стену монашек, вскочили в парикмахерскую Жанины — и мигом зеркала в-бряс, и под брезгливый стон стекла они метнулись в сторону вверх и, надрываясь свистом, врезались, визжа, в выступ стены у окна, где нас застигла сирена.

Отбиваясь от осколков, мы — в коридор, а в коридор уж сыпались стекла из другой, противоположной комнаты. А выйти на лестницу невозможно: дверь на ключ, а ключа нет, отбросило вихрем. Ну, некуда. Некуда было деваться, и вдруг, как в мышеловке, сузилось пространство, и много пронеслось — но грохотом глушило мысль, и секло все слова, и было одно чувство, взрыв чувств — ужас: этот крутящийся, взывающий вихрь и это белое, кипящее пламя сквозь кровь (Ремизов, А. В Розовом блеске. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. — Сс. 315-316).

- 3. От barrage $(\phi p.)$ заградительный огонь вид артиллерийского огня, применяемый внезапно для отражения атак и контратак пехоты и танков противника.
- 4. Речь идет о бельгийском политике, лидере (после смерти Э. Вандервельде в 1938) лейбористской партии этой страны Анри де Мане (Henri/Hendrik de Man; 1885–1953), который в годы Второй мировой войны вступил в тесное сотрудничество с Гитлером. Будучи советником бельгийского короля Леопольда III, он оправдывал экспансионистскую политику нацистов и призывал Бельгию капитулировать, чтобы избежать печальной судьбы, постигшей ее во время Первой мировой войны. Бельгия капитулировала 28 мая 1940 года.
- 5. Почти дословной параллелью этому письму служит следующий фрагмент из романа Сосинского «Битва за Францию»:

На рассвете 9-го — это было воскресенье — я внимательно изучил поле поединка: вся земля в лесу была изрыта не очень аккуратным плугом; некоторые столетние дубы были сломаны на высоте человеческого роста, некоторые — значительно выше и верхушками падали вниз; большие черные

комья земли, перевернутые вниз травой или мхом, были украшены серебряными светлячками осколков, большинство из которых, к нашему удивлению, оказались алюминиевыми. На всей занимаемой нами площадке буквально не было места целехонького, и уму моему было непостижимо: куда мы ухитрились прошедшей ночью прятаться? Увы! Конечно, не всем это удалось. Потери наши были велики, и первые могилы появились в Шенском лесу.

Да и мы, оставшиеся в живых...

- Сержант, всё благополучно? - голос Нелидова. - A что это y вас течет по лбу?

У меня царапины на лице, а у Николая Николаевича порваны галифе в нескольких местах. Снимаем каски, раздеваемся и мажем иодом, смеясь, изображая из себя раненных в бою.

А днем — после такой ночи — мы с Нелидовым собирали землянику, как в самое мирное время. И в последней строчке моего самого последнего письма с фронта хвастливо замечалось: «Все атаки немцев были отбиты и, кажется, по всему фронту», точно и в самом деле было время для подобных реляций, и точно это слово «кажется» не вызывает горькой усмешки (Сосинский. 2002. — Сс. 212-213).

№ 19 АНДРЕА КАФФИ¹ – ВЛАДИМИРУ СОСИНСКОМУ

Тулуза – Олерон 6 мая 1943

6.5.[19]43

Дорогой Володя,

Только как пролог к прологу нашей, надеюсь, переписки и как первый сердечнейший привет.

Не было дня, чтобы не думал о Вас, и постоянно Мих[аил] Андр[еевич Осоргин] сообщал, что до него доходило. Радости такой, как при известии о Вашем возвращении (известие, полученное дней пять-шесть тому назад от Тат[ьяны] Алекс[еевны Осоргиной]²), не было еще со времени великого развала: разве только чувство удовлетворения, испытанное, когда узнал, что вернулся домой Абрам Самойл[ович Альперин]³. Но Вы, дорогой друг, стали фигурой воистину «легендарной», а я убежден, что всё удивительное о Вас, рассказанное друзьями, — точная истина, если только не «ниже действительности».

Хорошо, что есть такие люди, как Вы: потому держится вера в род

человеческий, кот[орый] слишком часто заслуживает суждения как то, кот[орое] выражал нам учитель Мих[аил] Андр[еевич].

Но слова – только слова. Как хотелось бы по-настоящему обнять Вас и быть с Вами, с Вадимом [Андреевым] и со всеми Вашими. Andrea

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 57.

- 1. Андрей Иванович Каффи (Andrea Caffi; 1887–1955), публицист, специалист по истории и культуре Византии, знаток греческой культуры, поклонник философии Платона. Масон, член ложи «Северные братья» (1933–1939), посвящен 2 февраля 1933 г. по рекомендации А. Альперина, М. Тер-Погосяна и М. Осоргина, см.: Серков, Андрей. М. А. Осоргин и его масонское наследие / М.: Ганга, 2018. – С. 103. Родился в Санкт-Петербурге в семье итальянца, костюмера императорских театров. Участник революционного движения в России, за что несколько раз арестовывался (член РСДРП, меньшевик, с 1903). В 1903 г. был выслан из России и жил в Берлине, окончил философский факультет Берлинского университета и защитил там докторскую диссертацию. Из Берлина переехал в Париж. В годы Первой мировой войны вступил в ряды Иностранного легиона, был ранен. В 1916 г. стал корреспондентом итальянской газеты «Corriere della Serra». Служил в штабе 4-й итальянской армии. По окончании войны поселился в Турции, после чего вернулся в Россию, где жил в 1920–1923 гг. работал в Бюро Коминтерна как редактор специального бюллетеня. В 1923 г. вернулся в Италию, влившись в волну антифашистского движения. С 1926 г. жил в Германии, затем в Париже. После оккупации нацистами Парижа бежал на юг Франции и в годы Второй мировой войны находился в Тулузе, откуда и написаны данные письма Сосинскому, адресованные на остров Олерон (о том, что, «самоосвободившись» из немецкого лагеря, Сосинский отправился на Олерон, говорилось во вступительной статье).
- 2. Татьяна Алексеевна Осоргина (урожд. Бакунина; 1904–1995), историк масонства, библиограф; третья жена писателя М. А. Осоргина.
- 3. См. прим. 3 к № 11, от 12 января 1940 года.

№ 20 АНДРЕА КАФФИ – ВЛАДИМИРУ СОСИНСКОМУ

Тулуза – Париж 6 декабря 1945

Toulouse 44 rue Sh. Philomene

Le 30 decembre [19]45

Дорогой Володя

(к стыду своему я никогда не знал, как «величать» Вас по отчеству), Никогда не думал, что Вы меня в будни забываете и думаете обо мне реже, чем я о Вас: когда в сознании встает мысль «дружба», «настоящие друзья» или просто «человек хороший», всегда Ваш образ... на экране.

Переписка когда-то оборвалась по причинам независящим и не возобновилась, думаю, потому что сейчас очень трудно достигнуть настоящего общения – не знаешь, с чего начать, и очень быстро теряешь нить под нагромождением всего, что следовало бы «спокойно выяснить», тогда как горечь, возмущение, тоска толкают к обрыву на «чрезмерном» суждении. От мира, в котором я все-таки разбирался, от Европы, от выработанной тщательно человечности остались такие уродливые огарки, что обсуждение текущего момента кажется суетным. Возможно, что густая накипь кое-как осядет, что согнутые в тридцать три погибели души выпрямятся и в умственно-нравственном столкновении, как и в житейском обиходе, сплошные [нрзб.] уступят место «искренним» плодам труда и творчества. Но пока ничего подобного (подслеповатым от усталости взглядом?) на горизонте не вижу; с одного конца – атомическая бомба, с другого – демагогия и самодурство, преклонение кликуш перед деспотом, с марксистскими приплясами посредине, старческий бред о «grandiur nationale» или «демократии» в полицейских тисках; полное забвение человека и его достоинства (которое возможно лишь при упорном требовании безграничной свободы) – вот Вам в грубых очертаниях мое умонастроение перед всеми «злобами дня». Работаю сейчас над историческими заметками о судьбах «цивилизации» по американскому заказу, и от всякого участия в трагическом фарсе «спасения» или «восстановления» так наз[ываемых] отечеств (=мясорубок) решительно отказываюсь.

В Париж повидаться с друзьями, конечно, думаю поехать – но не так скоро. Сейчас одно пребывание в поезде кажется мне испытанием, несоразмерным с состоянием тела и души (даже 2- 3[-х] часовые поездки по окрестностям оставили слишком тяжкое впечатление). И хочется хоть часть работы прежде закончить – но, понятно, Ваше и Ариадны Викт[оровны] предложение принимаю с полным чувством.

Не осудите, что накануне Нового года не умею радостными пожеланиями затушевать гнетущую тоску. Но ведь дружба и этим ценна, что ничего не нужно в себе подавлять, а находить облегчение в признаниях.

Братски обнимаю Вас и от души желаю Вам и Ариадне Виктор[овне] всего, что может быть наилучшего. Andrea

Печатается по автографу: ДРЗ. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 57.

Публикация, подготовка текста, примечания — В. Хазан, Иерусалим

^{1.} grandiur nationale – национальное величие (ϕp .)

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

Елена Кулен

Миссия честного историка*

О послевоенном периоде жизни и деятельности С. П. Мельгунова. 1944–1956 гг.

ЖУРНАЛ «РОССИЙСКИЙ ДЕМОКРАТ». ИЮНЬ 1948-1957

После долгих четырех лет неустанных усилий, с конца сентября 1944-го по июль 1948 года, Мельгунов добился лицензии на печать собственного журнала — добился, вопреки всем препонам французского прокоммунистического правительства и советского посольства в Париже.

Первый номер «Российского Демократа» вышел в августе 1948 года. Указанная нумерация «№ 1 (15)» подтверждала преемственность между новым изданием и прежними журналами Мельгунова. Вот что сообщалось от редакции: «'Российский Демократ' является прямым продолжением тех политических сборников, которые под разными наименованиями мы выпускали в течение двух с половиной лет (их вышло четырнадцать)» «Российский Демократ» был заявлен как ежемесячный общественно-исторический журнал под редакцией С. П. Мельгунова «при ближайшем участии А. В. Карташева и И. М. Хераскова». Со временем он стал печатным органом политической организации «Союз борьбы за свободу России», основанной С. П. Мельгуновым.

Первые номера «Российского Демократа» — это 64 страницы в формате 24х15 см. Этот формат сохранялся все десять лет существования журнала; менялись лишь качество бумаги, тираж и объем, которые зависели от финансов, которыми располагал Мельгунов. Вот что сообщалось в первом номере «Российского Демократа»: «Если мы наконец преодолели административные препятствия, которые стояли на нашем пути, то далеко не устранены еще финансовые затруднения в тех ненормальных условиях, при которых протекает наша работа. Мы не будем перечислять всех ее трудностей. Достаточно сказать, что сотни экземпляров наших сборников, посылаемых, например, в зоны оккупации, фактически являлись до сих

_

^{*} Окончание. Начало см. в № 306, 2022.

пор экземплярами бесплатными. С момента, когда мы превращаемся в периодическое издание, регулярно выходящее под одним наименованием, подписка может дать нам недостающие оборотные средства. От числа подписчиков и от пожертвований со стороны наших политических единомышленников всецело впредь будет зависеть аккуратный выход журнала. Мы сами делаем всё возможное и рассчитываем на поддержку эмигрантской общественности, сочувствующей нашей проповеди активной борьбы с большевизмом!»³

Почему стало возможным издание антикоммунистического журнала в Париже? К 1948 году общая политическая атмосфера во Франции изменилась; произошло охлаждение между западными союзниками и СССР; стала очевидной опасность коммунистического завоевания послевоенной Европы. К этому моменту во Франции началось «смещение» представителей коммунистически-социалистического Народного Фронта с ключевых позиций в структурах государственной власти. Это существенно повлияло и на отношение официальных властей к таким просоветским организациям, как «Союз советских патриотов» в Париже, — ярого противника Мельгунова и всей антикоммунистической русской эмиграции.

Работа «Союза советских патриотов» не осталась без внимания французской и американской разведок. В ноябре 1947-го большинство членов правления «Союза» были арестованы французской полицией по подозрению в шпионаже. Судебный процесс был громким и продолжался около года. В результате из страны были выдворены просоветски настроенные русские эмигранты. При этом указывалось, что «Союз» (он же – «Союз русских патриотов» во время немецкой оккупации) был подпольно действующей просоветской организацией еще в войну, официально действовавший как «Центр помощи и защиты иммигрантов» (С.А.Д.И.). Вообще, эта организация часто переименовывалась: осенью 1944-го после освобождения Парижа она называлась «Союз советских патриотов»; через три года, в августе 1947-го, – «Союз советских граждан во Франции» – в него влились и другие организации, вроде «Союза друзей советской Родины», возглавляемого Павлом Пелехиным при участии «Георгия Шибанова, Дмитрия Смирягина и Николая Качвы, к которым позже присоединились другие, в частности, генерал Говоров, Савицкий, профессор Донье, а также Марков, Матиаш, В. Е. Ковалев, Палеолог, Сирин и др.»⁴

16 декабря 1947 года «Союзу» было отказано в регистрации во Франции. По распоряжению министра внутренних дел Жюля Мока «Союз советских граждан во Франции» был распущен, газета «Советский патриот», как открыто коммунистическое пропагандистское издание, была окончательно закрыта. Тесные связи французской

компартии с СССР не спасли «Союз». В марте 1948 года все члены его Центрального правления были высланы в советскую зону оккупации Германии и далее вывезены в СССР.

«Добровольные репатрианты», «возвращенцы» из Франции в СССР, верили в посулы Советского Союза – право свободного выбора места проживания в СССР, право на работу по специальности и многое другое. Судьбы многих из них сложились драматично: в лучшем случае – незаметная жизнь в провинции под строгим надзором НКГБ (позднее – МГБ и КГБ), а чаще – прямая дорога в советский лагерь.

Мельгуновская редакция «Российского Демократа» следила за деятельностью «Союза советских граждан во Франции», освещая ее в своих отдельных сборниках, а с конца 1948 года – в «Российском Демократе». Стоит отметить мельгуновский комментарий о закрытии «Союза» («За Россию», № 12, 1948) в статье «1947-й год» за подписью «Обозреватель», где дается анализ тридцатилетнего периода взаимоотношений западных демократий и Советской России после 1917 года. «Последние недели 1947 года и начало нового года еще более подчеркнули эволюцию международных отношений... План Маршалла приняли большевики в СССР и их филиалы во всех странах в штыки... Так называемая 'Доктрина Трумэна', изгнание коммунистов из правительств ряда европейских стран, распределение американских морских сил в бассейне Средиземного моря, решительное преодоление забастовочного движения во Франции и, наконец, закрытие 'Союза Советских Патриотов' и его газеты в Париже – всё это признаки постепенно нарастающего противодействия советской политике», — отмечал автор статьи. 5

Мельгунов так характеровал атмосферу 1948 года в Европе: «Мировое общественное мнение начинает ощущать большевизм так, как недавно еще его понимали одни непримиримые российские эмигранты. Однако в вопросе о путях преодоления коммунистической агрессии иностранцы до сих пор склонны не учитывать наиболее значительного и решающего фактора — Российского Народа. Парадоксально, что демократы скорее считаются с реакционной олигархией Кремля, нежели со своими естественными союзниками — демократией российской, борющейся в тяжелых условиях против тоталитарной тирании»⁶.

Журнал «Российский Демократ», как никакое другое печатное издание русской эмиграции в послевоенное время, всесторонне отражал правовую и общественно-политическую ситуацию как «старых» русских эмигрантов, так и «новых». Журналы Мельгунова интересны исследователям еще и тем, как именно отражался на их страницах послевоенный процесс политической активности русских эмигран-

тов «первой» волны во Франции, Западной Германии, США, а также как складывался их диалог, шел поиск путей единения с новыми, «советскими», эмигрантами многонациональной русскоязычной диаспоры и какую роль играл в этом процессе Координационный Центр Антибольшевистской Борьбы (КЦАБ).

«Российский Демократ» одним из первых эмигрантских изданий начал регулярно писать о ситуации русских беженцев в разделенных на четыре зоны оккупации Германии и Австрии. Чем же это было примечательно? Да прежде всего тем, что в силу идеологического контроля оккупационных властей над дипийской прессой вплоть до середины 1948 года эта тема была под запретом. Возможность получения лицензии на дипийские издания зависела от их идеологической лояльности к Военной оккупационной администрации западных союзников. Критическое освещение реальных насильственных выдач «перемещенных лиц» западными союзниками было просто невозможно. Эту роль на себя взял «Российский Демократ» во Франции, не имеющий такого давления. В связи с этим нам, исследователям, стоит рассматривать журнал как ценнейший документ времени, через рубрику «Голоса читателей» аутентично освещавший события в дипийских лагерях.

Примером таких свидетельств являются статьи Б. Уланова «Во имя долга» и «Vivos Voco!»: «В беженских лагерях оккупационных зон Германии, Австрии и Италии уже четвертый год живут сотни тысяч беженцев – эмигрантов из России. В первые годы жизни в лагерях Ди-Пи из их рядов, как известно, насильно отправляли в СССР. Кто ныне не знает драматических сцен такого отправления: насилие, кровь и самоубийства! Уже четвертый год они обращаются ко всему свету, ко всему культурному миру, мировой демократии, - наконец, к своим более счастливым согражданам, убежище и благополучие нашедшим в свободных странах: 'спасите!', у жертв нацизма, у тех, что терзались в нацистских концлагерях, где только не было защитников... Стократ больше мучаются жертвы большевизма. Они многочисленнее; безмерно страдание их, тянущееся десятилетиями. Ди-Пи – их живая часть. Русские Ди-Пи – это сотни тысяч жертв советского рабства. Сотни тысяч человеческих существ, вырвавшихся вон из рядов 200 миллионов советско-сталинских подданных или выброшенных нацистами с мест эмигрантского рассеяния и бежавших от гнавшихся за ними по пятам большевиков. Тысячи борцов со сталинским произволом, тысячи идейных противников большевизма. Тысячи прошедших муки советских застенков, НКВД-пыток, чудом спасшихся жертв советских палачей. И над ними продолжает тяготеть рок советской власти, ее проклятие, ее каинова печать. Годы без радости и надежд, как приговоренные и наказанные, сидят они в своих серых деревянных бараках, среди убогой обстановки, окруженные колючей проволокой, под надзором полиции, в царстве разрешительных бумаг. Кто их защищает? Ди-Пи — будущее пораженной демократии — учат всех, дерзнувших противостоять советскому порабощению. Движение к освобождению Ди-Пи из лагерного бытия, из их бесправия, — это, и только это, будет знаменовать истинный поворот мирового общественного мнения от большевизма, только этот поворот будет знамением освобождения от гипноза большевизма и залогом победы светлого духа религии, морали и демократии над темной и злой силой, воплощенной в психологии и философии советской власти» 7.

Уже в № 1 за 1948 год «Российский Демократ» начинает серию статей о насильственных выдачах дипийцев. Первой такой публикацией была статья А. В. Тырковой-Вильямс «Русские изгои»; заголовок статьи дал название отдельной рубрике. Вот что писала Тыркова-Вильямс: «Само слово 'выдача' вызывает отталкивание, внутреннее отвращение. А ведь оно уже три года висит над сотнями тысяч беззащитных людей, стоит над ними, как угроза, как издевательство над человеческими правами, о которых так красноречиво говорят и пишут на конференциях, в печати, – всюду, где раздаются голоса тех, кому историческая судьба поручила сейчас направлять жизнь народов, разбираться в путанице, порожденной революциями и войнами. Плохо эти хозяева жизни справляются со своими обязанностями. То, что у человечества в переломную эпоху не оказалось мудрых вождей, составляет одну из самых горьких, самых опасных особенностей сегодняшнего дня. Это сказалось в выдачах, в том, что людей помимо их воли, вопреки их отчаянному сопротивлению, насильно выдавали, гнали в страну, где их ждала беспощадная расправа»⁸.

Мельгунов был также одним из первых русских эмигрантских редакторов в Европе, начавший сбор свидетельств и воспоминаний участников Власовского движения⁹. Эти публикации появляются уже в № 1 в 1948 году. То, о чем в дипийской прессе избегали упоминать вплоть до начала 1950-х гг., открыто писал «Российский Демократ» в Париже. Это объяснялось тем, что в лагерях Ди-Пи в американской и британской зонах оккупации Германии, Австрии, где прошли самые трагичные насильственные выдачи с массовыми самоубийствами Ди-Пи в лагерях с июня 1945-го по июнь 1948 гг., Военные администрации этих оккупационных зон сознательно замалчивали все эти факты, несмотря на то, что они знали о последствиях насильственных репатриаций, повлекших за собой человеческие трагедии — с дальнейшей фильтрацией, расстрелами и строгим режимом в совет-

ских лагерях НКВД на территории Германии, Австрии, а далее в СССР, а для тех, кто после всего этого выжил, была уготована плачевная участь пожизненной стигматизации как предателей родины. Установленная табуизированность темы для дипийских печатных изданий в британской и американской зонах сохранялась вплоть до июля 1948 года. Не разрешено было ни упоминать о фактах насильственных выдач, ни критиковать таковые.

Особую активность в освещении фактов насильственных выдач проявила Александра Львовна Толстая (Толстовский Фонд) в Нью-Йорке – с ее обращениями в американской прессе к Американскому Конгрессу, к конфессиональным всемирным организациям с просьбой о защите российских (не только русских, но и калмыков, украинцев, белорусов, народов Кавказа и т. д.) антикоммунистических Ди-Пи. Именно благодаря этому начался медленный процесс переосмысления процесса насильственных репатриаций. Но, увы, к этому моменту большинство российских граждан – «жертв войны» – было уже репатриировано, – что навсегда останется на совести правительств США и Великобритании.

В рубрике «Голоса читателей» было опубликовано письмо полковника РОА К. Кромиади¹⁰: «Мы, власовцы, никогда не забудем той моральной поддержки, которую Вы нам оказали в самое тяжелое для нас время (1945—1946 гг.). В те дни, в обстановке жутких неразумных послекапитуляционных расправ, Ваш журнал был единственным печатным органом, который открыто и громко высказывал свой протест по поводу такого бесчеловечного отношения к нам. Теперь мы оправились от нанесенных нам ударов, и друзей у нас много, но в такой знаменательный день (Нового Года) хочется протянуть Вам руку, как старому другу, и пожелать Вам много-много сил и энергии для достижении победы в борьбе за освобождение Родины»¹¹.

В «Российском Демократе» впервые начали печататься также «подсоветские» авторы — такие, как публицист М. Бобров, вступивший в дискуссию с Б. И. Николаевским в нью-йоркском «Социалистическом Вестнике». Бобров оценивал власовское движение и Русскую Освободительную армию (РОА) как подлинно народное сопротивление, проявившееся в период немецкой оккупации. В № 1, 1948, была напечатана его статья «Как это было?» с преамбулой «От редакции»: «Мы помещаем ниже статью нового эмигранта, приобретшего уже своими выступлениями репутацию вдумчивого публициста» 12 .

М. Бобров пишет о настроении советского народа во время Великой Отечественной войны: «Нашему народу нечего было защищать в истекшей войне. Родина? <...> Защищая родину, народ защищал режим, враждебный и родине, и народу, он укреплял (и укрепил)

большевизм. В этом и состоит великая трагедия нашего времени, финала которой мы еще не видим, а лишь предчувствуем. Поистине перед неразрешимыми задачами поставила история наш народ в 41-м году: надо было защищать родину, заведомо зная, что родина отнята у народа и стала ареной подготовки несчастья для других народов мира. В то же время наступал другой враг, жадно тянувшийся руками к святая святых русской души, от него надо было обороняться. Выбора не было, ни одного хорошего выбора не было; и произошло то, что народ, разбив одно зло, помог укрепиться другому злу. В великом кровавом подвиге народ прошел путь от Волги до Берлина. Торжествующий большевизм немедленно же реализовал победу народа в этой войне и перешел к текущим, так сказать, делам: к осуществлению своей старой и вечно новой программы коммунистического покорения мира. В истекшей войне русский народ находился между молотом и наковальней. С одной стороны, война создавала условия для борьбы против большевизма, с другой – надо было защищать кровавокрасный большевизм, иначе страна падет жертвой кроваво-коричневого фашизма. Надо было выбирать, с кем и против кого идти» 13.

В 1948 году вышло только два номера «Российского Демократа». Причиной тому стал начавшийся судебный процесс против журнала. Уже после выхода первого номера «Российского Демократа» Мельгунов был привлечен к суду за «нелегальное» издание журнала. Настоящим поводом для процесса послужила анонимная статья «Чекист-издатель» в его сборнике «Независимая мысль» (№ 7, 1947, Париж), повествующая о бывшем гвардейском офицере Гевличе как агенте ВЧК, действовавшем в 1918—1919 гг. в Пензе. После окончания Второй мировой войны Гевлич оказался в Бельгии и подал судебный иск к издателю С. П. Мельгунову, требуя сообщить имя автора статьи. Мельгунов-редактор, следуя общепринятой профессиональной этике, отказался называть автора, взяв на себя всю ответственность за опубликованный текст. Уже по требованию судей автор статьи всетаки был назван — им оказался Роман Гуль.

В «Российском Демократе» в № 2 (16), 1948, Мельгунов дает полное описание того сложного судебного процесса; наложенные на журнал денежные штрафы повлекли за собой финансовые проблемы. Мельгунов писал: «В качестве редактора сборника я был г-ном Гевличем привлечен к суду, но в порядке не уголовном, а только в гражданском, т. е. оклеветанный требовал с меня возмещения материального ущерба, им, якобы, понесенного. Привлечен я был не в Париже, где находились свидетели и где только могла произойти моральная реабилитация Гевлича, а в Брюсселе... Проходили месяцы, и 17 августа 1948 г. неожиданно для себя я получил исполнительный

лист, из которого узнал, что заочно присужден бельгийским судом к уплате Гевличу 25.000 б. фр*. (он требовал 500 тыс.) и к покрытию расходов по судебному процессу около 5 тыс. б. фр., т. е. в совокупности к уплате суммы в размере по меньшей мере 150.000 б. фр. Как могло произойти столь необъяснимое? — на суде не присутствовал наш адвокат, долженствующий там быть, и абсолютно никаких разъяснений по существу дела не было дано. Я могу это объяснить лишь исключительной небрежностью нашего французского адвоката, который лишь от меня узнал, что в Брюсселе был суд и что я уже получил исполнительный лист на взыскание почти астрономической для меня денежной суммы. Но пока все-таки ничтожные, к сожалению, остатки моей научной библиотеки не будут проданы за бесценок с публичного торга, ибо приговор первой судебной инстанции может быть обжалован» 14.

Мельгунов, находясь в сложной финансовой ситуации, обращается на страницах журнала за помощью к друзьям и соратникам – и получает ее. В благодарность он с предельной скрупулезностью публиковал в каждом номере отчеты о пожертвованиях журналу. Анонимность спонсоров сохранялась. Так, например, в № 2, 1948, писалось: «С 1.09. — 15.10.1948 редакцией было получено от В.П. (Нью-Йорк) 4500 фр., от Кр. — 3000 фр., от Л-а — 200 фр., от Тр. — 100 фр. на организацию 'Союза Борьбы за Свободу России', от П-ва — 500 фр. на защиту в итальянском деле («Рос. дем.»), от М. (Медон) — на помощь Ди-Пи. Всего 9.800 фр.» 15. И всё же возникшие финансовые проблемы грозили Мельгунову полным закрытием «Российского Демократа». До окончания судебного процесса издание журнала прекратилось полностью.

В 1949 году тоже вышло только два номера. Сказались последствия судебного процесса: согласно решению суда, на журнал был наложен штраф. Вот что об этом сообщает Мельгунов в № 2 (18) в 1949 году: «За отсутствием достаточных денежных средств мы лишены были возможности систематически выпускать 'Российский Демократ'. Мы далеко уже вышли за пределы литературно-общественного начинания. Наша расходная смета существенно увеличилась в силу организации 'Союза Борьбы за Свободу России' — траты, неизбежные в предварительной стадии подготовки политического действия. Хуже то, что нам пришлось изъять из своей и так не слишком богатой кассы значительные суммы для покрытия расходов совершенно непроизводительных, связанных с ведением нашего судебного процесса и вынужденной перерегистрации издательства. При современ-

-

^{*} бельгийские франки

ных ненормальных условиях получения денег из-за границы мы не могли быстро пополнить образовавшийся дефицит. При содействии политических друзей мы надеемся преодолеть кризис, но пока всё же вынуждены ограничиться выпуском очередного номера журнала в сокращенном виде» ¹⁶.

Финансовые трудности отражались и на объеме номеров «Российского Демократа»: если № 1 за 1949 год вышел объемом в 61 страницу, то объем № 2 за 1949 год — лишь в 16 страниц; это самый тоненький выпуск из всех 27 существующих номеров.

А в 1950 году вышел всего один номер «Российского Демократа» объемом 36 страниц и стоимостью 50 франков. В этом номере указан состав редакции: «Мельгунов-редактор при ближайшем участии А.В. Карташева и И. М. Хераскова»; авторами выпуска были А.Филиппов, В. Литвинский, В. Баршин, Б. Уланов, С. Войцеховский, Н. Шварц-Омонский, А. Тыркова-Вильямс, А. Викторов. С этого номера журнал впервые обозначен как печатный орган «Союза Борьбы за Свободу России» (СБСР).

Номер начинается вступительной статьей Мельгунова «К российской общественности», где он в деталях объяснил годичное молчание «Российского Демократа»: «Вот уже два года, как в бельгийском суде в Брюсселе тянется дело по обвинению меня как редактора парижских политических сборников, предшествовавших изданию журнала 'Российский Демократ', - в клевете. Судебный процесс возник на почве обвинения, предъявленного б. гвардейскому офицеру Гевличу, в работе в Чека, - обвинение это было сделано в статье 'Чекист-предатель', напечатанной в нашем седьмом сборнике 'Независимый Голос' и подписанной псевдонимом (принадлежала статья перу известного писателя и общественного деятеля Р. Гуля). Мы не считали возможным в свое время по соображениям моральнополитическим назвать до суда имя автора статьи. (Надо вспомнить парижскую пробольшевистскую обстановку 1946–1947 гг.) Но в апелляционной жалобе было указано имя автора, т. к.: 1. Автор при напечатании статьи заверил редакцию о своей готовности принять всю ответственность перед судом на себя и подтвердить напечатанное многочисленными свидетелями. 2) автор, как выяснилось, ничем не рисковал, ибо по бельгийским законам он, как живущий уже в другой стране (С 1950 г. Р. Б. Гуль жил в США. – E. K.), не подсуден бельгийской юрисдикции. Я, как редактор, незаконно превращенный в издателя, мог быть формально по бельгийским законам привлечен только потому, что распространявший в Бельгии сборники г. Литвинов, привлеченный также к ответственности и оправданный, почему-то счел себя в праве назваться 'представителем Мельгунова', каким он, конечно, никогда не был, – не был он и официальным уполномоченным издательства 'Les Indépendants'. Мы считали себя этически в праве назвать имя автора инкриминируемой статьи – тем более, что по меньшей мере уклончивое поведение его в вопросе об ответственности за статью во время судебного процесса нас совершенно не удовлетворило, - автор был о нашем решении предупрежден, но отказался в письменной форме подтвердить свое авторство. Для нас оставался путь кассации, фактически нам недоступный, ибо наше общественно-политическое начинание совершенно разорено было непосильными затратами на судебный процесс. Слишком много денег надо иметь русскому эмигранту для того, чтобы перед иностранным судом доказывать свою правоту! Мы должны теперь уплатить штраф в размере 25.000 бельгийских франков и судебные издержки. Гевлич формально выиграл процесс, но дело по существу все-таки не рассматривалось, и никто не попытался даже до сих пор опровергнуть сведения, напечатанные в 'Независимом Голосе'. Моя совесть старого редактора спокойна. Правда, я не возьму теперь моральной ответственности за всё то, что написал автор заметки 'Чекист-предатель'. У редакции 'Российский Демократ' нет теперь никаких оснований умалчивать в печати об имени автора статьи, о которой идет речь, - тем более, что этот автор в настоящее время находится за пределами какой-либо судебной досягаемости и финансовой ответственности. Автором статьи являлся писатель Роман Гуль, переехавший на жительство из Франции в США» ¹⁷.

«Российский Демократ», уплативший все судебные штрафы, стоял перед угрозой закрытия. Не зная, как выйти из ситуации, Мельгунов решился на публичное заявление о поступке Романа Гуля. Нам трудно объяснить, почему Роман Гуль не смог письменно подтвердить суду свое авторство статьи, – это освободило бы Мельгунова от высокого штрафа. Но он не сделал этого. Возможно, Роман Гуль, сам находясь в США в очень стесненном материальном положении только что приехавшего эмигранта из Франции, не располагал такими суммами, какие запрашивались бельгийским судом. Но мы уверены, что Роман Гуль был, во всяком случае, в состоянии дать хотя бы письменное объяснение ситуации, чего он, увы, не сделал. Мельгунов не преминул ответить на этот поступок, или «непоступок», Романа Гуля: 30 ноября 1950 года он подал заявление о своем выходе из парижского Союза русских писателей: «Я прошу не считать меня более членом <...> так как я не могу состоять членом профессиональной организации, в руководящем органе которой состоит г. Гуль, нарушающий, по моему представлению, общепринятые правила литературной этики. К таким нарушениям я отношу известный Правлению факт задержки г. Гулем денег редакции 'Российского Демократа', молчание г. Гуля на открытое письмо Н. А. Цурикова на имя Правления Союза журналистов и уклонение г. Гуля от ответственности за написанную им статью (дело Гевлича), которая вызвала преследование и осуждение редактора органа, где статья была напечатана, — уклонение тем более недопустимое, что фактически г. Гулю ничто не грозило. Я всегда готов дать соответствующие разъяснения, если Правление это пожелает» 18.

С этого судебного процесса в 1948—1950 гг. начинаются расхождения С. Мельгунова и Р. Гуля, которые так и не завершились взаимным примирением. Их отношения, начавшиеся еще с 1920-х гг., — уже в эмиграции, когда они оба были активными членами «Союза русских писателей и журналистов во Франции», прекратились навсегда — после 28 лет сотрудничества в 1948 году.

Первым председателем «Союза русских писателей и журналистов во Франции», основанного еще в 1921 году, был Иван Алексеевич Бунин; в 1947 году председателем стал Борис Константинович Зайцев, остававшийся на этом посту до конца жизни в 1972 году. Послевоенные годы были для русской диаспоры в Париже турбулентными: диаспора разделилась на про- и антисоветский лагеря. Мельгунов, Зайцев, Гуль были едины в оценке просоветски настроенных русских писателей-эмигрантов, требуя их выхода из Союза, — например, М. Рощина.

Еще в Париже Роман Гуль в 1948 году предпринял издание политических сборников «Народная правда», которые продолжали выходить и в Нью-Йорке после переезда Р. Гуля в США. Сборники издавались с 1948-го по 1952-й годы. Частыми авторами были Н. Вольский, Б. Николаевский, Д. Далин, П. Берлин, М. Вишняк, Ю. Денике, В.Зензинов, Г. Федотов, А. Струнский, В. Яновский, Н. Туров и другие. «Народная правда» была так охарактеризована автором «Российского Демократа» С. Кариным: «Судя по титульному листу 'Народной правды' руководителем 'редакционной коллегии' сборника является Р. Б. Гуль, вышедший из состава нашей редакции в силу неприемлемости для него исторической оценки 'белого движения', данной на страницах нашего издания А. В. Карташевым в статье, которая посвящена памяти А. И. Деникина (Сб. 13 'За Россию' - 'От русского к общечеловеческому'). 'Народная правда' будет объединять строго последовательных демократов, республиканцев, с 'филистимлянами' политически не разговаривающих. В сущности, 'Народная правда' как бы второе издание несколько измененного 'Социалистического вестника'. Эта парижская инициатива 'Народной правды' - лишь преждевременный отзвук организующейся в Нью-Йорке Лиги. Этого центра фактически еще нет, хотя Д. Ю. Далин, совершивший поездку в зоны оккупации, по сведениям местной русской печати открыл уже в Мюнхене отделение будущей Лиги. В г-те 'Свобода' была целиком напечатана и программа Лиги. Нам же приходится воздерживаться от принципиальных суждений, ибо права на такую публикацию, мы, по крайней мере, еще не получили. Р. S.: У инициаторов РНД (Группа «Российское Народное Движение». – Е. К.) вызвало известное негодование наше замечание (№ 1, 1948, 'РД') о том, что новая политическая группа при своем зачатии не носила определенного характера, т. к. из восьми подписей, поставленных под декларацией, пять, по существу, были 'анонимны'. Мы охотно готовы признать употребленное слово неудачным, раз оно кажется оскорбительным, и заменить его термином 'псевдонимы'» 19 .

Роман Борисович Гуль выпустил свои воспоминания «Я унес Россию» в 1985 году — сначала отрывками в «Новом Журнале», редактором которого он являлся двадцать лет, с 1966—1986 гг., затем отдельной книгой мемуары вышли в 1989 году Нью-Йорке в издательстве «Нового Журнала» «Мост»²⁰. Факт неуплаты долга «Российскому Демократу» в них освящен не был. Личного выяснения отношений между Мельгуновым и Гулем не произошло; Мельгунов скончался в 1956 году, Гуль — в 1986-м, — эта разница в 30 лет изменила, возможно, взгляды Романа Гуля на события тех лет при написании мемуаров. Но об этом можно лишь догадываться.

Было бы неверно назвать отношения Гуля и Мельгунова враждой, как это делает, скажем, российский историк Ю. Н. Емельянов, - оценивать их таким образом попросту невозможно по причине отсутствия точных свидетельств; мы не располагаем ни их личной перепиской на эту тему, ни материалами в мельгуновском архиве в Лондоне. Ю. Н. Емельянов опирается на характеристику Мельгунова, данную ему Гулем: «Мельгунов был и плохой публицист, и плохой редактор. Причем почти всё для своих сборников он сам и писал: и статьи, и заметки, и получалась какая-то тоскливая мешанина»²¹. Да, такой взгляд страдает односторонностью и несправедлив по отношению к Мельгунову и к его журналу. Однако это не свидетельствует о вражде - ни личной, ни идеологической. Не согласимся мы и с Гулем – уже потому, что авторский состав «Российского Демократа» был многообразен, стилистическое и идейное содержание изданий богато. К сожалению, заслуги Мельгунова-историка так и не нашли отражения в мемуарах Гуля – в этом он сработал против своей книги. Мы согласимся с историком Ю. Н. Емельяновым в том, что по прошествии стольких лет мы можем лишь сожалеть о разрыве отношений этих двух талантливых представителей русской эмиграции.

В 1951 году вышли еще два номера «Российского Демократа».

№ 1 (20), 1951. «После значительного перерыва мы возобновляем издание 'Российского Демократа' в чрезвычайно ответственный момент в жизни российской эмиграции.»²² Такими словами Мельгунов оценил создание новой организации – «Союза Борьбы за Свободу России» (СБСР). Теперь на страницах журнала он выступает уже не только как редактор, но прежде всего как лидер СБСР, подробно оповещая читателей о процессе формирования политических групп в русской диаспоре в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и т.д. С. П. Мельгунов активно ратует за создание единого политического Центра для русской эмиграции: «Пять сговорившихся политических организаций сами по себе уже представляют широкий демократический фронт. Предстоит еще преодолеть большие психологические трудности, ибо соглашение произошло между подчас далекими друг другу идеологическими группами, в течение многих и многих лет не могших, несмотря на всю свою ненависть к большевикам, говорить однородным политическим языком. В муках рождается всякий политический компромисс. И потребуется много выдержки и внутренней дисциплины от тех, кто во имя великого дела освобождения России впервые, наконец, сошлись в объединяющие их лозунги и формулы. Создаваемый Центр соединяет в себе и старых, и новых эмигрантов – опыт, даваемый возрастом, и энергию знающих советскую действительность молодых сил. Не служит ли это некоторым залогом успеха? Для большого дела нужна, однако, материальная база, создать которую одни эмигранты не могут. Решающее значение в современной обстановке приобретает знаменательный факт создания специального Комитета из американских писателей и общественных деятелей – «Комитета содействия Освобождению народов России», с которым организаторы российского Центра могли установить ближайший контакт. Председателем американского Комитета является Е. Лайонс, представителем в Европе – И. Дон-Левин» 23 .

Мельгунов не устает утверждать, что появление русских политических организаций в эмиграции не было плодом усилий западных спецслужб, — это был естественный процесс противостояния Советскому Союзу со стороны русской мыслящей интеллигенции, выбравшей путь эмиграции как путь протеста и не желавшей быть физически уничтоженной. «Неверно и то, что наша попытка сговориться между собой на широкой демократической базе возникла по инициативе некого Американского Комитета. Его еще не было, когда в нашей русской среде в значительной степени по инициативе Союза Борьбы (Имеется в виду мельгуновский Союз. — E. K.) был поднят вопрос о создании блока имевшихся или намечавшихся политиче-

ских организаций. Реальными партнерами на этот момент могли бы быть лишь Лига Борьбы за Народную Свободу (Нью-Йорк), Союз Борьбы (Париж), Национально-Трудовой Союз (солидаристы) и СБОНР (власовцы). Наш Союз Борьбы и солидаристы считали нужным на определенных условиях пригласить еще неоформившихся власовцев-непредрешенцев (КОВ) и конституционалистов-монархистов»²⁴. Мельгунов с точностью хрониста повествует о каждой детали в общем процессе объединения русской эмиграции, сообщая, что и Американский Комитет, созданный в Нью-Йорке для содействия политическим аквитистам из среды русской эмиграции, проявил себя лишь в конце октября 1950 года*. Мельгунов называет инициаторов Американского Комитета «американскими общественными деятелями и журналистами», наивно веря в искренность инициативы американских интеллектуалов и, похоже, не предполагая участия американских спецслужб по использованию эмигрантов в наступившей Холодной войне. И в этом – весь Мельгунов: человек другого столетия, другой этики и культуры. Зная по себе о материальных трудностях русских эмигрантов, он трезво сознавал необходимость финансовой поддержки со стороны западных демократий, но для Мельгунова-политика это был лишь частный вопрос, не подвергавший сомнению независимость антикоммунистической политически борьбы эмиграции.

Вот, скажем, что пишет об этом Н. Полторацкий²⁵, соратник Мельгунова по Союзу борьбы и ближайший сотрудник по работе в Координационном Центре Антибольшевистской Борьбы (КЦАБ) в Мюнхене: «Как и всякий трезвый антибольшевик, С.П. считался с тем, что без иностранной (американской) политической, финансовой и технической поддержки эмиграция не в состоянии вести практическую борьбу против коммунизма в сколько-нибудь широком масштабе. Поэтому, когда наметилась возможность сговора с антикоммунистически настроенной частью заокеанской общественности в лице Американского Комитета, С.П. отнесся к этой возможности с большим энтузиазмом и со всей свойственной ему энергией вложился в дело организации Координационного Центра (КЦАБ)»²⁶.

Благодаря рассекреченным документам американских государственных учреждений и их сегодняшней доступности для историков

^{*} Мельгунов неточен. Американский Комитет по освобождению от большевизма — American Committee for Liberation from Bolshevism (AMCOMLIB) — был основан 18 января 1951 года в шт. Делавэр. Целью АМСОМLIВ была борьба против социалистических режимов. Организация ставила задачу поддержки антикоммунистической эмиграции из СССР с конечной целью свержения советского строя. AMCOMLIB — одно из направлений специального проекта ЦРУ QKACTIVE.

тема финансовой поддержки политических организаций эмигрантов из Восточной Европы хорошо освещена как в американской, так и в российской историографиях (скажем, Яковлев, 1983; Шкаренков, 1987; O'Connell, 1990; Lucas, 1999; Puddington, 2000; Карпов, 2000; Кодин, 2003; LaFeber, 2004; Попов, 2004; Нитобург, 2005; Базанов, 2008; Антошин, 2008; Ульянкина, 2010; Климович, 2015, др); ценнейшие сведения о консолидации политических сил русской диаспоры и роли американских спецслужб в короткий начальный период Холодной войны с 1946-1951 гг. имеются в архивах США - например, в коллекциях Управления политического планирования Госдепартамента, Управления политической координации Центрального разведывательного управления, Министерства обороны, Американской Военной Администрации (в ФРГ). «Консолидация антикоммунистических сил, борющихся с советскими диктатурами, шла не только по линии эмиграции, а и с поддержкой – законодательной, финансовой и моральной – западных государств. При этом стратегия эмигрантских организаций была абсолютно независимой и преследовала внутренние цели диаспоры: возвращение свободной независимой России, – а не спецслужб, поэтому когда Запад сменил курс на 'заигрывание' с СССР, эмигранты остались верны прежней линии борьбы - тут и финансирование кончилось. Единственными последовательными антикоммунистами оказались именно русские эмигранты - продолжавшие бороться до 1990-х, до падения СССР. И уж тем паче они никогда не отдавали идеи национальной независимости России западным политикам – отсюда взаимное неприятие в их отношениях. Это очень важный момент для истории эмиграции: ее жизнь прошла между двух жерновов – но она одержала внутреннюю победу.»

№ 2 (21), 1951. Начиная с этого номера к пожертвованиям журналу от русских доброжелателей и соратников прибавляются небольшие средства от американцев, что быстро сказывается на объеме издания: он увеличился с 36 до 56 страниц. Стоимость — 60 франков. Но в суждениях и оценках редакция «Российского Демократа» продолжает оставаться независимой от спонсоров, что отразилось, например, во вступительной статье С. П. Мельгунова «Разбитые иллюзии», где он честно и подробно описывает переговоры с американцами в процессе создания Координационного Центра Антибольшевистской Борьбы (КЦАБ) в Мюнхене и высказывает свое разочарование в связи с невозможностью воплощения проекта: «В действительности это начинание закончилось полным крахом. Последующие строки будут как бы отчетом Союза Борьбы за Свободу России перед российской обществен-

^{*} Из личной переписки автора с М. Адамович, 30.04.2022.

ностью – повесть о тех уступках, которые мы бесплодно делали во имя общего дела. Мы сделали всё возможное для того, чтобы добиться реального существования идеи создания объединенного политического центра активной борьбы с большевиками; мы довольно стоически выдержали все те нападки, которые обрушились на нас, — нападки весьма грубые и не всегда с достойными намеками. Мы считали, что перед российской эмиграцией впервые открывалась возможность серьезной борьбы за свободу России. Мы ошиблись» ²⁷.

К концу 1951 года американцы отказались от идеи поставить Мельгунова во главе антибольшевистского Координационного Центра – чему предшествовал и отказ самого Сергея Петровича. За три года переговоров с американцами таких отказов в сотрудничестве со стороны Мельгунова будет тоже три. Первый публичный отказ Мельгунова был испытанием для него как политика – что не преминуло сказаться и на издании «Российского Демократа»: в 1952 году не было выпущено ни одного номера. Для Мельгунова это был удар не только финансовый, к безденежью он привык – при запасе идей и энергии. Тягость разочарования в невозможности создания независимого единого антикоммунистического фронта буквально отняли у него последние физические силы. Семидесятилетний историк-активист, он не смог оправиться от всех политических перипетий. Рак горла приковал его к постели, физическое молчание было для него мучительным. Это стало началом конца, словно он так и не смог «докричаться» ни до своих современников, ни до нового поколения русских эмигрантов, ни до западных демократий. И всё же Мельгунов, как птица Феникс, снова и снова возрождающийся после ударов судьбы, вновь нашел силы. И с 1953 года «Российский Демократ» опять выходит к читателю.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. ФОРМИРОВАНИЕ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОГО ЦЕНТРА ЭМИГРАЦИИ

Деятельность С. П. Мельгунова – редактора и политика – стоит рассматривать в контексте общего процесса формирования антибольшевистского движения русской эмиграции в 1948–1956 гг., в котором он играл ведущую роль.

Мельгунов уже с конца войны неустанно писал в своих сборниках об уже имеющемся политическом антикоммунистическом потенциале русской либеральной эмиграции — как старой, так и новой, делая акцент на независимости русских политических организаций от влияния правительств западных стран. Профашистские русские организации во время войны не учитывались. Как же сложилась ситуация к концу Второй мировой войны?

Изменения были огромны не только в смысле человеческих потерь, но и в масштабном изменении географии русской диаспоры в Европе. Европейские центры русской эмиграции, созданные после 1917 года в странах Восточной и Южной Европы – в Болгарии, Польше, Югославии, Чехословакии, Румынии, в прибалтийских независимых государствах – после войны оказались в зоне влияния и прямой оккупации советской армии-победительницы. Все эти диаспоры претерпели массовый исход в зоны западных союзников в Германии и Австрии. К их числу прибавилось огромное количество советских военнопленных и остовцев, ожидающих обязательной репатриации. К ним прибавились многочисленные гражданские беженцы из регионов СССР, попавших под немецкую оккупацию в 1941–1944 гг. Общая численность эвакуированных гражданских беженцев из СССР насчитывала около 1 миллиона человек, согласно сводкам вермахта. Эти граждане Советского Союза воспользовались шансом спасения от социалистического «рая» и эвакуировались вместе с отступающими частями вермахта. После массовой насильственной репатриации из Германии и Австрии в послевоенный период от 1 миллиона гражданских беженцев из СССР осталась лишь небольшая часть, около 250 тысяч человек*, которым удалось всеми правдами и неправдами избежать репатриации путем подделки документов и получить легитимный статус Ди-Пи, получить возможность размещения в лагерях и бесплатного обеспечения продовольствием и медикаментами – или на частных квартирах в оккупационных зонах западных союзников, преимущественно в американской зоне Германии и Австрии.

В связи с огромным числом «перемещенных лиц», представляющих все народности СССР, в лагерях к августу 1945 года в зонах оккупации западных союзников сформировались центры русской и других национальных диаспор. Высокая численность Ди-Пи в этих центрах сохранялась непродолжительное время, она сокращалась в связи с процессом репатриации до 1948 года, а далее — в связи с отъездом из лагерей Ди-Пи, начиная с 1949 года вплоть до расформирования лагерей осенью 1953 года. Состав лагерей Ди-Пи после завершения массовых репатриаций в 1948 году относительно устойчив. С 1949 года стартовала программа поэтапного переселения в т. н. «третьи страны» по рабочим квотам ООН; стали формироваться новые цент-

^{*} К июню 1947 года число невозвращенцев, т. е. бывших советских гражданских беженцев, в лагерях Ди-Пи составило «около 250 тысяч человек», по утверждению Г. Фишера. См.: *Fischer, George*. Soviet Opposition to Stalin. A Case Study in World War II / Cambridge, MA, 1952. – P. 111.

ры Русского Зарубежья в Северной и Южной Америках и Австралии. Те Ди-Пи, кто не смог выехать по возрасту или по состоянию здоровья, остались в Германии, их численность насчитывала не более 400 тысяч человек, среди которых были преимущественно гражданские беженцы из СССР, а также военнопленные и принудительные рабочие, депортированные или выехавшие в Германию по договору, — те, кто решительно отказывался возвращаться на родину по политическим мотивам, выбрав свободу на Западе. Все они были переселены из лагерей в специально построенные поселки. В районе Мюнхена таким поселком был Людвигсфельд.

Традиционные центры российской эмиграции — Париж, Брюссель, малые центры в Нидерландах — не претерпели существенных изменений после войны; сохранились предвоенные культурнообразовательные и конфессиональные структуры. Их активность была прервана немецкой оккупацией на четыре военных года, но позднее они были постепенно восстановлены. Изменения были скорее в статистике: человеческие потери во время войны и добровольная репатриация как следствие советской агитационной программы по возвращению «старых» русских эмигрантов в СССР.

Повсюду в Западной Европе начался восстановительный период не только культурных и религиозных связей уже в новых центрах диаспоры после войны, начали восстанавливаться также прежние политические организации, существовавшие до войны в центрах русской диаспоры в Европе, а также профессиональные товарищества и союзы, например, Общества русских юристов, врачей, инженеров. В поколениях «старой» эмиграции, сформировавшихся в условиях дореволюционной пореформенной России, возрождались и земства, чья политическая активность пришлась на время революции и Гражданской войны. Политический спектр был представлен, в большинстве своем, монархистами - крайне правыми (Высший Монархический Совет), легитимистами²⁸ и РОВС, а также центристами (кадетами) и левыми (эсерами, эсдеками и т. п.). В рядах «старой» русской диаспоры ощущалась усталость и опустошение - при победном марше по Европе коммунистической идеологии и оккупации Восточной Европы. Антикоммунистическая оппозиция русской эмиграции не была поддержана интеллектуалами европейских демократий.

Вот как характеризует в лагере Шляйсхайм «старую» русскую эмиграцию дипиец Борис Филиппов (Филистинский): «Старая эмиграция в Германии: главным образом русские эмигранты из Югославии. Следующая (количественно) группа — русские из Польши, затем из Прибалтики, Германии, Чехословакии, Болгарии, Румынии, совсем мало эмигрантов из Франции. Во всех органах лагер-

ного самоуправления, IRO, CWS, общественных эмигрантских организациях — по преимуществу выходцы из Белграда, в первую голову 'зубры', на втором месте солидаристы, на третьем — просто 'бытовые' воздыхатели о прошлом, меньше всего монархистов 'группы Мейера'. На 'фасаде' русской эмиграции только белградцы. О стариках не говорю: о России, возврате в Россию мечтают только вслух, в откровенных же разговорах мечтают только о возврате в 'королевскую Югославию'; общее настроение — усталость, озлобление и т. д.»²⁹.

Политические организации русской эмиграции, сложившиеся еще в дореволюционной России и перенесшие свою деятельность в Русское Зарубежье без эволюции структур и идеологии — такие как меньшевики, эсеры, кадеты — «раздробились» на множество политических подгрупп и течений и не представляли собой после Второй мировой войны деятельную политическую силу. Сказались и человеческие потери в рядах политической элиты «старой» русской эмиграции. Большинство вождей белой эмиграции сошли со сцены, постарели и отошли от активной политической деятельности, многие — осознав ее неэффективность.

Тем не менее, «старая» русская эмиграция оценивалась, например американцами, как имеющая высокий профессиональный политический и военный опыт, опыт сотрудничества с Западом, опыт создания военизированных структур в эмиграции, таких как РОВС; признавалось, что она обладает прекрасным знанием европейских стран, высококультурна и европейски образованна, а также имеет положительный опыт создания центров диаспоры в Европе. Да, к концу Второй мировой войны эта группа лидеров-эмигрантов сильно поредела, но уровень их профессионализма был чрезвычайно высок.

Совсем другой была в своей массе «новая» русская эмиграция. Все эти люди оказались вне родины в результате Второй мировой войны — будь то плен или интернирование в рабочие лагеря в Германии, или добровольный Исход гражданского населения из СССР. Антикоммунистические воззрения этой эмигрантской волны были результатом их горького жизненного опыта, сформировавшегося в атмосфере массовых репрессий на родине. У многих были уничтожены близкие или собственный опыт тюрем и лагерей ГУЛАГа. Это были люди, непримиримо настроенные к советскому режиму; их сознание и психика были травмированы пережитым, эти эмигранты были готовы на открытую борьбу с советской властью с использованием самых крайних средств. Вторая русская эмиграция была представлена следующими ведущими политическими организациями и союзами: СБОРН, СВОД, НТС (хотя НТС возник в рядах еще первой волны эмиграции).

Это были представители разных социальных групп, имеющие опыт и знания о советском обществе и его структурах. Они проигрывали «старым» эмигрантам в уровне образования, но имели мощный потенциал борьбы против советской системы, эффективный в условиях начинающейся Холодной войны. Интересным с точки зрения исследователей того периода было явление соединения представителей «старой» и «новой» эмиграции в различных политических организациях. В статье «Старая и новая эмиграция» на страницах журнала «Российский Демократ» один из авторов, подписавшийся «н.э.» – «новый эмигрант» – в 1949 году так оценивал обе «волны»: «Русская эмиграция состоит сегодня не только из людей разных поколений, но и из людей, воспитывавшихся в разных мирах. Как бы ни пытались в разных соображениях прикрыть разницу между старой и новой эмиграцией – она существует. Однако, несмотря на эти различия, вопрос сотрудничества и сосуществования представителей тех и других в одной и той же политической организации не только возможен, но и просто необходим. И чем дальше, тем больше деление среди эмиграции будет идти уже не по времени прибытия в эмиграцию, а по линии идеологической, хотя психологическая разница может остаться навсегда. Несмотря на то, что новая эмиграция воспитывалась и жила в антидемократических условиях, тем не менее по своему мышлению в массе своей она более демократична, чем основная масса старой эмиграции. Отшатнувшись от революции, старая эмиграция бросилась в мистицизм, в монархизм отжившего типа, либо – начав поиски чего-то нового – завязла в «сектантизме». Новая эмиграция политически еще бродит. Первое ее знакомство с Западом после большевизма было неудачное. Сперва она познакомилась с фашизмом, а затем прошла сильную солидаристскую обработку. Поэтому часть ее вошла в НТС, хотя характер новых эмигрантов – членов НТС – резко разнится от характера старых членов НТС. Поэтому НТС не смог слить эти две группы воедино. Некоторая часть новых эмигрантов, людей, главным образом, старшего поколения, может примкнуть к группе Высшего Монархического Совета»³⁰.

Анализ двух «миров» русских эмигрантов ярко выражен в разделе «Письма в редакцию» за 1948 и 1949 годы. Вот одно из них: «Находясь после войны всё время под тяжелыми террористическими ударами советского правительства и его пропагандных и полицейскополитических органов, часто при попустительстве и даже активном соучастии западных демократических правительств, российская эмиграция всё же оказалась достаточно сильной и отстояла свое политическое лицо, в значительной мере политически обновившись, благодаря живой встрече с Россией во время войны, — и биологически,

благодаря притоку свежей силы оттуда, настроенной против коммунизма и советского режима, — психологически еще более остро, чем довоенная эмиграция. Сейчас российская эмиграция, получившая новый опыт, переживает период брожения, в котором кристаллизируются новые политические тенденции и рождается новый руководящий слой»³¹.

Три первых послевоенных года были периодом идейного «брожения» для русской эмиграции и новая расстановка политических сил русской эмиграции, особенно в Западной Германии, шла постепенно. Заторможенность этого процесса объясняется прежде всего шатким правовым статусом Ди-Пи и официальным запретом на создание политических партий в их рядах. Для многонациональной эмиграции это был период выжидания законодательных решений со стороны ООН, которые могли бы определить, в частности, судьбы русских Ди-Пи после горького опыта насильственных выдач советским властям. Официальный отказ от насильственных репатриаций (согласно ялтинским договоренностям союзников) был объявлен ООН в 1946 году, но реально «выдачи» закончились лишь летом 1948 года. Это дало толчок для быстрого восстановления политических структур русской эмиграции в условиях уже начинающейся Холодной войны. С укреплением статуса Ди-Пи возникла благодатная почва для легитимизации прежних эмигрантских политических союзов и для создания новых, а с началом пропагандистских кампаний Холодной войны возникла острая потребность в людях с русским языком, со знанием истории России и СССР и понимающих советский менталитет.

Запрет на создание политических партий, скажем, в американской зоне оккупации, не означал, что политической жизни в русских лагерях Ди-Пи не существовало. Просто в послевоенном хаосе требовалось определенное время для восстановления контактов с бывшими политическими соратниками, для восстановления партийных организаций. Почтовая связь после войны была единственной ниточкой, однако в Баварии, например, регулярная работа почты наладилась лишь к сентябрю 1945 года.

Говоря о постепенном воссоздании политических структур русской диаспоры нам хотелось бы привести в качестве яркого примера лагерь Шляйсхайм (1946—1953) как самый крупный лагерь для русских Ди-Пи в американской зоне оккупации Германии — численностью около 5 тысяч человек. Так, например, в лагерном печатном органе «Информационный бюллетень Русского Эмигрантского лагеря в Шлейсгейме» за 1948 год³² названы следующие политические группировки, представленные в лагерном управлении:

Список № 1. Организации Освободительного движения: СБОРН и СВОД.

15 членов: Николай Мельников, Иван Соболев, Зоя Пушкарская, Александр Бервик, Иван Репников, Иван Гусак-Железняк, Иван Майборода, прот. Евгений Лызлов, Алексей Коваленко, Андрей Денисенко, Владимир Филиппов, Юрий Драценко, Григорий Шпак, Ефим Онопченко, Иван Кошкодаев. На базе Союза молодежи КОНР был создан Союз Воинов Освободительного Движения, коротко СВОД. Вскоре после его образования организация вошла в состав СБОРН в силу принадлежности большинства членов СВОДа к Русской Освободительной Армии (РОА) и схожести программы действий и идеологии. Для объединения всех сил бывших власовцев был создан также Комитет объединенных власовцев (КОВ).

Список № 2. Казачьи организации под общим руководством ВАЗО

ВАЗО (Всеказачье антикоммунистическое зарубежное объединение) было создано в июне 1948 года. Представлено 13 членами: Максим Кулик, полковник Сергей Болдырев, Чапа Багеев, Илья Щербина, Иван Шурупов, Александр Ковалев, Василий Скуба, Алексей Ермолов, Евгений Кравченко, Петр Волошин, Георгий Даркин, Ермолай Гулый, Семен Сыроватка.

Список № 3. Организации «ЛОРИШ», астраханские и ставропольские калмыки, Баварский Комитет русских эмигрантов

Это были национальные представительства калмыков, белорусов, украинцев, в основном беспартийных или политически не определившихся. Представлен 11 членами: Борис Филиппов, Владимир Петин, Алексей Санджиев, Николай Мокин, Константин Большаков, Евгений Комаревич, Аркадий Дубовцев, Всеволод Иванилов, Михаил Колосов, Михаил Суслин-Кашаев, Иван Албатаев.

Список № 4. Группа проф. Свищова

Группа проф. Свищова представляла монархистов различного толка, членов РОВС, РОНДД и состояла из 12 человек: Иван Свищов, Александр Голубинцев, Валентина Данич, Михаил Голубев, Евгений Маляревский, Андрей Турпак, Николай Чухнов, Даржа Ремелев, Андрей Герич, Федор Пронин, Александр Попов, Григорий Ширяев.

Сформировавшиеся в лагерях Ди-Пи первые политические организации стали рассматриваться как потенциально действенное оружие в нарастающем идеологическом противостоянии в Холодной войне лишь к 1948 году³³. До этого западные союзники сохраняли лояльность по отношению к СССР, а дипийские печатные «голоса» молчали. Информация о событиях в мире просачивалась в лагеря Ди-Пи лишь фрагментарно через листовки, которые вывешивались в

лагерном управлении вплоть до середины 1947 года; часто это были выборочные переводы статей из английской и американской прессы. В дипийской прессе не была разрешена критика насильственных выдач, общей политики западных союзников и т. п. Никто и не критиковал открыто, все держались за спасительный статус Ди-Пи, боясь быть отсеянным из лагеря и оказаться на улице без средств или быть обнаруженным СМЕРШем, охотниками за советскими невозвращенцами в западных зонах оккупации Германии и Австрии. Печатные органы дипийцев смогли заработать в полную силу лишь после реформы дипийской печати в американской зоне оккупации в августе 1948 года и после твердого закрепления юридических прав невозвращенцев.

Не могли знать русские Ди-Пи и о том, что в 1947 году в США было создано Центральное разведывательное управление США (Central Itelligence Agency, CIA), и о новой стратегии использования потенциала антикоммунистической многонациональной послевоенной эмиграции. Создание ЦРУ совпало с переходом юридической ответственности за Ди-Пи от организации УНРРА к ИРО в июле 1947 года. Почему важно отметить это совпадение? — Именно с этого момента начинается программа скринингов — программа не только по уменьшению численности Ди-Пи в целях сокращения финансовых затрат на их содержание (большую часть финансовой помощи оказывали США, предоставляя деньги американских налогоплатильщиков, что вызывало серьезные дискуссии в Конгрессе), но и по идеологической фильтрации Ди-Пи. Опросные листы скринингов подтверждают это. Подозревали ли сами Ди-Пи об этом «отборе», неизвестно, но, несомненно, чувствовали.

Фильтрация антикоммунистических сил — именно так выглядел процесс скрининга американскими спецслужбами — продолжалась до начала 1950-х годов³⁴. Успешно прошедшие скрининг получали статус «Ди-Пи», права на бесплатное размещение в лагере, бесплатное питание и медицинское обслуживание, а с 1949 года еще и право на организованный выезд в другие страны по рабочей квоте. Таким образом, скрининги были способом давления на Ди-Пи, которые становились инструментом в геополитической игре. Вспомним также, что американская и британская зоны с сентября 1946 года были воссоединены в т. н. «Бизонию». Это был не только административно-экономический конгломерат, но и взаимодействие спецслужб по выявлению потенциала Ди-Пи. Такова была эволюция процесса структурирования русских эмигрантских сил в Западной Германии и Австрии.

Но консолидация политических сил проходила и в других географических центрах русской диаспоры. Вот что, например, пишет Роман

Гуль о Нью-Йорке: «13 марта 1949 г. в Нью-Йорке организовалась Лига борьбы за народную свободу, в нее вошли новые и старые эмигранты. Инициативная группа составилась из Р. Абрамовича, В.Бутенко, М. Вишняка, Д. Далина, Б. Двинова, К. Х. Денике, В.Днепрова, Ю. Елагина, В. Зензинова, Н. Калашникова, В. Касьяна, А. Керенского, профессора Б. Константинова, профессора И. Миролюбова, Б. Николаевского, профессора А. Спасского, профессора Г.Федотова, А. Чернова и В. Чернова» 35. Лига консолидировала в своих рядах левые демократические силы — бывших меньшевиков (вокруг издания «Социалистический Вестник») и эсеров. Возглавили Лигу на тот момент А. Ф. Керенский и Б. И. Николаевский. Керенский, живший в США с момента немецкой оккупации Франции в 1940 году, издавал в Нью-Йорке бюллетень «Грядущая Россия». Николаевский после Германии и Чехии также с 1940 года поселился в США.

С. П. Мельгунов, как и А. Ф. Керенский, рассматривались американцами в 1948 году как два возможных кандидата для консолидации всех антибольшевистских сил русской эмиграции. Оба принадлежали к одному поколению русских либеральных общественных деятелей, были почти одногодками. В 1948-м им было 67-68 лет, их активный политический опыт остался далеко в прошлом; трудные десятилетия эмиграции и безденежья наложили свой отпечаток. Керенский в 1939 году, получив после долгих стараний спасительную американскую визу, покинул Францию; Мельгунов остался жить в Париже, хотя желание перебраться в США после войны у него также было. Невладение английским языком тормозило реализацию этого желания.

Русская эмиграция с трудом воспринимала кандидатуру Керенского в качестве своего лидера; Керенский был, скорее, непопулярен в эмигрантских кругах. Мельгунова же знали и ценили в большей степени как историка, а не как политика. — сказались 15 лет тихой жизни в пригороде Парижа и отход от активных политических акций.

Однако в марте 1949 года при непосредственном участии Керенского была создана «Лига борьбы за народную свободу» (ЛБНС); а Мельгунов в 1949 году создает «Союз Борьбы за Свободу России» (СБСР). Этот факт позволил американцам рассматривать их в первое послевоенное пятилетие как наиболее подходящих кандидатов на «пост» лидера, других альтернатив для демократических кругов эмиграции, собственно, и не было.

Оба опубликовали политические платформы своих организаций почти одновременно: Керенский в нью-йоркской газете «Новое русское слово» в марте 1949 году, а Мельгунов — в своем «Российском Демократе» в N 2 (сб.18) весной 1949 года (этот номер был самым тоненьким из-за отсутствия финансов по вышеупомянутой причине).

Что представлял собой мельгуновский «Союз Борьбы за Свободу России»? Состав был таковым: председателем был избран С. П. Мельгунов, Б. Н. Уланов – генеральным секретарем, проф. И. М. Херасков стал председателем Парижской группы, проф. А. П. Филиппов – председателем Мюнхенской группы, проф. А. С. Заголо – председателем Нью-Йоркской группы. В состав Союза входили лица различных политических взглядов, от социалистов до монархистов-конституционалистов, среди них А. Карташев, В.Алексеев, М. Бакунин, С. Балданов, В. Безбах, М. Бобров, (лит. псевдоним), В. Богданов (лит. псевдоним), Б. Бровцын, Н.Бровцына, С. Водов, И. Гармаш, А. Гордеев, Н. Гуреев, Б.Домогацкий, Е. Заряцкий, П. Ильинский, М. Иорданский, Г. Кизило, М. Ковалев, Б. Крылов, Н. Макеев, П. Мельгунова, Г. Месняев, В. Монаенков, Н. Морозов, В. Никитин (Б. Баршин), Б. Овсеенко, С.Орлов, Н. Петровский (лит. псевдоним), К. Тихомиров, А. Филиппов, Н. Цуриков, М. Цыганков, Э. Уланов, В. и А. Самбражевские. Официальным печатным органом мельгуновского «Союза Борьбы за Свободу России» стал журнал «Российский Демократ». Программа Союза декларировала принцип «непредрешенчества», т. е. определение будущего социально-политического строя России после ее освобождения от большевиков путем народного выбора; создание широкой либерально-демократической коалиции с различными русскими эмигрантскими организациями, вплоть до монархистов. Союз Мельгунова был малочисленным, но представлял видных деятелей русской эмиграции во Франции и Германии и в целом обладал весомым влиянием на русскую эмиграцию благодаря высокому уровню политической культуры его членов³⁶. Херасков писал о Союзе в № 1 (15) за 1948 год: «Это Союз не примиренческий, во-первых, включающий в себя русскую борьбу, во-вторых. И в-третьих, еще: не посягая на права политических партий и не конкурируя ни с одной из них, Союз хочет быть объединением борцов не за партийную программу или политическую доктрину, а за единую, вполне конкретную цель – свержение в России большевистского ига. Это Союз внепартийный: по персональному признаку он приглашает в свои ряды и беспартийных, и членов любых политических партий и национальных организаций, программы, доктрины, которых не стоят в противоречии с провозглашенными нами началами».

Политическая организация Керенского также претендовала на лидирующую роль в русской эмиграции. «Лига Борьбы за Народную Свободу является союзом групп и лиц различных политических направлений, объединенных общим стремлением бороться против коммунистической диктатуры во имя установления в России свободного, подлинно-демократического строя <...> по обе стороны совет-

ских рубежей, за восстановление свободы, народовластия и внутреннего мира в России»; необходимым условием для этого является созыв Всенародного Учредительного собрания³⁷. Мельгунов внимательно следил за созданием Лиги в силу личного знакомства со многими ее членами. В одном из номеров «Российского Демократа» он писал: «В расстановке сил, делаемой Лигой, мы видим пагубные пережитки психологии старой революционной демократии, которая парализовала ее антибольшевистскую активность в 17-ом году, привела к захвату власти насильниками, вышедшими из социалистического лагеря, а потом утвердила эту власть в дни Гражданской войны. Едва ли таким началом можно будет привлечь революционные элементы новой эмиграции»³⁸. Разногласия между членами Лиги, особенно между Керенским и Николаевским, привели к ее расколу уже в 1951 году. Керенский вышел из ее состава и сформировал «Российское Народное Движение» (РНД).

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Союз Борьбы за Освобождение Народов России (СБОНР)

Союз был создан 13 августа 1947 года в русском лагере Шляйсхайм, вблизи Мюнхена. Эта организация собрала вокруг себя остатки Русского освободительного движения генерала А. А. Власова; в него вошли бывшие военнослужащие РОА, чудом уцелевшие после массовых выдач из американской, британской и французской зон Германии. Приверженцев власовских идей было больше всего в лагере Шляйсхайм. Все ли они были членами СБОНР, сказать трудно без наличия точной статистики.

Первоначальное название этой организации было «Боевой Союз Молодежи Народов России» (БСМНР), с 19.05.1948 года — СБОНР. Первым председателем был избран Николай Александрович Троицкий³⁹. Идеологической основой СБОНРа стал Пражский манифест Комитета Освобождения Народов России (КОНРа) от 1944 года. СБОРН определял себя как революционную антикоммунистическую организацию, придерживающуюся лозунга Кронштадтского восстания 1921 года «Советы без большевиков» и ориентировавшуюся на идеалы Февральской революции. Печатным органом с 1947 года был журнал «Борьба», с 1949-го — «Бюллетень СБОНРа в Шляйсхайме». Манифест Комитета Освобождения народов России был опубликован в «Бюллетене освободительного движения народов России» в 1949 году, № 3-4 за март-апрель. Согласно заявленной политической платформе, СБОНР видел Россию после свержения коммунизма как феде-

ративную республику с провозглашением равноправия всех видов собственности и запрета монополий при свободе предпринимательства. Манифест СБОНРа призывал к объединению всех национальных сил в деле свержения сталинизма после войны. Сотрудничество власовцев с фашистской Германией во время войны СБОНР на страницах «Информационного бюллетеня» объяснял вынужденной стратегией для формировании Русской Освободительной Армии (РОА), которая определялась как подлинная народная армия, сформированная из советских военнопленных в Германии и как возможная деятельная сила в деле борьбы со сталинизмом.

В лагере Шляйсхайм было много сочувствующих этой политической организации. После расформирования лагеря Шляйсхайм в 1953 году политическая деятельность СБОНРа продолжилась. Так, в 1956 году были опубликованы новые положения идеологической платформы Союза в обращении «Ни вправо. Ни влево. СБОНР на путях всенародной освободительной борьбы». СБОРН объединял всех антикоммунистов, независимо от их конфессиональной, национальной и социальной принадлежности. Вместе с тем, СБОНР отказывался от сотрудничества с монархистами правого толка и с русскими политическими союзами, ратовавшими за установление тоталитарных структур. В этом отношении интересна оценка Бориса Андреевича Филиппова⁴⁰, высказанная им в частной переписке с Б. И. Николаевским.

Б. А. Филиппов проживал в лагере Шляйсхайм с осени 1946 года до начала 1950 года и наблюдал развитие политической жизни в лагере. «Самым светлым явлением – по людскому материалу – в эмиграции нужно принять СБОНР-СВОД, – писал Филиппов. – Платформа – не продумана, кустарна, противоречива, убога, списано у солидаристов и из 'блокнота пропагандиста'. Культурный уровень большинства – еще ниже платформы. Но много веры в свою правоту, внутреннего демократизма, желания работать, много и морально высоких людей... Мне кажется, что руководители этой организации, следуя примеру других организаций, несколько преувеличивают численность своего союза. По некоторым наблюдениям, 'рядового состава' в союзе, может быть, не так уж и много: не слишком превышают они количество организаторов, руководителей и т. д. Но 'костяк' организации уже крепко сколочен, часть руководителей не проявляет стремления к неумеренному вождизму и непогрешимости – и даже допускает критику своей 'идеологической платформы' (в том числе и сам ее автор), чего отнюдь нельзя сказать о солидаристах, например. Но в жизни лагерей Ди-Пи, по крайней мере, работа СБОНР чувствуется очень мало и на поверхности общественной жизни СБОНРовцы почти не появляются. Еще одно замечание: от взглядов руководителей СБОНРа и его платформы некоторые перебрасывают мостик к руководителям Освободительного Движения – ген. А. А. Власову, ген. В. И. Мальцеву, Милетию Зыкову и т. д. Должен сказать, что отождествление взглядов СБОНРовцев со взглядами 'власовского движения' по меньшей мере неосновательно. Помню очень враждебное отношение А. А. Власова, Г. Н. Жиленкова, В. И. Мальцева и Боярского к солидаристическим программе и идеологии, помню очень 'левые' взгляды Мальцева (член партоппозиции 1926–1927 гг., т. н. 'федоровской группы'), ряда других руководителей движения. Помню и солидаристов из РОА – Трухина, Меандрова, Ветлугина, Самутина и ряд других. Но при всей пестроте рядов власовцев определяло его характер именно его возглавление и его широкая 'советская' демократическая масса. Тогда было больше 'психологии', чем четкой идеологии, впрочем, не успела идеология-то и выкристаллизоваться. Поэтому делать, например, заключение о том, что Власов и РОА ориентировались не на вынужденный временный, а на 'естественный блок с Германией' - по высказываниям, часто при этом полемическим, отдельных СБОНРовцев – не следует»⁴¹.

Союз Воинов Освободительного Движения (СВОД)

СВОД был создан на базе Союза молодежи КОНР. Вскоре после его образования организация вошла в состав СБОНР, так как большинство членов СВОДа находились в Русской Освободительной Армии (РОА) во время войны, да и программы и идеологические платформы организаций были схожи.

Для объединения всех сил бывших власовцев был создан также Комитет объединенных власовцев (КОВ).

Солидаристы, или Народно-Трудовой Союз (НТС)

Солидаристы были наиболее активной и хорошо сплоченной политической организацией к концу войны, несмотря на большие людские потери. НТС объединял в своих рядах как молодежь, рожденную в Русском Зарубежье, так и «подсоветскую» молодежь. Истоки НТС восходят к Союзу русской национальной молодежи (СРНМ). С 1929 по 1935 годы Союз был трижды переименован. История создания НТС восходит к 1929 году, процессу объединения различных русских молодежных союзов из Югославии, Франции, Болгарии, Голландии. Объединяющим актом стал Первый съезд в Белграде 1.06.1930 года; Союз был переименован в «Национальный Союз Нового поколения» (НСНП), в котором был установлен возрастной ценз для членов: год рождения — после 1895-го. Это было новое поколение эмигрантов, считавших себя преемниками Белого Движения, но критиковавших характерную для «отцов» позицию «непредрешенчества» и выбравших другие методы борьбы.

Идеологическая платформа восходила к идеям «солидаризма» и основывалась на философском учении Г. К. Гинса, С. А. Левицкого и других. Своим символом НТС выбрал родовой знак Великого князя Владимира Святого, основателя Российского государства (золотой трезубец на белом, синем, красном фоне).

Одним из путей борьбы было создание агентурных групп, забрасываемых в СССР и рекрутирующих внутри страны единомышленников. С 1930 по 1939 гг. организация понесла большие потери по агентурным группам. Во время Второй мировой войны НТС находился на нелегальном положении и тоже понес потери, в том числе и от нацистов. С началом войны члены НТС смогли проникнуть на оккупированные вермахтом территории СССР; с 1943 года НТС подвергался репрессиям со стороны нацистов, погибло 30 членов организации, работавших нелегально. Согласно американскому советологу проф. Александру Даллину, «...значение HTC в контексте восточной политики Германии в том, что <...> решительная и хорошо организованная группа сумела просочиться почти во все немецкие ведомства, занимающиеся русским вопросом, и оказать на них влияние. Но в итоге русские национальные интересы, как их видел НТС, возобладали над этим временным сотрудничеством, привели к конфликту с гестапо и к аресту руководства НТС летом 1944 года» 42. Война дала членам этой эмигрантской организации опыт общения с соотечественниками в СССР; из него родилась новая программа НТС.

К концу войны НТС уже имел разветвленную систему подпольных представительств во всех трех западных оккупационных зонах Германии; после войны Союз получал финансовую поддержку от Американской Военной Администрации в Германии. Расхождения в НТС начались в 1946—1947 годах, в 1948—1949 гг. они приняли особенно критические формы в связи с крайней «левизной» отдельных членов — как среди югославской части Союза, так и «подсоветской» молодежи. По выражению Б. Филиппова, произошла «поляризация» солидаристов: часть «причисляет себя к 'конституционным монархистам' (Артемов, Неймирок, Левицкий, Бреверн и мн. др.), часть — республиканцы-демократы (Парфенов — Марокко, Е. Р. Островский, Самарин и др.)»⁴³.

АМЕРИКАНСКИЙ КОМИТЕТ И РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

В сентябре 1949 года Джорж Фрост Кеннан (Georg Frost Kennan, 1904—2005)⁴⁴, возглавлявший отдел Госдепартамента США по внешней политике и сыгравший ведущую роль в разработке Плана Маршалла, поручил создать Координационный комитет антибольше-

вистской борьбы⁴⁵, который мог бы вести работу «от имени русских». Кеннан сформулировал рекомендации, предлагая использовать потенциал русской политической эмиграции в Европе и США. Для координации действий был создан Американский Комитет (The American Committee for Liberation from Bolshevism) с основными задачами помощи дипийцам (США приняли около 450 тысяч послевоенных эмигратов) и консолидации политической эмиграции для борьбы в период Холодной войны. Юридическое оформление Американского комитета прошло в 1951 году в штате Делавэр, со штаб-квартирой в Нью-Йорке и с представительством в Мюнхене. Изначально организация называлась «Американский комитет за свободу народов СССР», затем «Американский комитет освобождения народов России». С марта 1953 года Комитет получил название «Американский комитет освобождения от большевизма». Последнее название комитета будет «Комитет Радио Свобода» (с 1964 года). Каждое переименование Американского Комитета влекло за собой новые разочарования русской политической эмиграции и вносило полную сумятицу в умы политически неактивных эмигрантов. Первым президентом комитета стал главный редактор журнала «The Readers Digest» и бывший корреспондент «United Press International» в Москве Евгений Лайонс (Eugene Lyons), исполнительным директором стал Р. Таунсенд (Reginald T. Townsend), президент старейшего Общества Св. Николая в Нью-Йорке (The Saint Nicholas Society of the City of New York); членами Попечительского совета были историк Уильям Чемберлин (William H.Chamberlin), Аллен Гровер (Allen Grover), владелец «Тайм», проф. Уильям Эллиот (William Y. Elliott), Гарвард, издатель Уильям Уайт (William L.White), Чарльз Эдисон (Charles Edison), бывший губернатор штата Нью-Джерси, и журналист Исаак Дон Левин (Isaac Don Levine). Итоговой цели по созданию единого антикоммунистического фронта среди эмиграции Американскому комитету достичь не удалось.

На первом этапе деятельности Американский комитет предусматривал созыв совещаний и выявление наиболее активных политических сил, владеющих знанием о СССР. С этой целью было организовано несколько совещаний, конференций, пленумов для русских политических организаций в американской зоне оккупации, где было сосредоточено многочисленное количество Ди-Пи, выходцев из разных стран. Вот хронология совещаний:

```
16-18 января 1951 – в Фюссене (Бавария),
16 июля 1951 – в Мюнхене (Бавария),
```

19-20 августа 1951 – в Штутгарте (Бавария),

31 октября – 2 ноября 1951 – в Висбадене (Гессен),

21 июня 1952 – в Штарнберге (Бавария),

16 октября 1952 – в Мюнхене (Бавария),

17-30 января 1953 – в Мюнхене (Бавария),

16 мая 1953- в Тегернзее (Бавария), была продолжена до 30 июня 1953 года в Мюнхене.

В «Российском Демократе», № 2 (21) 1951 года Мельгунов печатает статью «Разбитые иллюзии», в которой, анализируя первые три совещания, пишет: «Два старых историка жестоко ошиблись в своих прогнозах: И. М. Херасков назвал русско-американское начинание по созданию 'Совета Освобождения Народов России' (СОНР, позднее известен как Координационный Центр Антибольшевистской борьбы, КЦАБ. – E. K.) триумфом здравого смысла («Возрождение», т. 17), а нижеподписавшийся (Мельгунов. -E.K.) — новой эрой в эмиграции («Российский Демократ», № 1, 1951). В действительности это начинание закончилось полным крахом. Почему? Попробуем рассказать печальную историю наших разбитых иллюзий... На нас не лежит вина за то, что мы оказались у разбитого корыта. Мы сделали всё возможное для того, чтобы добиться реального осуществления идеи создания объединенного политического центра активной борьбы с большевиками... Мы считали, что перед российской эмиграцией впервые открывалась возможность серьезной борьбы за свободу России. Мы ошиблись. Неверно, что мы выступали самозванцами и пытались незаконно говорить от имени всей российской эмиграции, обманывая американское общественное мнение. Наше тактическое объединение пяти очень отличных друг от друга политических организаций в эмиграции должно было создать только центр координации антибольшевистской борьбы, как русских, так и нерусских национальных сил нашего отечества. Неверно и то, что наша попытка сговориться на широкой демократической базе возникла по инициативе некого Американского Комитета»⁴⁶.

Остановимся на самых важных совещаниях 1951 года.

Первое совещание. 16-18 января 1951, Фюссен

Почему именно в Фюссене? Этот баварский городок, расположенный в 130 км от Мюнхена, входил в состав американской зоны оккупации Германии; с апреля 1945 года там был сформирован большой многонациональный лагерь Ди-Пи, состоящий из отдельных национальных подлагерей для русских, украинцев, белоруссов и для представителей прибалтийских наций. К. Г. Кромиади был назначен американцами председателем организационного комитета по подготовке первого совещания представителей российской эмиграции. Работа началась в октябре 1950 года. К. Г. Кромиади представлял

интересы бывших власовцев, их политической организации СБОНР. Мельгунов комментирует это назначение так: «Об этой неудаче не будем говорить, она объясняется непродуманностью как американской инициативы, так и российского ее существования». ⁴⁷

На первое совещание американцы пригласили лишь четыре политические организации: Лигу Борьбы за Народную Свободу (А.Ф. Керенский, Б. Николаевский, В. Зензинов из Нью-Йорка), Национально-Трудовой Союз (В. Байдалаков, Е. Романов из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне), Союз Борьбы за Освобождение Народов России (СБОНР) (Б. Яковлев, К. Крылов из Мюнхена), Союз Борьбы за Свободу России (СБСР) (С. Мельгунов, М. Соловьев из Парижа, А. П. Филиппов – филиал в Мюнхене, Н. Рыбинский – филиал в Нью-Йорке). Фюссенское совещание стало предварительным этапом переговоров. Мельгунов называет это «Фюссенский компромисс», комментируя так: «Национальный вопрос России для российских организаций не был тактической платформой, каким он являлся для американцев. Надо было в Фюссене сцепить разные позиции и оценки российских организаций, 'съютить' под одной политической крышей подлинных демократов и демократов 'маргариновых'. Все участники совещания были единодушны в оценке общего положения. Резкое расхождение началось по национальному вопросу. Каждая организация выдвинула свою формулу и не была готова сделать уступки. Лига и СБОНР: 'право народов на самоопределение вплоть до отделения', НТС: 'право народов на устроение своей судьбы только после победы над большевиками, но в рамках России', наш Союз: 'право народов устраивать свою судьбу. Решение вопроса государственного устройства Всероссийском Учредительном собрании. Борьба за сохранение елинства России'»⁴⁸.

Солидаристы демонстративно покинули совещание, заявив о невозможности согласования выявившихся на совещании позиций по вопросам национальной политики, как и выступив против принципов организации ядра будущего комитета. Мельгуновский Союз был близок к воззрениям НТС относительного будущего государственного устройства России, однако после их ухода с совещания расстановка сил изменилась. После двухчасового совещания была найдена единая формулировка: «признание равноправия всех народов России и их права свободно определить свою судьбу». Мельгуновский Союз настаивал на «сохранении единства семьи свободных народов России» — эта формулировка «взорвала» совещание и дискуссии вспыхнули снова. Так первая попытка США подготовить почву к свержению советской диктатуры путем консолидации антикоммуни-

стически настроенных эмигрантских политических организаций потерпела поражение, «утонув» в бесконечных дискуссиях.

Мельгунов пишет об особенной настойчивости А. Даллина: «Даллин – американский подданный. Американцы не желают, чтобы граждане США принимали участие в русской акции. Даллин еще перед отъездом был предупрежден, что его участие на совещании является нежелательным. Однако он решил пренебречь этим предупреждением и приехал в Фюссен. Остановился в другой гостинице и явился на совещание. Вильямс, узнав об этом, рассвирепел. У него, оказывается, была особая телеграмма о недопущении Даллина на конференцию. Когда Даллин появился на совещании, мы приняли его как представителя Лиги. Но Вильямс решил не уступать. Что произошло в точности, неизвестно, но только Даллин с совещания исчез. Прежде чем исчезнуть, он написал письмо участникам совещания, в котором резко высказался о поведении Американского Комитета, организовавшего это совещание. Письмо нам зачитано не было, и Б. Николаевский принял меры, чтобы оно не разглашалось. В кулуарах передавалось, что американские оккупационные власти пригрозили Даллину высылкой из Германии в 24 часа, если он не покинет совещание»⁴⁹.

Сотрудники американских спецслужб характеризовали это совещание как неуспешное, к тому же прощедшее без участия других национальных групп, представляющих народы СССР.

Прошло полгода в бесконечных «кулуарных» переговорах между русскими эмигрантскими организациями. Вот как этот период комментирует сам Мельгунов: «Начался полугодовой торг с переторжками в довольно хаотичной обстановке. Представители Американского Комитета вели переговоры с каждой организацией отдельно и пытались согласовать полученные результаты. Главным 'третчиком' со стороны американцев явился прибывший в Европу Дон-Левин⁵⁰. Надо признать, что положение американских посредников было затруднительно в силу больших разногласий, возникших в русской среде»⁵¹.

Второе совещание. 16 июля 1951, Мюнхен

На втором совещании присутствовало уже 5 организаций: Лига раскололась, и Керенский представлял уже «Народное Движение». «В иностранной печати, для которой имя А. Ф. Керенского, естественно, наиболее знакомо, неверно представлена особая роль в деле создания Координационного Центра возглавителя Временного Правительства революционной эпохи. А. Ф. Керенский представляет лишь т. н. 'Народное Движение', выделившееся из нью-йоркской Лиги и приглашенное участниками первого совещания в Фюссене принять на равных правах с остальными группами участие в слож-

ном строительстве новой политической акции», – писал Мельгунов в «Российском Демократе», характеризуя мюнхенское совещание следующим образом: «Со стороны 'подлинных демократов' была сделана попытка созвать в Мюнхене особую 'демократическую' конференцию, которую некоторые рассматривали как срыв фюссенского соглашения и как желание оказать давление на Американский Комитет в смысле соответственного подбора подходящих партнеров для работы. Наш Союз отказался принимать участие в этих дезорганизаторских действиях» 52. В сноске Мельгунов добавляет: «За кулисами довольно открыто действовал опять Даллин, получивший новый афронт. Мюнхенская конференция не представила собой 'панургово стадо' и участие Даллина отвергла» 53.

Выработка единой линии действия всех пяти русских политических эмигрантских политических групп осложнялось тем, что уже в январе 1951 года прежнее название «Американский Комитет освобождения России» был неожиданно для всех переименован в «Американский Комитет освобождения народов СССР» (American Committee for Freedom for the Peoples of the USSR). Мельгунов комментирует: «Такое переименование, явно делавшее уступку эмигрантским претензиям националов, для нашего Союза было абсолютно неприемлемо. Американский Комитет продолжал настаивать на исключении формулы 'единства семьи народов России', этим термином заменялись слова о единстве России как государственного целого» 54.

Третье совещание. 19-20 августа 1951, Штутгарт

Целью третьего совещания была выработка окончательного текста единой политической платформы и организационной структуры КЦАБ. На этом совещании присутствовало также пять организаций. В Штутгарте РНД было представлено А. Керенским и И. Кургановым.

Мельгунов так описывает атмосферу совещания: «Как это ни странно, но всё прошло в здоровой обстановке желания добиться соглашения и обойти все подводные камни. Штутгартские постановления были уже опубликованы в газетах, они были окончательно сформулированы так: 'признание равноправия всех народов России. Признание за ними права свободно, на основе всенародного голосования, определять свою судьбу', а также реальное обеспечение этого права» 55. Присутствующие политические организации взяли на себя инициативу создания «Совета Освобождения Народов России», СОНР, — так был назван первоначально Координационный Центр Антибольшевистской Борьбы. Руководители всех пяти организаций подписали единый меморандум о сотрудничестве. ««После долгих дискуссий руководителями пяти российских организаций платформа в Штутгарте была подписана, и представитель Американского

Комитета охарактеризовал полученный документ словом 'замечательный', но по техническим условиям работа в Штутгарте не была закончена. Не мог быть избран Исполнительный Комитет, который надлежало составить соответственно пропорции разных секторов, принятой для образования Совета. Было намечено временное бюро, по одному члену от каждой организации... переговорить с национальными группами в течение месяца и т.д.», — заключает Мельгунов⁵⁶.

Мельгунов предложил открыто опубликовать документы всех договоренностей, тем самым оповестить эмигрантскую общественность о взаимных отношениях между Российским Центром и Американским Комитетом и обозначить свои обязательства перед диаспорой, вплоть до утверждения сметы денежных расходов КЦАБ (по мнению Мельгунова, это должно было находиться целиком в их руках): «Мы хотели добиться полной согласованности и договоренности с американскими соратниками, но, конечно, не могло быть и речи о 'дружеском руководстве', как неосторожно обмолвился в своем напечатанном интервью председатель Американского Комитета Евгений Лайонс». Это желание независимости КЦАБ, выраженное как обязательное требование Мельгунова, звучало по меньшей мере наивно. Официальная американская помощь предоставлялась в рамках концепции Холодной войны с использованием русских антикоммунистических политических организаций во внешнеполитических целях США. Мельгунов же, вечный Дон-Кихот, верил в этический кодекс, надеясь на бескорыстную помощь в деле освобождения России от коммунизма.

Сразу же после совещания в Штутгарте началась работа по созданию смешанной паритетной межнациональной комиссии (по три члена от общероссийских организаций и от национальных); из этой комиссии был создан Союз Освобождения Народов России (СОНР⁵⁷) в Мюнхене, переименованный в ноябре 1951 года, после висбаденского совещания, в Координационный Центр Антикоммунистической Борьбы (КЦАБ).

В этот период Мельгунов живет на два города и на две страны: Париж – Мюнхен, Франция – Западная Германия. Эти разъезды были возможны для Мельгунова лишь благодаря финансовым средствам, предоставленным американцами. Сергей Петрович, щепетильночестный, трудно «сживался» с такой финансовой зависимостью, она его очень угнетала.

Мельгунов посещает в Мюнхене своего близкого друга и соратника Николая Александровича Цурикова⁵⁸. В 1951 году тот жил в лагере Шляйсхайм в очень стесненных условиях в комнате на несколько человек. О возможности ночевки у Цурикова не было и

речи. В свои приезды в Мюнхен историк наблюдал «человеческий муравейник» в русском лагере Шляйсхайм, с грустью понимая невозможность нормальной работы для своего друга в таких условиях. Вот что пишет Н. Полторацкий о Цурикове в некрологе в 1957 году в последнем номере «Российского Демократа»: «Необыкновенно привлекали в Н. А.-че его совершенная бескорыстность, неподкупность и полная отдача себя общему делу. Жил Н. А. в полунищете, на которую никогда не жаловался, ничего личного для себя не искал, и всё свое время и силы посвящал служению идее и людям. Оказавшись после войны в Германии, в гуще выдаваемой большевикам на расправу новой эмиграции, Н. А., рискуя многим, всего себя отдавал правовой (а еще более – подпольной, о которой еще рано писать) и политической защите бывших советских граждан. Кемптен, Фюссен, Шляйсхайм – вот основные этапы этого, памятного тысячам и тысячам, горестного и мужественного стояния за человека и за правду»⁵⁹. После расформирования лагеря Шляйсхайм осенью 1953 года Н. А. Цуриков переехал в поселок для иностранцев Людвигсфельд.

Тяжелые условия жизни никогда не были помехой ни для Мельгунова, ни для его соратников. Возможно поэтому компромиссы в сотрудничестве с американцами, на которые шел Мельгунов с товарищами, имели определенные пределы. Н. Полторацкий пишет: «Первоначальный замысел Американского Комитета борьбы с коммунизмом как эмигрантской акции изменился и стал быстро превращаться в совместную эмигрантско-американскую акцию. Наконец, и с этим видоизмененным планом тоже было покончено: теперь (В 1957 году. — E.~K.) это уже чисто американская акция (точнее — Американского Комитета), поддерживаемая лишь отдельными эмигрантами, за действия которых российская эмиграция никакой ответственности нести не может. Комитет из партнера эмиграции стремился превратиться в ее дирижера – вместо того, чтобы относиться к российской эмиграции как к самостоятельному, хотя и союзному, фактору в борьбе против коммунизма, Комитет стал смотреть на нее, как на резервуар для пополнения учреждений Комитета простыми служащими, не имеющего никакого политического статуса. Комитет препятствовал вступлению в Центр одних и навязывал участникам Центра другие организации, не признающие его непредрешенческие платформы. Вместо непредубежденного, одинакового отношения ко всем 'националам', Комитет вступил на путь идейной дискриминации, отверг националов – сторонников исторической России и националов-федералистов, и за выразителей национальных устремлений народов России стал признавать только сепаратистов, стоящих за полное государственное отделение от России и готовых подменить часто борьбу против коммунизма борьбой против России и русских»⁶⁰.

Совещание в Штутгарте так же «тонуло» в бесконечных дискуссиях, непримиримых спорах, как и первые два. Камнем преткновения на этот раз был национальный вопрос. Все дискуссии подробно освещены Мельгуновым на страницах «Российского Демократа» за 1951 год. Они звучат отчетами о сложном процессе объединения русской эмиграции. Эти материалы интересны и историческими деталями с освещением роли отдельных политических деятелей эмиграции. Закулисное лавирование американцев от одной русской политической организации к другой, выбор «фаворитов» сводили к нулю надежду на консолидацию многонациональных антикоммунистических сил диаспоры. Рано или поздно такое партнерство должно было прийти к концу. Так и случилось с русскими группами, каждая из которых старалась заверить американцев в своей особой значительности и преданности.

Четвертое совещание. 31 октября – 2 ноября 1951, Висбаден

Между Штутгартом и совещанием в Висбадене прошло немногим больше двух с половиной месяцев. Это было переходное время от ожидания к действиям, от надежд к реализации - но не своих планов, а прежде всего определенных американской концепцией антикоммунистической борьбы. Это ощущали все. Мельгунов назвал совещание «Висбаденская неразбериха»: «Здесь нас всех ждала неожиданность. Уже 2 ноября было назначено межнациональное совещание, организованное представителем Американского Комитета и в значительной степени не согласованное с решениями мюнхенского бюро, ибо Дон-Левин на свой страх и риск сам вел самостоятельно переговоры с представителями национальных меньшинств и давал соответствующие обязательства. В результате наша органическая работа была прервана частным, мало подготовленным и довольно случайным по составу совещанием, быть может, очень интересным по существу, но малопродуктивным в деловом отношении, ибо никаких обязательных решений принять оно не могло... Это совещание показало, что, несмотря на внешне единый фронт, эта среда националов-сепаратистов не так уж однородна и не так уж догматично настроена против русских. Представители национальностей прибыли вовсе не для того, чтобы обсудить вопрос о своем вступлении в 'Совет Освобождения Народов России' (СОНР). Они в большинстве своем не были даже знакомы со штутгартскими проектами. Падала вся структура СОНР, превращавшегося в новый антикоммунистический блок народов. Мы вновь старались быть гибкими и

уступчивыми, тем более что в нашей собственной среде прошла глубокая непоправимая трещина: две российские организации, Лига и СБОНР, весьма определенно сделали свою политическую ставку на национальные меньшинства и тем почти разрушили штутгартский договор. По техническим условиям, в Штутгарте, из-за отсутствия помещения на следующие дни совещания, не смогли состояться не только заседания с националами, но и наш российский пленум, они были преждевременно прерваны. В заключение состоялась в спешном порядке излюбленная пресс-конференция, на которой было оглашено общее коммюнике в связи с очередной годовщиной печального факта продолжающегося всё еще существования советской власти. На пресс-конференции Американский Комитет преждевременно объявил о создании смешанной паритетной межнациональной комиссии (3 от российских и 3 от национальных), деятельностью которой и должно было завершиться висбаденское действие по созданию центра борьбы с большевизмом. Этой межнациональной комиссии и суждено было сыграть роль той апельсинной корки, на которой поскользнулись организаторы СОНР. Не надо было обладать большим предвидением для того, чтобы понять смыл происходящего: понемногу штутгартская структура подменялась иной, сводящей на нет затеянное нами российское дело. С присущей ему отчетливостью Б. И. Николаевский формулировал вопрос так: если соглашение с национальностями не будет достигнуто, Лига не участвует в деле построения СОНР. С такой же определенностью наш Союз подчеркивал: если 'соглашение' будет достигнуто путем уступок в основном организационном вопросе, мы отказываемся от участия. К сожалению, эта кардинальная дилемма не была поставлена в нашей среде со всей определенностью в той сумятице, в которой заканчивалось висбаденское словоговорение»⁶¹.

К этому моменту произошел раскол и в составе власовской СБОНР: Б. А. Яковлев (Троицкий), как руководитель Союза, под сильным нажимом американцев оставил пост, на его место был назначен его заместитель, полковник РОА Георгий Ильич Антонов $(1898-1963)^{62}$. Это привело и к смене в политике организации: если до того СБОНР ориентировался на союз с нью-йоркской Лигой, то теперь был заявлен как «независимый».

Последний этап процесса объединения эмиграции под американским «крылом» был печальным для всех его участников и сопровождался большими разочарованиями. Совещание в Висбадене не сумело решить поставленных вопросов, американцы дали еще один «пробный» месяц для созыва нового съезда. Мельгунов так оценивал ситуацию: «Односторонней волей Американского Комитета переменялась вся штутгартская структура! Дон-Левин, находящийся во Франкфурте, телеграфировал Керенскому, Николаевскому, которые должны были вылететь обратно в Нью-Йорк, и Мельгунову, выезжающему в Париж, – с просьбой задержаться в Мюнхене. Из солидаристского Лимбурга был вызван Романов; Яковлев (СБОНР), как житель Мюнхена, ожидал. Сообщение Американского Комитета гласило следующее: 'Ввиду того, что в Висбадене не пришли ни к какому соглашению по вопросу о новом Бюро, разрешите уведомить Вас, что мы не можем взять на себя ответственность относительно жалованья штату Бюро после истечения одной недели. Мы считаем, что после решений Висбаденской конференции старое Бюро прекратило свое существование'» 63.

Лидеры российской политической диаспоры направили письмо на имя Евгения Лайонса, председателя Американского Комитета, и разъехались, оставив в Мюнхене временное Бюро – не столько уже для организации работы по созданию СОНР (КЦАБ), сколько для обмена взаимной информацией в ожидании реакции со стороны Американского Комитета. В Бюро входили: от солидаристов -Буданов, от Лиги – Зензинов, от Народного Движения – Курганов, от мельгуновского Союза – Никитин. К этому моменту все уже прекрасно понимали, что дело закончено. Штат служащих Бюро в Мюнхене был распущен, платить за аренду помещений русские не могли. Мельгунов с предельной честностью резюмирует: «Конечно, никому нельзя помешать быть оптимистом и надеяться. В центральном органе нашего Союза этот оптимизм не нашел уже отклика. Работать в той антиобщественной атмосфере, которую создал Американский Комитет, наш Союз не может. Мы никогда не сможем согласиться и на ту новую структуру СОНР (КЦАБ), которую нам навязывают и при которой делаемые нами уступки легко будут обращаться против нас. Мы сочли своим долгом заявить об этом открыто в Париже представителю Американского Комитета, а через своих представителей в Нью-Йорке довести до сведения и председателя Комитета. Трудно отказаться от вывода: если бы Американский Комитет не вмешивался в чужую ему российскую общественность и не пытался бы дирижировать, мы, вероятно, легче сумели бы договориться с национальными меньшинствами (по крайней мере с некоторыми из них) и избегли бы раскола. Ныне Американский Комитет может найти диссидентов в русской среде и соответствующих сателлитов в кругах национальных. Но опора будет эфемерна. Нашему Союзу явно будет с ними не по дороге. Ставка на 'сепаратистов' заставит нас из союзников Американского Комитета превратиться в его противников. На нас ложится долг с упорством и страстностью в рядах российской демократии защищать единство исторически сложившейся $\operatorname{Poccuu}^{64}$.

Тем не менее, де факто СОНР (КЦАБ) был создан на висбановском совещании. И представлен он был во всем разнообразии национальностей и организаций: от «великороссов» – Николаевский, Лига борьбы за народную свободу; Романов, НТС; Мельгунов, Союз Борьбы за Освобождение России; Яковлев, Союз Борьбы за Освобождение Народов России; от национальных организаций – Совет Белорусской Народной Республики, Азербайджанский Народный Совет, Грузинский Национальный Совет, Туркестанский Национальный Комитет, Союз «За свободу Армении», Северо-Кавказское антибольшевистское национальное объединение.

16 октября 1952 года состоялась конференция в Мюнхене, на которой СОНР был официально переименован в Координационный Центр Антибольшевистской Борьбы. Но разногласия между российскими и национальными группировками требовали новой конференции. Она была созвана 17 января и работала до 30 января 1953 года в Мюнхене. Эта конференция завершала трехгодичный период переговоров. «Конференция продолжалась с вынужденными перерывами без малого две недели. Уже одно это было симптомом тревожным, ставящим дальнейшее существование Координационного Центра в его теперешнем составе невозможным.»⁶⁵

Единства не было ни в среде русской эмиграции, ни среди национальных политических групп; все ощущали на себе закулисную двойную игру Американского Комитета. Однако вице-адмирал Лесли К. Стивенс, назначенный в 1953 году новым председателем Комитета. по-иному Американского оценивал «Американский Комитет не может поверить, что перед лицом того нарастающего кризиса, который переживает сейчас советский режим после смерти Сталина, руководили крупных антибольшевистских группировок эмиграции не могут найти общей платформы, на коей можно объединить все здоровые элементы для ведения решительной борьбы за освобождения их родины. Мы считаем, что такое сотрудничество необходимо для ведения успешной борьбы против большевистской язвы и что творческие силы эмиграции найдут путь совместного решительного действия»⁶⁶. Мельгунов открыто ответил Стивенсу: «Адмирал Стивенс ссылается на кризис после смерти Сталина. Мы глубоко согласны с ним. Время не ждет. Утопия, однако, остается утопией и не может быть действенным средством для 'успешной борьбы против большевистской язвы', как выражается председатель Американского Комитета. Преждевременное заявление адмирала Стивенса в печати в теперешней обстановке может означать лишь отказ от 'совместного решительного действия'. Американский Комитет, таким образом, сам разрушает то дело, которое началось в значительной степени по его инициативе. Пойдем одни!» 67

Дальнейшее развитие событий было таковым: Американский Комитет выдал субсидии на паритетных началах отдельным русским союзам, а также и шести национальным эмигрантским организациям: украинской, белорусской, грузинской, армянской, азербайджанской и северокавказской. 16 октября 1952 года был создан КЦАБ, подписан меморандум сотрудничества всех членов. С. П. Мельгунов был избран председателем, И. А. Курганов – его заместителем. Лига Борьбы за Свободу Народов России (Николаевский) начала тактику блокады деятельности КЦАБ и, прежде всего, Мельгунова.

С горечью констатирует Мельгунов летом 1953 года: «Первый акт последней части политической трилогии 'создание и обновление КЦАБ' разыгрался в небольшом баварском городке, на берегу живописного Тегернского озера. 16 мая 1953 год там открылся третий пленум Координационного Центра Антибольшевистской Борьбы (КЦАБ), ровно семь месяцев до этого образовавшегося в Мюнхене. Постороннему наблюдателю трудно себе представить, в какой нездоровой обстановке приходилось работать представителям российской эмиграции в Центральном Бюро КЦАБ. Повседневная атмосфера внутри и вокруг него – это был какой-то кипящий котел политических страстей, интриг, ущемленных национальных и личных самолюбий. КЦАБ не был работоспособен. Виною этому был не статус, оказавшийся на практике лучше, чем можно было думать первоначально. Виною не был даже и пресловутый паритет (50:50) между российскими и национальными организациями. Причина неработоспособности КЦАБ заключалась в сознательном злоупотреблении принципа паритета: с одной стороны, Лига стремилась, опираясь на националов, обеспечить себе решающее влияние на политику КЦАБ, с другой стороны – некоторые национальные организации уже перешли тайно в лагерь т. н. 'Парижского блока'*, разлагали КЦАБ изнутри, рассчитывая на его обломках воздвигнуть новый центр – предрешенческосамостийнический. Положительная, конструктивная, творческая деятельность КЦАБ парализовалась сознательно»⁶⁸.

^{*} На конференции в Париже 22 марта – 2 апреля 1953 г., в которой приняли участие представители эмиграции Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Северного Кавказа (так называемый «Парижский блок»), был подписан меморандум, гарантирующий «нерусским народам создание или восстановление независимых государств в этнографических границах».

После продолжительных совещаний, конференций, пленумов с января 1951-го по конец июня 1953 года американцы скорректировали приоритеты своей стратегии сотрудничества с русской эмиграцией и определили основные направления деятельности КЦАБ: скорейшее создание и финансирование двух организаций в Мюнхене — исследовательского Института по изучению СССР и радиостанции «Освобождение» (позднее переименованной в «Радио Свобода») для трансляции на страны Восточной Европы. В этих организациях должны были быть представлены, кроме русских, другие нации и национальные меньшинства СССР. Достижение единства политических группировок не было для американцев приоритетным.

24 марта 1953 года Американский Комитет был официально переименован в «Американский Комитет освобождения от большевизма» без указания «народов России», что вызвало заслуженное возмущение С. П. Мельгунова, ибо новое название было всеохватывающим и могло предполагать все страны мира. Уже 25 марта 1953 года, т. е. на следующий день, Мельгунов сообщает в письменном виде об окончательном отказе быть председателем Координационного Центра (КЦАБ). Вот как этот поступок комментирует Н. Полторацкий: «С. П. Мельгунов и как председатель Центра и глава Союза Борьбы за Свободу России, и лично очень остро реагировал на всякое нарушение Комитетом тех условий, на которых началась эта эмигрантскоамериканская акция. Он дважды порывал отношения с Комитетом. В третий раз, летом 1953 года, Комитет, видя, что С. П. на требуемые от него принципиальные уступки не пойдет, сам прекратил всякую дальнейшую поддержку Центра»⁶⁹. В сентябре 1953 года финансовая помощь была приостановлена. Главный офис КЦАБ был перемещен в 1953 году из Мюнхена в Нью-Йорк.

С июля 1953 года КЦАБ существовал лишь на бумаге, превратившись в формальное объединение; постепенно он был заменен Комитетом «Радио Освобождение» (позднее — «Радио Свобода»). Сейчас, по прошествии 70-ти лет, все эти политические страсти канули в Лету, сам процесс формирования КЦАБ часто даже не упоминается при освещении истории создания Радио. Трудный, болезненный поиск своих путей борьбы для русской политической эмиграции с 1948 по 1953 гг. увенчался сложным конструктом ее «выживания» на средства Американского Комитета.

Первая радиотрансляция «Освобождения» прошла на русском языке 1 марта 1953 года, а 5 марта 1953 года скончался Сталин. В этой символике многие русские эмигранты увидели «провидение» и добрый знак начала нового периода борьбы с коммунизмом. Последующие радиопередачи вышли 18 марта 1953 года, в них звуча-

ли голоса уже не только на русском, но и на армянском, грузинском, туркменском, азербайджанском языках. В течение года шел набор квалифицированных сотрудников.

Лагеря Ди-Пи были расформированы к ноябрю 1953 года, многие уже уехали или ожидали отъезда; те же, кто остался жить в Мюнхене, радовались возможности без знания немецкого языка получить работу на «Радио Освобождение» или в Институте по изучению СССР. О начальном периоде создания радиостанции «Освобождение» 70 имеется ценная информация в архиве Роберта Келли в Джорджтаунском университете в Вашингтоне 71.

Не прошло и года, как на место председателя Американского Комитета был назначен новый руководитель — Хауленд Сарджент (Howland H. Sargeant, 1911–1984), в прошлом — помощник госсекретаря США. Он был моложе всех предшествующих председателей. Сарджент приступил к руководству в 1954 году и оставался на посту президента «Радио Свобода» без малого 20 лет, по 1975 год.

Четыре года деятельности Американского Комитета были прежде всего временем сбора аналитической информации о политических силах эмиграции и выработки стратегии и тактики работы против СССР с использованием сил многонациональной российской диаспоры.

Своеобразным аналогом КЦАБ стало с 1956 года «Правление Центрального представительства Российской Эмиграции в американской зоне Германии» (ЦПРЭ), созданное Американской Военной Администрацией в Баварии. ЦПРЭ существовало одновременно с НПРЭ — Национальным представительством российской эмиграции. Обе организации утверждали, что только они являются законными представителями российской эмиграции в американской зоне Германии. В дальнейшем в ЦПРЭ произошел раскол. В газете «Воскресение», которую издавал Лейдениус в Эсслингене с 1963 года, в №№ 57-61 за апрель-август на первой странице было «Оповещение» ЦПРЭ, в котором говорилось о попытке Арцюка захватить в свои руки ЦПРЭ и о его переходе на позиции советского патриотизма. Но это уже другая история.

Возвращаясь же к радио «Освобождение», мы позволим себе привести точку зрения С. Карина, свидетеля событий, который писал по свежим следам на страницах мельгуновского журнала «Российский Демократ»: «Радиостанция 'Освобождение' была задумана в качестве рупора многонациональной российской эмиграции, вернее, ее политически организованной части в составе Координационного Центра Антибольшевистской Борьбы (КЦАБ). Подобно КЦАБ, радиостанция проходит сейчас через очередной

кризис. Основные положения по управлению радиостанцией были подписаны представителями КЦАБ и Американского Комитета (АК) 2 января 1953 года, хотя подготовка радиостанции началась год тому назад. В программном отношении пробная работа велась уже с конца прошлого года, т. е. 1951 года. Но разработка действительных программ началась после приезда т. н. парижской группы, в составе которой были, в частности, будущий директор программ В. В. Вейдле⁷² и заведующий русской редакцией Н. И. Ульянов⁷³. <...> С самого начала практической работы русской редакции между директором программ и главным редактором обнаружились резкие расхождения в определении содержания, оформления и общего тона русских радиопередач, в понимании своих прав и обязанностей. В эфир от имени русской редакции стали передавать программы, составленные не русской редакцией, а дирекцией программы совместно с непосредственными сотрудниками американского радиосоветника Мананга Вильямса. Поскольку при этом содержание и оформление этих передач не соответствовали взглядам представляющих Координационный Центр (КЦАБ), ей ничего больше не оставалось, как прекратить свою работу по составлению программ. В аналогичной ситуации оказались также исследовательский отдел и отдел последних известий. Такое ненормальное положение продолжалось более месяца, пока председатель АК не дал предписания американскому радиосоветнику пойти навстречу требованиям С. П. Мельгунова как председателя КЦАБ. После новых проволочек были выработаны временные правила, определяющие права и обязанности дирекции программ и главных редакторов. Н. И. Ульянов отказался работать на Радиостанции, заместил его Н. П. Полторацкий. Радиостанция 'Освобождение' имеет в новых условиях полный отрыв от Координационного Центра (КЦАБ) и превращается в голос 'беспартийных' русских эмигрантов, привлекаемых к работе на радиостанции в персональном порядке и по 'деловым' признакам. Второе решение: превратить радиостанцию 'Освобождение» в чисто американскую - наподобие, скажем, 'Голоса Америки', не только существующую при финансовой поддержке американцев, но и говорящую от имени и с позиций США. Тогда бы работники радиостанции были бы уже не представителями российской эмиграции, а всего лишь американскими служащими. Мы не видим в этом ничего недостойного. Чем больше существует таких радиостанций, тем лучше. Но вопрос не в том, нужны ли подобные радиостанции, а в том, каковы условия, при которых радиостанция 'Освобождение' была бы наиболее эффективней в пропагандном и политическом отношении. Лишь тогда она будет говорить от имени КЦАБ и действительно станет органом борьбы,

представленным в этом Центре российской и национальной эмиграции» 74 .

С момента отказа С. П. Мельгунова от работы в КЦАБ начинается открытая травля историка на страницах эмигрантской прессы. Делается ли это по наущению американских спецслужб или из личной мести отдельных русских эмигрантов, неизвестно, но этот раздор в русской эмиграции сыграл на руку советским спецслужбам. Со стороны Лиги Народов (Нью-Йорк) в «Социалистическом Вестнике» начинают дискуссию о «моральном облике» историка Мельгунова. На страницах украинской газеты «Освобождение» Г. А. Алексинский, бывший член Государственной Думы от тогдашней большевистской партии в 1917 году, называет Мельгунова «предателем, выдавшим всех соучастников по делу Тактического Центра, спасая свою жизнь в 1920, уехав за границу». Другой оппонент, генерал Б. А. Хольмстон-Смысловский, обвинял Мельгунова «в продаже национального будущего России»... В статье «Жуткая фигура» Мельгунов отвечает каждому в отдельности, аргументируя тем, что идет борьба за умы новых эмигрантов и сознательно «передергиваются» факты истории.

Огульные обвинения Мельгунова как председателя КЦАБ за неудавшиеся попытки объединения эмиграции продолжались весь 1953 год. Опустошенный и разочарованный, Мельгунов, в свои 73 года, отвечает: «Я приближаюсь, быть может, к исходу своей жизни. Наступил долгожданный момент, когда борьба с большевизмом вступила, как будто бы, в окончательную свою стадию. Я, возможно, наивно полагал, что поступил жертвенно, оставив свои научные исторические работы и ринувшись вновь в пучину политической борьбы. Ошибки неизбежны в таких исключительно трудных и сложных условиях, при которых организуется эта борьба вокруг Координационного Центра (КЦАБ). Она может быть успешна лишь тогда, когда чувствуешь за собой моральную поддержку подлинной российской общественности. Имеется ли она? Сам на такой вопрос я, конечно, ответить не могу» 75.

В. Никитин, соратник и друг, в защиту Мельгунова напишет после его смерти в 1957 году: «Многие склонны были винить Мельгунова в том, что он был слишком прямолинейным в политике, не умел лавировать, не был тактиком. Эти обвинения посыпались на него особенно после неудачи переговоров с Американским Комитетом Освобождения. С.П. было чуждо политиканство. Он не был способен быть посредником иностранных учреждений. Обвиняющие его не понимали, что они требовали от него отказа от принципиальных положений, отказа от большой политики и размена на мелкую монету. Если бы Мельгунов был таким, каким его хотели видеть его критики,

он не был бы политиком всероссийского масштаба и не пользовался бы тем уважением, которое он заслуженно имел и в правых, и в левых кругах российского Зарубежья. Но не только Зарубежья. Его знали в иностранных кругах и с его мнением считались. Действенная борьба с большевизмом для С.П. была возможна при ее идейно-политической независимости от иностранных сил и исходя из целостности российской государственности и психологии нашего народа. Как настоящий политик, он знал, где надо остановиться, чтобы не предать интересы дела и не превратить антикоммунистическую акцию в антирусскую»⁷⁶.

Итак, летом 1953 года Мельгунов официально объявил о своем решении уйти с поста председателя КЦАБ. Нам не известны детали этого ухода и было ли оказано давление на него со стороны американцев. Но Американский Комитет утвердил это решения, новым председателем КЦАБ был назначен Х. Сарджент. Соратник Мельгунова, А. Слизской⁷⁷ так оценивал ситуацию: «Как показала и тогдашняя, и дальнейшая практика Американского Комитета, причина неудачи заключалась отнюдь не в тех или иных ошибках со стороны С[ергея] П[етрови]ча, а в общем замысле Американского Комитета. Вина за провал совместной антикоммунистической акции лежит также и на тех эмигрантских группах и лидерах, которые способствовали расколу КЦАБ, а после раскола отказались последовать за С.П., примкнув из идейных ли, из тактических ли соображений к марксистско-сепаратистскому блоку (Николаевский)»⁷⁸.

После ухода из активной политики Мельгунов продолжает редактировать свой журнал «Российский Демократ». В 1953 году вышли три номера, в 1954 году — два. В 1955 и 1956 годах номера не выходили. Последним был единственный номер за 1957 год, выпущенный в Нью-Йорке уже после смерти его главного редактора С. П. Мельгунова.

«РОССИЙСКИЙ ДЕМОКРАТ». 1953–1957

№ 1 (22), 1953. Номер посвящен смерти Сталина и прогнозам нового социально-политического поворота в СССР. М. Бобров рассуждает о стратегии антибольшевизма в эмиграции после смерти Сталина. И. Херасков в статье «Россияне и националы» анализирует этнический состав российских политических групп в эмиграции. С.П. Мельгунов анализирует задачи КЦАБ как коалиционно-политического органа для согласования действий между русской и национальными диаспорами. Цель КЦАБ определена как «освобождение от коммунистической диктатуры народов, населяющих нынешний СССР и установление на его территории демократического строя, отвечающего чаяниям всех этих народов. Принцип самоопределения

народов подчинен принципу их свободного волеизъявления. Входящие в КЦАБ российские организации не рассматривают себя в качестве зародыша будущего российского правительства»⁷⁹.

Меморандум КЦАБ был подписан и проходил на фоне переименовании «Американского Комитета Освобождения Народов России» в «Американский Комитет Освобождения от Коммунизма», предложенного его председателем вице-адмиралом Лесли Стивенсом. В том же номере Мельгунов публикует свой протест против переименования Комитета и заявляет о своем выходе из состава Координационного Центра: «Изменение названия рассматривается нами как явная уступка требованиям 'самостийников', направленным на разрушение политической платформы статута КЦАБ. Положение осложнилось для нашего Союза еще и тем обстоятельством, что деятельность радиостанции 'Освобождение', в силу печального сцепления недоговоренностей, неопределенностей во взаимоотношениях и очевидных недоразумений, не согласовывалась с Центральным Бюро КЦАБ: направление и содержание радиопередач не отвечало задачам антикоммунистической борьбы в нашем восприятии и понимании. Совету Борьбы за Свободу России не оставалось ничего иного, как выйти из Координационного Центра, независимо, пойдут ли за нами другие российские организации или нет» 80. На тот момент между Мельгуновым и Американским Комитетом было достигнуто «перемирие».

№ 2 (23), 1953. В этом номере печатаются результаты пленума многонациональной российской эмиграции (16 мая 1953 года, озеро Тегернзее, – до 30 июня, Мюнхен). Сообщается, что в состав КЦАБ входят представители 11 организаций: др. Г. Вепхвадзе, Грузинский Демократический Союз; др. С. Степанов, Калмыцкий Комитет по борьбе с большевизмом; П. Поремский, Национально-Трудовой Союз; др. Г. Сааруни, Объединение армянских борцов за свободу; проф. П. Шидловский, Объединение украинских федералистовдемократов (ОУФД); А. Керенский, Российское Народное Движение; Г. Антонов, Союз Борьбы за Освобождение Народов России (СБОНР); С. Мельгунов, Союз Борьбы за Свободу России (СБСР); Г. Файзулин, Татаро-Башкирский Комитет; Д. Гуляй, Украинский Вызвольный Рух (УВР); Г. Климов, Центральное Объединение послевоенных эмигрантов (ЦОПЭ). 5 организаций отказались подчиниться требованиям статута КЦАБ, среди них Грузинский Национальный Совет, Комитет Азербайджанского Национального Объединения, Лига Борьбы за Народную Свободу, Северо-Кавказское Национальное Объединение (СКАНО) и Туркестанский Освободительный Комитет (ТЮРКЕЛИ).

№ 3 (24), 1953. Мельгунов освещает дальнейший процесс антикоммунистической деятельности русской эмиграции, после повторного отказа от сотрудничества с Американским Комитетом более как наблюдатель, чем как участник. Также публикуется «Обращение к зарубежной общественности». С 1951-го по ноябрь 1953 года было зарегистрировано 15 общерусских и национальных политических организаций, вошедших в КЦАБ: Белорусское демократическое Объединение, Грузинский Демократический Союз, Калмыцкий Комитет по борьбе с большевизмом, Комитет объединения власовцев (КОВ), Крымско-татарское Антибольшевистское Объединение, Национально-Трудовой Союз, Объединение армянских борцов за свободу, Объединение украинских федералистов-демократов (ОУФД), Российское Народное Движение (РНД), Союз Борьбы за Освобождение народов России (СБОНР), Союз Борьбы за Свободу России (СБСР), Союз Воинов Освободительного Движения (СВОД), Татаро-башкирский Комитет, Украинский Вызвольный Рух (УВР), Центральное Объединение послевоенных эмигрантов из СССР (ШОПЭ).

Как уже говорилось, национальный вопрос стал камнем преткновения в работе Американского Комитета Освобождения от большевизма. Мельгунов пишет в конце 1953 года: «Даже лишенный [финансовой] поддержки Американского Комитета, Координационный Центр будет в рамках своих возможностей продолжать начатое им дело активной борьбы с большевизмом. Считая себя отныне свободным от каких бы то ни было обязанностей, вытекающих из односторонне нарушенных Американским Комитетом соглашений с КЦАБ, Координационный Центр, естественно, не несет больше ни политической, ни моральной ответственности за 'акцию' Американского Комитета, в том числе и за работу Радиостанции 'Освобождение', которая перестала быть рупором политической эмиграции народов, ныне населяющих СССР, и не имеет права говорить от ее имени» 81.

№ 1 (25), № 2 (26), 1954. Оба номера напечатаны на хорошей бумаге; по объему выпусков «Российского Демократа» можно всегда судить и о финансовом состоянии дел. Так, бросается в глаза, что №1, 1954, имеет 71 страницу при цене 75 франков, а вот № 2 — всего 39 страниц при цене 60 франков. Авторами статей в № 1 были неизменные И. Херасков, С. Карин, Н. Тимашев, А. Михайловский, в № 2 — Мельгунов, В. Никитин, представитель мюнхенской группы Союза Мельгунова, И. Херасков и жена Мельгунова П. Степанова.

Эти два номера за 1954 год будут интересны исследователям для осмысления антибольшевистской акции эмиграции после Второй мировой войны с центрами в Мюнхене и Нью-Йорке: в журнале

представлена летопись событий с точки зрения мельгуновского «Союза Борьбы за Свободу России». В частности, Мельгунов так охарактеризовал отказ финансирования КЦАБ американцами: «Эти силы больше стремятся к ослаблению исторической России, чем уничтожению мирового коммунизма. И эта последняя, главнейшая, задача выпадает из поля зрения решающих кругов и подменяется вопросами, которые с любой точки зрения должны рассматриваться, как второстепенные» 82. Мельгунов отрицательно относился к расчленению исторической России, видя в этом посягательство на российскую государственность. Но национальный вопрос стоял на повестке дня реально, остро, болезненно; веками формировавшиеся проблемы русификации других наций в Российской империи не могли решиться в эмиграции. В. Никитин так оценивал ситуацию: «В первой стадии переговоров в Фюссене и Штутгарте Американский Комитет принимал без возражения два основных положения: единство российской акции, покоящейся на признании единства российской государственности, и политическая самостоятельность ее при материальной и моральной помощи американской общественности в лице ее Комитета. Во второй стадии переговоров, начиная с Висбадена, Американский Комитет перестал рассматривать Россию как начало, ведущее в антибольшевистской борьбе. Российским группировкам были противопоставлены группировки сепаратистского блока. С этого момента в глазах Американского Комитета многоплеменное население Советского Союза превратилось в конгломерат наций, а Советский Союз – в мозаику из государственных образований, находящихся лишь под шапкой СССР. Российская акция с этого момента заменяется целым комплексом акций: украинской, грузинской, северокавказской и другими, в том числе русской. Если судить по составу Совета Института в Мюнхене, значение российского начала в глазах Американского Комитета упало до ничтожной величины. Принцип организации 'Делового Союза' (КЦАБ) в апреле 1954 года рассматривается нами как отказ Американского Комитета от организации российской акции и попытка ее замены американской акцией»⁸³.

В 1955 и 1956 годах «Российский Демократ» не выходил. Мельгунов остался верен себе до конца: отказавшись от места председателя КЦАБ, он отказался и от американского финансирования, которое было предложено его журналу, как и другим русским эмигрантским изданиям на короткий срок в 1951–1952 гг. Мельгунов понимал всю сложность задачи отстоять независимость печатного слова.

Эти последние два года жизни Мельгунова были особенно трудными для него также и в физическом отношении. Рак горла быстро

прогрессировал. Вот как этот период описывает А. Слизской: «Последние два года были очень тяжелы для С.П. Крушение надежд на создание Координационного Центра сильно подорвало физические силы и, конечно, значительно ускорило трагическую развязку, но не сломило его душевных сил. Он по-прежнему был добр, всем интересовался и много работал. В сентябре 1955 года тяжкие боли окончательно приковали его к постели. Он слабел, с трудом мог поднять руку, но мысль его работала без перебоя и с прежним напряжением. Он много читал, всем интересовался, диктовал письма и никогда не жаловался на нестерпимые боли. Последний раз я был у него за три дня до смерти. Он по-прежнему был бодр духом, и трудно было предположить, что роковой конец так близок»⁸⁴.

Последний номер «Российского Демократа» вышел в 1957 году в Нью-Йорке, куда переехали соратники Мельгунова. Таким образом, европейско-парижская глава издания была завершена. На титульной странице «Российского Демократа» указан № 1 при общей нумерации всех сборников 27. С. П. Мельгунов скончался 26 мая 1956 года, что означает, что лишь через полгода вышел последний номер его журнала.

№ 1 (27), 1957. Номер начинается с обращения «К читателям и политическим единомышленникам»: «'Российский Демократ', по цензурным условиям послевоенного времени во Франции, выходил под разными названиями на протяжении ряда лет, начиная с 1946 года. Отсутствие средств не позволяло выпускать журнал регулярно, а потому за 10 лет вышло всего 26 номеров, настоящий является 27-ым» 85.

Номер разделен на две части. Первая часть посвящена памяти С.П. Мельгунова. После его смерти журналом руководила редакционная коллегия в лице П. Муравьева, В. Никитина как ответственного редактора, Н. Полторацкого и Ив. Хераскова. Все они были «разбросаны» по миру: кто остался в Париже, а кто сумел перебраться в США. В первой части напечатаны воспоминания о Мельгунове его друзей и соратников В. Никитина, Б. Н. Уланова 6, Аркадия Слизского, Н. Полторацкого. С середины 1950-х Уланов, Слизской и Полторацкий жили в США.

Причины медленного «умирания» издания лежали не только в политическом фиаско мельгуновского «Союза Борьбы за Свободу России» и неуспехе общей антикоммунистической акции русской эмиграции. Начиналось естественное сужение круга друзей и соратников Мельгунова. Первое поколение послереволюционной волны русской эмиграции уходило со сцены жизни: кто-то умер своей смертью, кто-то погиб во Второй мировой войне, кому-то «помогли» уйти. К

моменту выхода последнего номера «Российского Демократа» скончался в Мюнхене верный друг и соратник Мельгунова, Николай Александрович Цуриков (1886–1957). Средний возраст редколлегии «Российского Демократа» был далеко за 70 лет. Мельгунов и его соратники были людьми ушедшей эпохи. «Своими корнями С.П. глубоко уходил в прошлое столетие. По праву считал себя интеллигентом и сохранил в неприкосновенности до самой смерти всё лучшее, чем обладали люди, принадлежащие к этой категории: в вопросах чести и этики был строг, искренне верил в людскую порядочность и в человеческое достоинство, был честен до щепетильности. Россию он любил глубоко, жертвенно и бескорыстно, а к врагам ее относился с абсолютной непримиримостью. В нем много было от Дон-Кихота: за правду и человеческое достоинство бросался в бой со всем 'неистовством' своей натуры, не считаясь ни с силой, ни с могуществом своих противников, и личные выгоды никогда не служили мотивом для его общественной и политической деятельности. В своей личной жизни к удобствам, к комфорту был безразличен, а в вопросах повседневных жизненных мелочей просто беспомощен: мог заблудиться в метро или забыть пообедать. Для своих личных потребностей он не считал возможным пошевелить даже пальцем. Жил он далеко за городом в маленькой квартирке, очень скромно обставленной. Но обстановку трудно было определить: видны были только книги, журналы и стопки с газетами всех времен и направлений», – писал А. Слизской ⁸⁷.

Мельгуновские 27 сборников – это летопись послевоенной русской эмиграции, ее взлетов и падений. Мы можем быть лишь благодарны Мельгунову и его соратникам за эти книги. Ни редактор, ни авторы не получали гонораров за свои статьи, они подвижнически работали в неутомимом стремлении спасти Россию.

Удивительная логистика распространения журнала по всей Европе, в Северной и Южной Америке и Австралии доказывает организаторский талант всей редколлегии «Российского Демократа». Начиная с первых сборников 1946 года до последнего выпуска в феврале 1957 года была налажена устойчивая сеть сбыта журнала через частные каналы, друзей и знакомых. В последнем номере «Российского Демократа» за 1957 год указана эта география: США (Нью-Йорк и Сан-Франциско), Франция (Париж), Германия (Мюнхен, точный адрес: Herr S. Freiberg, Mauerkirchstr. 2/II), Великобритания (Лондон), Бельгия (Брюссель), Швеция (Стокгольм), Канада (Натіlton), Аргентина (Буэнос-Айрес), Бразилия (Сан-Паулу), Иран (Тегеран), Австралия (Сидней). Этот перечень стран и городов является в какой-то степени «картой» русского рассеяния после Второй мировой войны. Неслучайно, что при такой географии

читателей и почитателей «Российского Демократа» название журнала указывалось не только на русском языке. До 1957 года оно было двуязычным: на французском и русском языках. С переездом в Нью-Йорк — трехъязычным: «Российский Демократ», «The Russian Democrat» и «Le Democrate Russe». Редакция не имела поначалу в Нью-Йорке своего отдельного помещения, в связи с этим вся почта приходила на почтовый ящик с номером: «The Russian Demokrat, P.O. Вох 87. L.I. City; NY; USA». В послевоенный период с большим трудом были восстанавлены утраченные во время войны контакты с друзьями, которых разнесла судьба по всему миру. Через личные контакты искались пути распространения сборников. К концу 1947 года указано несколько центров продажи журналов:

- В Париже: книжный магазин «Возрождение / La Renaissanse» (73 av. Des Champs-Elysèes), книжный магазин Е. Сияльской⁸⁸ (2, rue Pierre le Grand, Les Editeurs Rèunis, 29, rue Saint-Dider).
- В Брюсселе: пригороды St. Gilles, Русская библиотека (13, rue de Roumanie), частная библиотека «Lecture» в пригороде Брюсселя Ixelles (43, rue Lesbroussart) и публичная библиотека Librairie d'Ixelles (118, Chaussée d'Ixelles). Называя пригород Брюсселя Икселлес (Ixelles), стоит отметить тот факт, что здесь с 1936 года издавался русскоязычный журнал «Часовой», основанный офицерами Добровольческой армии Василием Ореховым и Евгением Тарусским еще в Париже в 1929 году. Это и было связующим звеном старых добрых контактов между Парижем и Брюсселем после войны. Мельгунов, начиная с 1948 года, в благодарность размещает рекламу «Часового» на страницах «Российского Демократа».
- Во Французском Марокко: N. Poltoratzky, 1 Place Mirabeau, App. 204 Casablanca.
- В Лондоне: русская библиотека Russian Library (34. Hanway Str.London W.1).
 - В Швеции: Elita, Dalarö, Suède.

Связь с Германией, Австрией, Италией, разделенными на четыре оккупационные зоны союзников антигитлеровской коалиции, в 1947 году была еще сложна и установилась постепенно, лишь к началу 1948 года, времени создания т. н. «Бизонии». Была налажена связь и с отдельными русскими лагерями Ди-Пи в зонах западных союзников, началась рассылка бесплатных сборников в лагеря Ди-Пи и места рассеяния новой эмиграции. В примечании «От редакции», № 10 (14) от 1947 года, указывается: «Рассылка требует значительных денежных затрат. Для осуществления этого важного дела удовлетворения духовных потребностей обездоленных русских людей нужна широкая помощь. К ней и призываем мы всех сочувствующих.

Пожертвования с точным обозначением их назначения редакция просит направлять на текущий почтовый счет редактора»⁸⁹. Начиная с №1 (15) от 1948 года расширяется сеть в Германии в зонах оккупации: во французской — город Линдау (Lindau am Bodensee, Наирtstraße 1.), в библиотеке Церковного Приходского Совета; в американской — в русском лагере Шляйсхайм вблизи Мюнхена через Н.З. Рыбинского, проживающем в бараке 85 (Russian DP-camp, Bar. 85/I, München-Feldmoching), а также через Николая Цурикова, проживающего в Мюнхене по адресу Jensenstr. 2/I; распространяется журнал также через издательство «Посев» (НТС) в Лимбурге (Limburg-Lahn).

В Австрии в американском секторе – это городок Фельдкирх-Форарльберг (Feldkirch-Vorarlberg), издательство «Колумб» / Columbus.

В США – в Нью-Йорке и Сан-Франциско:

- H. Рыбинский по адресу: 382 Waldworth ave. ap. 3 A, NY 33.
- Г. Сретцинский по адресу: 248 East 83 St., NY 28.
- А. Бельченко по адресу: 435 20 Ave. SF 21.

Появляется также возможность распространения сборников и журнала через друзей в Нью-Йорке по адресу: 257 East 3 St. New York 9, NY.

В Канаде: П. К. Свобода по адресу: 218 East 83 St. Hamilton, Ont.

В Аргентине: М. Ковалев по адресу: Calle Conesa 775g, Buenos-Aires.

В Бразилии: С. Успенский, по адресу: Pr. Patriacha 26 Santo Paolo; С. Северинг по адресу: Caixa, Rio de Janeiro.

В Иране: Л. Попов по адресу: 273 Av. Ferdo wsi. Teheran.

В Австралии: Д. Домагацкий по адресу: 318 Riley St. City, Sidney.

О проблемах распространения и финансирования есть сообщение от редакции в «Российском Демократе», № 1 (15) 1948 года: «Мы не будем перечислять всех трудностей. Достаточно сказать, что сотни экземпляров наших сборников, посылаемых нами, например, в зоны оккупации, фактически являются до сих пор экземплярами бесплатными. С момента, когда мы превращаемся в периодическое, регулярно выходящее под одним уже наименованием издание, подписка может дать нам недостающие оборотные средства. От числа подписчиков и от пожертвований со стороны наших политических единомышленников всецело впредь будет зависеть аккуратный выход журнала. Мы сами делаем всё возможное для осуществления поставленной задачи и рассчитываем на поддержку эмигрантской общественности, сочувствующей нашей проповеди активной борьбы с большевизмом».

Анализ номеров «Российского Демократа» (1948–1957) доказывает важность этого журнала в исследованиях истории русской эмиграции в первые годы после Второй мировой войны. Мельгуновские

сборники с 1946-го по июнь 1948-го и последовавший за ними периодический журнал «Российский Демократ» (с августа 1948-го по март 1957 года) представляют ценнейшую хронику событий и полную картину взглядов на них Мельгунова-историка и его соратников, видных деятелей русской эмиграции — А. Карташова, И. Хераскова, Н.Цурикова, Н. Тимашева. Журнал «Российский Демократ» может по праву считаться важнейшим документом времени, летописью послевоенного периода политической русской эмиграции в Западной Германии, Франции и США наряду с таким фундаментальным изданием, как 22-томный «Архив Русской Революции», изданный И. Гессеном в 1921–1937 гг. в Берлине и давший историкам подлинный взгляд на период двух русских революций.

Несмотря на всю активность мельгуновского круга, в нем накапливается усталость от почти сорокалетней политической борьбы против большевиков, от противостояния мощной советской машине пропаганды и контрразведки на мировой арене. Печально звучат призывы в статье «Наши задачи» «Союза Борьбы за Свободу России» в последнем номере «Российского Демократа»: «В этом году (1957. – Е. К.) исполняется 40 лет русской революции и вместе с ней почти 40 лет с начала великого исхода русской эмиграции с родины, а для другой ее массовой волны – вот уже 15 лет. Срок для эмиграции небывалый в истории... Но знамя борьбы не упало. Борьба захватывает новые поколения в силу противоестественности коммунистической системы, в силу ненависти и неприятия ее всем нашим народом. Насилия, творимые властью, и вся коммунистическая система порабощения великого народа непрерывно пополняют ряды открытых врагов большевизма – российскую политическую эмиграцию. Одно это говорит, что ни сорокалетняя давность существования большевистской власти и эмиграции, ни однократные разочарования ее в успехе борьбы с коммунизмом, ни неудачи в сговоре с иностранными силами не в состоянии заставить русскую эмиграцию отказаться от ее целей» 90. Статья подписана Н. Херасковым, П. Муравьевым, В.Никитиным, Н. Полторацким.

Как бы оптимистично ни звучали нотки надежды на дальнейшее существование «Союза Борьбы за Свободу России» и журнала «Российский Демократ», обращение к читателям на последней странице говорило об истинной ситуации: «Ныне 'Союз Борьбы за Свободу России' решил возобновить издание журнала. К этому вынуждает нас обстановка на родине, во всем мире и внутри эмиграции. Но для сколько-нибудь регулярного выпуска его 3-4 раза в год, при бесплатной работе сотрудников журнала, нужны хотя бы небольшие средства. Однако, мы и этих небольших средств не имеем.

Единственный путь для изыскания средств на издание мы видим в организации постоянной группы друзей-жертвователей, которые взяли бы на себя обязательство регулярной поддержки журнала. Такая поддержка могла бы оказаться в виде ежегодного взноса, либо на каждый вышедший номер журнала. Естественно, что только сам жертвователь может решить форму и размер помощи журналу. Поможем независимому органу Российской Демократии за рубежом!» 91

Оценивая издательскую деятельность С. П. Мельгунова за 10 послевоенных лет (1946-1957), мы рассматриваем все 27 исторических сборников как настоящий успех. Журнал существовал долгие годы на пожертвования читателей, единомышленников, друзей, с коротким исключением двухлетнего спонсирования американскими властями. Члены редакции бедствовали, не имея никакой другой дополнительной работы, дающей средства на жизнь. Им, русским эмигрантам первой волны во Франции, не имеющим в большинстве своем ни французского гражданства, кроме статуса «лиц без гражданства» и Нансенского паспорта, ни права на работу по специальности, ни права на получение пенсий и других социальных пособий, ни медицинских страховок, приходилось чрезвычайно сложно все эмигрантские годы, начиная с 1920-х. Их ситуация не улучшилась и в послевоенный период. Но особенно тяжелым было положение антибольшевистски настроенных русских эмигрантов, подвергавшимся остракизму со стороны Временного Правительства Франции, находящегося под влиянием французских коммунистов. Этот период Варшавский назвал «систематическим выживанием русских антикоммунистов из Франции». В. Никитин пишет об огромном многолетнем опыте борьбы Мельгунова-политика: «Таким объединением для него был 'Союз Возрождения России', таким был революционный орган 'Борьба за Россию', 93 и в этом же плане осуществлялось сотрудничество Мельгунова с белыми генералами, Кутеповым и Миллером. Приход в эмиграцию свежего пополнения после 2-ой мировой войны привел Мельгунова к созданию широкого политического объединения 'Союза Борьбы за Свободу России'. Организация Союза и была попыткой объединить демократические силы русского рассеяния: от социалистов и республиканцев до конституционных монархистов»⁹⁴. Крушение надежд на консолидацию русской эмиграции стали для Мельгунова последним ударом.

ВОСПОМИНАНИЯ О С. П. МЕЛЬГУНОВЕ

Подводя итоги, нам хочется обратиться к воспоминаниям о Мельгунове. Мы редко найдем у современников внешнее описание

Мельгунова, чаще встречаются описания его деятельности как историка и политика. Бадьма Уланов является, пожалуй, единственным, давшим точный портрет С. П. Мельгунова: «Худой, среднего роста, аскет по образу жизни, необычайно умеренный в питании, нервный и очень часто куривший папиросы 'голуаз', с прекрасной формой головы, как говорят 'арийской', с худым, узким, продолговатым лицом, высоким лбом, с довольно большим с легкой горбинкой носом, с традиционными небольшими усами, с темно-русыми слегка вьющимися волосами, несмотря на возраст почти без седины, с волевым подбородком, с худыми пальцами, одетый всегда элегантно, – вот Сергей Петрович»⁹⁵.

А. Слизской, не будучи лично знаком с Мельгуновым до 1946 года, писал о встрече с ним в период увлечения «советчиной» в русской колонии в Париже: «Тогда, в 1946 году, когда хозяйничание органов советской Госбезопасности считалось явлением совершенно нормальным и никого это не удивляло, когда, казалось, всё притихло, и 'антисоветская акция' упала до нуля, вдруг появился 'Свободный Голос'. Гром, грянувший с безоблачного неба. Маленький мельгуновский журнальчик действительно оказался настоящим свободным голосом, и все почувствовали, что в эмиграции еще остались люди, могущие рискнуть во имя правды. Журнал Мельгунова встретил яростное сопротивление со стороны и тайных, и явных большевиков. Но С. П. не обращал внимания ни на травлю, ни на давление и свое дело продолжал настойчиво и упорно. За период с 1946 г. по 1948 г. журнал вынужден был 12 раз менять свое название. В это горячее время и состоялось мое знакомство и сближение с С. П. <...> Успех 'Свободного Голоса' как-то сразу выправил эмигрантские мозги и всё поставил на свое место. Появилась вера в сопротивление, а вскоре и довольно прочная надежда на материальную поддержку 'русской политической акции' со стороны американской общественности. С.П. весь с головой ушел в работу. Наблюдая очень близко кипучую деятельность его в этот период, я был поражен его энергией: постоянные разъезды, бессонные ночи, публичные выступления, редактирование одновременно двух журналов (своего и 'Возрождения'), – требовали много здоровья и физической крепости. Откуда он брал силу для такой напряженной работы – сказать трудно: был он далеко не молод, но трудоспособен был на редкость. Что за человек был С. П. Мельгунов? Своими духовными корнями С.П. глубоко уходил в прошлое столетие. По праву считал себя интеллигентом и сохранил в неприкосновенности до самой смерти всё лучшее, чем обладали люди, принадлежавшие к этой категории: в вопросах чести и этики был строг, искренне верил в людскую порядочность и в человеческое достоинство, был честен до щепетильности. Россию он любил глубоко, жертвенно и бескорыстно, а к врагам ее относился с абсолютной непримиримостью. Очень много было в нем от Дон-Кихота: за правду и человеческое достоинство бросался в бой со всем 'неистовством' своей натуры, не считаясь ни с силой, ни с могуществом своих противников, и личные выгоды никогда не служили мотивом для его общественной и политической деятельности» ⁹⁶.

Оценкой поколения Мельгунова стали слова известного историка эмиграции Николая Андреева в «Новом Журнале» за 1955 год: «После Второй мировой войны, особенно за рубежом, историческая наука потерпела большие потери: у нее оказались не только потери в личном составе, так как умерли историки и историки-литераторы крупного масштаба, как П. Н. Милюков, В. А. Мякотин, П. Б. Струве, В. А. Францев, П. М. Бицилли, Е. А. Ляцкий, К. В. Мочульский и другие, но главное – она лишилась своих исследовательских баз и печатных органов, которые были до войны сосредоточены главным образом в Праге и в Белграде. Немногие историки, как С. П. Мельгунов, В. В. Зеньковский, П. Е. Ковалевский, С. Г. Пушкарев, получили возможность публиковать свои работы по-русски. Остальные, весьма немногие, впрочем, числом историки ушли в иностранный мир или совсем отошли от научной работы. Так обрывается и постепенно замирает одна из сильных когда-то сторон русской культуры вне России: историческое исследование. Между тем нужда в книгах, повествующих об истории России, заметна, этим и объясняется появление популяризированных публикаций типа книжек Н. Пушкарского, Б.Сергиевского, С. Кирсанова, Б. Ширяева».

Мы свято верим в то, что традиция русской исторической науки никогда не оборвется, придут новые поколения честных историков, как Сергей Петрович Мельгунов, чья деятельность не будет руководима ни спецслужбами, ни геополитикой, а лишь знаниями, разумом и совестью.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. По настоянию Мельгунова все буквы в названии журнала писались как заглавные, что создавало визуальный акцент на каждом из слов.
- 2. «Российский Демократ» / Под ред. С. П. Мельгунова, при участии А.В.Карташева, И. М. Хераскова // Париж, № 1 (15), 1948. С. 2.
- 3. Там же.
- 4. «Российский Демократ», №2, 1948. С. 15. **Пелехин** Павел П. (?), (1911/12 ?), участник Гражданской войны в Испании в армии республиканцев, член СРП, после войны проживал в Орле. **Качва** Николай Сергеевич (1900—1982), родился в Тифлисе в семье железнодорожного служащего, эва-

куировался вместе с Русской Армией генерала Врангеля, в 1925–1940 гг. – шофер в Лионе, член Французской компартии (ФКП) с 1935 года. Участник гражданской войны в Испании. Участник Французского Сопротивления во Второй мировой войне. Секретарь Союза «Русский патриот» в военное время (после войны – Союз советских граждан). Выслан из Франции в 1947 году, после войны проживал в Ульяновске. Шибанов Георгий Владимирович (1900-1970), гардемарин, эвакуировался с Русской Армией генерала Врангеля, шофер такси. Участник Гражданской войны в Испании в рядах республиканцев и Французского Сопротивления во время Второй мировой войны. Завербован советскими спецслужбами в мае – июле 1943 года. После войны занимался поиском и выдачей Ди-Пи. Смирягин Дмитрий Г., участник Французского Сопротивления. Ковалев Василий Ефимович, эмигрант, участник Французского Сопротивления, был женат на француженке. Палеолог Александр Константинович, эмигрант, участник Французского Сопротивления, узник немецких лагерей. Выслан из Франции в 1947 г., в начале 1970-х гг. вернулся к сыну в Париж. Об остальных участниках информация не найдена.

- 5. «За Россию» / Под ред. С. П. Мельгунова // Париж, 1948, № 12. Сс. 2-3.
- 6. Там же. С. 5.
- 7. «Российский Демократ». № 1 (15), 1948. Сс. 49-50. Цитата воспроизведена с сохранением авторского стиля.
- 8. Там же. С. 48.
- 9. Издания М. В. Шатова «Библиография РОА в годы Второй мировой войны», вышедшие в серии «Труды архива РОА в Колумбийском университете», начали выходить лишь с 1961 года.
- 10. Константин Григорьевич Кромиади (Санин, 1893–1990, Мюнхен), участник Гражданской войны, полный Георгиевский кавалер, один из создателей Русской Национальной Народной Армии (РННА). Во время Второй мировой войны был в составе РОА, выдачи избежал, был в лагере Ди-Пи. С 1953 г. работал диктором на «Радио Свобода» в Мюнхене.
- 11. «Российский Демократ» № 2, 1949. С. 15.
- 12. Там же. № 1 (15), 1948. С. 15.
- 13. Там же. С. 16.
- 14. «Российский Демократ». № 2, 1948. Сс. 2-3.
- 15. Там же. С. 63.
- 16. Tam жe. № 2, 1949. Cc. 2-3.
- 17. «Российский Демократ». № 1 (19), 1950. Сс. 3-4.
- 18. Там же. С. 35. Роман Гуль переехал в 1950 г. в Нью-Йорк. С 1951 года работал ответственным секретарем «Нового Журнала»; после смерти в 1959 году главного редактора Михаила Карповича возглавил издание и оставался его главным редактором до смерти в 1986 году.
- 19. «Российский Демократ». № 1, 1949. Сс. 50-51. Издание «Народная

правда» (политические сборники) было органом Бюро Российского Народного Движения; задачи его определялись следующим образом: «...объединение демократических сил старой и новой эмиграции и предоставление новой эмиграции возможности широко высказываться на страницах сборников, объединение русских демократов с демократическими представителями эмиграции всех народов, живущих на территории СССР, а также объединение с представителями эмиграции стран-сателлитов». (НП, № 1, 1948)

- 20. Гуль, Р. Я унес Россию: Апология эмиграции. В 3-х тт. / Нью-Йорк: «Мост», 1989.
- 21. «Новый Журнал». № 160, 1985. С. 16.
- 22. «Российский Демократ». № 1 (20), 1951. С. 1.
- 23. Там же.
- 24. Там же. № 2 (21), 1951. С. 2.
- 25. Николай Петрович Полторацкий (1921, Константинополь, 1990, Ленинград), религиозный философ, литературовед, публицист. Учился в гимназии в Болгарии, ученая степень в 1954 г. в Сорбонне. Специалист по трулам И. А. Ильина и Н. А. Бердяева. Активно участвовал в антикоммунистическом движении. С 1995-го в США, работал в Бруклинском колледже в Нью-Йорке, профессор в Мичиганском университете у 1958—1967 гг., с 1967 года в Питтсбургском университете, член РАГ в США. Скоропостижно скончался в Ленинграде во время первой поездки в Россию.
- 26. «Российский Демократ». № 1 (27), 1957. С. 16.
- 27. «Российский Демократ». № 2 (21), 1951. С. 1.
- 28. Русские монархисты в процессе дискуссий о причинах разгрома Белого движения и методах продолжения борьбы с большевиками разделились на сторонников Высшего Монархического Совета и «легитимистов». Легитимисты поддерживали Вел. князя Кирилла Владимировича, который в 1924 г. объявил себя российским императором в изгнании, что привело к расколу в монархистском движении. Военной организацией легитимистов был созданный в 1924 г. Корпус Императорской армии и флота (КИАФ), в 1924—1929 гг. под руководством Вел. кн. Николая Николаевича Романова.
- 29. Личная переписка Б. Филиппова с Б. И. Николаевским / Hoover Institution Archive, Boris I. Nicolaevsky Collection. Box 410, Folder 6 // По микрофильму в коллекции Баварской Государственной Библиотеки в Мюнхене, BSB.
- 30. «Российский демократ». № 1, 1949. С. 62.
- 31. Ковалев, М. «Российский демократ». № 2 (16), 1948. С. 9.
- 32. Информационный бюллетень Русского Эмигрантского лагеря в Шлейсгейме / Под ред. Н. Н. Чухнова // № 52, 20.05.1948. С. 2.
- 33. George F. Kennan on Organizing Political Warfare. In: Kelley Memorandum. April 30, 1948 / History and Public Policy Program Digital Archive // Obtained and contributed to CWIHP by A. Ross Johnson / Wilson Center Digital Archive. URL: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114320

- 34. Kelley Memorandum on Utilization of Russian Political Émigrés. May 03, 1949 / History and Public Policy Program Digital Archive // Obtained and contributed to CWIHP by A. Ross Johnson / Wilson Center Digital Archive. URL: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114325
- 35. Гуль, Роман. Я унес Россию: Апология эмиграции. Указ. издание.
- 36. CIA State Department Reservations about Broadcasting to the Soviet Union. September 06, 1951 / History and Public Policy Program Digital Archive... URL: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114364
- 37. «Народная Правда». № 4, 1949. С. 27.
- 38. «Российский Демократ». № 2, 1949. С. 9.
- 39. Н. А. Троицкий (Псевд. Норман, Нарейкис, Борис Яковлев) (1903–2011, Весталь, США). Инженер-строитель, архитектор. В 1941 году был взят в немецкий плен под Вязьмой, находился в лагере советских военнопленных Боровуха-1 под Полоцком, вступил в РОА, руководил газетой «За Родину!», писал для газеты «Доброволец», дослужился до звания капитана РОА, один из составителей Пражского манифеста КОНР, первый председатель СБОРН с 14.11.1949, назначен директором Института по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене в 1950–1953 годах.
- 40. Борис Андреевич Филиппов (Филистинский, 1905–1991, Вашингтон), общественный и культурный деятель Русского Зарубежья, литературовед, прозаик, поэт, публицист, редактор, издатель, мемуарист.
- 41. Личная переписка Б. Филиппова с Б. И. Николаевским / Hoover Institution Archives. Boris I. Nicolaevsky Collection. Box 410, Folder 6. (По микрофильму в коллекции Баварской Государственной Библиотеки в Мюнхене, BSB)
- 42. *Dallin, A.* German Rule in Russia / London: Macmillan & Co. 1957. C. 526. Александр Даллин (1924, Берлин, 2000, Стэнфорд), из семьи российского политического деятеля Давида Юльевича Даллина; в эмиграции с 1921 года. После прихода к власти нацистов в Германии семья переезжает во Францию, в 1940 г. в США. В годы войны служил в военной разведке. После войны получил степень бакалавра, преподавал в Гарвардском университете, Калифорнийском ун-те в Беркли, с 1971 г. в Стэнфорде. В 1962–1967 гг. возглавлял Центр по изучению России и Восточной Европы.
- 43. Личная переписка Б. Филиппова с Б. И. Николаевским / Hoover Institution Archives. Boris I. Nicolaevsky Collection. Box 410, Folder 6. (По микрофильму в коллекции BSB)
- 44. Джордж Фрост Кеннан (1904–2005), дипломат, политолог, историк. Известен как идеолог Холодной войны, автор «политики сдерживания» и доктрины Трумэна.
- 45. George F. Kennan on Organizing Political Warfare. April 30, 1948 / History and Public Policy Program Digital Archive. URL: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document /114320
- 46. «Российский Демократ». № 2 (21), 1951. С. 5.

- 47. Там же. С. 2.
- 48. Там же. Сс. 4-5.
- 49. Там же. Спенсер Вильямс (Spencer Williams) был ответственным за Американский Комитет в Западной Германии.
- 50. Исаак Дон-Левин (1892—1981), американский журналист, родился в Белорусии в еврейской семье; семья эмигрировала после еврейских погромов в 1911 году в США. Работал журналистом в «The Kansas City Star», «The New York Tribune», для последней вел репортажи о революции в России, о Гражданской войне, был известен своими публикациями-разоблачениями сталинского террора; был автором первой подробной биографии Сталина, вышедшей в 1931 году. С 1948 года был активным членом «Американской Еврейской Лиги против коммунизма» (АЈLAC). Вплоть до 1954 года Дон-Левин курировал антикоммунистическую акцию русских эмигрантов, был соучредителем Американского Комитета и Радио «Свободная Европа» в Мюнхене.
- 51. «Российский Демократ». №2 (21), 1951. С. 5.
- 52. Там же. С. 6.
- 53. Там же. С. 10.
- 54. Там же.
- 55. Там же. С. 11.
- 56. Там же. С. 13.
- 57. Эта аббревиатура схожа с власовским Союзом СОНР.
- 58. Николай Александрович Цуриков (1886–1957, Мюнхен), юрист по образованию. С 1918 года в Добровольческой Армии, в 1920-м эвакуирован с армией в Константинополь, с 1923 в Праге. В 1920-е гг. был сотрудником ген. Кутепова (РОВС) в Праге. После Второй мировой войны выехал в Мюнхен. Был деятельным членом мельгуновского Союза, с 1950 г. был председателем германского отдела Союза. Автор литературных статей и политической публицистики во многих эмигрантских журналах и газетах; выступал как талантливый декламатор стихов на Днях Непримиримости (7 ноября) в Мюнхене со своими стихами; прекрасный оратор. Умеренных либеральных взглядов, сочетавшихся с активным антикоммунизмом / НЖ, № 230-231, 2003; «Российский Демократ», № 1 (27), 1957. Нью-Йорк. С. 61.
- 59. «Российский Демократ». № 1 (27), 1957. Нью-Йорк. С. 61.
- 60. Там же. С. 17.
- 61. Там же. № 2 (21), 1951. Париж. С. 17.
- 62. Г. И. Антонов. В 1950-е гг. работал преподавателем в системе военноучебных заведений армии США, жил в Мюнхене. С 1949 года – заместитель председателя СБОНР. В 1952–1960 гг. – председатель. В 1960–1963 гг. – член Руководящего Совета СБОНР. Умер 17 июля 1963 года. Похоронен на кладбище Перлахер Форст в Мюнхене / Александров, К. М. Офицерский корпус Армии генерал-лейтенанта А. А. Власова. 1944–1945 // Изд-во БЛИЦ, 2001. 63. «Российский Демократ». – № 2(21) 1951. – С. 15.

- 64. «Российский Демократ». № 1 (22), 1953. С. 22.
- 65. Там же. С. 31.
- 66. Там же. С. 7.
- 67. Там же. С. 8.
- 68. Там же. № 2 (23), 1953. Cc. 31-32.
- 69. Там же. № 1 (27), 1957. Сс. 17-18.
- 70. Negotiations for an Effective Partnership. A Study of the Negotiations between the American Committee for Liberation from Bolshevism and Leaders of the Emigration from the USSR to Create a Central Émigré Organization for Anti-Bolshevik Activity / Georgetown University Library, Washington, D. C. // Booth Famiy Center for Special Collections, Kelley R. F. Papers.
- 72. Владимир Васильевич Вейдле (1895—1979, Клиши-ла-Гаренн), литературовед, культуролог, историк культуры эмиграции, поэт. В эмиграции с 1924 года, жил в Финляндии, с 1926-го в Париже. С 1925-го по 1952 гг. преподавал в Свято-Сергиевском Богословском институте, профессор кафедры истории и христ. искусств. В 1950—70-х гг. преподавал в университетах Мюнхена, Нью-Йорка, Принстона, Лондона, Брюгте и др. Публиковался в «Звене», «Последних новостях», «Современных записках», «Числах», «Русских записках», «Круге», «Вестнике РСХД», в «Новом Журнале», «Опытах», «Воздушных путях», «Мостах».
- 73. Николай Иванович Ульянов (1904/1905–1985, Нью-Хейвен), историк и писатель. Был старш, науч, сотрудником Постоянной историко-археологической комиссии при Академии Наук в Ленинграде, доцент кафедры истории СССР Ленинградского историко-лингвистического института (ЛИЛИ). В 1935–1941 гг. – узник ГУЛАГа. Освобожден за 20 дней до нападения Германии на СССР, взят в плен под Вязьмой, депортирован в рабочий лагерь под Мюнхеном в 1943-м. По окончании войны избежал репатриации, в 1947—1953 гг. жил в Касабланке, работал сварщиком на заводе «Шварц Омон». Сотрудничал с эмигрантскими журналами («Возрождение», «Российский Демократ», «Новый Журнал») и газетами («Русская мысль», «Новое русское слово»). Сторонник С. П. Мельгунова, с 1947-го – член «Союза Борьбы за Свободу России». В 1953 году был приглашен Американским Комитетом по борьбе с большевизмом на место главного редактора русского отдела на «Радио Освобождение» в составе КЦАБ, пробыл на посту три месяца; уехал в Канаду, с 1955 года – в США, преподавал русскую историю и литературу в Йельском университете.
- 74. «Российский Демократ». № 2 (23), 1953.
- 75. Там же.
- 76. «Российский Демократ». № 1 (27), 1957, Нью-Йорк. Сс. 9-1.1
- 77. Слизской Аркадий Федотович (1892–1974, Франция), поручик. В Добровольческой Армии с декабря 1917 г., в отряде полковника Покровского,

с марта 1918 г. – на Кубани. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Юнкерском батальоне и Офицерском (Марковском) полку. С мая 1918 г. – помощник военного прокурора, затем военный следователь. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. – в составе 1-й Галлиполийской роты во Франции. В эмиграции во Франции. Публицист. URL: http://www.krimoved-library.ru/books/ishod-russkoy-armii-iz-krima33.

```
78. «Российский Демократ» – № 1 (27), 1957, Нью-Йорк. – Сс. 17-19.
```

79. Там же. – С. 36.

80. Там же. – № 1 (22), 1953. – С. 55.

81. Там же. – № 3 (24), 1953. – С. 4.

82. Там же. – № 1 (25), 1954. – С. 5.

83. Там же. – № 2 (26), 1954. – Сс. 14-15.

84. Там же. – № 1 (27), 1957. – С. 15.

85. Там же. - С. 65.

86. Бадьма Наранович Уланов (1880—1969, Нью-Йорк), присяжный поверенный, член Всероссийского учредительного собрания, калмыцкий общественный деятель, близок к меньшевикам. С 1919 г. во время правления атамана А. П. Богаевского стал членом Донского правительства. С 1920 г. эмигрировал в Константинополь. С 1921г. — в Праге, где создал пансионат для калмыцких детей, учеников Русской гимназии. С 1926 г. начал собирать представителей калмыцкой интеллигенции в Чехословакии. В 1929 г. в Праге была создана «Калмыцкая комиссия культурных работников», Уланов избран ее председателем. Редактор калмыцкого ж-ла «Улан Залат». Публиковался в казачьих изданиях «Казачья Лава» (Прага, 1922—1927, редактор), «Казачий Путь» (Германия), «Тихий Дон», «Казачья Мысль», «Вестник Казачьего Союза» (Париж). Был сотрудником журнала «Родимый Край». После Второй мировой войны представлял интересы калмыков, избежавших насильственной репатриации; вместе с А. Л. Толстой способствовал их иммиграции в США. С 1956 года жил в США.

87. «Российский Демократ». – № 1 (27), 1957. – С. 15.

88. Книжный магазин и Идательство Е. А. Сияльской были основаны женой полковника Сияльского Владимира Павловича, представителя Главного Штаба Добровольческой армии с 1919 года. Сияльские жили в Берлине, где основали издательство Verlag W. v. Sialsky & А. Kreischmann G.m.b.H. В 1923 г. в Париже вместе с женой Елизаветой Александровной Сияльской, Владимир Павлович создал книжное издательство, ставшее одним из самых крупных в Русском Зарубежье. Е. А. Сияльская владела также книжным магазином до своей кончины 3 марта 1971 года, далее магазин перешел к ее сестре баронессе Олимпиаде Александровне фон Брунс (до ее смерти в 1977 г.). Здесь были изданы все книги П. Краснова в 1930-х гг., издавалась военно-историческая, детская литература. Магазин размещался напротив Кафедрального Собора Св

Александра Невского, являясь важным центром русск. эмиграции. С 1923 г. стал центром антикоммунистически настроенных русских офицеров. Во время Второй мировой войны магазин не был закрыт, оставался культурным центром эмиграции в Париже вплоть до 1990-х, постепенно превратившись в сувенирно-антикварный магазин, затем в галерею «NOVERA». Закрыт в связи с преклонным возрастом последнего владельца, племянника Сияльских.

- 89. «Свободная мысль». № 10 (14), 1947. С. 51.
- 90. «Российский Демократ». 1 (27), 1957. Cc. 20-22.
- 91. Там же. С. 65.
- 92. «Союз Возрождения России» создан в марте-мае 1918 года в Москве, объединял широкие круги либеральной русской интеллигенции.
- 93. «Борьба за Россию» политический еженедельник, издавался в 1926–1932 гг., предназначался для распространения в СССР, призывал к открытой вооруженной борьбе с советской властью.
- 94. «Российский Демократ». № 1, 1957. С. 7.
- 95. Там же. С. 11.
- 96. Там же. № 1(27). Cc. 17-19.

НОВЫЕ КНИГИ ПО ЭМИГРАНТИКЕ

Russian Compatriots. Зарубежные соотечественники. Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета— представители исторической мысли Русского Зарубежья: Биографический справочник / Отв. ред.-сост. Е. В. Петров // СПб.: Изд-во СПбГУ, 2022.—296 с.

Издание подготовлено к печати на кафедре источниковедения истории России СПбГУ. Книга сохраняет преемственность с ранними справочниками о профессорско-преподавательском составе Петербургского университета, подготовленными в дореволюционный и советский период. Биографический жанр справочника покрывает дефицит информации о судьбах выпускников Университета, осевших в зарубежных академиях. Книга содержит 67 справочно-библиографических статей, включающих: биографические справки и аннотации по персоналиям; библиографическое описание авторских сочинений; архивные данные по фондообразователям; историографический список литературы по персоналиям. Биографические материалы справочника позволяют внимательно отнестись к изучению академических традиций Русского Зарубежья. Научно-популярный жанр книги делает ее доступной для массового читателя, вопросы истории академической эмиграции в ней изложены лаконичным языком и стилем, свойственным энциклопедическим изданиям. Книга предназначена, в том числе, и для широкой читательской аудитории.

Памяти Алексея Цветкова 1947–2022

12 мая 2022 года в Израиле скончался поэт Алексей Цветков.

Алексей Петрович Цветков вырос в Запорожье в семье военного. В детстве он заболел костным туберкулезом и семь лет был прикован к постели. Алексею пришлось заново научиться ходить. Эту способность выстраивать самого себя, учиться самостоятельно ходить – вопреки обстоятельствам и нажиму судьбы – он развивал всю свою жизнь.

Он учился на химика в Одесском университете, затем — на историческом и журналистском факультетах МГУ. В литературной студии «Луч» Игоря Волгина, известного российского достоевсковеда, он встретился с Бахытом Кенжеевым, Сереем Гандлевским, Александром Казинцевым и Александром Сопровским. Молодые поэты создали неформальную группу «Московское время» и стали выпускать самиздатовский альманах. В 1975 году Цветкова арестовали и выслали из Москвы, что определило его решение эмигрировать. Он уехал в США в том же году, учился в Мичиганском университете, получил степень и стал преподавать в Dickinson College в Пенсильвании.

В 1990-х он уходит из поэзии и обращается к прозе и публицистике. С 1989-го Цветков работает на Радио Свобода — в Мюнхене, в Праге, ведет программы «Седьмой континент» и «Атлантический дневник». В 2009 году он переезжает сначала в Вашингтон, а затем в Нью-Йорк. Примерно в это же время он возвращается к поэтическому творчеству и практически за год создает новую книгу стихов. Вплоть до его отъезда в Израиль в 2018-м Алексей Цветков — в центре жизни русского Нью-Йорка; он окружен друзьями-поэтами, и эта свободная творческая атмосфера питает его. Он активно выступает, печатается, пишет и переводит стихи, издается. Ему присуждают Премию Андрея Белого (2007), и «Русскую премию» (2011). Культурный нонконформизм — как «жизненное пространство поэзии» и поэта (кредо «Московского времени», сформулированное Сопровским в одном из выпусков альманаха) — до конца дней, до последнего вздоха оставалось пространством Алексея Цветкова.

Когда-то Саша Соколов в частной беседе со мной заметил: если кому давать Нобелевку, так это Цветкову. В реальной жизни премии зачастую выдаются не по дару и заслугам, но свой талант — свой Божий грошик — Алексей Петрович не потратил зря, не закопал, но приумножил во благо нам всем.

Марина Адамович

* * *

12 мая 2022 года в израильской больнице скончался Алексей Петрович Цветков, один из самых выдающихся русских поэтов. Горе. Близкая дружба связывала нас более полувека, где бы мы ни находились. В 1973 году судьба занесла Алексея Петровича в Тюмень, где он работал простым советским журналистом. Без него в Москве стало значительно скучнее — и я посвятил ему стихотворение, а он прислал по почте ответ. Трудное и славное было время.

Бахыт Кенжеев

А. Цветкову

Ты медленно перчишь пельмени в столовой и медленно ешь. Они – что в Москве, что в Тюмени. и где он, желанный рубеж? Скажи мне, работник печати, сумел ты составить вполне систему правдивых понятий о нашей счастливой стране? Умеешь ли в сердце поэта вобрать пятилетки размах? Умеешь ли выразить это в добротных сибирских стихах? Мне грустно – за эти три года я чувствовать рядом привык огонь твоей горькой свободы, похмельный ее черновик. Пиши мне – напутствия кратки. Господь да пребудет с тобой, играющим в прятки с судьбой пол запах отечества слалкий...

Б. Кенжееву

Опять суетливый Коперник Меняет орбиту мою. Спасибо, мой добрый соперник, За память в далеком краю.

* * *

Поверить – не значит смириться, Надежда не знает стыда. Со мной ваши прежние лица И лучшие дни навсегда.

Мне выпало жить, не умея, В эпохи крутой перелом, Но мудрая тень Птолемея Силела со мной за столом.

Оставим навеки друг другу Тот мир за железной рекой, Где солнце ходило по кругу И звезды хранили покой.

Нальем за рожденную в споре, Нечаянных ссор не тая, За дружбу, которая вскоре Вернется на круги своя.

Цветков. Старший.

Где-то в палате мер и весов лежат эталоны метра и килограмма. На кладбище в маленьком городе Реховоте лежит образец высочайшего достоинства и пример несправедливости и неблагодарности русской поэтической судьбы.

Он умер в двадцати минутах ходьбы от места, куда меня сейчас и 32 года назад ненадолго закинуло. Наше дошкольное детство с разницей в четверть века прошло в одном городе тоже. Там сейчас война. Прямо перед его болезнью мы вместе вели семинар и договорились увидеться уже без студентов, но не случилось, осталась только эсэмэска: «Собирался, но вдруг устал, будет еще оказия».

Поэт невероятного масштаба, каких на поколение в любой литературе — наперечет, умер в чужом, хоть и приятном ему, месте, так никогда и не ощутив при жизни в полной мере полагавшегося ему признания. На другом языке он был бы и лауреат, и академик, но это ладно. Способ думать и говорить — такой естественный для него, такой постфактум очевидный и смелый, строгий и стройный, — вот что должна была взять от него культура при жизни, а не возьмет и сейчас.

Цветков был для меня примером не только человеческого, но и поэтического достоинства – как на микроуровне выделки строки, так

и на макро, — его смелость и решимость явлены полностью в ниспровергающих канон переводах, но прежде всего — в его многолетнем молчании, наверняка мучительном для много писавшего автора с устоявшейся поэтикой и большой аудиторией, но на самом деле — целебном, создавшем для нас еще одного (может быть даже более крупного) поэта, цельного и нового. Своим молчанием и триумфальным возвращением он задал для следующего поколения авторов не только высочайшую планку требовательности к себе, не позволявшую ему тиражировать годами уже достигнутое, но и дал надежду и ориентир всем временно онемевшим.

Меня всегда поражало, как он совмещал запредельную синтаксическую лихость, сложность прямо эквилибристическую, с чистотой почти классической повествовательности, с железной дисциплиной и ритма, и сюжета. Но еще точнее была его поза, нет — стойка, изнутри которой он это говорил. Калека в жизни (иная, но схожая упертость была свойственна и Дашевскому, такое ощущение, что те, кому стоять труднее, делают это увереннее и тверже), в стихе и разговоре он казался быком или даже кентавром, ироничным и неторопливым от переполнявшей его силы.

Когда-нибудь – когда и если – на востоке нашей речи наконец произрастет свобода, я уверен, это будет свобода Алексея Цветкова – умная, изобретательная, безграничная, ответственная. И его работа над языком и общественным сознанием продолжится, как идет она и сегодня, но не только среди друзей, специалистов, учеников, а среди всех, в ком добровольно, а не насильно привитая кириллица даст новый росток. Сам Алексей Петрович в такое не верил и на такое не рассчитывал, представляя собой нечастое, но вполне обоснованное сочетание гуманиста и мизантропа, но мне хочется думать, что и он мог ошибаться, что не всё потеряно навсегда, что оказия еще будет, — в частности, Цветкову и благодаря.

Демьян Кудрявцев

БИБЛИОГРАФИЯ

Борис Клетинич. Мое частное бессмертие / М.: ArsisBooks, 2020. – 456 с.

?%^:&*!(+@'#? (так выглядит мое смятение от этой вести). Неужели я не стану поэтом? И обвал грядущего накрыл его...

Роман Бориса Клетинича, уроженца Кишинева, выпускника ВГИКа, ныне проживающего в Канаде, стал сенсацией 2017 года, после публикации в двух номерах журнала «Волга». А уже в виде книги, три года спустя, попал в лонг-лист премии им. Фазиля Искандера и «Национального бестселлера». О романе и в последние годы говорили много — и продолжают говорить, сравнивая с классическим «Сто лет одиночества» Маркеса, и называя по праву эпопеей, охватившей весь XX век, что для эпического жанра немало.

Критики проводят и межжанровые параллели, отмечая полифоническую структуру романа, в котором сплетение сюжетного многоголосия и наличие множества времен и героев сливаются в одну экспрессивную, симфоническую, колоритную картину. Напрашивается сравнение с пуантилизмом. Художник-пуантилист краски наносит точками на холст. Со стороны, казалось бы, без цели и порядка – и за этим не увидеть общей перспективы и планов. Однако точек становится всё больше, они постепенно складываются в единый сюжет и приобретают внятные формы, и создают целокупно полотно, будто сотканное из воздуха, сплошное и неделимое.

К слову о полифонии: ее ощущение у Бориса Клетинича, похоже, имеет генеалогическую природу, поскольку его отец, Евгений Клетинич, известный в Молдавии музыковед, научную диссертацию защитил по теме «О принципах формообразования и вариационности в симфониях композиторов Советской Молдавии» (1978). В одном из интервью, видимо, продолжая некий внутренний монолог, в ответ на вопрос «о чем роман?», Борис Клетинич отмечает: «...моей целью было создать топографию своего будущего века. Подсказать Богу (да будет благословенно Его Имя), из чего должна состоять моя жизнь Там, у Него. Отсюда и родной город Кишинев, и Молдавия, и брежневская Москва моей юности, и Женька Хорват (он один из героев романа), и Виктор Корчной» (Е. Плетнева. Бог поручил мне меня. Борис Клетинич о шахматисте Корчном, ставшем библейским героем, и романе как топографии своего будущего века / «Независимая газета», 24 мая 2018). Если уж подсказывать Всевышнему – то учитывая любую мелочь и дыру в кармане, с полной деталировкой и точно прописанными до эпитетов и метафор фабулами. На самом деле, автор романа в интервью поскромничал, и пространственно-временное исчисление эпопеи дух захватывает:

Оргеев («бессарабский город на месте бывшей дакийской [Dacia] крепости»), 1931; Кишинев (Бессарабия), 1933; Палестина, 1934; Кишинев – в романе: «О кишиневолшебный!» (Молдавская ССР), 1972; Рыбница (Молдавия), 1935; Харьков,1935; Одесса, 1971; Москва, 1978; Ленинград, 1935; Констанца (Румыния), 1940; Черновцы (Украинская ССР), 1958; Амстердам, 1976. Багио (Филиппины), 1978. Отсюда и смешение языков – русского, румынского, молдавского, идиша, иврита, украинского, немецкого и английского. И смещение смыслов – сплошь и рядом.

«А Ильин откинулся на спинку стула. Обдумал услышанное.

Без Пушкина, – сказал он, наконец, – на одних только тракторах
 Бессарабию из вековой отсталости не вытянуть!..

И уставился прямо на Тимоху – ровно деревянной пешечкой всего обстукивая.

– И без Лермонтова... – тряхнул чубом Тимоха, – Михаила!..»

Сюжетные линии «бессмертных» героев романа пересекаются в самых непредсказуемых плоскостях. Так, еврейская девочка из Оргеева, ведущая дневник в 1930-х, воскресает бабушкой уже в дневниковых записях ее внука в 1970-х. Сам же мальчик носит «говорящую», как в классицизме, фамилию Пешков, перекликаясь тем самым с одной из важнейших коллизий романа — шахматным турниром в филиппинском Багио между Корчным и Карповым на звание чемпиона мира. Перекличек масса.

В романе всё происходит стремительно, время уплотняется до точки в конце абзаца, а расстояние между точками автор способен преодолеть моментально. Собственно, так сегодня существуют и работают социальные сети: в том же фейсбуке почти два миллиарда пользователей, которые говорят на разных языках и от первого, по большей части, лица, ведя таким образом онлайн-дневники и мгновенно перемещаясь по миру от одного пользователя к другому, от одной темы к другой.

Сам по себе опыт прочтения романа «Мое частное бессмертие» оставляет непреходящее ощущение актуальности любого в нем сообщения, что напоминает проживание в каком-нибудь Инстаграме. И здесь — точное попадание Клетинича в современный нерв живого, глобального общения в реальном времени. А как еще рассказать современному читателю о себе, о себе в Истории, если читатель, как сказочный рыцарь, постоянно находится на распутье перед тремя WWW поискового сервера. При этом, скоростное общение в пределах 200 знаков Твиттера — предел мечтаний человека, уже не успевающего воспринимать гигантские объемы информации, запущенные в него с невероятной скоростью.

И как рассказать о себе городу и миру, унесенным сегодня информационным ветром, если даже эпиграф «Моего частного бессмертия» остается мало кем замеченным: «Я помню чудное мгновенье, / Передо мной явилась ты...» (М. Ю. Лермонтов).

Надо отметить, что в романе возможности «сети» расширяются, приобретя еще одну координату, и кроме путешествия на космических скоростях по географической карте, здесь возможны во сне и наяву полеты во времени. В том самом смысле, в котором Томас Венцлова, говоря об эссе Иосифа Бродского, отметил: «Время — основная тема 'Путешествия в Стамбул', как, впрочем, и всего творчества Бродского» (Венцлова, Т. Путешествие из Петербурга в Стамбул. «Собеседники на пиру». Литературоведческие работы). «Вот тут бы и умереть! Потому что небо, точно мокрой глиной, было обшлёпано синью. И тишина такова, что я без разбега стал 30-летним, 40-летним. Всего себя увидел в полной размотке. И я дал себе слово, что никогда не пожалею о том, что я есть. И о том, что я — это я.»

Время – основная тема романа-травелога Клетинича. При одном уточнении: оно здесь не только хронологическое (особый «хронотоп» отмечен всеми, практически, рецензентами), но и дромологическое (неологизм от греческого слова «dromos» – «скорость»), когда скорость его понимается как репрезентация работы социально-политической машины, обладающей разрушительной силой. Уже за пределами пространства и гравитации: в нашу эпоху – в интернете.

Выдающийся дромолог, французский философ Поль Верилио создает в 1970-х годах свой категориальный аппарат, объясняя, что в информационный век возникает «третий интервал» – интервал света, вслед за «первым интервалом» – географической средой (пространство) и «вторым интервалом» – физической средой (время). Погруженный в «третий интервал», человек испытывает состояние «фундаментальной потери ориентации». Таким образом, он выпадает из времени и пространства – вернее, он есть в любом интересующем его времени, и свои путешествия выстраивает сообразно собственным планам и информационной зависимости. Речь идет у Верилио о философской теории скорости как комплексного социокультурного и эстетического явления, которое отлично подходит для актуального постмодернистского анализа информационного общества. Наибольших значимых для общества «величин» скорость культуры достигает в информационном социуме, постиндустриальном, в коем мы все имеем счастье пребывать отныне, присно и во веки веков.

В этом ракурсе происходит не просто высвечивание вещей, придание им видимости, а формирование среды их реальности и их перцептивное конструирование на скорости света. Очевидно, что в пропитанном информацией тексте «скорость» применима к специфически организованному авторскому словарю, в котором трансформируются, сплющиваются и сращиваются не только слова, их морфологический состав, становясь неологизмами, но и их прагматический смысл, меняя таким образом логическую составляющую речи, вплоть до формальной логики.

«Идл-Замел: О чем ты хотела поговорить?..

Шейндл: Меня преследует мысль...что родителей убили – из-за меня!.. Ребенок умер... тоже из-за меня!.. Сама война – из-за меня!.. Это правда?..

...

Идл-Замвл: Почему у тебя только один ребенок?

Шейндл: Я... не любила мужа!.. Я... бросила его... умирающего!..

Идл-Замел: Был ли у него повод – беспокоиться о твоей неверности?..

Шейндл: Был...

Идл-Замвл: Зряшный повод?.. Или обоснованный?

Шейндл: Обоснованный!

Идл-Замвл: С излиянием семени?...

Шейндл: Да!..

Идл-Замвл: Ну тогда война – из-за тебя!»

Всё является всем, приобретает в информационном пространстве фантастические скорости при непредставимых объемах в каких-нибудь йоттабайтах, и влияет на то, что нас не только окружает, но что нам и вообразить не дано. О чем и писал в своих работах Верилио, исследовавший скорость на стыке дискурсов философии, физики, политической науки и урбанистических достижений. В условиях глобализации перемещение информационных потоков так мгновенно и объемно, что и мир, и война попадают от них в зависимость. И любое высказывание, едва получившее жизнь на экране компьютера. К примеру, шестичасовой сбой в начале октября 2021 года по всему миру в работе Facebook, Instagram, What's up, Messenger наглядно доказал, насколько глубоко мир и каждый из нас погружен в социальную онлайн-среду. И насколько зависим от нее, ведь в информационных войнах не выживет никто. Наше общество сегодня – насквозь информационное, и один из героев «Моего частного бессмертия» говорит подростку Пешкову: «...никакой Плутарх такое не придумает! Никакой Геродот!.. Поэтому не валяй-ка дурака, Витька! Берись за хронику! О чем? Не важно...»

Вести «хронику» (хронологические записи) — путь к спасению, к бессмертию. Фиксация жизни в любых ее проявлениях: информация о тебе — это то, что есть и останется в грядущем. Без нее тебя никогда не было и нет сегодня. Поэтому свой дневник Витя Пешков называет *хронографом*: «Раскрыл хронограф».

Главные герои ведут дневники в разные исторические эпохи, в разных возрастах и странах. Любопытно, насколько автор естественно говорит от первого лица персонажа: в отличной друг от друга лексике, со специфическим построением фраз в объеме того или иного социально-исторического фона, проговаривая короткими предложениями буржуазный и социалистический строй, довоенное, до сентября 1939-го, и послевоенное время, после мая 1945-го, мгновенно пересекая государственные границы и незаметно из одного персонажа входя в другой. Такое говорение от первого лица, с мгновенным «фейсбучным» перемещением написанного-произне-

сенного в пространстве-времени, в дромологии как раз и получило еще одну координату — световую. «Попробую объяснить. Вот, допустим, имел место ледниковый период на Земле. Палеолит какой-нибудь. Миллионы лет до человека. Но — внимание! — ЭВМ были уже тогда. А также телефон и радио. Пенициллин и антибиотик. Самолеты и атомоходы. С первых дней Творенья это всё пребывало в нем.»

Роман разбит на книги, части, главы, как сеть — на ячейки. В каждой ячейке вроде бы свой информационный поток, но он входит в общее «световое» течение, которое приобретает значимость лабиринта. Местами это напоминает сошествие в ад — катабасис, если учитывать топос распространения «света» — убийственный, смертельно опасный XX век. Оттого задача, раз уж сюда попал, не столько выбраться (невозможная), сколько найти свою ячейку, нишу для существования, и желательно подальше от Минотавра.

Векторы могут быть самые разные: от клонирования и поиска себя в варианте борхесовского «сада расходящихся тропок», до ухода в собственное «я», с известным в философии и психоанализе расщеплением на «я» и «другой».

Неоценимым подспорьем, доказательством собственной самости и выделенности в романе выступает самобытный язык, как часть огромной лингво-семантической сети под именем «родной язык», который и старше автора гораздо, и к которому по рождению он принадлежит. Вообще, когда читаешь дневниковые записи героев романа, отмеченные и ярко окрашенные персональной стилистикой, вспоминается, в духе эффекта дежавю, фильм «The Girl in the Book» (2015), в котором известный писатель использует дневниковые записи юной героини фильма для своего романа, ставшего благодаря этим записям бестселлером. Поражаешься, когда читаешь разбросанные по роману Клетинича дневники, и не веришь, что всё это задумал, во всем этом проживал, всё это эксклюзивно в применении к каждому герою описал один, и только один, человек. Впору вспомнить о множестве гетеронимов Фернанду Пессоа, только у Клетинича суггестивность, концентрация на страницу гораздо выше.

То, что читатель имеет дело с дневниками якобы реальных людей, подчеркивает и выбранный романистом жанр общей канвы изложения — вербатим. Эта дословность, документальность и документированность, сценарная/киносценарная разбивка коротких диалогов на действующие лица, фрагменты интервью (вкрапления в художественный текст новостных хроник, приказов и указов, рапортов, докладных и служебных записок, выписок из официальных документов, цитат из газетных заметок — романист Макс Фриш с его «Монтоком» нервно покуривает в сторонке) придают книге невероятное ускорение. Речь о той самой скорости, которая движет не только части и главы в романе, словно фигуры на шахматной доске, но солнце и светила. Вероятно, о таком аффекте и мощи писатель-

ского воображения высказался Юнг в его работе «Архетипы и коллективное бессознательное»: «С одной стороны, эмоция — это алхимический огонь, чье тепло дает жизнь и чей жар обращает в пепел всё поверхностное (omnes superfluitates comburit). Но с другой стороны, эмоция — это момент, когда сталь встречается с кремнем и возникает искра, потому что эмоция — это основной источник сознания. Без эмоции свет не рождается из тьмы и движение — из неподвижности». — «А в 5-м часу утра мягонькие полугорки выступят в тине рассвета, с огородами, нанесенными так занимательноточно, так разнофигурно, в такой продуманной геометрической совместимости друг с другом, будто не чересполосица межевая, а наборная рукоять для отвертки или ножа.»

Всё, что обсуждалось выше, имеет отношение к методу/технологиям написания текста и его пребыванию во временах, преходящих в астрономическом времени. Материала, на самом деле, не на одну диссертацию, спасибо Клетиничу. Что же касается основной задачи романа, то ее определил сам автор. И в ряде интервью, и в своем литературном труде. Видимо, эта позиция, осмысляемая Клетиничем всю жизнь, тем паче на протяжении последних 20 лет – а именно столько писался роман «Мое частное бессмертие» – имеет отношение к известному «иконографическому повороту» Г.Бёма, который возник вслед за «лингвистическим поворотом» Р. Рорти. Их суть: язык и образы говорят через нас, являются в мир благодаря нашему присутствию. Как отражение предмета в зеркале. Без предмета зеркальная поверхность пустует, равно как без человека не явится миру речь, а без художника/ дизайнера — нашедшие его энергию, его воображение образы, реализовавшиеся и проникшие в этот космический мир.

Применительно к Борису Клетиничу, без него не было бы не только его романа, но и самой его ткани – времени, которое является миру, пройдя через нас и без нас никогда бы не существовало. Целый мир, глобальный и детальный, не существовал бы.

Зато теперь – существует! Тем роман и завершается: «Ведь правда – это то, что я сам знаю о себе. А я-то знаю, что я есть! Я помню об этом во всякую минуту. А если и позабуду – не беда. Вот – хроники!»

Геннадий Кацов

Евгений Брейдо. Театр Аустерлица / М.: «Русский Гулливер», 2021, 236 с.

Новая книга Евгения Брейдо «Театр Аустерлица» — это сборник рассказов и повестей, посвященный знаковым фигурам XVIII—XIX вв. на исторической сцене Европы и России; часть из них публиковалась ранее в «Новом Журнале» и других изданиях. В некотором смысле книга — продолжение внутреннего диалога автора, начатого в его первом романе

«Эмигрант». В нем герой придумывает себе предка – бывшего французского генерала, участника наполеоновских походов, эмигрировавшего в Америку. В поисках самоидентификации в чужой стране герой обращается к эпохе и событиям, когда человек сильный, целеустремленный и отважный мог изменить не только свою судьбу, но и судьбу целого государства. Тема получает развитие в представляемом сборнике.

Открывается книга наполеоновским циклом, выхватывающим поворотные моменты биографии прославленного полководца. Однако речь в них не столько о военных кампаниях, сколько о свойствах личности, формирующих человека-лидера. Повесть «Любовь государыни» переносит читателя в Золотой век Государства Российского и рассказывает об отношениях между императрицей Екатериной Второй и Григорием Потемкиным. Это песнь созидательной силе любви, многократно умноженной единомыслием партнеров. Небольшая повесть «Любовь в городе» и рассказ «Бог» формально выбиваются из общего исторического хронотопа, но, по существу, и они являются отражением связи времен и судеб. Завершается книга двумя рассказами о Петре Первом.

Никакое другое событие в истории XIX века не оставило такой глубо-кой психологической травмы и не оказало такого влияния на просвещенные умы, как триумфальное шествие Наполеона по Европе. В его победах — мятежный дух французской революции, гениальная интуиция, корсиканская дерзость, отчаянная смелость и невероятная харизма. В его поражениях — личная ответственность за принятые решения. Однако в силу исторических причин, русская классическая литература, на которой мы все выросли, составила, в основном, негативный образ Наполеона: здесь и демонизация Наполеона Достоевским, и «холопский император» с жирными ляжками в изображении Толстого, и пушкинское «презревший правды глас, и веру, и закон»... Не больше повезло и нашим двум Великим — Екатерине и Петру, при упоминании которых у любого человека в голове всплывает ряд советских стереотипных ассоциаций: нелегитимность власти, коррупция, фаворитизм, «бороды боярам рубить», «антихрист», «немчура»...

Между тем, негативизм в оценке выдающихся исторических фигур отнюдь не способствует акцентуации на реформаторско-созидательных аспектах их деятельности, тогда как именно эта деятельность и является главным наследием правителей с большой буквы. Евгений Брейдо ломает вшитый в общественное подсознание культурный код и создает пантеон героев – противоречивых, ошибающихся, – но все-таки героев, обозначая при этом ключевые маркеры, делающие человека предводителем эпохи и проводником идей. Умение ставить задачи, оценивать ситуацию, принимать решения, обеспечивать эффективность команды, мотивировать, определять потребности своих людей и способствовать их личностному росту – вот призма, через которую автор предлагает рассматривать исторические фигу-

ры своих героев. Вся драматургия повестей и рассказов подчинена этой пели.

Виртуозно перемещаясь во времени и пространстве, Евгений Брейдо позволяет своему читателю стать одновременно участником и обозревателем исторического процесса. При этом автор столь искусно погружает нас в гипнотическое облако очарования, окутывающее персонажей, что не сопереживать им искренне не представляется возможным. Вот Наполеон читает солдатам перед боем поэмы Оссиана (какой контраст с необходимостью печатать шаг, не сгибая ног, по моравским дорогам в русской армии!), вот он же — в горьких раздумьях о причинах предательства бывших соратников. А вот Екатерина растапливает камин на рассвете — держава великая, не до праздности, да и на троне она не по наследному праву, приходится служить на совесть. Вот Потемкин в муках любовного разлада, выписанного автором с поразительной психологической точностью; за ним Петр в попытках справиться со страхом своим и гневом, пытает себя и молится попеременно.

Текст каждого произведения, сотканный из множества исторических фактов, аллюзий и реминисценций, представляет собой своего рода головоломку, с потенциальной возможностью ветвления практически из любой точки. Его темп то замедляется, то ускоряется в соответствии с конкретной задачей автора. Там, где речь идет о необходимости принять правильное решение в сложной ситуации (рассказы «Долг», «Жатто»), автор делает паузу, обращаясь к истории жизни главного героя, давая возможность ему, а вместе с ним и читателю, принять единственно верную логику поступка. В повести «Любовь государыни» мы, напротив, имеем дело с нарративом почти конспективным, его выразительность, впрочем, от этого ничуть не страдает. Крупными мазками, как бы подчеркивая масштаб задач, за которые бралась императрица, автор представляет историю взаимоотношений Екатерины с одним из самых известных ее фаворитов как пример невероятной продуктивности любовного и творческого союза двух неординарных личностей. Порой повествование принимает форму сновидений, с помощью которых автор предлагает собственную оценку событий и явлений. Особый символизм этот художественный прием приобретает в рассказе «Город», где сон позволяет Петру увидеть на расстоянии веков то главное, абсолютно бесспорное и осязаемое, что, на взгляд Евгения Брейдо, останется от «первого русского реформатора».

Драматический накал повести «Театр Аустерлица» основан на многоуровневом столкновении героев-антагонистов. Авторское мифотворчество (в хорошем смысле этого слова, в контексте создания образов, отвечающих задумке автора) обретает здесь наиболее яркое воплощение. Поляризация затрагивает личностные характеристики, принципы управления, природу власти и целеполагание военных кампаний. Здесь «жалкий аустерлицкий беглец» и «властелин необъятной самоедской империи» противопоставляется «мозгу, созданному для решения головоломок», и желанию «сделать французов счастливыми». В борьбе двух императоров — конфликт престолонаследия и республики, строгой субординации и товарищества, молодости и опыта. Финал истории столь эффектен, что будь это пьеса, аплодисменты были бы громкими и продолжительными.

Работая со словом на множестве подуровней, автор наполняет текст разнообразными смыслами и оттенками. Так, например, введение вышедших из употребления двух календарных стилей, помимо очевидной апелляции к временному контексту описываемых событий, говорит и о противостоянии революционной природы Французской Республики старому укладу Священной Римской Империи, и о временном характере Республики. А сколько нежности в одних лишь интимных уменьшительно-ласкательных обращениях императрицы к возлюбленному, как много в них одновременно восхищения и признания силы равного по пассионарности партнера! Полисемичность проявляется и на уровне дизайна обложки, где говорящий образ пчелы апеллирует не только и не столько к традиционному толстовскому изображению наполеоновской армии как пчелиного роя, но, скорее, символизирует трудолюбие, усердие и служение общей цели.

В свое время Л. Н. Гумилев, размышляя о субъективизме автора при создании художественных произведений на историческую тему высказал мнение, что «каждое великое и даже малое произведение литературы может быть историческим источником, но не в смысле буквального восприятия его фабулы, а само по себе, как факт, знаменующий идеи и мотивы эпохи». Мне кажется, именно этот подход ярко воплощен в книге Брейдо. Поэтому в заключение хотелось бы отметить, что несмотря на декорации ушедших столетий, отнести сборник к жанру исторической литературы означало бы ограничить замысел автора и его читательскую аудиторию слишком узкими рамкам. В значительной степени эта книга о дне сегодняшнем, книга-размышление о лидерских качествах, книга-протест против прошитых в подсознании стереотипов, книга-раздумье о корнях и принадлежности к определенной культуре.

Юлия Баландина

Давид Гай. Зрачки зверя / Publisher KONTINENT Media Group. 2021.

Новая работа известного писателя Давида Гая «Зрачки зверя» (название навеяно известным четверостишием Мандельштама) неожиданна — главной темой стала «подноготная» текстов его сочинений и их отстаивания. Характерен подзаголовок: «Заметки на полях собственных книг». В предисловии автор пишет: «...я общаюсь с книжками как с собственными детьми, вспоминаю их проделки, капризы, доставленные мне горькие и радостные минуты; для меня, их родителя, собранное в твердом или мягком

переплете не исчерпывает содержания — за кадром, на полях остается многое, весьма поучительное. Как они являлись на свет божий, каким образом рождался замысел и как иногда по ходу работы менялся, какие барьеры приходилось преодолевать на пути к читателям» — и заканчивает доверительным пассажем: «Мне вдруг настойчиво начинает казаться, что история написания книг и борьбы за них (да, борьбы!) не менее важна самой их сути...» А. Солженицын в «Бодался теленок с дубом» четко фиксирует подобную мысль: «Есть такая немалая, вторичная литература: литература о литературе; литература вокруг литературы... (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась)».

Полтора десятка документальных и художественных книг из более чем тридцати, принадлежащих перу автора, являются своего рода главными героями «Зрачков зверя» — примерно половина издана в России, другая — в Америке. Для Гая тема становления писателя, художника слова, не менее важна, чем противостояние властям и реалиям советского и постсоветского времени. На протяжении длительного периода цензура и привходящие обстоятельства отсекали от рождающихся книг самое ценное и существенное, так что сегодняшние авторские комментарии, собранные воедино, — незаменимый ключ к точному и всестороннему пониманию уже известных произведений. В сущности, дополнения и размышления — именно та высота, с которой можно обозреть истинную картину событий в полном объеме.

И еще об одной особенности этой книги. Автор предельно откровенен в оценках своего творчества, не щадит себя, порой, мне кажется, даже чересчур жестко говорит о том, как бы сегодня, используя дистанцию времени, написал, вернее — переписал те или иные романы и повести, выходившие в России стотысячными тиражами, широко читавшиеся. Он вспоминает чеховскую фразу: «Далеко пойдет тот, кто умеет смеяться над своими произведениями». Гай не смеется, но весьма критичен в оценках. Тем и подкупают «Заметки на полях», что в них нет и намека на самолюбование, чем грешат почти все мемуаристы.

У этой книги четкая внутренняя структура: деление на главы соответствует наиболее трудным и важным моментам рождения книг. В повествование наряду с авторскими размышлениями органично вкраплены отзывы литературных критиков и читателей, тоже своеобразные «заметки на полях», а эти мнения порой диаметрально противоположны жесткой авторской самооценке и самокритике. Такой литературный монтаж создает эффект «многоголосья», что позволяет представить творческий процесс в более широком и сложном контексте.

Цензурному «оскоплению» подвергались практически все книги Д. Гая, изданные в советское время, – даже, казалось бы, такие далекие от политики документальные повести, как «Вертолеты зовутся МИ», «Профиль крыла», «Небесное притяжение». История их создания окружена в «Зрачках зверя»

массой интересных подробностей, наблюдений, а также новых сюжетов, позволяющих лучше понять жизнь и характеры легендарных творцов авиастроения М. Л. Миля, В. М. Петлякова, В. М. Мясищева, А. Н. Туполева. Цензура потребовала рассыпать набор первой книги Гая, понадобились огромные усилия ради ее спасения — прежде всего, личная смелость автора, вступившего в поединок с печально известным ведомством.

Трое из четверых его героев-авиаконструкторов были узниками ГУЛАГа, конструировали самолеты в «шарашке», о чем в советских изданиях Д. Гаю цензура не дала сказать ни слова. И лишь в Америке, куда он эмигрировал в 1993-м, автор смог переписать свои повести, добавив потрясающие подробности жизни его героев в заключении и многое другое, ранее бывшее под запретом. Объемная книга вышла в свет в России в 2005 году благодаря усилиям тогдашнего руководителя издательства «Знак» Леонида Слуцкина, ныне живущего и работающего в Германии...

Меня поразила невероятная история спасения «головы» Горького, отрезанной от модели памятника писателю работы И. Д. Шадра. Скульптурный образ писателя не понравился Сталину, увидевшего в нем «судью революции», и, отлитый в металле, памятник был отправлен в переплавку. Шадра уже не было в живых... Знаменитый бронзолитейщик, герой документальной повести Давида Гая «Поющая бронза Лукьянова», с риском для себя сохранил «голову». Мы узнаем правду о том, как «исправлялся» памятник, как мучительно Вера Игнатьевна Мухина против воли разглаживала заостренные черты лица Горького, как страдала от того, что именно такой памятник встал у Белорусского вокзала... А далее — и вовсе потрясающая история: Лукьянов подарил «голову»-подлинник автору книги, и она в конце концов оказалась в... Нью-Йорке. Поистине детективная развязка...

В книге ярко прослеживается путь автора к обретению писательского мироощущения. Вот как он сам пишет об этом: «...мне открылся мир, который жил внутри и дотоле не находил выхода. Я решил писать о себе. Я не прощался с документалистикой, не ставил на ней крест (было бы глупо!), однако более всего меня теперь интересовал мой протагонист, то есть я сам — со всеми моими заморочками, заполошными мыслями, чудесатыми устремлениями, глухим одиночеством, неизбывной тоской, горькой любовью, иллюзиями и надеждами и еще бог знает с чем. Я хотел разговаривать с собой, исповедоваться самому себе, часто себя осуждать и куда реже хвалить, злиться и ругаться, огорчаться и радоваться, судить себя праведным судом, не давая поблажек; я хотел, повторю, писать о себе, откровенно и беспристрастно, привлекая к рассказу множество лиц, персонажей, в каждом из которых частичка меня — хорошего и скверного. Я готовился собирать их как осколки выроненного разбившегося стакана, не боясь пораниться».

И далее. «'Каждый пишущий пишет свою автобиографию, и лучше всего это ему удается, когда он об этом не знает.' Мне не было знакомо

высказывание немецкого драматурга Кристиана Геббеля. Узнал его от одного критика и поразился — будто про меня. А эту цитату писательницы-американки выудил из какой-то литературоведческой статьи: 'Все мы — герои своих романов'. Писать — значит читать себя самого.»

Начало было положено повестью «День рождения», близкой по тональности трифоновским городским повестям, художественно исследующей сущность конформизма — двоедушия и двоемыслия. Под одной обложкой выходят роман-хроника о любовной связи Достоевского с шестидесятницей Аполлинарией Сусловой и повесть «Телохранитель». Трудно было бы понять такое соседство без авторских пояснений на тему «бесовщины», оправдывающей сближение далеких по тематике вещей. В Сусловой Достоевский увидел прообразы будущих «бесов», «Телохранитель» связан с перипетиями жизни прозревшего сталинского охранника, ранее служившего главному «бесу». В этой повести Д. Гай ставит прямой вопрос: существует ли закон сохранения вины? Каждый отвечает по-своему...

Огромный тираж – повесть стала бестселлером в самом конце 1980-х, а позднее была переиздана в формате аудиокниги, - казалось, о чем еще мечтать! Но Давид Гай не изменяет себе – в заметках на полях он признается: «Сегодня мой 'Достоевский' мне активно не нравится, я бы переписал его с первой до последней страницы. Роман-хроника дотошен и чрезмерно точен в фактах и деталях, что в данном случае не является плюсом, отсутствует свобода допуска, любовь героев лишена мистического начала, фантасмагоричности, разноликости, неразгаданности, если угодно, инфернальности – той самой, каковой писатель наградил своих героинь, отчасти списанных с Аполлинарии. Если бы я писал сегодня, то в центр романахроники поставил бы любовный треугольник – не пошлого ничтожного красавчика Сальвалора, испанского студента, с которым Суслова изменила Федору Михайловичу, а совсем иного человека – знаменитого философа и публициста Василия Розанова, совсем юнцом в горячке чувств женившегося на сорокалетней Аполлинарии и тем испортившего себе жизнь». Затем идут поразительные, отчасти шокирующие откровения Розанова: «С ней было трудно, но ее было невозможно забыть... Мы с ней 'сошлись' тоже до брака... Обниматься, собственно дотрагиваться до себя, она безумно любила. Совокупления – почти не любила, семя – презирала ('грязь твоя '), детей что не имела – была очень рада». Да, это был бы совсем другой роман...

Художественная литература — особа своенравная, ревнивая, не терпит полигамии. Но у Давида Гая свой путь. В отличие от большинства писателей, пришедших в литературу из журналистики, он с первой профессией не расстался. Появившиеся в период перестройки две документальные книги — тому подтверждение. Цензуры уже не было, писалось совсем по-другому, свободно, с надеждой на необратимые перемены в обществе. Я имею в виду «Десятый круг» — о жизни, борьбе и гибели Минского гетто, и «Вторжение»,

о войне Советского Союза в Афганистане. Что объединяет эти две совершенно разные книги? Они, по сути первые обобщенные документальные свидетельства происходивших событий – предельно честные, откровенные, лишенные соблазна умолчания. На волне горбачевских реформ *так писать* еще можно было. Недаром Давид Гай говорит: «Если бы 'Вторжение' вышло в России сегодня, меня и моего соавтора Володю Снегирева наверняка привлекли бы к уголовной ответственности за клевету на армию»... В «Зрачках зверя» он приводит массу подробностей, деталей, бесед, дополняющих эти две книги, и в этом ценность его заметок.

Романы, изданные в первый период эмиграции автора, — «Джекпот» и «Сослагательное наклонение» — носят характер исповедальности. Это, мне кажется, самая сильная сторона творчества Давида Гая. Опять-таки, авторские заметки на полях позволяют проследить сложный путь поиска своего неповторимого голоса. Некоторыми близкими ему мыслями он наделяет своих героев. Скажем, Костя Ситников, главное действующее лицо «Джекпота», показан как человек, отплывший от одного берега и не приплывший к другому. Сквозная для автора тема «осознания своего еврейства» представлена в 750-страничной семейной саге «Средь круговращенья земного...» Читателям будет интересно узнать подробности работы над многоплановым сюжетом, о случайных и закономерных совпадениях, которые подталкивали писателя к созданию широкого полотна, затрагивающего судьбы американской и российской ветвей одной еврейской семьи за сто лет.

И наконец, публикации последних лет — своеобразная трилогия о России — новое, достаточно неожиданное направление творчества Д. Гая. Я имею в виду романы «Террариум», «Исчезновение» и «Катарсис». Сочетание реалистического повествования с элементами антиутопии, футурологии, крутой замес сатиры, невзирая на лица и чины, позволили автору создать оригинальные, весьма актуально звучащие произведения.

Многостраничное эссе «Я сам собою недоволен» позволяет увидеть сложный творческий путь писателя со всем драматизмом, с неизбежными потерями и обретениями, и при этом убедиться в его внутренней цельности и последовательности. В предисловии автор заявил о стремлении «выговориться до конца, подвести итог», но хочется верить, что эта книга — лишь промежуточный этап.

Людмила Гозун

Иерусалимская городская русская библиотека: Страницы истории. Книга-альбом. В 2-х томах / Иерусалим: Филобиблон, 2021.

«Если у тебя есть библиотека и сад, – у тебя ни в чем нет недостатка.» (Марк Туллий Цицерон) И библиотек, и садов в Иерусалиме много, а библиотеки многие – в садах. Речь пойдет о библиотеке уникальной: ей посвя-

щена книга, о которой хочется рассказать. Так что рассказ будет и о книге, и о библиотеке одновременно.

Речь идет об Иерусалимской русской библиотеке — единственной в Израиле с основным фондом книг на русском языке. Складывалась она с начала 1990-х годов и прошла трудный путь испытаний на выживание: ее открывали, обустраивали, пытались закрыть, но каждый раз ее отстаивали; боролось за нее много достойных людей, в том числе израильтян, не владеющих русским языком. Однако самая большая заслуга в ее создании и спасении принадлежит необыкновенной женщине, ее первому библиотекарю и директору Кларе Эльберт. С нее библиотека началась и нередко ее называли просто «Кларина библиотека».

Вскоре после репатриации из Москвы в 1990 г. Клара познакомилась с библиотеками, некоторое время поработала в Национальной библиотеке Израиля и решила воплотить свой замысел, ключевыми словами которого были: «...чтобы новым репатриантам было куда прийти». И Клара этого добилась: Библиотека открылась под эгидой Сионистского Форума в 1990 году. Помощь и поддержку оказали президент Форума Натан Щаранский, члены президиума Юрий Штерн, Иосиф Менделевич; в создании материальной базы помогла семья Баруха и Ханны Вассерман. В 2000 г. Библиотека получила статус муниципальной. В ней трудятся столь же самоотверженные и преданные делу библиотекари, как и Клара.

В московской районной библиотеке, где Клара работала прежде, был очень дружный коллектив, проводились интересные вечера, там всегда тепло встречали читателей и гостей. Забегая вперед, сразу скажу, что Клара воссоздала такую атмосферу и в Иерусалимской русской библиотеке (ИРБ). Ее все полюбили: общительная, харизматичная, она легко завязывала дружеские деловые отношения и всячески способствовала пополнению фонда ИРБ — к началу 2000-х гг. в нем насчитывалось около 100 тысяч различных изданий. Мы легко и, я бы сказала, с удовольствием, узнали Клару в одной из героинь романа Дины Рубиной «Вот идет Мессия»: у нее говорящее имя Ангел-Рая. А людям действительно хотелось «куда-то прийти»: поговорить об общих проблемах, сориентироваться в новой реальности, поделиться своими знаниями.

С первых дней в Библиотеке стали складываться интересные культурные проекты и семинары, кружки, студии, она стала признанным культурным центром русско-еврейской общины Израиля. Одним из первых начинаний ИРБ был Детский центр искусств, и в книге помещены воспоминания давно повзрослевших участников: они вспоминают встречи с режиссерами, выступления, всю студийную атмосферу как «счастливое время в жизни». Назовем также успешно действовавшие сообщества: Клуб сионистских ветеранов (КСиВа), Иерусалимский клуб библиофилов, Литературное собрание, театр «Тарантас», Музыкальный клуб, Театральная гостиная,

Клуб любителей фантастики и др. Обо всем этом и многом другом рассказано в рецензируемой книге, выпущенной к юбилею Библиотеки. Она создавалась многими авторами и наглядно (почти в тысячи фотографий и репродукций) представляет всю историю и разностороннюю деятельность ИРБ на 650-ти страницах.

Библиотека — это ее фонды. Прежде всего хотелось бы представить Отдел редких книг им. Иды Мильгром (Ида Петровна Мильгром (1908–2002) активно участвовала в правозащитном движении в СССР, как и ее сын Натан Щаранский). В основе Отдела книги из собраний двух библиофилов: Бориса Вассермана и Якова Тверского. Если посмотреть на это «Глазами литературоведа», как мой коллега профессор Роман Тименчик (так озаглавлена его статья), то раритет № 1 здесь — сигнальный экземпляр первого (и единственного) выпуска альманаха «Грядущий мир» (Харьков, май 1922). В нем первая публикация стихотворения Осипа Мандельштама «Кому зима — арак и пунш голубоглазый…», текст в этой публикации отличается от окончательного. Стихотворение было изъято цензором из тиража, то есть этот вариант текста существует лишь в двух сигнальных экземплярах (второй находится в США).

Еще один раритет – альманах «Воздушные пути» 1959 г. с публикацией «Поэмы без героя» Анны Ахматовой, как указано – «без ведома автора». В отделе редких книг также содержатся журналы XIX в. «Вестник Европы», «Русская мысль», «Воля России» и др., еврейские периодические издания, выходившие на русском языке – «Восход», «Русский еврей», «Рассвет». Кроме того, книга Михаила Осоргина «Очерки современной Италии» (1913) с автографом автора; книги по истории, в том числе первые 12 томов «Архива русской революции», издававшегося в Берлине в 1920-30-е гг.; книги по еврейской истории и религии... В ИРБ хранится полный комплект «Нового Журнала», а также полные комплекты серий «Литературные памятники» и «Литературное наследство», первые тома которого отсутствуют в других библиотеках Израиля.

В ИРБ немало современных художественных и библиофильских изданий. К примеру, поэма «Опасный сосед» Василия Львовича Пушкина, легендарного «дяди и на Парнасе» Александра Сергеевича, с иллюстрациями Юрия Иванова; книга, в которой только одно стихотворение Даниила Хармса: «Одна девочка сказала 'гвя'...» (1937) с иллюстрациями московского художника Алексея Бобрусова и параллельными переводами на иврит Рои Хена и на английский Константина Кикоина. Эти книги изданы в Иерусалиме, о них рассказал издавший их Леонид Юниверг. Он же поведал читателям об интересной коллекции экслибрисов, хранящейся в Отделе редких книг.

Отдельная заметка посвящена книгам с автографами, их уже более 8 тысяч! Список авторов, оставивших свои автографы, занимает в книге

несколько страниц. Надпись на книге — особый и древний жанр. Клара рассказала, как завязались дружеские отношения с Библиотекой Конгресса в Вашингтоне, которой «мы помогаем с комплектацией, и по ее примеру был создан специальный отдел для книг израильских поэтов и прозаиков на русском языке, изданных у нас в стране. Практически все эти книги с автографами, многие из них были представлены на вечерах нашей библиотеки» (Т. 1, с. 104). Здесь же и два автографа Иосифа Бродского. А израильской бродскиане в книге посвящена содержательная статья Елены Твердисловой.

Инскрипты на своих книгах оставили Булат Окуджава. Петр Вайль, Владимир Войнович, Георгий Вайнер, Ион Деген, Ицхак Орен, Григорий Канович, Давид Маркиш, Мариэтта Чудакова... Приятно прочитать привет Сергея Юрского на его книге «Кто держит паузу»: «Русской библиотеке Великого Города с приветом каждому открывшему эту книгу».

Отдел правозащитного движения в СССР носит имена Андрея Сахарова и Елены Боннэр. Это не случайно: Елена Георгиевна принимала деятельное участие в его создании. Рядом — Отдел еврейского национального движении в СССР им. Юрия Штерна (Ю. Штерн — бывший активист подпольного сионистского движения в Москве, а в Израиле — депутат Кнессета четырех созывов). Здесь — свои раритеты: например, чудом уцелевшие выпуски «Хроники текущих событий». Этот самиздат печатали на пишущей машинке на тонкой бумаге. Начинала Наталья Горбаневская, продолжали другие — герои в самом точном и простом смысле этого слова. Они рисковали жизнью, чтобы рассказать правду в тоталитарном государстве. Марина Концевая, написавшая об этих людях, выступавших и в библиотеке, назвала их «крылатыми». В деятельности ИРБ отражались и трагические события Израиля: так, здесь ежегодно проводились вечера памяти Мордехая Липкина, 39-летнего талантливого художника, погибшего от рук арабских террористов в 1993 году...

Отдел иудаики носит имя раввина Адина Штейнзальца: он создал Центр талмудических публикаций, который занимался переводом трактатов Талмуда на разные языки, в том числе и на русский. Рав Штейнзальц не раз выступал в Библиотеке, представлял свои издания и переводчиков.

Почти все отделы Библиотеки носят имена достойных людей, оставивших след в литературе, искусстве и науке, что помогает нам хранить память о них. К примеру, Отдел искусств носит имя Соломона Михоэлса. Здесь выступали дочери великого актера Нина и Наталья, они передали библиотеке портрет отца работы Александра Тышлера.

Назовем и другие отделы: Мемуарной и биографической литературы, Поэзии, Литературоведения, Лингвистики, Физико-математической литературы, Фантастики, Детских книг.

В Иерусалимскую Русскую Библиотеку всегда охотно приходили (и

приезжали из других городов и стран) люди — как и мечтала Клара. На вечерах и выставках в библиотеке всегда многолюдно. О наиболее запомнившихся на страницах книги рассказали их участники или организаторы. На вечере, посвященном 130-летию Самуила Маршака, делился воспоминаниями внук поэта, Алексей Сперанский-Маршак. О вечерах, посвященных Владимиру Высоцкому, где можно было увидеть документальные кадры и книги Высоцкого и о нем, изданные в разных странах, рассказал Лион Надель. Желанным гостем в Библиотеке всегда был Александр Городницкий, часто приезжавший в Израиль.

Конечно, в ИРБ постоянно проводятся литературные вечера, в том числе были встречи с израильскими писателями Аароном Аппельфельдом, Амосом Озом, Йосефом Бар-Йосефом; с пишущими на русском языке Давидом Маркишем, Феликсом Канделем, Михаилом Генделевым и многими другими. Один из памятных вечеров был посвящен Баруху Подольскому (1940–2011) — блестящему лингвисту, прекрасному лектору, составившему иврито-русский и русско-ивритский словарь (электронная версия ИРИС). Имя Подольского носит Читальный зал ИРБ.

Запоминающимися были встречи с замечательным режиссером легендарной Таганки Юрием Любимовым, о дружбе с Юрием Петровичем и его супругой Каталиной очень тепло написала сама Клара Эльберт. Любимов с благодарностью говорил на встречах о том, что он сразу получил израильское гражданство, когда в 1984 г. его лишили советского. Позднее он приезжал со своим спектаклем «Мастер и Маргарита», и мы видели его за режиссерским пультом со знаменитым фонариком, о котором рассказывает Клара в своем очерке-портрете.

И если книга открывается приветствиями людей, деятельно участвовавших в судьбе библиотеки, помогавших ей приумножать сокровища, то завершается она словами благодарности друзей библиотеки, обретших в ней «хранилище любви», «сердечное благословение», «чувство дома», считающих ее «частью личной жизни» и «нашей истории», полюбивших ее «неповторимую духовную атмосферу». Я и сама с удовольствием прошла с Кларой по Библиотеке, о которой она говорит с заслуженной гордостью. Библиотека – это не длинные скучные ряды стеллажей; здесь сменяют друг друга уютные уголки, приглашающие присесть, взять с полки книгу... Особенно приятно и хорошо в Отделе детских книг. Он носит имя библиотекаря Тани Винокур. В Библиотеке повсюду картины, скульптуры и другие произведения искусства – дары израильских художников. Всё это размещено со вкусом и напоминает художественную галерею, создает неповторимую гармонию пространства всего интерьера.

Книга дает разностороннее представление не только об истории Библиотеки, но и об истории русско-еврейской общины Израиля; это «энциклопедия нашей общины», как сказала Клара. Она говорит о том, что

«при переезде в новую страну душевной гармонии достигают именно те люди, которые изучают и впитывают исторические и художественные ценности своей новой родины, продолжая нести и сохранять духовное богатство страны исхода. Достижение такой гармонии – цель, к которой стремимся и мы с нашими читателями» (Т. 1, с.41). Иерусалимская Русская библиотека гармонично вошла во взаимодействие со всем культурным пространством столицы Израиля.

Нужно сказать и о прекрасном полиграфическом исполнении книги: в ней огромное количество отлично выполненных фотоиллюстраций, запечатлевших как историю библиотеки, так и ее книги; здесь также много ссылок на видеоматериалы. Заслуга в этом иерусалимского издательства «Филобиблон» и его главного редактора, книговеда Леонида Юниверга. И тут очень важно подчеркнуть, что подготовить это двухтомное издание к печати удалось благодаря Фонду им. Баруха Подольского, который возглавляет его вдова, Лидия Подольская, а в оплате типографских расходов важную роль сыграл Евро-Азиатский Еврейский Конгресс во главе с президентом Михаилом Мирилашвили.

Созданная многими авторами книга слагается в настоящий гимн Библиотеке и Книге. В век электронных изданий, виртуальных коммуникаций нам всё еще нужна настоящая книга. Пусть так будет всегда!

Валентина Брио, Иерусалим

Солженицынские тетради: Материалы и исследования: Альманах. — Вып. 8 / М.: Русский путь, 2021. — 338 с.

Когда Надежду Григорьевну Левитскую, отбывавшую срок в сталинских лагерях, вызвал начальник и предложил «сотрудничать», она ответила: «Меня мама еще учила, что доносить-ябедничать нельзя». В тот же день ее с этапом отправили на лесоповал. Обо всем этом Надежда Григорьевна, дочь одного из ближайших соратников Николая Вавилова, рассказывала в своем письме к Солженицыну в 1990 году. А до этого, еще в годы так называемого застоя, она была одной из «невидимок» — тех, кто, рискуя жизнью, прятал произведения Солженицына и передавал их для публикации. Также среди них была и незабвенная Елена Цезаревна Чуковская, блистательный литературовед и человек совершенно фантастического мужества.

Обо всем этом и о многом другом можно узнать, взяв в руки восьмой выпуск альманаха «Солженицынские тетради», – как всегда, посвященного наследию писателя.

Альманах представляет неопубликованную доселе третью часть воспоминаний писателя о его студенческой жизни в Ростове-на-Дону. Он писал их в Вермонте, спустя почти полвека, но поражаешься точной, ясной памяти писателя и его способности передать юношеское, порывистое, порою сбив-

чивое, восприятие окружающего мира. Здесь и рассказ о первой женитьбе, и ощущение вины перед матерью за то, что не успевал уделять ей достаточное внимание, и яркие, мощные впечатления от велопробега по югу СССР. Перед нами встает жизнь 1930-х годов – нищая и, в то же время, полная надежд.

А вот, как, к примеру, Александр Исаевич описывает свое впечатление от «Дней Турбиных»: «Я был полностью ошеломлен, другого такого сильного театрального впечатления не помню: ведь я жил постоянной тенью революции и Гражданской войны — и вдруг рельефно восстанавливается другая сторона, белая — которой я сердцем, оказывается, по-прежнему предан... И сверх того: сам дух Булгакова, сверкающая легкость его — как призывны, как родны мне. Первый раз открываю писателя, до такой степени близкого мне! Ощущение — старшего брата».

Читатели смогут познакомиться и с другими неизвестными строками Александра Исаевича, в частности, - с его письмами к своим соратникам. Здесь и восторженный очерк об А. Сахарове: писатель буквально любуется какой-то поистине детской наивностью академика и, в то же время, его совершенно фантастическим, запредельным отсутствием чувства страха. Необычайно интересно и письмо к Солженицыну одного из самых его любимых собеселников и корреспондентов – замечательного физика-теоретика Михаила Поливанова. В «Тетрадях» приводится всего одно письмо Поливанова к Солженицыну, но за ним чувствуется личность огромного масштаба. Вот всего лишь одна цитата: «...Духовные основы русофилов вызывают во мне сильнейшие полозрения: я боюсь этого направления. т. к. думаю, что они ничего не понимают в истинных основах русской и православной традиции, <...> а просто хватаются за всё, чем могут поддержать свой национализм. Если национализм малых наций понятен и простителен и - во всяком случае - сравнительно безопасен, то национализм наций великих (хотя бы числом) быстро ведет к мрачному тоталитаризму».

В альманахе представлен и ряд статей, так или иначе анализирующих творчество писателя. Особый интерес, наверное, вызовет публикация одной из самых известных исследовательниц творчества Солженицына Галины Тюриной, посвященная донскому писателю Федору Крюкову, чье сердце не выдержало испытаний Гражданской войны. Те, кто сомневался в авторстве Шолохова, считали именно Крюкова создателем «Тихого Дона».

Другая работа Тюриной, в соавторстве с Екатериной Жуковой, представляет фантастическое по объему исследование, выполненное в различных архивах России. Оно посвящено истории рода Щербаковых, к которому принадлежала мать Солженицына. Читатели могут проследить драматическую судьбу этой крепкой ставропольской семьи, владевшей, как тогда говорили, «экономией» и прошедшей сквозь все жернова страшных сталинских лет.

Любителям библиографии наверняка стоит обратить внимание на статью Надежды Егоровой о книжном собрании русских эмигрантов «второй

волны» Пашиных (Пасхиных), ныне хранящейся в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына. Николай Сергеевич Пашин, профессор русского языка и литературы в Стэнфордском университете, прошел и сталинские лагеря, и немецкий плен. Оказавшись в Америке, он продолжал служить русской словесности и оказал Александру Исаевичу огромную помощь при работе над историей Февраля 1917 года для «Красного колеса».

* * *

Никита Струве. Встреча с Россией. Статьи, доклады, воспоминания, беседы, письма / Москва-Париж: Русский путь: YMCA-PRESS, 2021. – 640 с.

Он всю жизнь служил России, писал о ней, публиковал произведения, запрещенные на земле, ставшей Советской, однако на исторической родине побывал, когда исполнилось почти 60 лет. Поводом для этого стала поистине эпохальная выставка «YMCA-PRESS» в Библиотеке иностранной литературы в Москве осенью 1990 года. Конечно, СССР доживал последний год, но советская власть была еще крепка. И потрясенные москвичи и гости столицы просто шли, чтобы взять в руки книги столь недавно проклятых о. Сергия Булгакова, Николая Бердяева, Семена Франка и Александра Солженицына. Каждый день гости выставки могли общаться с человеком, появление которого в СССР казалось просто чудом. Невысокого роста, ироничный, в котором чувствовалась огромная внутренняя культура. И, конечно, благородство. Это был Никита Алексеевич Струве (1931–2016).

Сейчас, когда со времени его ухода прошло почти пять лет, всё больше понимаешь огромный масштаб личности этого удивительного человека. Именно благодаря ему были впервые изданы «Архипелаг ГУЛАГ», «Собачье сердце», «Чевенгур», многие стихи Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. То есть книги, во многом определившие судьбы нескольких поколений. А еще, будучи почти полвека главным редактором журнала «Вестник РСХД», Никита Алексеевич неустанно бился за права верующих в СССР, печатал произведения великих русских религиозных философов. Позднее, уже в перестроечные времена, он и В. А. Москвин организовали дары книг в провинциальные библиотеки России. Никита Алексеевич с огромным удовольствием выступал в переполненных залах Орла, Белгорода, Липецка, Владивостока. И, конечно, во многом благодаря ему, а также Александру Исаевичу и Наталье Дмитриевне Солженицыным и В. А. Москвину, удалось создать Дом Русского Зарубежья.

Именно этот водораздел его жизни – возвращение на родину, которую он никогда не видел, – и взяли за основу составители книги «Никита Струве. Встреча с Россией», только что вышедшей в совместном издании «YMCA-PRESS» и «Русского пути». Над книгой работали верная соратни-

ца Струве, ныне главный редактор «Вестника РХД», Татьяна Викторова и известная исследовательница русского православного Зарубежья Наталья Ликвинцева. Ряд переводов подготовлен Светланой Дубровиной.

В сборнике представлены статьи, интервью, стенограммы выступлений этого, безусловно, одного из самых значительных российских просветителей XX века. Здесь и предисловия, которые он писал к «Вестнику», и размышления о наследии как русских, так и зарубежных богословов, и мысли о наследии классиков русской литературы. Одно из центральных мест сборника, конечно, занимает Солженицын. «Мы на Западе, во всяком случае, русские эмигранты и их потомки, всегда все знали, что происходит в России, знали о ГУЛАГе почти всё чуть не с самого его возникновения. Но Запад не хотел верить... А вот в солженицынское слово он поверил... Поверил он потому, что Солженицын обладал необычайной словесной художественной силой, обладал редкой способностью овладевать множественностью, способностью организовывать множество голосов в единое целое».

Многие статьи и заметки Никиты Алексеевича направлены на разъяснения «феномена Солженицына» для Запада. Струве рассматривал солженицынское слово как слово пророка, посланного рассказать всю правду о русской трагедии XX века. Интересно, что он вспоминал о первой встрече, когда великого писателя только выслали за границу. Александр Исаевич ясно и спокойно сказал ему: «Я вижу день, когда вернусь в Россию. И Вы вернетесь тоже». А ведь на дворе был 1974 год! А еще читателей ждут яркие, меткие характеристики ряда крупных деятелей православия как за границей, так и в России, статьи об Алексее Хомякове, о. Сергии Булгакове, Льве Шестове; о Льве Толстом, Пушкине, Достоевском, Тютчеве.

Виктор Леонидов

ОБ АВТОРАХ

АРУТЮНОВА Каринэ. Художник, прозаик, поэт. Автор книг «Пепел красной коровы», «Скажи красный», «Нарекаци от Лилит», «Падает снег, летит птица», «Цвет граната вкус лимона», «Свет Боннара», «Дочери Евы» и др. Публикации в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Шо» и др. Лауреат многих литературных премий, среди них: «Малая проза» (Израиль), конкурс памяти поэта Ури Цви Гринберга в номинации «Поэзия», шорт-лист премии Андрея Белого в номинации «Проза», лонг-лист «Большой книги» (2011), шорт-лист премии «Нонконформизм» (2014), лауреат премии имени Эрнеста Хемингуэя (2020), лауреат премии имени Марка Алданова (2021).

БАЛАНДИНА Юлия (1969, Ташкент) Окончила МПГПУ, а также Университет Шербрука (Канада) по программе «Издательское и книжное дело». Занимается современной русской литературой.

БЕЛЯЕВ Александр (1982, Москва). Поэт, переводчик, теоретик и практик японского и китайского письма, преподаватель Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ. Окончил РГГУ. Стихи и переводы с английского и японского (поэзия, проза, фикшн, нон-фикшн) публиковались в периодике и выходили отдельными книгами. Каллиграфические работы выставлялись в Москве (ЦДХ), Китае (Циндао), Южной Корее (Чонджу, Чеджу), Японии (Хиросима, университет Ясуда).

БРИО Валентина. Филолог, доктор наук, работает на кафедре русской и славянской филологии Еврейского университета (Иерусалим). Автор статей по истории русской и польской литературы и еврейской культуры; книг «Руфь Зернова — четыре жизни», «Поэзия и поэтика города», «Польские музы на Святой земле. Армия Андерса. Место время культура». Живет в Израиле.

ВОЛЬПЕРТ Евгений (1978, Рига). В нач. 1990-х переехал с семьей в США. Окончил Rutgers University. Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «TextOnly», «Лиterratypa» и др. Живет в Нью-Джерси.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, литературовед. Член редколлегии «Нового Журнала». Эмигрировала в США в 1970-х. Автор книг на русск. и англ. языках, в их числе сборники поэзии, прозы, книги по литературоведению. Составитель и переводчик «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. А Bilingual Anthology», Собрания сочинений Юрия Мандельштама (В 3-х тт.), сборника «Литература русской диаспоры. Пособие для ВУЗов» (2020). Была гл. редактором ж. «Поэзия: Russian Poetry. Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad. Past and Present» (США). Лауреат Национальной литературной премии им. Шекспира за мастерство перевода (2013).

.

ГОЗУН Людмила. Специалист по истории русской литературы; кандидат филологических наук. Окончила филологический факультет Кишиневского университета, аспирантуру МГУ. Автор более 30 печатных работ, в том числе в журналах «Вестник МГУ»; «Московский пушкинист»; «Пушкин и его современники» (РАН); «Времена» (Бостон). Участник международных конференций по творчеству Пушкина, Белинского, Чехова и др. Эмигрировав в США, работала на русском канале WMNB-RTN; вела передачи на радиостанции «Надежда».

ГРИЦМАН Андрей (1947, Москва). Поэт, эссеист; основатель и гл. редактор журнала «Іпtегроеzіа». Окончил Первый медицинский институт; университет Вермонта, факультет филологии. Работает врачом. Пишет по-русски и поанглийски. Публикуется в литературных журналах США, России, Израиля, Германии, в том числе в «Richmond Review» (London, UK), «Мапhattan Review», «New Orleans Review» и др. Автор более двадцати книг стихов, эссеистики и прозы на двух языках, среди них «Ничейная земля», «Іп Transit» (англ., рум.), «Голоса ветра», «Ріsces», «Long Fall» (англ.) и др. Стихи включены в антологии, изданные в разных странах, и переведены на многие европейские языки. Живет в Нью-Йорке.

ГАЛЬБЕРШТАДТ Анна (Вильнюс). Поэт, переводчик с английского, русского и литовского. Автор поэтических сборников на английском «Vilnius Diary», «Green in a Landscape with Ashes», на русском — «Transit», «Пасмурное Солнце», а также книг переводов с английского «Избранное Избранное» Айлин Майлз, «Ночной Огонь» Эдварда Хирша, «Весна — это и есть любовь» (в соавт. с А. Сен-Сеньковым), с литовского — поэзии Аушры Казилюнайте (2021). Публикуется в журналах США и Европы, среди них — «Literatura Ir Menas», «Literary Imagination» (Oxford University Press) и др. Стихи переведены на украинский, литовский, тамильский, сербский, македонский. Лауреат международного поэтического конкурса Atlanta Review, премии «Переводчик года. 2017» (ж. «Персона PLUS») и др. «Vilnius Diary» в переводе на литовский вошла в список 10 лучших книг Литвы и переводных книг Литовского Союза Переводчиков (2017); книга «Transit» названа одной из лучших книг 2020 года. Редактор антологий современной русской поэзии на английском «The Café Review», «Special Russian Issue».

ЖАДАН Сергей (1973, Старобельск). Прозаик, поэт, переводчик, музыкант, общественный деятель. Пишет по-украински. Автор прозаических и поэтических книг, среди них романов «Депеш Мод», «Апагсһу in the UKR», «Ворошиловград», «Месопотамия», «Интернат», книг малой прозы «Биг Мак» и «Гимн демократической молодежи», сборников стихов «История культуры начала века», «Цитатник», «Марадона», «Огнестрельные и ножевые»,

«Тамплиеры», «Антенна» и др., а также книги переводов Пауля Целана. Лауреат премии имени Джозефа Конрада, премии «Книга года» ВВС и др. Переводы призведений Сергея Жадана выходили во многих странах мира.

ИВАНОВ Андрей (1971, Таллинн). Окончил филологический факультет Таллинского педагогического университета. Автор романов «Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар», «Исповедь лунатика», «Горсть праха», «Харбинские мотыльки», «Обитатели потешного кладбища», «Untermensch», «Театр ужасов», повестей, новелл и эссе. Лауреат Премии им. Марка Алданова (2007, 2008, 2010), «Русской премии», фонда «Капитал культуры Эстонии», премии «НОС», финалист «Русского Букера» (2010, 2013). В 2016-м награжден Министерством культуры Эстонии государственной премией за выдающиеся творческие свершения. Его романы переведены на эстонский, французский, немецкий, английский, финский и македонский языки. Печатается в «Новом Журнале», в журналах Эстонии и России.

ИСАЕВА Ольга (1958, Казахстан). Окончила филологический факультет МПГУ, работала учителем в школе. С 1988 года живет в Нью-Йорке. Окончила Университет Норвич, США; магистр русского языка и литературы. Печатается в российских и эмигрантских периодических изданиях. Автор книг прозы «Мой папа Штирлиц», «Осторожно, двери закрываются», «Антошка Петрова, Советский Союз».

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. Окончил Николаевский кораблестроительный институт. В 1989–1991 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на Радио Свобода. С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com; также работает на телевидении RTN/WMNB. Автор книг «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом», «25 лет с правом перепис ки», «три 'Ц' и Верлибрарий», «Нью-йоркский букварь», «На западном фронте. Стихи о войне 2020 года» (2021) и др. Живет в Нью-йорке.

КЕНЖЕЕВ Бахыт (1950, Чикмент). Поэт, переводчик, эссеист. Окончил химический факультет МГУ. Соорганизатор группы независимых поэтов и участник самиздатовского альманаха «Московское время» (1975). Эмигрировал в 1982 году. Автор более 20 книг стихов, в их числе «Избранная лирика. 1970–1981», «Осень в Америке», «Снящаяся утром» и др.; книги прозы «Золото гоблинов». Лауреат многочисленных литературных премий, среди них — Анти-Букер, «Русская премия». Печатается в ж. «Знамя», «Октябрь», «Новый мир» и др. Стихи переводились на англ., нем., фр. языки. Член Русского ПЕН-центра. Живет в Нью-Йорке.

КУДРЯВЦЕВ Демьян (1971, Ленинград). Поэт, прозаик, переводчик, издатель, предприниматель. Автор 6 поэтических книг, романа «Близнецы», музыкально-драматических либретто. В 1990-х репатриировался в Израиль, затем работал в России — возглавлял Издательский дом «Коммерсантъ», был издателем газеты «Ведомости». Входил в лонг-лист «Национального бестселлера», в шорт-лист премий Андрея Белого, НОС. Живет в Великобритании.

КУЛЕН Елена (1964, Архангельск). Историк культуры, переводчик. Окончила историко-филологический факультет Северного университета (Архангельск), Институт Восточной Европы при Свободном Университете Берлина (Freie Universität). Работает в качестве историка-слависта в рамках научного исследования о русских Ди-Пи в послевоенной Баварии. Автор книги «Шляйсхайм / Schleissheim» (2021).

ЛАТЫНИН Леонид. Поэт, прозаик. Автор романов «Гример и Муза», «Спящий во время жатвы», «Берлога», «Ставр и Сара», изданных в США, Европе и России; книг стихов «Фонетический шум. Диалоги с Евгением Витковским», «Дом врат», «Праздный дневник», а также работ по русскому народному искусству. Живет в Германии.

ЛЕОНИДОВ Виктор Владимирович (1959, Москва). Критик, исследователь истории Русского Зарубежья. Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей по проблемам наследия русской эмиграции. Один из организаторов Архива-библиотеки Российского Фонда Культуры.

МАХНО Василь, украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор 14 поэтических сборников, среди них «Я хочу быть джазом и рок-н-ролом», «Велосипед», «Иерусалимские стихи», «Поэт, океан и рыба: избранные стихи 1993–2018», «Одномачтовый дом» (2021). Издал четыре сборника эссеистики, книгу рассказов «Дом в Бейтинг Голлов» и роман «Вечный календарь». Переводчик польской, сербской, немецкой и американской поэзии XX века. В его переводах вышли книги польских поэтов Збигнева Херберта, Януша Шубера и Анны Фрайлих. Стихи, проза и эссе переводились на многие языки, издавались в Германии, Израиле, Польше, Румынии, Сербии и США. Лауреат нескольких премий, в том числе Фонда Коваливых (2011), «Повелье Мораве» (2013), «Книга года ВВС» (2015), Украинско-Еврейской премии «Встреча» (2020). Живет в Нью-Йорке.

НЕМИРОВСКИЙ Александр (Москва). Поэт, писатель, хай-трек антрепренер. Основоположник поэтического стиля «Джаз-поэзии». Автор семи книг стихов и прозы. Многочисленные публикации в США, Франции, Финляндии,

Германии, России. Лауреат Канадской премии имени Э. Хемингуэя, журнал «Новый свет» (2007). Член Петербургского СП. Основатель и редактор первого звукового литературного журнала «Западное Побережье».

ТЕМКИНА Марина (Ленинград). Поэт, переводчик. Работала в программах беженцев и в проектах, связанных с изучением опыта переживших Холокост. Окончила аспирантуру Нью-Йоркского университета и психоаналитический институт, работает психотерапевтом. Автор пяти книг стихов на русском языке и трех в соавторстве с американским скульптором Мишелем Жераром, в том числе «Части часть» и «В обратном направлении» (Изд. «Синтаксис»). Публиковалась в журналах «Континент», «22», «Время и мы», «Новый мир» и др., в антологиях «У Голубой Лагуны», «Строфы века», «Освобожденный Улисс» и др. Лауреат премии «National Endowment for the Arts» (1994).

ХАЗАН Владимир Ильич (1952). Филолог, литературовед, специалист по русской поэзии ХХ в. и Русскому Зарубежью. Профессор Еврейского университета (Иерусалим); автор проекта «Школа гуманитарных университетских знаний». Автор книг и статей по проблемам русской истории, литературы и русско-еврейского культурного диалога, в том числе: «О. Мандельштам и А. Ахматова: Наброски к диалогу»; составитель и комментатор Собрания сочинений Д. Кнута (В 2-х тт., 1997, 1998), «Пинхас Рутенберг: от террориста к сионисту. Опыт идентификации человека, который делал историю» (В 2-х тт., 2008), «Одиссея капитана Боевского: русский моряк в земле обетованной» (2007) и др. Живет в Израиле с 1992 года.

ШПИЛЬСКИЙ Аркадий (1949, Киев). Окончил Киевский политехнический институт. В 1992-м эмигрировал в США, где специализировался в области биостатистики. Работал в научно-исследовательских институтах при Пенсильванском университете и в фармацевтической промышленности (Pfizer, Sanofi, Novartis). Пишет малую прозу, стихи, стихотворные переводы и пародии. Опубликовал более 100 переводов из украинской поэзии в журналах и альманахах «Этажи», «Интерпоэзия», «Эмигрантская лира», «Семь искусств», «Зеркало», «Связь времен», «Новый Свет» и др.

ЭСКИНА Марина Викторовна (Ленинград). Поэт, переводчик. Окончила физический факультет ЛГУ. Автор четырех сборников стихов и книги детских стихов на английском. Дипломант Санкт-Петербургского конкурса Фонда И. А. Бродского (2014). Победитель конкурса «Эмигрантская лира» в трех номинациях (Льеж, 2017). Участник многих антологий и альманахов, в том числе: «Из не забывших меня. Иосифу Бродскому. Іп memoriam», «Царскосельская антология»; «70» (К 70-летию Израиля, 2018). Стихи переведены на английский язык. С 1990 года живет в Бостоне.

СПИСОК ЛИЦ, ПОДДЕРЖАВШИХ «НОВЫЙ ЖУРНАЛ» В 2022

В юбилейный год НЖ проводил кампанию по сбору средств для поддержки издания и его проектов. Фандрайзинг был объявлен через платформу Meta / Facebook с февраля 2022 года. Однако мы остановили сбор средств на журнал из-за войны в Украине, которой сейчас необходима помощь. И тем не менее, нами было собрано \$14,974.69. Мы благодарим всех, кто поддержал НЖ. Ваша поддержка для нас бесценна!

«Новый Журнал»

Prince Nikita D. Lobanov-Rostovskiy

Larisa Vulfina & Jan Vulfin Ludmila Obolensky-Flam

Sasha Nemirovsky

Semyon & Elizabeth Pinkhasov

Ara Moussaian Jeff Bliumis

Sasha Amchislavsky Vladimir Torchilin Mark & Sofya Averbukh

Mark & Sorya Averbu

Igor Gelbach Eugene Sokoloff Yuri Bogolepoff Ida Tica

Eugene Alper

George Cheron & Zoya Sergeeva

Anastasia Konstantinova

Lada Miller
Lilya Pann
Igor Metelsky
Marina Eskin
Michael Etelzon
Polina Breyter
Elena Ulanovski
Jeanette Andreev
Mikhail Epstein
Victoria Kurchenko
Gari Lait

Gregory Isakov Gennady & Rika Katsov

Mark Karpovsky Andrey Lazarev Lana Kagan Vitaly Amoursky Boris Fabrikant Catherine Raeff

Yanislav Wolfson

Marlene Royle & Sasha Sokolov

Elena Dubrovina Veronica Gashurov Alexander Erofeev Jacob Rabinovich Tatiana Konsta Vera Zubarev Elena Bartolf Natalia Mizuri

Olga Isayeva & Vitaly Fleer

Mikhail Rabinovich
George Sadkhin
Olga Matich
Yelena Litinskaya
Helga Landauer
Basil & Olga Lvoff
Anna Golitsyna
Liudmila Margulis
Alex Shcheglovitov
Yuliya Zayonts
Anonymous
D.K. / D.K.

Vladimir Khazan S. Sh. / C.III. Dzhemma Babich Anastasia Timofeeva Anastasia Andreeva Tatyana Tsirlin Gennady Grevnin Grigory Starikovsky Willi Valeri Brainin Marina Garber Ben Tuval Zhenya Breydo Regina Gogol Igor Kuras

Bor Ley

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends.

Patron: Russian Nobility Association in America – \$7,500.

It requires the support of loyal friends for year 2022:

Patron – \$ 6,000 and up Benefactor – \$ 2,000 and up Sponsor – \$ 1,000 and up Fellow – \$ 500 and up Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW 1216 Broadway, 2nd floor New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников — 111024 Москва, а/я 61 Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах — тел.: 7-921-940-0421 Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@ gmail.com Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2 Магазин «Фаланстер»: Москва, Тверская 17; тел.: 7+495-629-88-21

Магазин «Подписные издания»: 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;+972 55 968 24 16 На сайте журнала через РауРаl (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

Вы можете купить старые номера журнала. Обращаться в редакцию: newreview@msn.com

НовыйЖурнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2022

Подписная цена (4 книги, включая пересылку): для университетов и организаций в США – \$ 150.00, за границу – \$ 200.00 (10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка (4 книги, включая пересылку): в США – \$ 80.00, за границу – \$ 120.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00 дополнительно за пересылку: в США – \$ 7.00, за границу – \$ 25.00

E-access на год - \$ 185.00

Комбинированная подписка на год

(E-access и 4 журнала)

в США – \$ 320.00

за границу – \$ 360.00

(10% скидка для подписных агентств)
Все подробности о подписке на сайте

www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ: The New Review 1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478 www.newreviewinc.com newreview@msn.com